ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[3] 2008

ФРАГМЕНТЫ КНИГИ ГЮНТЕРА ГРАССА "ЛУКОВИЦА ПАМЯТИ" / РОМАН ШОНА МАКБРАЙДА "ЗЕЛЕНЬ. ТРАВА. БЛАГОДАТЬ" / "ИЗ БУДУЩЕЙ КНИГИ": СТИХИ АНГЛИЙСКИХ ПОЭТОВ-КАВАЛЕРОВ / "СЛЕПОТА" ЖОЗЕ САРАМАГО В РУБРИКЕ "СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР" / РАССКАЗ ЯНА ЮЗЕФА ЩЕПАНСКОГО / ЭССЕ О НИЦШЕ ИГОРЯ КЛЕХА

Основан в 1891 году

Поздравляем
наших постоянных авторов

Марину Яковлевну Бородицкую
с присуждением ей премии
имени К. И. Чуковского ***Золотой крокодил***
и
Юрия Павловича Гусева
с присуждением ему
европейской награды ***Меч Балаши***

ИМЕНА ЛАУРЕАТОВ НАШИХ ЕЖЕГОДНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ ЗА 2007 ГОД

Премия ***ИЛлюминатор***
присуждена Михаилу Яснову
за книгу *Проклятые поэты* (составление, вступительная статья и перевод)

Премия ***Инолит***
присуждена Владимиру Бошняку
за перевод романа МОРДЕХАЯ РИХЛЕРА *Версия Барни*

Премия ***Инолиттл***
присуждена Марине Бородицкой
за перевод стихов РОБЕРТА ГЕРРИКА

Премия **имени А. М. Зверева** –
молодому критику, автору статей и рецензий о
переводной литературе –
присуждена Светлане Силаковой

Почетный ***диплом критики зоИЛ***
присужден
Ларисе Беспаловой
за перевод повести ЛИЛЛИАН ХЕЛМАН *Джулия*,
рассказа ДЖОНА МАКГАХЕРНА *Парашютики*
и
Инне Стам
за перевод романа ПИТЕРА АКРОЙДА *Лондонские сочинители*

[3]
2008

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

	3	Гюнтер Грасс *Луковица памяти.* Главы из книги. Перевод с немецкого и послесловие Б. Хлебникова
	94	Ян Юзеф Щепанский *Ланч в Гарварде.* Рассказ. Перевод с польского К. Старосельской
Дебют	97	Шон Макбрайд *Зелень. Трава. Благодать.* Роман. Перевод с английского Никиты Михайлина
Сигнальный экземпляр	195	Жозе Сарамаго *Слепота.* Фрагмент романа. Перевод с португальского А. Богдановского. Послесловие Дмитрия Померанцева
Из будущей книги	277	*Стихи английских поэтов-кавалеров и "Краткие жизнеописания" Джона Обри.* Перевод с английского и вступление Марины Бородицкой
Статьи, эссе	298	Игорь Клех *Сверхчеловеческое, слишком сверхчеловеческое...*
Среди книг	308	Е. Бродская, А. Нестеров *Творящая Пустота.* С. Гандлевский *Обратная связь*
Авторы номера	317	

© "Иностранная литература", 2008

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

И. о. главного
редактора

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская
заведующая отделом критики и публицистики

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
А. Н. Словесный
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Н. Л. Трауберг
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный
совет:

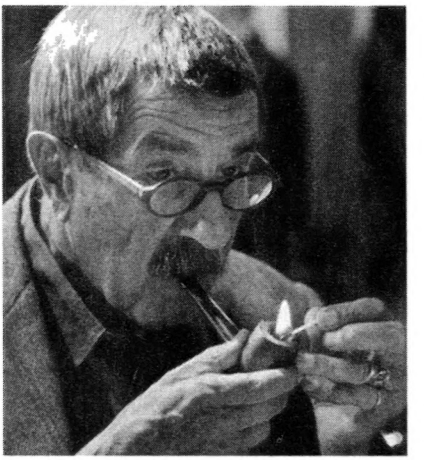
Чингиз Айтматов
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Н. В. Елисеева
А. Ю. Лешневская
И. В. Мокин
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап
А. Ю. Шередега

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации
и Фонда Первого Президента России Б. Н. Ельцина

Гюнтер Грасс



Нобелевская премия 1999 года

Луковица памяти

Главы из книги

Перевод с немецкого и послесловие Б. Хлебникова

Посвящается всем, у кого я учился

Пергамент под пергаментом

В настоящем или прошлом всегда есть соблазн спрятаться за местоимение третьего лица: когда ему было двенадцать лет, а он все еще любил сидеть на коленях у матери, началось и закончилось нечто. Есть ли точная дата у начала и конца? Если речь идет обо мне, то мое детство закончилось на весьма узком пятачке, там же, где я вырос, и произошло это, когда сразу с нескольких сторон полыхнула война. Нельзя было не услышать залпы бортовых орудий линкора и рев пикирующих бомбардировщиков над Новым портом, напротив которого находилась польская военная база Вестерплатте; вдалеке два бронетранспортера прицельно обстреливали Польскую почту в Старом городе, а с буфета "народное радио" – приемник, стоявший в нашей квартире на первом этаже трехэтажного доходного дома на улице Лабесвег в Лангфуре, – отчеканило фразы, возвестившие об окончании моего детства.

Незабываемо даже точное время суток. С этого времени на аэродроме Вольного города, возле шоколадной фабрики "Балтик", взлетали и садились не только гражданские самолеты. Из чердачных окон нашего дома был виден черный дым над портом, который усиливался при повторных авианалетах, а потом рассеивался легким северо-западным ветром.

© Steidl Verlag, 2006
© Б. Хлебников. Перевод, послесловие, 2008
В настоящий момент в издательстве "Иностранка" готовится к выпуску полный текст мемуаров Гюнтера Грасса "Луковица памяти".

Но стоит ли обращаться к воспоминаниям о далеких орудийных раскатах линкора "Шлезвиг-Гольштейн", практически отслужившего свое ветерана морского сражения при Скагерраке, а впоследствии учебного корабля для кадетов, или о многоголосом вое, издаваемом моторами пикирующих бомбардировщиков, названных так, поскольку при подлете к цели они сваливались набок, закладывали вираж и бросались в пике, открыв бомбовые люки? Всякий раз возникает вопрос: а зачем вообще вспоминать детство, точную дату его окончания, если все, что произошло со мной в промежутке между появлением молочных и постоянных зубов — включая начальную школу, игру в камешки, ссадины на коленках, исповедальные секреты и последующие религиозные сомнения, — однажды попало в рукопись и прилипло к персонажу, который, едва возникнув на бумаге, не пожелал расти, зато обнаружил способность разбивать пронзительным криком стекло, обрел широкую известность благодаря двум палочкам и жестяному барабану и с тех пор обретается под книжным переплетом, позволяя извлекать оттуда цитаты и претендуя на бессмертие на не знаю скольких языках?

А затем, что некоторые воспоминания надо дополнить. Что иногда слишком очевидны пробелы. Что нужно вернуть на место выплеснутого с водой ребенка. Что какие-то вещи понимаешь лишь задним умом: подстилаешь соломку там, где уже упал, сознаешь причину своего безудержного роста, разговариваешь с утраченными предметами. И еще одна причина: я хочу сохранить за собой последнее слово.

Воспоминания любят играть в детские прятки. Таятся. Склонны к лести и прикрасам, часто безо всякой на то нужды. Препираются со сварливой памятью, которая с мелочным педантизмом пытается доказать свою правоту.

Память, если донимать ее вопросами, уподобляется луковице: при чистке обнаруживаются письмена, которые можно читать — букву за буквой. Только смысл редко бывает однозначным, а письмена выполнены зеркальным шрифтом или еще как-нибудь зашифрованы.

Под первой, сухо шуршащей пергаментной кожицей находится следующая, которая, едва отслоившись, открывает влажную третью, под ней, перешептываясь, ждут свой черед четвертая, пятая... И на каждой пленочке проступают давно хранившиеся слова или витиеватые знаки, будто некий тайнописец начертал их тогда, когда луковица еще только нарождалась.

Сразу возникает тщеславное желание разгадать эти закорючки, взломать секретный код. И вот уже опровергается то, что еще недавно претендовало на правду: ведь ложь и ее младшая сестра выдумка составляют наиболее устойчивую часть воспоминаний; если записать их на бумаге, они выглядят достоверными и не скупятся на подробности, убеждающие своей фотографической точностью: разогретый июльским солнцем толь на крыше сарая во дворике нашего дома пахнет в безветренные дни солодовыми леденцами...

Моющийся целлулоидный воротничок фройляйн Шполленхауэр, моей первой учительницы, стискивает ее горло так туго, что шею морщинят складки...

Банты-пропеллеры у девочек, гуляющих на сопотском променаде под бойкие мелодии полицейского оркестра...

Мой первый белый гриб...

Когда из-за жары отменили школьные занятия...

Когда у меня вновь распухли гланды...

Когда на языке вертелся вопрос, но так и не был задан...

У луковицы не одна пергаментная кожица. Их много. Снимешь одну, появляется новая. Если луковицу разрезать, потекут слезы. Луковица говорит правду только при чистке.

Все, что случилось со мной — и в детстве, и после, — подсовывает мне под нос факты, оказывается хуже, чем хотелось бы, и требует, чтобы о нем рассказывали то так, то эдак, подбивая меня на небылицы.

Когда поздним летом, после многих дней прекрасной погоды в Данциге и его окрестностях разразилась война, когда после семидневной обороны польские защитники Вестерплатте капитулировали, в Новом порту, куда можно было быстро доехать на трамвае через Заспе и Брезен, я насобирал пригоршню осколков от бомб и снарядов, чтобы мальчуган, которым, похоже, был я в ту пору, пока война, казалось, состояла из одних лишь экстренных информационных сообщений по радио, мог поменять эти осколки на почтовые марки, разноцветные картинки из сигаретных пачек, зачитанные или новенькие книжки, среди которых была, например, книга Свена Хедина[1] о путешествии в пустыню Гоби, и еще на всякую всячину.

Неточные воспоминания иногда приближают к правде, пусть даже окольными путями и всего лишь на длину спички.

Чаще всего мои воспоминания отталкиваются от каких-то определенных вещей, от которых, скажем, на коленях ноют давние ссадины или во рту возникает тошнотворный привкус гари: кафельная печка... Стойки для выбивания ковров на заднем дворе... Туалет на промежуточной площадке между лестничными маршами и двумя этажами... Чемодан, найденный на чердаке... Кусок янтаря величиной с голубиное яйцо...

Кто помнит, каким был на ощупь материнский гребень, как отец в жару завязывал четырьмя узелками носовой платок, чтобы прикрыть голову, или что́ можно было выменять на осколок от бомбы и снаряда, тому приходят на ум — пусть даже в качестве забавных отговорок — истории более правдивые, чем сама жизнь.

Картинки, которые я, будучи ребенком, а затем подростком, не без усердия коллекционировал, рассылались в обмен на купоны из сигаретных пачек; закончив работу за прилавком, мама доставала вечером из пачки свою "сигаретку", чтобы выкурить ее с рюмкой "Куантро", считая подобный грешок вполне простительным.

Мне нравилось собирать эти цветные репродукции, знакомившие с историей европейской живописи. Довольно рано я узнал имена Джорджоне, Мантеньи, Боттичелли, Гирландайо и Караваджо, хотя произно-

1. Свен Хедин (1865–1952) — шведский путешественник и публицист; симпатизировал нацистам, однако спас из немецких лагерей несколько десятков человек. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

сил их порой неверно. Голая спина женщины, лежащей перед зеркалом в руках крылатого мальчугана, с самого детства связана для меня с именем Веласкеса. Из "Поющих ангелов" Яна ван Эйка мне больше всего запомнился профиль последнего ангела — хотелось иметь такие же кудрявые локоны, как у него или у Альбрехта Дюрера. Его автопортрет, висевший в мадридском Прадо, вызывал вопросы: почему Дюрер изобразил себя в перчатках? Почему на нем такой странный колпак и почему правый рукав-"фонарик" отделан внизу темной продольной полосой? Отчего художник столь уверен в себе? Зачем под нарисованным подоконником указан возраст — двадцать шесть лет?

Сегодня я знаю, что эти замечательные репродукции в обмен на купоны высылало агентство табачной фирмы, обосновавшейся в Гамбурге-Баренфельде; у этого же агентства можно было заказать и специальные квадратные альбомы для них. Благодаря моему нынешнему любекскому галеристу, который содержит антикварный и букинистический магазин на Кёнигсштрассе, я вновь стал обладателем всех трех альбомов, а потому мне доподлинно известно, что тираж альбома, посвященного искусству Ренессанса, достиг к тридцать восьмому году четырехсот пятидесяти тысяч экземпляров.

Листая страницу за страницей, я вижу, как сижу в комнате за столом и вклеиваю репродукции в альбом. На сей раз это картины художников позднего Средневековья, среди них — "Искушение святого Антония" Иеронима Босха: Антоний окружен человекообразным зверьем. Едва из фирменного желтого тюбика "Уху" выдавливается капелька клея, начинается священнодействие.

Должно быть, в ту пору многим коллекционерам, страстным любителям искусства, пришлось сделаться заядлыми курильщиками. Мне же купоны перепадали от тех курильщиков, которым они не были нужны. Репродукций накапливалось все больше, я их собирал, выменивал, наклеивал в альбом, мое сокровище разрасталось; поначалу я обращался с ним по-детски беспечно, но со временем — все бережнее. Мне, двенадцатилетнему мальчику, мерещилось, как я, вроде ангела на картине Пармиджанино, льну к правому колену высокой и тонкой Мадонны, чья головка-бутон возвышается над колоннадой на заднем плане, устремленной к небесам.

Я жил внутри этих картин. А поскольку я упорно стремился собрать полный комплект репродукций, мама снабжала меня не только купонами из небольшого количества выкуриваемых ею сигарет — она предпочитала марку "Ориент" с золотым ободком, — но и добавляла к ним купоны тех покупателей, которые хотели оказать ей любезность и которых совершенно не интересовало искусство. Иногда вожделенные купоны привозил отец из поездок за всякой мелочью для своей лавки колониальных товаров. Подмастерья моего деда, владевшего столярной мастерской, также прилежно курили на благо моей коллекции. Альбомы с пробелами между столбами пояснительного текста, куда надлежало вклеивать иллюстрации, мне дарили, видимо, на Рождество или дни рождения.

Наконец, я стал обладателем всех трех альбомов, которые берег как величайшую драгоценность. Синий альбом представлял живопись готики и раннего Ренессанса, красный — был посвящен высокому Возрожде-

нию, а желто-золотой — искусству барокко; последний оставался, к сожалению, неполным. Пробелы существовали там, где отводилось место Рубенсу и ван Эйку. Новые поступления репродукций прекратились. С началом войны иссяк приток купонов. Гражданские лица превратились в солдат, куривших свои "Р-6" или "Юно" вдалеке от родного дома. Извозчик "Акционерной пивоварни", регулярно снабжавший меня купонами, погиб в боях за крепость Молдин. К тому же появились другие серии: картинки с животными, цветами, изображениями великих событий немецкой истории, загримированными лицами популярных киноактеров.

С началом войны каждой семье стали выдавать продуктовые карточки, затем были наложены ограничения на потребление табачной продукции. Но, благодаря сигаретной фирме "Реемтсма", солидная основа моей познавательной художественно-исторической коллекции была заложена еще в довоенные годы, поэтому введение карточной системы не слишком больно ударило по моему собранию. Кое-какие пробелы удалось восполнить. Например, одну из двух рафаэлевских Мадонн из Дрезденской картинной галереи я обменял на амура кисти Караваджо; впрочем, эта сделка оправдала себя лишь позднее.

Уже в десять лет я мог с первого взгляда отличить Ханса Бальдунга по прозвищу Грин от Матиаса Грюневальда, Франса Халса от Рембрандта и Филиппо Липпи от Чимабуэ.

Кто написал "Богоматерь в беседке из роз"? А "Мадонну с синим платком, яблоком и ребенком"?

Я просил маму, чтобы она, прикрыв двумя пальцами название картины и фамилию художника, проэкзаменовала меня; ответы всегда оказывались верными.

В этой занимательной угадайке, да и в школе, если речь шла об искусстве, я всегда был отличником; правда, с пятого класса, когда в учебной программе появились математика, физика и химия, я безнадежно отстал; устный счет давался мне легко, но вот решить на бумаге уравнение с двумя неизвестными получалось редко. До шестого класса меня держали на плаву отличные и хорошие отметки по немецкому, английскому, истории и географии. Не раз я удостаивался похвал за рисунки карандашом, акварелью и тушью, выполненные с натуры или без таковой; но когда в седьмом классе мне поставили "неуд" за латынь, пришлось вместе с другими второгодниками пережевывать всю программу снова. Это больше беспокоило моих родителей, чем меня самого, поскольку я с детских лет предпочитал витать в облаках.

Моих внуков, которые огорчаются сегодня из-за плохих отметок или страдают из-за беспомощной суеты учителей, вряд ли утешит признание деда, что сам он был отчасти ленивым, отчасти честолюбивым, но в общем-то неважным учеником. Они стонут, будто им приходится нести на себе тяжкое бремя педагогики, будто их школа превратилась в каторгу, будто необходимость учебы лишает их сладчайших грез; а вот в мои сны школьные стрессы никогда не вторгались ночными кошмарами.

Когда я был совсем маленьким, еще не носил красную гимназическую фуражку и не коллекционировал цветные картинки, то в летнюю пору, которая казалась бесконечной, я любил строить на пляжах, каких было много на берегах Данцигского залива, замки из сырого песка – с высокими крепостными стенами и башнями, – населенные фигурами, которые порождала моя фантазия. Море снова и снова смывало песочные постройки. Бесшумно рушились высокие башни. Мокрый песок уходил меж пальцев.

"Песочный город" – так называлось длинное стихотворение, написанное в шестидесятые годы, когда я, сорокалетний отец троих сыновей и одной дочери, вроде бы обрел прочное социальное положение; подобно герою своего первого романа, автор сделал себе имя, упрятав собственное удвоенное "я" в книги, отданные рынку.

Стихотворение повествует о родном крае, о шумах Балтики и задается вопросом: "Родился – где и когда, почему?" Поток незаконченных фраз обращается к памяти за тем, что утрачено, словно в бюро находок: "Чайки – вовсе не чайки, а..."

Стихотворение о ранних годах моей жизни меж иконой Святого Духа и портретом Гитлера, о начале войны, памятками которого стали осколки снарядов и орудийный огонь, кончалось тем, что детство мое убежало, как песок. Лишь Балтика продолжает шуметь по-немецки, по-польски: блубб, пфф, пшшш...

Войне исполнилось всего несколько дней, когда дядя Франц, мамин кузен, служивший почтальоном и потому участвовавший в обороне Польской почты, вскоре после окончания непродолжительного боя был расстрелян по приговору военно-полевого суда вместе почти со всеми уцелевшими ее защитниками. Судья, который вынес, огласил и подписал смертный приговор, еще долгие годы после войны продолжал спокойно работать судьей в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, выносся и подписывая новые приговоры. Это было вполне в порядке вещей для времен канцлера Аденауэра, казавшихся нескончаемыми.

Позднее, используя вымышленные имена героев и эпический стиль, я рассказал об обороне Польской почты, многословно описал, как обрушился карточный домик; а вот в нашей семье ни единым словом не вспоминали неожиданно пропавшего дядю, которого, несмотря на все политические перипетии, у нас любили и который часто приходил по воскресеньям в гости к родителям вместе со своими детьми Ирмгард, Грегором, Магдой и маленьким Казимиром на чашку кофе с пирожным или заглядывал вечерком перекинуться в картишки. Его имя забыли, будто дяди никогда и не было на свете, будто все, что касалось его самого и его семьи, нельзя произносить вслух.

Тягучий говор кашубской[1] родни с материнской стороны тоже почему-то – почему? – умолк.

И хотя с началом войны мое детство закончилось, я не пытался задавать вопросы.

А может, я как раз потому не задавал вопросы, что перестал быть ребенком?

1. Кашубы – малый народ славянской языковой группы, живущий на территории Польши.

Неужели только дети, как в сказке, способны задавать правильные вопросы?

Об этом позоре, который все тщится стать незаметным, можно прочесть на шестой или седьмой пергаментной кожице той обычной, всегда имеющейся под рукой луковицы, которая оживляет память. Вот я и пишу о позоре, о стыде, что ковыляет за ним следом. Редкие слова, их выговариваешь задним числом, пока мой взгляд — то снисходительный, то вновь суровый — продолжает изучать мальчугана, которому любопытно все, что от него скрывают, и который в то же время не решается спросить: "Почему?"

И пока двенадцатилетний мальчуган подвергается допросу с пристрастием, без скидок на возраст, я взвешиваю в стремительно убегающем настоящем каждый шаг по лестничным ступенькам, слышу собственную одышку и кашель, двигаясь — жизнерадостно, елико возможно, — навстречу смерти.

Расстрелянный дядя Франц Краузе оставил жену и четверых детей, которые были моими ровесниками, чуть старше или двумя-тремя годами моложе. Играть с ними больше не разрешалось. Им пришлось освободить служебную квартиру на Брабанке, в Старом городе, и переехать в сельскую местность между Цукау и Рамкау, где у матери имелся клочок земли с хибаркой. Там, в холмистой Кашубии, дети почтальона, которых донимают обычные старческие недуги, ютятся по сей день. У них — иные воспоминания. Им не хватало отца, а мне, наоборот, отец досаждал тем, что был рядом в нашей тесной квартире.

Служащий Польской почты был робким человеком и заботливым семьянином, совсем не пригодным к тому, чтобы пасть смертью героя, чье переиначенное имя: Франтишек Крауз — увековечено на мемориальной плите из бронзы.

В марте пятьдесят восьмого, выхлопотав после некоторых сложностей польскую визу, я отправился из Парижа через Варшаву в Гданьск, чтобы среди растущего из руин города отыскать следы бывшего Данцига; там я разглядывал сохранившиеся фасады домов, гулял по берегу в Брезене, сидел в городской библиотеке, побывал в уцелевшей школе имени Песталоцци и вдоволь наслушался двух выживших почтовых служащих, наговорился с ними, после чего поехал в деревню к оставшимся родственникам. Там, в крестьянской хибаре, меня встретила мать расстрелянного почтальона, моя двоюродная бабка Анна, и произнесла нечто неопровержимое: "Ну, Гюнтерхен, совсем большой стал..."

Но сначала мне пришлось развеять ее сомнения, даже предъявить паспорт, до того чужими оказались мы друг другу — воистину два иностранца. Зато потом она отвела меня на картофельное поле, которое сегодня заняла взлетно-посадочная полоса гданьского аэродрома.

Летом следующего года война приобрела мировые масштабы, поэтому мы, старшеклассники, проводя летние каникулы на балтийском пляже, болтали уже не о местных новостях, а уносились далеко за границу; разговоры вертелись почти исключительно вокруг оккупации Норвегии нашей армией, а раньше — вплоть до июля — экстренные информацион-

ные выпуски сообщали о ходе французской кампании и о завершении блицкрига капитуляцией заклятого врага: Роттердам, Антверпен, Дюнкерк, Париж, Атлантическое побережье... Так продвижение немецких войск расширяло нашу школьную географию: прорыв за прорывом, победа за победой.

Перед купанием или после него мы продолжали с восторгом говорить о "героях Нарвика". Мы валялись на песке, загорали в семейной купальне, однако больше всего на свете хотели очутиться там, на Крайнем Севере, чтобы сражаться среди фьордов. Мы мечтали покрыть себя славой, а вместо этого изнывали от каникулярной скуки, намазываясь пахучим кремом "Нивеа".

Мы толковали о героизме нашего военно-морского флота, о слабаках-англичанах и снова о наших, потому что кое-кто, в том числе и я, собирался года через три-четыре, если война не кончится, пойти на флот – лучше всего в подводники. Лежа в плавках, мы состязались в перечислении великих побед на море от Веддинга и его подлодки "U-9" в годы Первой мировой войны до капитан-лейтенанта Прина, затопившего британский линкор "Ройял оук", после чего опять воодушевлялись "трудной победой" в сражении под Нарвиком.

И тут один из мальчиков – его звали Вольфганг Хайнрихс, он с удовольствием и очень здорово исполнял баллады, а если попросить, то мог спеть даже оперную арию; вот только левая рука была у него повреждена, отчего мы ему сочувствовали, так как он считался "негодным" к службе на флоте, – внятно произнес: "Ерунду городите!"

Затем мой школьный товарищ – а он и правда со мной учился, – загибая пальцы здоровой руки, начал перечислять наши эсминцы, потопленные или серьезно поврежденные под Нарвиком. Едва ли не профессионально владея предметом, он оперировал точными данными, рассказал, например, что один боевой корабль водоизмещением в тысячу восемьсот тонн – он привел и название судна – пришлось посадить на мель. Пальцев здоровой руки не хватило.

Он знал мельчайшие тактико-технические подробности вплоть до вооружения и количества узлов у английского дредноута "Уорспайт"; впрочем, и мы, дети портового города, могли назубок отбарабанить характеристики как своих, так и вражеских кораблей: водоизмещение, численность экипажа, количество и калибр орудий, наличие торпедных аппаратов, год спуска на воду. Тем не менее его осведомленность о сражении под Нарвиком нас поразила, поскольку он знал гораздо больше, чем можно было почерпнуть из каждодневных сводок, которые передавались по радио.

"Ни черта вы не знаете, что там было на самом деле. Тяжелые потери. Очень тяжелые!"

Несмотря на наше изумление, никто не возразил, и вопросов, откуда ему все это так доподлинно известно, мы не задавали – я не задавал.

Спустя полвека, когда обозначились первые последствия наспех свершившегося "объединения Германии", мы посетили родину моей жены Уты, свободный от автомобилей остров Хиддензее. Он вытянулся неподалеку от берега присоединенной Восточной Германии, уютно расположившись между морем и "бодденом", то есть морским мелководьем, по-

этому угрожают острову не столько сильные штормы и вызванные ими наводнения, сколько разлившиеся повсеместно потоки туристов.

После долгой прогулки по окрестным лугам мы заглянули в Нойендорф, чтобы навестить друга детских лет моей жены — Мартина Груна, который некогда отважился на побег из ГДР в Швецию на надувной лодке, однако через несколько лет вернулся в рабоче-крестьянское государство, вышел на пенсию и угомонился. Сейчас он выглядит настолько домашним, привязанным к насиженному месту, что ни за что не подумаешь, будто он способен на авантюры.

За кофе с пирожным мы болтали о том о сем: о его менеджерской карьере на Западе, о многочисленных командировках от концерна "Крупп" в Индию, Австралию и так далее. Он поведал о неудачной попытке создать совместное восточно-западное предприятие и о том, что теперь он отдает все свое время последнему увлечению — вершевой рыбалке в прибрежных водах.

Затем довольный, судя по всему, жизнью "возвращенец" вспомнил знакомого, который живет в Фитте, одной из трех деревень острова, и который упорно твердит, что, мол, когда-то был в Данциге моим одноклассником. Фамилия его — Хайнрихс, имя — Вольфганг.

После моих уточняющих расспросов подтвердилось, что у этого знакомого повреждена левая рука и что он хорошо поет: "Да, поет до сих пор, хотя теперь все реже".

Потом они с Утой перешли к местным историям, где живые и мертвые общались друг с другом на здешнем диалекте. Мартин Грун, исполнивший свое юношеское желание повидать мир, не без гордости показал нам диковинные маски, пестрые ковры, деревянные украшения, развешенные на стенах. Напоследок мы выпили по рюмке шнапса.

Вернувшись по лугам в Фитте, Ута и я разыскали там стоящий за дюной дом, где жил Хайнрихс с женой. Дверь открыл высокий грузный мужчина, страдающий одышкой; опознавательной приметой служила для меня искалеченная рука. Чуть помедлив, бывшие одноклассники растроганно обнялись.

Потом мы сидели на веранде, старались выглядеть бодрыми и веселыми, а позже отправились в ресторан, где вчетвером ели рыбу — жареную камбалу. Спеть — например, "Лесного царя", как это бывало раньше, — он не захотел. Но понадобилось совсем немного времени, чтобы мы вернулись к пляжному разговору, который состоялся летом сорокового года и оставил у меня незаданные вопросы.

Теперь мне хотелось получить запоздалый ответ: "Почему ты знал больше нас и сказал, что мы ерунду городим? Откуда тебе стало известно точное количество немецких судов, затопленных или поврежденных под Нарвиком? Например, что устаревшая береговая артиллерия норвежцев несколькими прямыми попаданиями потопила тяжелый крейсер "Блюхер", да еще в Осло-фьорде по нему выпустили — причем тоже с берега — две торпеды?

На мрачноватом лице Хайнрихса наметилось подобие улыбки. Он поведал, как отец отлупил его дома за рассказ о нашей глупости и неосведомленности. Подобное бахвальство могло плохо кончиться. Доносчиков хватало, в том числе среди гимназистов. Отец каждый вечер слу-

шал вражескую британскую радиостанцию, а потом под строжайшим секретом передавал содержание передач сыну.

"Верно! – сказал он. – Отец был настоящий антифашист, а не самозванец, которых потом столько появилось". Он произнес это таким тоном, будто и сам принадлежал к их числу.

И тут я услышал историю о хождениях по мукам, которая была изложена сдавленным голосом и когда-то прошла мимо меня, потому что я не задавал лишних вопросов, не спрашивал даже тогда, когда Вольфганг Хайнрихс исчез, неожиданно перестал приходить в школу, в нашу достопочтенную гимназию "Конрадинум".

Вскоре после летних каникул, когда из наших волос еще не высыпались песчинки, наш школьный товарищ куда-то подевался, хотя вроде бы никто и не заметил его отсутствия, только кто-то бросил мимоходом: "Пропал без вести", а я опять поперхнулся вопросом "Почему?", не посмев произнести его вслух.

И вот теперь я услышал: за отцом Хайнрихса, бывшим во времена Вольного города депутатом ландтага от Независимой социал-демократической партии Германии и схлестнувшимся в городском сенате с тогдашними партийными боссами Раушнингом и Грайзером, которые сформировали коалиционное правительство из нацистов и Немецкой национальной народной партии, установили слежку, а в начале осени его арестовало гестапо. Он попал в концентрационный лагерь, созданный – вскоре после присоединения Данцига к Рейху – на берегу залива Фриш-Хаф; назывался лагерь по имени соседней рыбацкой деревушки – Штутхоф. От Вердеровского вокзала в Данциге туда можно было отправиться по узкоколейке до Шивенхорста, а дальше – на пароме через Вислу; все это занимало не больше трех часов.

После ареста отца мать решилась на самоубийство. Вольфганга с сестрой отослали к бабушке в деревню, так что одноклассники забыли о нем. Из концлагеря отец попал на фронт, где штрафников использовали на саперных работах по разминированию. Такие "команды смертников" несли очень высокие потери, зато давали возможность перебежать к русским.

Когда в марте сорок пятого советская Вторая армия взяла Данциг, представлявший собой груду обгоревших развалин, туда вместе с вошедшими победителями вернулся отец моего школьного друга. Он искал и нашел своих детей, а вскоре после окончания войны покинул с ними Польшу в поезде, безопасность которого обеспечивала охрана, так как в нем ехали немецкие антифашисты; местом будущего проживания для уцелевших членов семьи был избран портовый город Штральзунд в советской оккупационной зоне.

Отца назначили директором ландтага. Сохранив свои политические взгляды, несмотря на лагерное промывание мозгов, он сразу же основал местное отделение социал-демократической партии, куда пошли люди; но после насильственного объединения социал-демократов и коммунистов в СЕПГ у отца начались проблемы. Он сопротивлялся решению, принятому наверху. На него давили, пугали арестом, намекали на концентрационный лагерь Бухенвальд, наполнившийся теперь новыми заключенными.

Такое отношение товарищей отца Хайнрихса глубоко оскорбило, а через несколько лет он умер. Сын же, закончив школу, вместе со своим

одноклассником Мартином Груном поехал учиться дальше в Росток и вскоре стал заниматься экономической наукой, в то время как Грун, совершивший побег на весельной лодке, изучал экономику сначала в университете Лунда, а потом в Гамбурге у Карла Шиллера; Хайнрихс сделал карьеру во всемогущей партии, благополучно пережив все перемены ее курса, даже вираж от Ульбрихта к Хонеккеру. С годами он дорос до поста директора Института экономики при Академии наук, заняв тем самым столь высокую должность, что, едва Стена пала и диктатура рабоче-крестьянского государства прекратила свое существование, исторические победители из Западной Германии сразу же сочли необходимым провести переаттестацию Хайнрихса, то есть выкинуть его на улицу.

Так произошло со многими, чья биография была признана неправильной; люди с правильной биографией всегда знали, какую признать неправильной.

Когда мы встретились с моим школьным другом в Фитте, он уже был тяжело болен. Его жена намекнула, что у него серьезные проблемы со здоровьем: теснит грудь, одышка. Однако, по ее словам, он время от времени подрабатывал в Штральзунде налоговым консультантом, научившись отыскивать лазейки в законодательстве.

Вольфганг Хайнрихс, по немецким меркам, неудачник, умер через несколько месяцев после нашей встречи от легочной эмболии, но остался в памяти школьным другом моих юных лет — на выпускном вечере он исполнил балладу "Часы" Карла Леве, да и в военно-морских делах разбирался лучше одноклассников, а я довольствовался полузнанием или ложным знанием, был по-детски глуп, молча воспринял его исчезновение, не решился спросить, почему и теперь, когда я снимаю с луковицы одну пергаментную кожицу за другой, тогдашнее молчание гулко звенит у меня в ушах.

Признаться, эта боль не слишком мучительна. Но сожалеть о том, что Вильгельму Хайнрихсу повезло с отцом — он оказался стойким, а мой — стал членом национал-социалистической партии в тридцать шестом году, когда к вступлению принуждали еще не слишком сильно, было бы нелепо, к тому же мой внутренний голос обычно ехидно посмеивается, когда слышатся подобные отговорки: "Если бы мы тогда... Если бы нам тогда..." Но никаких "если" не случилось...

Пропал мой дядя, исчез школьный друг. Зато ясно и отчетливо мне видится мальчуган, которого я и ищу, — видится там, где творилось ужасное. Примерно за год до начала войны. Погром — среди белого дня, при свете пожара.

Когда вскоре после моего одиннадцатого дня рождения в Данциге и других местах загорелись синагоги, а от булыжников вдребезги разлетались витрины магазинов, я сам в погроме не участвовал, но был любопытным зрителем и видел, как неподалеку от моей гимназии "Конрадинум" на улице Михаэлисвег толпа молодчиков из СА разграбила, повредила и подожгла лангфурскую синагогу. У меня, ставшего очевидцем этой шумной акции, на которую невозмутимо и безучастно взирала полиция (возможно, потому, что огонь толком не разгорался и настоящего пожара не получилось), все это вызвало лишь некоторое удивление.

Не более того. Сколько бы я ни ворошил опавшую листву моих воспоминаний, увы, не находится ничего, что послужило бы мне оправданием. Похоже, мои детские годы не были омрачены сомнениями. Скорее, я легко поддавался соблазну всего того, что повседневный быт предлагал в качестве увлекательных примет "новой эры".

Таких примет было много, они вызывали живейший интерес. В спортивных радиорепортажах и кинохронике побеждал боксер Макс Шмелинг. Перед универмагом "Штернфельд" звенели мелочью кружки сборщиков пожертвований на "зимнюю помощь": "Никто не будет голодать! Никто не будет мерзнуть!" Немецкие автогонщики – например, Бернд Роземайер – были самыми быстрыми на своих "Серебряных стрелах"[1]. Проплывающие над городом дирижабли "Граф Цеппелин" и "Гинденбург" появлялись на глянцевых почтовых открытках. В еженедельных киножурналах показывали, как наш "Легион Кондор" с помощью новейшего оружия освобождал Испанию от "красной угрозы". На школьном дворе мы играли в осаду Алькасара[2]. А несколькими месяцами раньше мы восторженно следили за дождем золотых медалей на Олимпийских играх. Позднее нашим кумиром стал бегун на средние дистанции Рудольф Харбиг. В киножурналах Германский Рейх сиял под лучами прожекторов.

Еще в последние годы Вольного города – мне было десять – мальчик с моими именем и фамилией вполне добровольно вступил в "Юнгфольк", детскую организацию, которая являлась подготовительной ступенью для "Гитлерюгенд". Нас называли "волчатами". Я попросил, чтобы на Рождество мне подарили форму с пилоткой, галстуком, ремнем и портупеей.

Не скажу, что я был особенно активен, рвался носить вымпел, выступать с трибуны или хотел стать звеньевым с аксельбантами, но во всех мероприятиях участвовал охотно, хотя мне действовали на нервы вечное распевание маршей и тупая дробь барабанов.

Привлекала не только форма. Привлекательному девизу "Молодежью должны руководить молодые!" соответствовали и сами проводимые мероприятия: палаточные лагеря, военно-спортивные игры, костры среди валунов, которыми в холмистых окрестностях на юге города отделили круглую площадку для проведения больших торжественных сборов-"тингов"[3], праздник летнего солнцестояния под звездным небом, зóря на лужайке, открытой на восток. Мы пели с таким энтузиазмом, будто наше пение возвеличивало Рейх все больше и больше.

Мой звеньевой был из рабочей семьи, проживавшей в поселке Новая Шотландия. Отличный парень, старше меня года на два, не больше, смышленый, еще и ходить на руках умел. Я восхищался им, смеялся, когда смеялся он, бегал за ним по пятам, слушался во всем.

Все это тянуло меня прочь от косного мещанского быта, от семейных обязанностей, от отца, от болтливых клиентов перед прилавком, от тес-

1. "Серебряные стрелы" – гоночные автомобили немецких автозаводов "Мерседес" и "Ауто унион"; для соревнований их красили в серебристый цвет.
2. Осада Алькасара (1936) – осада замка Алькасар в Толедо республиканцами в ходе гражданской войны в Испании; снятие осады и победа франкистов преподносились прессой фашистской Германии как подвиг братского народа.
3. Тинг – судилище у древних германцев.

ноты двухкомнатной квартиры, где в моем личном распоряжении находилась лишь небольшая ниша под подоконником правого окна в гостиной — узкое пространство, которым приходилось довольствоваться.

Там, на полках, стояли книги и альбом, куда я вклеивал репродукции. Там нашли свое пристанище пластилин, из которого я лепил свои первые фигурки, блокнот фирмы "Пеликан" с рисовальной бумагой, ящичек с гуашью двенадцати цветов, довольно случайная коллекция марок, всякая всячина и тайные тетради с моей писаниной.

Оглядываясь назад, я немногое вижу так отчетливо, как эту нишу под подоконником, которая годами служила моим прибежищем; сестре Вальтраут, которая была на три года младше, отводилась левая ниша.

Следует, пожалуй, заметить, что я был не только "волчонком", не только маршировал и распевал "Наше знамя реет впереди", но и любил посидеть, повозиться в нише со своими сокровищами. Даже в общем строю я оставался одиночкой, чем, однако, не привлекал к себе особого внимания; шагая в ногу со всеми, я витал мыслями где-то далеко.

Из начальной школы я перешел в гимназию "Конрадинум". Отдать меня туда решили родители; я носил традиционную красную фуражку, украшенную золотой литерой "С", мог гордиться и хвастать тем, что являюсь учеником этого достопочтенного заведения; родители платили за это деньги, доставшиеся немалым трудом, — не помню, какой была плата, но для семьи она была ежемесячным бременем, хотя сын знал о нем только по намекам.

Дела в лавке колониальных товаров, откуда узкий, похожий на кишку коридор вел к двери нашей квартиры и где умело хозяйничала моя мать Хелена Грасс, а мой отец Вильгельм (его называли Вилли) декорировал витрину, договаривался с оптовиками, надписывал ценники — шли так себе, а то и вовсе плохо. Во времена, когда платежным средством служил "данцигский гульден", торговлю осложняли таможенные ограничения. На каждом углу работали конкуренты. Чтобы получить разрешение на продажу дополнительного количества молока, сметаны, масла и творога, пришлось пожертвовать доброй половиной кухни; взамен осталась каморка без окон, но с газовой плитой и холодильным шкафом. Все больше клиентов переманивала сеть магазинов "Кайзерс Каффее". Поставки осуществлялись лишь после своевременной оплаты всех прежних счетов. Зато чересчур много клиентов хотели покупать в долг. Особенно любили покупки в кредит жены чиновников таможни, почты или полиции. Они клянчили, торговались, выпрашивали скидку. Каждую субботу, закрыв лавку, родители подводили итог: "Опять почти без выручки".

Мне следовало бы понять, что у мамы попросту нет возможности еженедельно выдавать мне деньги на карманные расходы. Когда мое нытье ей надоело — одноклассникам родители на карманные деньги не скупились, — она сунула мне потрепанную тетрадку, где записывались долги всех клиентов, которые, по словам матери, "жили взаймы". Как сейчас вижу перед собой эту тетрадку, открываю ее.

Аккуратным почерком в ней записаны фамилии, адреса, а также — с точностью до последнего пфеннига — суммы задолженностей, иногда ненадолго снижающиеся, но потом неизменно вновь растущие: бухгалтерия добросовестной хозяйки, у которой есть все основания беспоко-

иться за судьбу своей лавки, и одновременно зеркало, отражающее общее положение дел в экономике из-за усилившейся безработицы.

"В понедельник заявятся посредники от поставщиков, им нужна наличность", — постоянно твердила мама. Однако она никогда не попрекала ни сына, ни позднее дочку деньгами, которые приходилось платить за учебу, никогда не корила словами вроде: "Я жертвую собой ради вас. А что взамен?"

Когда мы с сестрой ссорились чересчур шумно, мама, которой не хватало времени на все тонкости воспитания с учетом отдаленных педагогических последствий, извинялась перед покупателями: "Минутку!", прибегала из лавки, но никогда не спрашивала: "Кто первый начал?", а молча отвешивала обоим по затрещине, после чего с приветливой миной возвращалась к покупателям; она, ласковая, добрая, готовая сентиментально всплакнуть, она, склонная помечтать в редкую минуту досуга и все, что ей нравилось, называвшая "таким романтичным", она, заботливейшая из матерей, вручила однажды сыну потрепанную тетрадку и предложила пять процентов от каждого гульдена и пфеннига тех долгов, которые мне удастся взыскать с должника одной лишь силой красноречия, — а ее мне было не занимать! — с этим испещренным цифрами реестром мне предстояло вечером или в другое время, свободное от занятий в "юнгфольке", которые мама считала детскими глупостями, обходить должников, дабы требовать от них если не полного погашения, то хотя бы частичной выплаты накопившегося кредита.

Мама посоветовала мне уделить особое внимание вечерним часам определенного дня недели: "Жалованье платят по пятницам, тут уж иди по домам и бери деньги".

Так в десять или одиннадцать лет, учась в пятом или шестом классе, я сделался не только ушлым, но и вполне успешным сборщиком долгов. От меня нельзя было отделаться яблочком или дешевой конфеткой. Я находил слова, способные пронять должника. Слух мой не внимал елейным увещеваниям. Если дверь пытались захлопнуть, я просовывал в щель башмак. По пятницам я проявлял особую настойчивость, напоминая, что должнику как раз выплатили жалованье. Даже воскресенья не были для меня святы. А на малых и больших каникулах я работал целыми днями.

Вскоре я начал сдавать матери такие суммы, что она из педагогических соображений урезала мою долю с пяти процентов до трех. Я поканючил, но вынужден был согласиться. А она сказала: "Чтоб не зарывался!"

В конце концов денег у меня набиралось побольше, чем у одноклассников, живших на улицах Упхагенвег или Штеффенсвег, в виллах под крышами из двойных рядов черепицы, с колоннадами, балконными террасами и отдельным входом для прислуги, — отцы их были адвокаты, врачи, торговцы зерном, даже фабриканты и судовладельцы. Мои доходы хранились в жестянке из-под табака, спрятанной в нише под подоконником. Я покупал про запас блокноты для рисования и книги, приобрел несколько томов бремовской "Жизни животных". Страстному любителю кино теперь был доступен любой кинотеатр в Старом городе, хватало денег даже на то, чтобы добраться до "Рокси" в дворцовом парке Оливы, заплатив еще и за проезд на трамвае в оба конца. Я не пропускал ни одной новой кинокартины.

Тогда, во времена Вольного города, перед художественным фильмом еще показывали хроникальный журнал "Фокс — еженедельное звуковое кинообозрение". Меня восхищал Гарри Пиль. Я хохотал над Толстым и Тонким — Оливером Харди и Стэном Лорелом. Золотоискатель Чарли Чаплин съедал ботинок вместе со шнурками. Звезда американских детских фильмов Ширли Темпл казалась мне глупенькой и не слишком привлекательной. У меня хватило денег, чтобы несколько раз посмотреть немой фильм с Бастером Китоном, чьи комические трюки настраивали меня на грустный лад и чья печальная физиономия вызывала у меня смех.

Когда это произошло, на мамин день рождения или в День матери? Во всяком случае, у меня еще до войны появилась мысль подарить ей нечто особенное, импортное. Я долго размышлял перед витриной, наслаждался муками выбора, колебался между овальным хрустальным блюдом в универмаге "Штернфельд" и электроутюгом.

Наконец победило изящное изделие фирмы "Сименс", насчет цены которого мать устроила мне строгий допрос, чтобы потом хранить эту тайну от родственников, будто речь шла о смертном грехе мотовства; отцу, гордившемуся предприимчивостью сына, также не разрешалось выдавать секрет моего неожиданного богатства. Каждый раз после глажки утюг тотчас исчезал в буфете.

Сбор долгов обогатил меня еще в одном отношении, проявившемся десятилетиями позже в реалистичности моей прозы.

Я поднимался и спускался по лестницам доходных домов, где на каждом этаже царили свои ароматы. Запах квашеной капусты перебивался вонью от кипящих баков с бельем. Выше этажом разило кошками и детскими пеленками. От каждой квартиры пахло по-особому. Кислым или горелым, если хозяйка, скажем, как раз укладывала волосы с помощью завивочных щипцов. Запах пожилых дам: нафталиновые шарики от моли и лаванда фирмы "Уральт". От овдовевших пенсионеров несло перегаром.

Обонянием, слухом, зрением я постигал: бедность и заботы многодетных рабочих семей, спесь чиновников, ругавшихся весьма литературно, выспренне и из принципа не желавших платить долги, потребность одиноких женщин хоть немного поболтать за кухонным столом, грозное молчание или затяжные ссоры между соседями. Все это складывалось в мою внутреннюю копилку: отцы, пьяными или трезвыми лупящие своих детей, визгливая брань матерей, молчаливые или косноязычные дети, одышка, хронический кашель, вздохи и проклятья, слезы и рыданья, ненависть к людям и любовь к собакам, канарейкам, бесконечная притча о блудном сыне, судьбы пролетариев и мещан, одни — рассказанные на нижненемецком диалекте с вкраплениями польских слов, другие — на языке бюрократическом, с канцеляризмами и аббревиатурами, рассказы об изменах и истории о силе духа и слабости плоти, подлинный драматизм которых стал мне понятен лишь позднее.

Это и еще многое другое — не только тумаки, достававшиеся мне при сборе долгов — обогатило меня, создало запас на те времена, когда профессиональный рассказчик начал испытывать дефицит материала, нехватку слов. Мне было достаточно всего лишь повернуть время вспять, почувствовать старые запахи, заняться сортировкой вони,

пройти вверх и вниз по лестницам, нажимая кнопки дверных звонков или стучась в двери — особенно часто пятничными вечерами.

Возможно, рано благоприобретенное умение обращаться с гульденами Вольного города и расчеты с точностью до пфеннига, а после тридцать девятого года и начала войны — переход на рейхсмарки (особым спросом пользовались серебряные монеты достоинством в пять марок) — настолько прочно засели во мне, что после войны я легко и без малейшего зазрения совести освоил на черном рынке торговлю таким дефицитным товаром, как кремни для зажигалок и бритвенные лезвия, а позже проявлял настырную требовательность как автор на переговорах о контрактах с тугоухими издателями.

У меня немало причин благодарить маму за то, что она рано научила меня трезвому отношению к деньгам, пусть даже за счет сбора долгов. Когда в начале семидесятых я работал над "Дневником улитки", мои сыновья Франц и Рауль упросили меня составить словесный автопортрет, и я написал, что "получил вполне приличное дурное воспитание". Это был намек на сбор долгов.

Я забыл хотя бы мимоходом упомянуть воспаление миндалин, которое на излете детства частенько освобождало меня на несколько дней от школы, но зато удерживало и от ревностного взыскания дани с должников. Выздоравливающему сыну мама приносила в постель гоголь-моголь — взбитый яичный желток с сахаром.

Инкапсулы

Одно слово перекликается с другим. Долги и вина. Близкие понятия, прочно укорененные в питательной почве немецкого языка. Однако если с долгами можно как-то расквитаться — хотя бы в рассрочку, как это делали материнские должники, — то вина, доказанная ли, скрытая от глаз, или даже только предполагаемая, не исчезает. Ее часы продолжают тикать. От нее никуда не деться. Она твердит свою речевку, не боясь повторов, но иногда милостиво позволяет забыть о себе, чтобы перезимовать в ночных снах. Она вроде осадка на донышке, вроде нестираемого пятнышка, неосушаемой лужицы. Она с ранних лет учится, каясь, искать прибежище в ушной раковине, ссылаться на срок давности или состоявшееся прощение, преуменьшать себя, превращаться почти в ничто, но потом появляется вновь и, когда луковица теряет одну пергаментную оболочку за другой, на самой свежей кожице обнаруживаются ее неистребимые письмена — то крупным шрифтом, то петитной сноской или примечанием, то опять вполне отчетливо, а то снова в виде иероглифов, которые трудно разобрать или вовсе невозможно расшифровать. Моя надпись коротка и разборчива: я молчал.

Но ведь молчали многие, поэтому велико искушение вовсе пренебречь собственным грехом со ссылкой на всеобщую вину или упомянуть себя лишь косвенно, в третьем лице: мол, да, он видел и молчал... А точнее — ушел в себя, где много места для игры в прятки.

Стоит мне только вызвать из прошлого себя тогдашнего, тринадцатилетнего, подвергнуть его строгому допросу, испытывая соблазн устроить над

ним суд, будто это кто-то посторонний, чьи беды оставляют меня равнодушным, как я вижу перед собой мальчугана в коротких штанах и гольфах, который постоянно корчит гримасы. Он уклоняется от вопросов, не хочет под суд, не желает быть осужденным. Он бежит под защиту матери, к ней на колени. Говорит: "Я же был еще ребенок, всего лишь ребенок..."

Тогда я стараюсь успокоить его, прошу помочь чистить луковицу, но он противится, не дает ответов, не хочет, чтобы я использовал себе на потребу ранний автопортрет. Он отказывает мне в праве "вершить расправу" над ним, да еще глядя на него "свысока".

Вот теперь он слегка щурится, поджимает губы, нервно кривит рот, строит разные гримасы, склоняется над книгой, чтобы тут же унестись мыслями туда, где его не достать.

Вижу, как он читает. На это у него хватает терпения, только на это. Читая, он затыкает указательными пальцами уши, чтобы отрешиться от тесной квартиры, от веселого голоска сестры. Вот она что-то напевает, подходит ближе. Надо быть начеку, потому что сестра любит захлопнуть его книжку, желая поиграть, ей всегда хочется играть, она настоящий вихрь. Сестру он любил только на расстоянии.

Книги очень рано стали для него чем-то вроде дырки в заборе, через которую можно было прошмыгнуть в иные миры. Вижу, как он корчит гримасы, застыв среди меблированной гостиной с настолько отсутствующим видом, что мать вынуждена спросить: "Да где ты опять? Снова что-то насочинял?"

Где же я бывал на самом деле, когда вот так сидел с отсутствующим видом? В каких эмпиреях витал гримасничающий мальчик, не покидая гостиной или школьного класса? Куда закатывался его нитяной клубочек?

Путешествуя в прошлое, я, алчный до кровавых внутренностей Истории, сходил с ума по мрачному Средневековью или барочной эпохе Тридцатилетней войны.

Так для мальчика, который звался моим именем, дни шли чередой костюмированных исторических эпизодов, которые возникали в его фантазии. Мне всегда хотелось быть кем-то другим, жить в иных временах, наподобие персонажа по прозвищу Напеременускор, с которым я встретился несколько лет спустя в финале романа, когда зачитывался дешевым изданием "Симплициссимуса"[1]: зловещий и в то же время притягательный персонаж, с которым можно было сменить мушкетерские шаровары на грубую рясу отшельника.

Хотя я был отлично осведомлен о текущих событиях, наполненных речами Вождя, блицкригами, героями-подводниками и летчиками-асами, удостоенными высших наград, — мои географические познания расширились вплоть до Черногории и архипелагов греческих островов, а с лета сорок первого, благодаря продвигающемуся фронту, уже до Смоленска, Киева и аж до Ладожского озера, — все же одновременно я уходил с крестоносцами к Иерусалиму, служил оруженосцем императора Барбароссы, сражался в рядах Тевтонского ордена против балтийского

1. "Симплициссимус" — сатирический роман немецкого писателя Ханса Якоба Кристофа Гриммельсхаузена (1621–1676), классический текст немецкого барокко; сюжет романа строится вокруг взросления главного героя — Симплиция Симплициссимуса.

племени пруссов, подвергался папскому отлучению от церкви, находился в свите Конрадина и безропотно погибал вместе с последним Гогенштауфеном[1].

Оставаясь слепым к каждодневным преступлениям, которые творились у самого нашего города, на берегу Вислинского залива, — на расстоянии всего лишь двух деревень от никельвальдовского летнего филиала нашей гимназии "Конрадинум", все разрастался и разрастался концентрационный лагерь Штутхоф, — я горячо возмущался злодеяниями папской власти и жестокостью инквизиции. С одной стороны, меня поражало искусное применение каленого железа, щипцов и тисков, но с другой — я мнил себя мстителем за сожженных ведьм и еретиков. Я ненавидел Григория IX и других пап. А в Западной Пруссии сгонял с земли польских крестьян вместе с женами и детьми; я же пребывал вассалом Фридриха II, который поселил в Апулии верных ему сарацин и разговаривал по-арабски со своими соколами.

Оборачиваясь назад, можно было бы подумать, что гримасничающий гимназист просто увел питаемое книгами чувство справедливости на резервные позиции в средневековые тылы. Вероятно, поэтому мой первый — задуманный весьма объемистым — писательский опус обращался к событиям, далеким от депортации последних данцигских евреев из гетто на улице Маузегассе в концентрационный лагерь Терезиенштадт и от всех "котлов", где шли сражения летом сорок первого года; середина тринадцатого века должна была послужить временем сюжетных хитросплетений совершенно невероятного свойства.

Газета для школьников "Хильф мит"[2] объявила литературный конкурс. За сочинения юным авторам были обещаны призы.

Итак, гримасничающий мальчик (или мое предполагаемое, но все более теряющееся в мемуарной вязи "я") начал писать в ранее девственно-чистом дневнике не рассказ, нет, а сразу огромный роман, который — и это вполне достоверно — назывался "Кашубы". Собственно говоря, я ведь состоял с ними в родстве.

В годы моего детства мы часто ездили за границу Вольного города в сторону Кокошкен и Цукау, чтобы навестить мою двоюродную бабку Анну, которая жила с другими четырьмя членами семьи в тесной хибарке под низким потолком. Ватрушка, студень, маринованные огурчики и грибы, мед, чернослив и куриные потроха: желудочек, сердце, печенка, — сладкое и кислое, а также картофельная самогонка — все это сразу ставилось на стол, за которым одновременно плакали и смеялись.

Зимой дядя Йозеф, старший сын двоюродной бабки, забирал нас на санной упряжке. Было забавно. Границу Вольного города пересекали у Гольдкруга. Дядя Йозеф приветствовал таможенников по-немецки и по-польски, а от людей в обеих формах вместо ответного приветствия неслась только брань. Это было уже не так забавно. Говорят, будто незадолго до войны он, вытащив из шкафа польский штандарт и флаг со свастикой, сказал: "Вот начнется война, полезу на дерево и буду смотреть, кто придет первым. Тогда и флаг вывешу — хоть тот, хоть этот..."

1. Имеются в виду отлучение от церкви германского императора Конрадина (последнего из династии Гогенштауфенов) в 1267 г. и его гибель в ходе восстания итальянских территорий империи в 1268 г.
2. "Помогай" (*нем.*).

И позднее, спустя довольно много времени, мы продолжали видеться с матерью и братьями расстрелянного дяди Франца, но уже тайком, когда наша лавка закрывалась. В военные годы из-за продуктового дефицита был весьма удобен натуральный обмен: кур и свежие яйца меняли на изюм, пекарский порошок, нитки и керосин. В нашей лавке возле сельдяной бочки возвышался керосиновый бак в рост человека, керосин лился из краника; до сих пор помню его запах. Перед глазами стоят и сценки визитов моей двоюродной бабки Анны с товаром для обмена: она вытаскивала из-под юбок ощипанного гуся, бросала его на прилавок, приговаривая: "Фунтов на десять потянет, не меньше..."

Словом, кашубская речь была мне знакома. А когда кашубская родня переходила со своего старославянского наречия на здешний нижненемецкий диалект, чтобы поведать о собственных чаяниях или бедах, то они опускали артикли и вопреки немецкой грамматике употребляли двойное отрицание. Их тягучий говор напоминал густую простоквашу, куда они любили подмешивать черные сухари и сахарный песок.

С незапамятных времен остатки кашубов осели среди холмистых окрестностей Данцига, а сменяющиеся правители никогда не считали их ни настоящими поляками, ни настоящими немцами. Из-за последней войны они вновь попали под власть Германии; правительственным указом кашубы были отнесены к третьей этнической категории немцев. Это произошло под давлением властей с расчетом на то, что в будущем кашубы сумеют стать полноценными "рейхснемцами": молодые женщины – пригодными для Имперской службы труда, а молодые мужчины, вроде дяди Яна, которого теперь звали Ханнес, – для армейской службы.

Конечно, следовало бы рассказать о том, что было рядом, о нынешних кашубских бедах. Но сюжет моего романа-первенца, полного смертей и убийств, был перенесен в тринадцатый век, который Шиллер назвал "бесцарственным" и "грозным"; это объяснялось моим пристрастием к самым мрачным главам истории. Мой опус был посвящен не столько живописанию старославянских нравов и обычаев, сколько средневековым судилищам, жестокому насилию и произволу, воцарившимся после падения Гогенштауфенов.

От моего опуса не сохранилось ни единого слова. В памяти не осталось даже намека на какое-либо ужасающее злодеяние, которое требовало ответной кровной мести. Ни одного имени, которым я наделил своих персонажей – рыцарей, крестьян, нищих. Ни одного неправедного суда, совершенного церковниками, ни единого вопля ведьмы. Но кровь там наверняка текла рекой, громоздились костры для еретиков, поджигаемые смоляными факелами, ибо к концу первой главы все герои были умерщвлены: обезглавлены, повешены, посажены на кол, сожжены или четвертованы. Более того, не выжил никто, кто мог бы отомстить за погибших героев.

Подобным литературным кладбищем завершилась моя ранняя проба сочинительства. Но если бы рукопись сохранилась, она могла бы представить интерес разве что для фетишистов, разыскивающих подобные документы.

Повешенные, обезглавленные, сожженные, подвергнутые четвертованию – все эти трупы, болтающиеся на дубовых сучьях или брошенные на съедение воронью, могли бы сделаться призраками, чтобы по-

явиться в следующих главах, пугая очередных персонажей, однако мне такая мысль в голову не приходила — я никогда не любил историй с привидениями. Но, возможно, ранний опыт неэкономного обращения с придуманными лицами, застопорившего мое писательство, впоследствии привел к тому, что, став уже расчетливым автором, я гораздо рачительнее относился к героям моих романов.

Оскар Мацерат уцелел, сделавшись медийным магнатом. Его бабка дожила до ста семи лет; ради нее и вместе с ней он затеял поездку в Колумбию, — действие происходит в романе "Крысиха", где прошлое переплетается с будущим, — чтобы отпраздновать там ее день рождения.

О ранней смерти Туллы Покрифке говорилось только предположительно — на самом деле семнадцатилетняя Тулла, беременная на последнем месяце, хотя и попала на борт затонувшего океанского лайнера "Вильгельм Густлофф", который перевозил беженцев, но сумела спастись, — поэтому когда новелла "Траектория краба" созрела, наконец, для написания, семидесятилетняя Тулла пригодилась в качестве персонажа. Она стала бабушкой юноши с праворадикальными взглядами, который восхваляет в Интернете нацистского "мученика".

То же самое относится и к моей любимице Йенни Брунис, которая — пусть сильно покалеченная и навек простуженная — смогла пережить "Собачьи годы"; ведь меня тоже судьба пощадила, чтобы я опять и опять находил себе новое поприще.

А тот не знавший меры мальчик — я сам, но такой, каким мне еще предстояло себя отыскать — все же не принял участия в конкурсе иллюстрированной газеты для школьников "Хильф мит". Тут можно усмотреть положительные обстоятельства: ведь, пожалуй, это уберегло меня от успеха на смотре юных литературных дарований национал-социалистического рейха. Допустим, меня удостоили бы второй или третьей премии, не говоря уж о первой; подобное начало моей писательской карьеры приобрело бы коричневый оттенок — сущая находка для журналистов, которые неизменно жаждут компромата. На меня навесили бы соответствующий ярлык, окрестили бы юным нацистом или по крайней мере оппортунистом по отношению к тогдашнему режиму. Судей хватило бы.

Только я и сам могу найти на себя компромат, сформулировать обвинение и вынести себе приговор. Да, я состоял в организации "Гитлерюгенд", был юным нацистом. До конца веровал в идеи национал-социализма. Фанатиком, правда, не был, не маршировал в первой шеренге, однако, подчиняясь некоему рефлексу, держал равнение на знамя, о котором говорилось в песне, что оно значит "больше, чем смерть", и шагал в общем строю. Мою веру не омрачали сомнения, меня не может оправдать ничто, хоть сколько-нибудь похожее на саботаж или тайное распространение листовок. Я не вызывал подозрений анекдотами о Геринге. Напротив, я действительно считал, что мое отечество находится в опасности, поскольку его окружают враги.

С тех пор, как меня ужаснула "Бромбергская резня"[1], статьями о которой в первые дни войны полнились страницы газеты "Данцигер фор-

1. "Бромбергская резня" — массовые убийства немцев в г. Быдгощ (*нем.* Bromberg) 3 сентября 1939 г., сразу после нападения Германии на Польшу; до сих пор неизвестно, была ли это акция польских партизан или провокация рейха.

постен", клеймившей всех поляков как подлых убийц, любая акция Германии казалась мне оправданным возмездием. Мое негодование адресовалось разве что местным партийным бонзам, так называемым "золотым фазанам", которые трусливо уклонялись от фронта, отсиживались в тылу, донимая нас пустопорожними речами с трибун во время парадов, постоянно произнося всуе святое имя Вождя, которому мы верили, нет, в которого лично я верил, не утруждая себя лишними вопросами, верил до тех пор, пока, как предсказывал наш гимн, все не пошло прахом.

Вот таким я вижу себя в зеркале заднего вида. Этого не сотрешь, как надпись на грифельной доске, где всегда под рукой влажная губка. Это остается. До тех пор, пока хотя бы отдельной строчкой сидят в памяти песни того времени: "Вперед, вперед зовут фанфары..."

Оправдывая мальчика, то есть меня, даже не скажешь: "Нас совратили!" Нет, это мы позволили, я позволил себя совратить.

Ах, могла бы сюсюкнуть луковица, обнаруживая пробелы на восьмой пергаментной кожице: тебе повезло, ты был мал и глуп, не сделал ничего плохого, не ябедничал, не донес на соседа, рискнувшего рассказать анекдот о толстом рейхсмаршале Геринге, не выдал приехавшего на побывку фронтовика, хваставшего, как ловко он увернулся от возможности совершить подвиг, достойный Рыцарского креста. Нет, ты не донес на учителя истории, который осмелился вскользь высказать на уроке сомнение в "окончательной победе" и назвал немецкий народ "стадом баранов", хотя этот штудиенрат был жутким занудой и его ненавидели все ученики.

Пожалуй, это правда. Стучать блокварту, районному партийному начальнику, школьному педелю — было не в моих правилах. Но, когда мой учитель латыни, бывший к тому же священником, которого полагалось называть "монсиньоре", перестал строго спрашивать с нас латинские вокабулы, поскольку внезапно исчез, я вновь не задавал вопросов, хотя в это время у всех на устах появилось страшное слово "Штутхоф".

Вскоре мне исполнилось четырнадцать лет; наш радиоприемник все чаще передавал сопровождаемые сигналом фанфар экстренные сообщения о победах, об окружении, куда попал противник в российских степях. Под надоедливо звучавшие изо дня в день "Прелюдии" Листа происходили события, которые расширяли мои географические познания, зато с латынью дела у меня обстояли плохо.

После очередной смены школы я вижу себя учеником гимназии Святого Иоанна, которая находилась в Старом городе, на улице Фляйшергассе, неподалеку от городского музея и церкви Святой Троицы. У этого учебного заведения имелись готические подвалы, его подземные ходы будоражили мое воображение вплоть до тех пор, пока я не стал писать "Собачьи годы". Поэтому мне было нетрудно отправить персонажей моего романа, друзей и одновременно врагов Эдди Амзеля и Вальтера Матерна, именно в эту гимназию, чтобы там из раздевалки спортивного зала они перебрались в подземные ходы францисканцев...

Когда через несколько месяцев мой учитель латыни монсиньоре Стахник вернулся из концлагеря и стал вновь преподавать в гимназии

Святого Иоанна, я так и не стал задавать вопросов и требовать ответов, хотя прослыл учеником не только упрямым, но и дерзким.

Впрочем, ответить он мне все равно бы не смог. Обязательство молчать распространялось на всех, кого выпускали из концлагеря. Вопросы лишь добавили бы проблем Стахнику, в котором не ощущалось видимых перемен.

Но, вероятно, мое молчание все же тяготило меня, иначе в моем принципиально обращенном к прошлому романе "Палтус" я не стал бы воздвигать памятник моему учителю латыни, бывшему председателю Партии центра в Вольном городе, неустанному борцу за беатификацию отшельницы Доротеи из Монтау.

Он и готическая отшельница. Его усилия по ее беатификации. На лице у монсеньоре появлялась восторженная мина, когда мы заводили разговор о ее строжайшем посте. Нам легко удавалось отвлечь его от хитроумных конструкций латинской грамматики, достаточно было спросить о блаженной Доротее.

Что отравило ее семейную жизнь с оружейником?

Какие чудеса приписываются ей?

Почему она повелела, чтобы ее заживо замуровали в стену собора в Мариенвердере?

Сохраняла ли она, истощав, свою прежнюю красоту?

Все это, да еще его глухой круглый воротничок пришли мне на ум, когда я вспомнил моего учителя латыни.

Мои запоздалые дифирамбы, пожалуй, понравились бы монсиньоре Стахнику только отчасти. Слишком уж разнились точки зрения, с которых мы оценивали жизнь и голодную смерть исполненной раскаяния Доротеи из Монтау. Когда в середине семидесятых я с женой ездил в Мюнстерланд, чтобы собрать материал о местных достопримечательностях барочных времен для моей новеллы "Встреча в Тельгте", мы навестили Стахника, обосновавшегося на склоне лет в женском монастыре, где его просторная и комфортабельно обставленная келья располагала к беседе. В ходе разговора я избегал конфликтных тем, связанных с католицизмом. Ута, вышедшая из протестантской среды, была несколько удивлена тем, что пожилой господин проводил свои тихие дни среди женщин, избравших монастырский образ жизни; укутанные сверху донизу в свои одеяния монахини попались нам только на входе.

С кокетством, которого я никогда не замечал за учителем латыни, монсеньоре Стахник шутливо назвал себя "петухом в курятнике". Он сидел передо мной, гораздо более упитанный, чем я его помнил — видно, монастырская кухня шла ему впрок.

Мы немного поболтали о завершившемся, наконец, процессе беатификации. В политике он до сих пор отстаивал центристские позиции, которых, как он считал, нынешние христианские демократы придерживаются недостаточно строго. Он с похвалой отозвался о патере Винке, моем бывшем исповеднике, поскольку, мол, этот священник "воистину отважно защищал рабочих-католиков своего прихода". Он вспоминал преподавателей гимназии Святого Иоанна, ее директора, оба сына которого "нашли", как он выразился, смерть на затонувшем линкоре "Бисмарк".

Но к прошлому он возвращался неохотно. "Трудные тогда были времена... Нет, нет, никто на меня не доносил".

Он великодушно запамятовал, что я плохо учил латынь.

Мы беседовали о том Данциге, когда город со всеми башнями и фронтонами еще выглядел, как на почтовых открытках. Мой краткий отчет о неоднократных поездках в Гданьск он выслушал с удовлетворением: "Говорят, восстановлена церковь Святой Троицы, смотрится не хуже прежнего..." Однако, когда я затронул тему моего молчания в школьные годы, заговорил о вине, не признающей срока давности, монсеньоре Стахник лишь отмахнулся с улыбкой. Мне почудилось, будто он произнес: "Ego te absolvo"[1].

Не отличаясь чрезмерной набожностью, мать лишь изредка побуждала меня к посещению церкви, однако католическое воспитание рано наложило на меня свой отпечаток; это как крестное знамение между исповедальней, главным алтарем и алтарем Богоматери. Мне нравилось звучание слов "дароносица" и "дарохранительница", поэтому я с удовольствием повторял их. Но во что же я верил до того, как начал верить только в Вождя?

Святой Дух был для меня реальнее, чем Бог-отец и Сын. Многофигурные алтари, пропитанная ладаном химера церкви Сердца Христова питали мою веру, которая была не столько христианской, сколько языческой. Будто во плоти видел я Деву Марию; словно оборотень по имени Напеременускор, я становился архангелом, "познавшим" ее.

А духовно окормляли меня те истины, которые вели свою многоликую жизнь в прочитанных книгах; на этой почве зарождались мои фантазии. Но что, собственно, читал четырнадцатилетний подросток?

Уж во всяком случае не религиозную литературу, не пропагандистские брошюрки и не вирши с набившими оскомину рифмами, которые прославляли "кровь и почву". Серии приключенческих книг о Томе Миксе с Дикого Запада меня не захватывали, не увлекали и выходившие том за томом романы Карла Мая, хотя им зачитывались мои одноклассники. Начал я с того, что́ на мое счастье стояло в мамином книжном шкафу.

Примерно год назад мне вручали в столице Венгрии литературную премию — каминные часы в свинцово-серой оправе, которые выглядели так, словно должны были напоминать собой о "свинцовых временах"; у Имре Барны, редактора моего венгерского издательства, я поинтересовался, как зовут писателя, чей роман "Искушение в Будапеште" поразил меня в юные годы.

Немного позднее мне доставили от букиниста объемистую книгу. Написал ее Франц Кёрменди, теперь уже забытый автор. Выпущенный в тридцать третьем году берлинским издательством "Пропилеи", его роман повествует на пятистах страницах об искателях счастья, мужчинах, которые после Первой мировой войны скучали в столичных кафе, о назревающей пролетарской революции и контрреволюции, а также о бомбистах-анархистах. Но прежде всего книга рассказывала о герое, лишившемся своих корней, бедном, но стремящемся сделать карьеру; по-

1. "Прощаю тебе твои грехи" (*лат.*).

кинув раскинувшийся по обеим сторонам Дуная город, он странствует по миру и возвращается домой с богатой женой, чтобы здесь, в Будапеште, поддаться искушению обманчивой и ненадежной любви.

Этот роман, который до сих пор читается так, будто написан совсем недавно, я нашел среди маминых книг, весьма пестрого собрания литературы, быстро проглоченного сыном; названия других книг пока упоминать не буду, ибо вижу себя, стремящегося утолить неутихающий голод в читальном зале городской библиотеки, находившейся неподалеку от школы Святого Петра.

Эта школа послужила промежуточной остановкой; я был переведен туда по решению педсовета после того, как мне пришлось уйти из лангфурской гимназии "Конрадинум": не чуравшийся рукоприкладства учитель физкультуры, который мучил нас упражнениями на брусьях и турнике, пожаловался — о чем в письменном виде были уведомлены мои родители — на мое "упрямство и вызывающую наглость".

Но что означает "вижу себя в городской библиотеке"? С помощью немногочисленных фотографий, которые сумела сберечь мама и после войны увезти с собой на Запад, мне удалось набросать еще один подростковый автопортрет. Прыщиков, которые я потом безуспешно пытался вывести каплями "Питралон" и "миндальными отрубями", пока еще нет, однако выпяченная нижняя губа — результат врожденной прогении[1] — делает выражение моего лица уже не слишком детским. Серьезный, даже мрачноватый, я похож на рано достигшего переходного возраста юнца, которому учителя приписывают упрямство и непослушание; если такого разозлить, он может и рукам волю дать.

Так оно и получилось, когда толстый учитель музыки исполнил своим жиденьким фальцетом народную песню "Дикая роза", а мы принялись изображать джазовый аккомпанемент и подергиваться, на что он отреагировал бранью в мой, и только в мой адрес, и даже рискнул встряхнуть меня за плечи; я схватил его левой рукой за галстук и стал душить до тех пор, пока галстук, оказавшийся бумажным сообразно дефициту военного времени, не оборвался под узлом, в результате чего вновь возникли обстоятельства, требовавшие перевода в другую школу — это была педагогически превентивная мера, позволявшая к тому же замять неприятный инцидент; так меня перевели из школы Святого Петра в школу Святого Иоанна. Неудивительно, что я замкнулся в себе, сделался неприступным даже для мамы.

Итак, я вижу, как иду с угрюмым выражением лица в городскую библиотеку, кстати говоря, весьма богатую, ибо, следуя ганзейским традициям, горожане заботились о муниципальных культурных учреждениях. Я предполагал, что библиотека сгорела вместе с городом, когда город был испепелен пожаром в конце войны. Однако, когда весной пятьдесят восьмого я вновь приехал в теперь уже польский Гданьск, отыскивая следы Данцига, то есть ведя счет потерям, я обнаружил, что городская библиотека уцелела; все в ней было по-старому, сохранились даже деревянные панели стенной обшивки, поэтому мне было легко представить себе подростка в коротких штанах, сидящего за одним из

1. Прогения — чрезмерное развитие нижней челюсти.

столов среди богатого собрания книг: все верно, прыщиков еще нет, на лоб свисает прядь волос, подбородок и нижняя губа выпячены. На спинке носа наметилась горбинка. Он все еще гримасничает, причем не только когда читает.

Время откладывает слой за слоем. То, что они закрывают собой, можно разглядеть лишь сквозь щели. Через подобную щель во времени, которую, приложив усилие, приходится немного расширить, я вижу себя и его.

Я уже в годах, он — бессовестно юн; он читает, набирается ума на будущее, меня настигает прошлое; мои проблемы ему чужды; то, чего он не стыдится и что не жжет его позором, приходится искупать мне, связанному с ним более чем родственными узами. Между нами страница за страницей ложится прошедшее время.

Пока тридцатилетний отец совсем недавно родившихся сыновей-близнецов, пытающийся с некоторых пор прикрыть усами выпяченную нижнюю губу, занимается поисками подробностей из истории и жизни Данцига для ненасытной рукописи романа, юное "я" подростка не дает отвлечь себя ничем и никем, в том числе не позволяет сделать это и взрослому мужчине в вельветовом костюме.

Мой взгляд рассеян. Листая архивные подшивки газет за тридцать девятый год, я лишь вскользь отмечаю для себя любопытные заметки из "Данцигер форпостен" о повседневных событиях начального периода войны. Повзрослевшее "я" чиркает в свою тетрадь, какие фильмы шли на первой сентябрьской неделе в кинотеатрах Лангфура и Старого города — например, в "Одеоне" на улице Домениксвалл показывали кинодраму "Вода для Канитоги" с Хансом Альберсом, — однако одновременно этот рассеянный взгляд обнаруживает четырнадцатилетнего мальчика, который, сидя через три стола от меня, ушел с головой в богато иллюстрированную монографию издательства "Кнакфус".

Рядом громоздятся другие тома этой серии, посвященной различным художникам. Похоже, ему хочется узнать побольше о художниках, с которыми он познакомился по своей коллекции картинок, полученных на купоны от сигарет. Не поднимая головы, он откладывает монографию о Максе Клингере, чтобы тут же открыть следующий том.

Пока повзрослевший собиратель подробностей рассеянно переписывает из экономического раздела газеты "Данцигер форпостен" рыночные цены и биржевые курсы — цена на бамбергский шелк не изменилась, оживилась конъюнктура зернового рынка — и пока его вновь ужасают репортажи на целую полосу о "Бромбергской резне", которую якобы учинили третьего сентября "польские нелюди", он видит себя самого, нет, того мальчика, который, читая кнакфусские монографии, сначала восхищается творческой монографией Клингера — живописца, скульптора, графика, — потом успевает испытать весьма сильное впечатление от тома Караваджо, особенно от бурной судьбы этого художника, а теперь мечтает оказаться учеником Ансельма Фейербаха[1]. На данный момент он отдает предпочтение "немецким римлянам". Он сам хочет стать художником, причем обязательно знаменитым.

1. Ансельм Фейербах (1829–1880) — немецкий художник.

Повзрослевшему путешественнику, который добрался сюда из Парижа и который уже стал художником, скульптором, хотя еще не знаменитым, кажется, что его юный двойник витает где-то далеко-далеко. Даже, если его сейчас окликнуть, он вряд ли отзовется.

Подобную встречу с самим собой можно вообразить и при других обстоятельствах. Таким же отрешенным от мира я вижу себя и в иных местах, например, в Йешкентальском лесу, на ступеньках чугунного памятника Гутенбергу. Перед началом летнего сезона я брал библиотечные книги на пляж, садился в плетеное кресло с тентом и читал. Но любимейшим местом для чтения оставался чердак нашего дома, где свет шел лишь из чердачного окошка. А в нашей тесной двухкомнатной квартире я вижу себя у маминого книжного шкафа; он гораздо отчетливей стоит у меня перед глазами, чем любой другой предмет обстановки гостиной.

Небольшой шкафчик, ростом с меня, занавески защищают корешки книг, чтобы они не выцвели от солнечного света. Декорированный резными планками, весь из орехового дерева, книжный шкаф был экзаменационной работой одного подмастерья, который стоял за верстаком в столярной мастерской моего деда по отцовской линии и закончил этим изделием свою учебу незадолго до свадьбы моих родителей, из-за чего шкаф стал свадебным подарком.

С этих пор шкаф находился в гостиной справа, рядом с нишей, которая принадлежала мне. Под подоконником левого окна, дававшего свет для пианино, на котором лежали раскрытые ноты, в другой нише хранились альбом стихов, куклы и мягкие игрушки моей сестры, которая не гримасничала и не читала, отличалась веселым нравом, была папиной любимицей и не доставляла родителям никаких хлопот.

Моя мать, закончив работу в лавке, не только исполняла на пианино музыкальные пьески, похожие на медленную капель, она была еще и любительницей чтения, состояла в книжном клубе, уж не помню каком. Но однажды она вышла из этого клуба, распространявшего книги по подписке, во всяком случае вскоре после начала войны к нам перестали поступать новые книги, ранее пополнявшие нашу библиотеку.

В шкафу стояли "Бесы" Достоевского рядом с "Хроникой Воробьиной улицы" Вильгельма Рабе, шиллеровские стихи рядом с "Сагой о Йёсте Берлинге" Сельмы Лагерлёф. Какой-то роман Германа Зудермана соседствовал корешок к корешку с гамсуновским "Голодом", "Зеленый Генрих" Готфрида Келлера с романом другого Келлера "Отдых от самого себя". А роман Фаллады "Что же дальше, маленький человек?" занимал место где-то между "Голодным пастором" Рабе и "Всадником на белом коне" Теодора Шторма. Рядом с "Битвой за Рим" Дана стоял и иллюстрированный фолиант под названием "Распутин и женщины", к которому я для контраста добавил "Избирательное сродство" Гёте, снабдив впоследствии этими двумя сочинениями моего персонажа, помешанного на книгах по совсем иным причинам: чтобы научиться грамоте, он сумел превратить гремучую смесь из обоих авторов в свою азбуку и первую хрестоматию.

Все это и многое другое утоляло мой читательский голод. Стояли ли за шторками книжного шкафа "Хижина дяди Тома" или "Портрет Дориана Грея"? Были ли там книги Диккенса и Марка Твена?

Уверен, что мама, у которой из-за растущих трудностей с ведением дел в лавке колониальных товаров оставалось все меньше времени для чтения, не знала, как и ее сын, что один из романов из книжного шкафа принадлежал к числу запрещенных книг: "Студентка химии Хелена Валльфюр" писательницы Викки Баум. Вокруг этого романа еще в тридцатые годы разразился скандал, поскольку речь там шла о целеустремленной, но бедной студентке, о любовной драме, разыгравшейся в идиллическом университетском городке, а также о том, что беременной студентке приходится делать выбор и речь заходит о подпольном аборте, который согласно параграфу 218 являлся тогда прямым уголовным преступлением.

Видимо, мама не удосужилась прочитать роман и проследить судьбу отважной студентки, поэтому, когда ее четырнадцатилетний сын, сидя за столом и не обращая никакого внимания на происходящее вокруг, сочувствовал бедам молодой женщины, а потом ее материнским радостям, маму это ничуть не смущало, и она спокойно позволяла мне "витать в облаках".

Позднее я прочитал и другие книги Викки Баум, например, ее экранизированный роман "Люди в отеле". А когда в начале восьмидесятых годов я работал над своей повестью о путешествиях "Головорожденные, или Немцы вымирают", где предугадал такие явления, как нежелание иметь детей у современных супружеских пар, предпочитающих личную самореализацию, широко культивируемый ныне эгоцентризм, старение населения ФРГ и обусловленный этим старением затяжной кризис пенсионной системы, унылая повседневность бездетных супругов, — для создания мелодраматического фона мне весьма помогла книга Викки Баум "Любовь и смерть на Бали". Впрочем, с таким самозабвением, как в юные годы, я уже никогда не поддавался чарам писательского таланта Викки Баум, чьи книги совершенно напрасно относят к разряду исключительно развлекательной беллетристики.

Когда наступало время накрывать стол к ужину, отец говорил: "Чтением сыт не будешь!"

Маме нравилось, что я "читал взахлеб". Она была деловой женщиной, которую любили клиенты и торговые агенты, но при этом ей была свойственна грустная мечтательность, сочетавшаяся, однако, с веселым нравом и даже некоторым озорством; мама с удовольствием устраивала маленькие розыгрыши, которые называла "каверзами", — например, ей нравилось продемонстрировать какой-либо гостье, скажем, приятельнице из тех времен, когда они были ученицами в сети магазинов "Кайзерс Каффее", насколько страницы печатных книг могут поглотить ее сына: для этого, вместо намазанного джемом хлеба, от которого я, увлекшись чтением, откусывал краешек за краешком, она подсовывала мне мыло "Палмолив".

Скрестив руки на груди, она с улыбкой — поскольку была уверена в успехе — ожидала результата произведенной подмены. Ее забавляла ситуация, когда сын, надкусив мыло, успевал прочесть три четверти страницы, прежде чем сообразить, что случилось, на потеху всем присутствующим. С этих пор мне известен вкус мыла под названием "Палмолив".

Мальчику с выпяченной нижней губой приходилось, видимо, не раз отведать мыла, ибо память сохранила различные вариации подобного

события — подменялся то бутерброд с колбасой, то с сыром, то пирог с изюмом. Что же касается выпяченной губы, то с ее помощью было весьма удобно сдувать нависавшую на глаза прядь волос. А такое происходило при чтении постоянно. Иногда мама укрепляла мои слишком мягкие волосы заколкой, которую вынимала из своей тщательно уложенной прически. Я не возражал.

Я был для нее всем на свете. Как бы я ее ни огорчал тем, что меня оставляли на второй год или из-за моей строптивости переводили из одной школы в другую, она неизменно продолжала гордиться своим постоянно что-то читающим или рисующим сыночком, которого только окриком можно было пробудить от устремленных в прошлое мечтаний, после чего он к обоюдному удовольствию охотно садился к маме на колени.

Мои безудержные фантазии, всегда начинавшиеся словами: "Когда я разбогатею и прославлюсь, то мы вместе с тобой..." — ласкали ей слух. Кажется, ничто так не радовало ее, как мои щедрые обещания: "...совершим путешествие из Рима в Неаполь". Она, всей душой тянувшаяся к прекрасному, в том числе к печально-прекрасному, любившая принарядиться и пойти в городской театр, часто одна и иногда в сопровождении мужа, называла меня своим "маленьким Пером Гюнтом", когда я снова начинал фантазировать о кругосветных странствиях и обещать ей чуть ли не луну с небес. Эта безмерная и безрассудная любовь, доставшаяся завиральному маменькиному сыночку, объяснялась, вероятно, тем, что мама сама была многим обделена в юные годы.

Если отцовская родня жила буквально за углом, на Эльзенштрассе, где с утра до ночи визжала циркулярная пила дедовской столярной мастерской, и из-за этой близости я едва ли мог уклониться от нескончаемых родственных распрей, которые лишь изредка прерывались краткими перемириями, — так что непрестанно раздавалось: "Слова им больше не скажу!", "На порог не пущу!", — то маминых родителей, трех ее братьев и единственную сестру я знал лишь по маминым рассказам и немногочисленным семейным реликвиям. Если не считать сестры по имени Элизабет, которую все звали Бетти, вышедшей замуж и "уехавшей в Рейх", мама осталась совсем одна.

Конечно, были у нее еще и кашубские родственники, но те жили в деревне, настоящими немцами не считались и вообще не шли в счет с тех пор, как появились причины умалчивать даже само их наличие. Ее родители, которые, будучи городскими кашубами, сумели вписаться в мещанскую среду, умерли рано: отец был убит в начале Первой мировой войны под Танненбергом. После того как двое ее сыновей погибли во Франции, а последний сын, тоже солдат, умер от гриппа, скончалась и мать, не хотевшая больше жить.

Артуру было всего двадцать три. Пауль погиб в двадцать один год. Грипп унес Альфонса, когда ему исполнилось девятнадцать. Но мама, урожденная Хелена Кнопф, всегда говорила о братьях так, будто они еще живы.

Однажды — мне было уже лет четырнадцать, а может, только двенадцать? — я забрался на чердак нашего доходного дома на улице Лабесвег, приютившего девятнадцать семей, в свою любимую тайную читальню — прибежище с продавленным креслом под чердачным окном-люком;

здесь, в нашей кладовке, зарешеченной досками, такой же, как у других соседей, я или тот мальчик, который с ранних лет накапливал материал для последующих повествований, обнаружил судьбоносную находку — обвязанный бечевками чемодан. Да, среди всяческого барахла и старой мебели меня ждал особенный чемодан: во всяком случае, именно так я расценил тогда свою находку.

Извлек ли я его из-под драных матрасов?

Или на его коже ворковал голубь, упорхнувший сквозь чердачное окно?

Оставил ли голубь, которого я спугнул, свежий комочек помета на чемодане?

Принялся ли я распутывать бечевку?

Или достал перочинный нож?

А может, заробел и удержался?

Отнес чемодан вниз и как благовоспитанный ребенок отдал его маме?

Вероятны и любые другие варианты. В середине сорок второго были выпущены официальные инструкции по соблюдению мер противопожарной безопасности, которые предписывали расчистить чердаки. Видимо, при расчистке чемодан нашелся и его открыла мама, или я, или еще кто-то. Там хранилось скромное наследство, оставшееся от двух братьев, которые погибли в Первую мировую войну, и от младшего брата, которого унесла эпидемия гриппа, не разбиравшая, кто свой, а кто враг.

Содержимое чемодана подтверждало то, о чем со слезами на глазах от боли невозвратимых утрат рассказывала мама: всем троим не посчастливилось реализовать при жизни свои таланты.

Три лежавшие в чемодане свертка, перевязанные шелковыми ленточками, свидетельствовали: старший брат Пауль хотел стать художником-оформителем театральных постановок. В его свертке хранились эскизы декораций и костюмов к операм "Вольный стрелок" и "Летучий голландец". А может, к "Лоэнгрину"; перед глазами у меня стоит эскиз лебедя — конструкции, вполне пригодной для сценического воплощения; выполненные цветными карандашами наброски явно принадлежали моему дяде Паулю, павшему в боях на Сомме. Ордена между набросками не нашлось.

Младший брат Альфонс, умерший от испанки, успел поучиться на повара; он мечтал с помощью задуманных роскошных меню дослужиться до шеф-повара в гранд-отеле какой-либо европейской столицы, будь то Брюссель, Вена или Берлин. Это следовало из писем, которые он посылал с острова Зильт на Северном море, его первого и последнего места работы в курортном ресторане; судя по деталям, письма отправлены незадолго до призыва на военную службу и перед тем, как весной восемнадцатого дядю откомандировали на учебный полигон.

В письмах к сестре Хелене он всячески бодрился. Рассказывая истории о курортной жизни, он намекал на романы с аристократками и сообщал подробности о постижении кулинарного искусства, расхваливал треску, тушенную в горчичном соусе, филе щиповки с фенхелем, суп из угря, приправленный укропом, и другие рыбные блюда, которые я и сам готовил позднее в память о дяде Альфонсе.

Старший брат Артур, которого мама называла самым любимым, видел себя в будущем прославленным поэтом за два года до того, как умер от выстрела в живот.

Еще проходя стажировку в филиале Имперского банка возле Высоких ворот — в здании, которое пережило войну, а сегодня, восстановив после реставрации грюндерскую роскошь, дало приют польскому банку, — он публиковал под своим именем в местной данцигской газете предлинные и довольно ловко зарифмованные стихотворения: с дюжину — о весне и осени, одно ко Дню поминовения усопших и еще одно к Рождеству; газетные вырезки с публикациями я нашел в том самом чемодане, который послужил мне "путеводным знаком" — так, спустя много лет, оценила эту находку мама.

А поскольку ее сын внял этому путеводному знаку, то в середине шестидесятых, когда после долгой изнурительной работы над объемистыми рукописями у меня вышли из-под пера несколько коротких историй, я скрыл собственное авторство под именем любимого маминого брата Артура Кнопфа; эта книжица появилась в серии, которая издавалась Берлинским литературным коллоквиумом; таким образом я решил позабавить себя — отчасти чтобы защитить свои истории от нападок привередливых критиков, отчасти чтобы короткой судьбе Артура Кнопфа выпало немного посмертной славы.

Его первая публикация, если отвлечься от ранних стихов, близких к лирике Эйхендорфа[1], была встречена вполне благожелательно. Литературные критики заговорили об открытии нового дарования, которому, несмотря на некоторое сходство с одним именитым писателем, они сулили большое будущее. Итальянская издательница заявила, что, хотя пока о переводе рассказов думать рано, однако она надеется, что, мол, доселе неизвестный автор вскоре предъявит крупное эпическое произведение, например семейную сагу. Дескать, большой роман вполне под силу его писательскому дарованию.

Истории Артура Кнопфа около двух десятилетий продавались в книжных магазинах. Псевдоним оставался нераскрытым, пока Клаус Рёлер, который в трезвом состоянии был вполне прилежным редактором издательства "Лухтерханд", не разоблачил спьяну моего дядю-литератора.

Чердак и его дощатые закутки-кладовки со всяческим хламом и паутиной. Позднее Оскар Мацерат, которого загнали наверх мучившие его соседские дети, нашел здесь, как и я, свое прибежище. Отсюда разносилось его дальнодействующее пение; для меня же был важнее найденный чемодан.

Вижу солнечных зайчиков на потертой коже. Нет, воркующего голубка, который подал бы знак, там не было. Только мне одному принадлежала привилегия обнаружить чемодан подле моей тайной читальни и первым открыть его. Нетерпеливо, моим перочинным ножом с тремя лезвиями. В лицо мне пахнуло тленом, будто я вскрыл склеп. Взлетела пыль, заплясали в лучах света пылинки. То, что я нашел, оказалось зна-

1. Йозеф фон Эйхендорф (1788–1857) — немецкий поэт и прозаик, заметная фигура немецкого романтизма.

мением, отправившим находчика в пожизненное путешествие; и только сейчас он начинает уставать, лишь возврат к прошлому поддерживает его жизнестойкость.

Меня неизменно тянуло в это пристанище. Сквозь подъемный люк чердачного окна виднелись задние дворы, каштановые деревья, покрытая толем крыша кондитерской фабрики, крошечные палисадники, хлипкие сарайчики, стойки для выбивания ковров, клетки для кроликов, а за всем этим шли дома на улицах Луизы, Герты и Марии, которые образовывали просторный четырехугольник. От места встречи с художником, поэтом и кулинаром, каждый из которых характеризовался в маминых рассказах каким-нибудь эпитетом — Пауля она обычно называла мрачным, Артура мечтательным, Альфонса веселым, — я отправлялся по воздушному маршруту куда-то туда, где теперь я пытаюсь приземлиться обратным рейсом, хотя там ничего не сохранилось: меня не ждет ни продавленное кресло, ни другие вполне осязаемые предметы.

Ах, если бы можно было найти — пусть не чемодан, а всего лишь картонку с моими ранними писаниями! Но нет, не осталось ни полстрочки от первых стихов, ни страницы от единственной главы неопубликованного романа. Ни одного из необузданно-фантастических или педантично-подробных рисунков с деталями обомшелой кирпичной кладки, ни одной акварели. В том скарбе, который унесли с собой родители, когда бежали из города, не нашлось ни рифмованных стихов, написанных зюттерлиновским шрифтом, ни белых листов с темной штриховкой. Ни школьных тетрадей с сочинениями, которые, несмотря на серьезные огрехи правописания, получали оценки "хорошо" и "отлично". Ничто не свидетельствует о моем начале.

А может, следует внушить себе: "Как хорошо, что не уцелело ни клочка!"

Ведь было бы весьма неловко, если среди излияний пубертирующего подростка обнаружились бы вирши, посвященные двадцатому апреля и, в подражание гимнически-экспрессивному стилю гитлерюгендских бардов Менцеля, Баумана и фон Ширера, воспевающие ничем не омраченную веру в Вождя. Задним числом я ужаснулся бы набившим оскомину рифмам: "знамя" — "реет над нами". Было бы ужасно, если бы от расистского бреда моего короткого эпического первенца пострадали бедные кашубы: тевтонский рыцарь с продолговатым нордическим черепом дюжинами сносит с плеч круглые славянские головы. Не говоря уж о прочем внушенном пропагандой вздоре.

Во всяком случае среди рисунков, пачка которых могла бы позднее найтись на чердаке или, скажем, в подвале доходного дома, совершенно точно не было ни единого листа, где красовался бы набросок, имеющий черты портретного сходства с удостоенными высших наград героями войны, например, капитан-лейтенантом Прином или летчиком-истребителем Галландом, хотя оба служили для меня образчиками доблести.

Что было бы, если...? Спекуляции насчет содержимого потерянного чемодана столь же бесполезны, как и упорны.

Что могли бы поведать о себе вещи сына, сложенные матерью перед депортацией в картонную коробку из-под "Персила" и забытые в суете поспешных сборов?

Что еще могло бы разоблачить меня, желающего прикрыться фиговым листком?

Поскольку у меня, ребенка из семьи послевоенных вынужденных переселенцев, по сравнению с писателями моего поколения, выросшими у Боденского озера, в Нюрнберге или на северо-германской равнине и соответственно имеющими в своем распоряжении школьные табели с отметками или продукты раннего творчества, ничего не сохранилось со времен детства и юности, приходится обращаться к наиболее сомнительной из всех свидетельниц по имени Память, капризной, часто страдающей мигренью даме, которую молва считает вполне продажной, если к тому располагает рыночная конъюнктура.

Следовательно, нужны подсобные средства, которые по-иному сочетают в себе множество смыслов. Например, круглые или угловатые предметы, хранящиеся в ящичке моей конторки, за которой я пишу стоя, и ждущие своего применения. Находки, если уметь ими правильно пользоваться, развязывают язык.

Нет, это не монеты, не глиняные черепки. Это медово-желтые прозрачные кусочки. В них есть оттенки осеннего багрянца и золота. Некоторые из них величиной с вишню, а вот этот не меньше утиного яйца.

Золото моей "балтийской лужи". Янтарь, найденный на балтийском побережье или купленный, вроде того, что я приобрел около года назад у торговца, устроившегося со своим ларьком под открытым небом в литовском городе, который некогда назывался Мемель. Сувениры для туристов, шлифованные или полированные бусы, браслеты, пресс-папье, шкатулки; но встречался и необработанный или полуобработанный янтарь.

Мы приехали туда с Куршской косы на пароме вместе с Юргеном и Марией Мантей. Собственно говоря, нам хотелось лишь взглянуть на памятник Анке из Тарау и посетить места, связанные с поэтом Симоном Дахом. Ветреный день, быстрые облака, а я долго выбирал, медлил, наконец, купил.

Все кусочки янтаря, которые я нашел сам или же купил, содержат посторонние включения. Тут в окаменевшей капле видна сосновая хвоинка, там — мхообразный лишайник. А здесь увяз комарик. Можно пересчитать все ножки, разглядеть пару крылышек, готовых, зазвенев, подняться в воздух.

Если поднести кусок янтаря величиной с утиное яйцо к свету, то видно, что затвердевшую пластами массу населяют крошечные насекомые. Что это за инкапсулы? Червячок? Многоножка? После долгого и пристального изучения янтарь выдает свои тайны, казавшиеся ранее надежно укрытыми.

Всякий раз, когда мое второе подсобное средство, воображаемая луковица, не желает разглашать секреты или же кодирует свои послания в почти не разгадываемых линеатурах, запечатленных на влажной пергаментной кожице, я протягиваю руку к ящичку над конторкой в моей белендорфской мастерской и выбираю кусочек янтаря, будь то найденного или купленного.

Вот медово-желтый янтарь, совсем прозрачный, только у кромки проступает молочная муть. Если долго держать его против света, отключившись от всего остального и не давая отвлечь себя ничем: ни полити-

ческими новостями, ни повседневными заботами, то есть полностью предоставить себя себе, то вместо застывшего в смоле насекомого, которое еще только что выглядело малюсеньким клещом, я вижу себя, целиком, четырнадцатилетним и голым.

Мой пенис, в спокойном состоянии еще вполне мальчишеский, — такой же, как у Амура, которого написал для одной из моих сигаретных картинок гениальный художник, способный, впрочем, и на убийство, — уже претендует на взрослость, когда по собственному желанию или после нескольких прикосновений встает, обнажая головку.

Пенис Амура, бога любви, созданного кистью Караваджо, выглядит мило и невинно — эдакая забавная висюлька, — хотя крылатый сорванец изображен вылезающим из кровати, где он только что исполнял роль то ли подстрекателя, то ли пособника; мой же член, притворяющийся в дремотном состоянии безобидным, на самом деле безоговорочно грешен. Всегда настороже, он стойко и мужественно готов к вторжению, не важно куда, пусть даже в отверстие от сучка в деревянной кабинке брезенской купальни.

Если продолжить дознание, янтарь скажет больше: пенис, принадлежащий мне или моему заключенному в застывшей смоле автопортрету, совершенно неразумен и намеревается пожизненно оставаться таковым. Пока еще его можно на непродолжительное время утихомирить обычным ветхозаветным способом, но руки ему уже недостаточно. Его головка, именуемая в просторечии залупой, целеустремленно желает иных услад и скорого облегчения. При всей очевидной неразумности: голь на выдумки хитра. Ему присущи честолюбие и спортивный азарт. Рецидивист, которого не пугают никакие кары.

Пока я был верующим католиком — переход к неверию осуществлялся незаметно, — мой пенис служил неиссякаемым предметом моих покаяний. Он давал мне возможность придумывать на исповеди самые дерзкие грехи. Блуд с ангелами. Даже с непорочной овцой. Его деяния и злодеяния повергали в изумление даже моего исповедника патера Винке, ушам которого не было чуждо ничто человеческое. Мне же исповедь помогала освободиться от всего, что можно было приписать подвеску-сумасброду: еженедельное облегчение.

Однако позднее, когда четырнадцатилетний подросток уже ощущал свою абсолютную безбожность, его повзрослевший вместе с ним пенис доставлял ему большее беспокойство, нежели положение дел на Восточном фронте, где дотоле неудержимое продвижение наших танковых армий было остановлено перед самой Москвой сначала осенней распутицей, а потом снегом и льдом. Дед Мороз спас Россию.

А что помогало мне в моей нужде?

В ту пору цель моих вожделений обрела имя. Я переживал муки первой любви, силу которых вряд ли могут превзойти более поздние приступы безумства. Зубная боль — ничто по сравнению с этой мукой, хотя и та пытка изводит своим ноющим, затяжным кошмаром.

Начало моей первой любви не поддается точной датировке и не ознаменовано какими-либо конкретными действиями, вроде прикосновений, не говоря уж о физическом обладании. Остаются лишь слова, пригодные разве что для пылких, сумбурных речей, вошедших со времен гётевского "Вертера" в обиход любовной переписки и постельного шепота. Поэтому лучше буду краток.

Девочку, ставшую предметом моего прямо-таки животного вожделения, я встречал по дороге из школы. К этому времени старое здание "Конрадинума" занимали не только гимназисты, но и ученицы, выселенные из школы Гудрун, которая раньше называлась школой Хелены Ланге.

Учились по сменам в первой и второй половине дня. На улице Упхагенвег возникало встречное движение. Она шла в школу, я оттуда. У меня было пять уроков позади, ей еще только предстояло отсидеть столько же. Ее окружала стайка девочек, я шагал один, будучи закоренелым индивидуалистом. Я проходил с портфелем сквозь эту хихикающую стайку, осмеливаясь лишь на единственный взгляд, не более.

Она не была ни красавицей, ни дурнушкой; просто темноволосая школьница с довольно длинными косами. В этом темном обрамлении ее личико казалось мелким: точка-точка-запятая. Узкие сжатые губы. Сросшиеся на переносице брови.

Знавал я девчонок и симпатичнее. Даже тискался с кузиной в дедовом сарае. Другую девочку звали Дорхен, она приехала из Бартештайна в Восточной Пруссии и говорила на тамошнем диалекте, а у нас провела целое лето.

Нет, имени моей первой любви с черными косами я не назову. Может, она еще живет где-нибудь, уцелев в войну, как и я, и пожилой женщине не хотелось бы, чтобы ей досаждал своими воспоминаниями старый человек, который еще в школьные времена производил на нее скверное впечатление, а в конце концов сильно обидел.

Пусть моя первая любовь останется безымянной, если только она не окажется мушкой или букашкой в янтарной капле, которую я выспрашиваю вслух, проклинаю, умоляю...

Я преследовал ее со всем упорством — свойство, упрочившееся с годами и до сих пор дающее знать о себе то в одном, то в другом.

Мы, гимназисты, более или менее точно знали, где в наших классах сидели девочки из женской школы, поэтому я оставлял письма на предполагаемом месте, где сидела та, что служила бездонной пропастью моих вожделений. Секретные письма приклеивались под крышку парты. Глупые послания, за которыми иногда следовали глупые ответы. Нет, стихов к моим школьным эпистолам я не присовокуплял. Не уверен даже, что ставил под записками свое имя.

Все это продолжалось до тех пор, пока мне не пришлось сменить школу и я не начал ежедневно ездить на трамвае номер пять из Лангфура в Данциг, а после школы — из Старого города обратно в предместье. Узкие улочки, кирпичная архитектура, Средневековье, угадываемое за кривой кладкой стен и за фасадами с фронтонами, — все, что может предъявить окаменевшая История, если не успокаивало, то по крайней мере отвлекало от переживаний, тем более что в школе Святого Петра появилась учительница рисования; ее звали Лили, она пришла в школу по мобилизации, а в моей судьбе сыграла гораздо более важную роль, чем я мог представить себе зимой сорок второго—сорок третьего года — до и после Сталинграда.

Лишь после следующей смены школы, когда мои одногодки были призваны во вспомогательные части противовоздушной обороны и мы обзавелись ладной формой, моя первая любовь прислала мне письмо, доставленное полевой почтой на зенитную батарею Кайзерхафен, где я проходил подготовку в качестве шестого номера расчета зенитки.

Уж не помню, что было написано ученическим почерком, но свеженаспеченный юный зенитчик в новехонькой форме проявил немалое высокомерие, а именно исправил красными чернилами на манер строгого ментора грамматические ошибки и отправил письмо обратно, сопроводив его ответными строками, вероятно, лирического свойства.

Моя первая любовь умолкла. Я сам писал с ошибками в пятнадцать лет и еще долгие годы потом, а, собственно, и до сих пор у меня трудности с орфографией, но тогда я сломал что-то, что еще только намечалось и обещало даже больше, чем мог удовлетворить мой вечно неугомонный, как у Амура Караваджо, пенис.

Дальше — пустота. Заботливо пестуемое одиночество. Вожделение иногда дремало, иногда вновь обострялось. Оно пережило все те месяцы, которые я отслужил во вспомогательных частях противовоздушной обороны; барачная тягомотина на зенитной батарее неподалеку от порта отражена в романе "Собачьи годы", хотя там рассказаны совсем иные истории на подростковом жаргоне других ребят, радовавшихся, как и я, что для них закончились не только обязаловка гитлерюгенд, успевшая набить оскомину, но и школа.

Правда, глупости любви играют в этом многоплановом романе кое-какую роль, однако следует заметить, что костлявая девчонка по имени Тулла Покрифке, наносившая по выходным визиты личному составу зенитной батареи Кайзерхафен, не имеет ничего общего с моей первой любовью.

Янтарь притворяется, будто помнит больше, чем нам хотелось бы. Он консервирует то, что давно переварено и должно быть испражнено. Янтарь содержит все, что некогда сумел поглотить, будучи в жидком состоянии. Он не приемлет отговорок. Янтарь ничего не забывает и разглашает сокровенные тайны громче, чем базарная торговка расхваливает свежие овощи; он категорически утверждает, что двенадцатилетний мальчуган, носивший мое имя, тогда еще вполне набожный — точнее, верующий если не в Бога, то в Деву Марию, — нескромно заглядывался на занятиях по катехизису на девочку с косичками. Священник церкви Сердца Христова готовил нас в приходском доме к первому причастию. Мы должны были выучить наизусть весь регистр грехов из "исповедного вопросника": какие грехи простительны, какие тяжкие, а какие смертные. Вместе с братом той девочки я даже заменял порой министранта, носил колокольцы и кадило, устремив взор на дарохранительницу.

Да, я и сегодня помню подготовительную молитву у алтарных ступеней. Подобно Маллигану в начале "Улисса", я, бреясь по утрам, шепчу: "Introibo ad altare Dei..."[1].

А в тринадцать лет — уже разочаровавшись во всевозможных католических трюках — я продолжал ходить к субботней вечерне, кажется, только затем, чтобы подкараулить ту девочку, старался сесть поближе к исповедальне, на скамейку позади косичек.

Медово-желтый сгусток окаменевшей смолы выбалтывает даже тайну исповеди: мои уста доносили до слуха старого священника всяческие

1. "И подойду к жертвеннику Божию..." (*лат.*)

подробности относительно предмета моих рукоблудных фантазий, при этом у меня невольно сорвалось с языка имя той девочки, которая служила целью моих вожделений. Святой отец за решеткой исповедальни только закашлялся.

Позднее, пока исповедница с косичками сортировала перед исповедальней свои прегрешения, я выскользнул со скамьи к алтарю Девы Марии, чтобы там по злому умыслу или из чистого озорства...

Нет, говорю я, положив янтарный сгусток к другим кусочкам с иными чужеродными включениями-инкапсулами: комарами, паучками, букашками. То был не я. Это произошло только в моей книге и остается правдой лишь там. Никаких доказательств содеянного святотатства нет; ведь весной 2005 года я вместе с десятью приехавшими издалека переводчиками и моим редактором Хельмутом Фрилингхаузом побывали в Гданьске, чтобы "разобраться" там с моим первенцем, для чего мы и посещали места, где происходили быстро сменяющиеся события романа; среди этих мест числилась церковь Сердца Христова, которая уцелела в годы войны и в которой вместо достоверно описанного алтаря Девы Марии теперь стоит копия вильнюсской Черной Мадонны, сияет позолоченным нимбом и привлекает благочестивых поляков. Рядом, позади свечей в нише мы увидели фотографию публично скончавшегося Папы и снимок недавно избранного Папы, немца по национальности.

Там, среди неоготического антуража юношеских и подростковых святотатств, молодой и лукаво улыбающийся священник, ничуть не похожий на патера Винке, попросил меня надписать польское издание "Жестяного барабана", на что автор книги в присутствии изумленных переводчиков и своего редактора не замедлил поставить на титульном листе автограф: ведь это не я отломил тогда "поливалочку" у младенца Иисуса на алтаре Девы Марии в церкви Сердца Христова. То был другой. Некто, не отрекшийся от зла. Некто, не желавший расти...

Я же рос и рос. В шестнадцать лет, когда меня призвали на трудовую службу, я выглядел вполне сформировавшимся. Или окончательный рост — метр и семьдесят два сантиметра — мне замерили уже тогда, когда я стал солдатом, лишь по счастливой случайности сумевшим пережить войну?

Этот вопрос не волнует ни луковицу, ни янтарь. Они претендуют на иные достоверные знания. О других инкапсулах, стыдливо спрятанных, утаенных под разными личинами. О том, что гнездится, подобно вшам, в волосатой мошонке. Слова, скрываемые за многословием. Обрывки мыслей. То, что болит. До сих пор...

Его звали Нельзя-нам-этого

Поймал себя на том, как, перелистывая страницы и наталкиваясь на пробелы, начинал рисовать там узоры или человечков. Наспех рассказанные частности, отступления ложились на бумагу и тут же вычеркивались: все долой!

Но теперь исчезли сочленения того процесса, которому никто не препятствовал, ход которого был необратим и чьи следы не устранит никакой ластик. Если же вспоминать о фатальном шаге, сделанном пят-

надцатилетним школьником в военной форме, не надо прибегать ни к луковице, ни к иным вспомогательным средствам. Вполне достоверно то, что я решил пойти на военную службу добровольцем. Но когда это случилось? Где?

Не помню ни точной даты, ни характерных для той поры капризов погоды, ни событий, синхронно происходивших на пространстве между Ледовитым океаном, Кавказом и прочими фронтами, а потому написанные фразы складываются пока из довольно смутных предположений насчет того, что́ же привело меня к этому решению и в конце концов заставило подать официальное заявление. Тут не позволительны ссылки на некие смягчающие обстоятельства. Значение этого поступка нельзя преуменьшить, оправдать детским недомыслием. На меня никто не давил. Не преследовало меня и чувство вины — допустим, из-за сомнений в непогрешимости Вождя, — которую я пытался бы искупить героическим порывом.

Случилось это во время моей службы во вспомогательных частях противовоздушной обороны, которая не была добровольной, однако казалась освобождением от школьной рутины, да и переносить ее было сравнительно легко, поскольку муштровали нас не слишком рьяно.

Так представлялось тогда дело нам, подросткам. Хотелось щегольнуть формой. Переживая трудности переходного возраста, мы укрепляли "тыловой фронт". Зенитная батарея в Кайзерхафене стала нашим домом. К востоку открывалась низина с устьем Вислы, на западе высились грузовые краны, элеваторы, далекие башни города. Сначала еще делались попытки продолжить школьные занятия, но потом их прекратили, так как уроки слишком часто прерывались учебными тревогами; к тому же учителям, людям пожилым и довольно немощным, было трудно добираться по песчаной дороге до нашей батареи.

Наконец-то нас воспринимали всерьез. Шесть стволов и управляющую установку следовало наводить на обнаруженную цель. Обученные обращаться с военной техникой, мы должны были при необходимости защитить город и порт от террористических налетов вражеской авиации; по тревоге каждый за считаные секу́нды занимал свое место в боевом расчете.

Правда, наша батарея во́семидесятивосьмимиллиметровых зениток сработала всего два или три раза, когда несколько вражеских бомбардировщиков были обнаружены в ночном небе, где их вели перекрестья прожекторных лучей. Выглядело это торжественно и красиво. Но массированные налеты, тем более настоящие огненные смерчи, которые выпали на долю Кёльна, Гамбурга, Берлина, городов Рура, нас миновали. Нанесенный урон был незначителен. Неподалеку от верфи Шихау, на улице Фуксвалл, бомбы разрушили два дома, убитых было немного. Но мы гордились сбитым четырехмоторным бомбардировщиком "Ланкастер", хоть его и записали на счет батареи, расположенной на южной окраине, в районе Циганкенберг. По слухам, найденные обгоревшие тела принадлежали летчикам канадского экипажа.

Наша служба была довольно нудной, хотя и по-другому, чем школьная рутина. Особенно докучали нам ночные дежурства и занятия по баллистике, которые проходили в душных учебных бараках. Скука обора-

чивалась детскими проказами. Мы глупо хвастались выдуманными историями насчет девочек. Так проходили дни.

Раз в две недели нам выдавали на выходные увольнительную "к мамочке". И всякий раз радость предстоящего возвращения домой омрачалась мыслью о тесноте нашей двухкомнатной квартиры. Тут не помогал даже ванильный пудинг с миндалем; отец, который по собственной охоте взял на себя в семье обязанности кулинара, ухитрялся приберечь для торжественного случая дефицитные ингредиенты этого лакомства. Специально для меня он заливал выложенный из формочки пудинг шоколадом и ставил его на стол, празднично накрытый к встрече сына.

Но никакие лакомства не могли преодолеть тесноту. Меня все раздражало, например, отсутствие ванной и туалета в нашей квартире. На зенитной батарее в Кайзерхафене имелась по крайней мере душевая, а на улице — солдатский сортир. Там мы садились рядком, сосед возле соседа. Это мне не мешало.

Но дома все большую досаду и отвращение у меня вызывал туалет на промежуточном этаже, один на четыре семьи, вечно загаженный соседскими детьми или занятый, когда тебе приспичит. Вонючая конура, на стенах грязные следы от пальцев.

Я стыдился этого туалета, скрывал его от одноклассников, у которых дома, естественно, имелась роскошная ванная и туалетная комната, а потому не приглашал их к себе. Исключением был только Эгон Хайнерт, живший на Луизенштрассе, где вонючий туалет был устроен таким же образом; Эгон иногда приходил ко мне, давал почитать свои книги.

Двухкомнатная дыра. Социальная западня. Здесь все стесняло меня, когда я возвращался домой на выходные. Даже материнская рука, гладившая сына по голове, не могла смахнуть этой досады. Хотя его уже считали взрослым, а потому больше не укладывали на ночь в родительской спальне, где, кстати говоря, продолжала спать сестра, а стелили постель на кушетке в гостиной, однако он по-прежнему оставался свидетелем супружеского ритуала, регулярно свершавшегося ночью с субботы на воскресенье. Я, пускай приглушенно, слышал — или мне мерещилось? — все знакомые с детства звуки, сопровождающие этот чудовищный ритуал: шепот в начале, чмоканье, скрип кровати, шорох матраца, набитого конским волосом, вздохи и стоны, все звуки полового акта, особенно отчетливо раздававшиеся в ночной темноте.

Будучи ребенком, я с любопытством прислушивался к этой возне, происходившей совсем рядом, и долгое время не подозревал, что там собственно творится. Но теперь получившему короткое увольнение сыну, днем носившему форму вспомогательных зенитных частей, а ночью одетому в пижаму, было невыносимо слушать, как отец наваливается на мать.

При этом я не помню точно, занимались ли они этим, когда сын лежал без сна за стеной на кушетке и мог все слышать. Скорее всего, нет — они не решались беспокоить отпускника и потому не трогали друг друга. Но мне не давало уснуть само ожидание этих звуков — неизменно одних и тех же, будто запрограммированных.

В темноте у меня сверхотчетливо появлялись перед глазами всяческие варианты супружеского совокупления. И каждый раз мать выгляде-

ла в этом киноэпизоде жертвой: она уступала натиску, отдавалась, терпела до изнеможения.

Ненависть маменькиного сынка к отцу, тот подсознательный комплекс, что заложил основу греческой трагедии и придал убедительность и вес теориям доктора Фрейда и его учеников, стал для меня если не главной причиной, то дополнительным побудительным мотивом бегства из дома.

Существовали всякие возможности. И все они сводились к одному. Прочь отсюда, на фронт, на любой из фронтов, лишь бы поскорее.

Я искал ссоры с отцом. Но спровоцировать его на конфликт было трудно — потребовалось бы слишком много поводов, ибо отец был человеком миролюбивым и сразу же шел на уступки: ему всегда хотелось гармонии. Он часто высказывал нам свои родительские пожелания: "Хочу, чтобы вам жилось лучше нашего. Ваша жизнь должна быть счастливей, чем наша".

Сколько бы я ни воображал его монстром, из отца плохо получался объект для ненависти. На взгляд его голубых глаз я мог, пожалуй, показаться чужим птенцом, подброшенным в гнездо кукушкой. А вот моя маленькая сестра питала к отцу нежную привязанность, чем, вероятно, немного смягчала жесткосердие брата.

А мать? Она частенько подсаживалась к пианино, но не играла. Ее утомляла работа в лавке, нехватка продуктов. Наверное, ей, как и отцу с дочерью, тяжело давались краткосрочные отпуска сына, который мнил себя страдальцем.

И все же я решил пойти на фронт добровольцем не только из-за того, что не выносил двухкомнатную квартирку и туалет на четыре семьи. Мои одноклассники жили в шестикомнатных квартирах с ванной, в уборных у них висели рулоны туалетной бумаги, а не как у нас — порванные на квадратики газеты. Некоторые даже обитали в роскошных виллах на улице Упхагенвег или на Аллее Гинденбурга, у каждого — собственная комната, но их все равно тянуло из дома, на фронт. Как и мне, им, вероятно, хотелось проявить бесстрашие перед лицом опасности, топить один неприятельский корабль за другим, подбивать танки или летать в новейших "мессершмиттах", сбивая вражеские бомбардировщики.

Но после Сталинграда все фронты попятились назад. Тем, кто отслеживал их движение с помощью разноцветных булавочек по увеличенным и наклеенным на картон географическим картам, было трудно поспевать за событиями на Востоке или в Северной Африке. Правда, союзная Япония сообщала о победах на морях и об успешном наступлении в Бирме. Иногда наши подлодки давали повод для новостных программ, где указывалось количество потопленных вражеских судов и их тоннаж. Наши субмарины стаями охотились за морскими конвоями в Атлантике и Ледовитом океане.

Ни одного киножурнала не обходилось без показа подлодки, возвращающейся с победой из плаванья. Отбывая короткое увольнение, я после киносеанса долго ворочался на кушетке в гостиной, не мог уснуть, поэтому мне было легко представить себя вахтенным матросом на мостике семисотпятидесятитонной субмарины: промасленный комбине-

зон обрызган штормовой волной, бинокль обшаривает раскачивающийся горизонт.

Будущий матрос-доброволец предавался грезам о подвигах и представлял себе, как возвращается из успешного похода, преодолев все опасности — враг не скупился на глубинные бомбы, — на плавбазу где-нибудь на французском побережье Атлантики: команда во главе с капитан-лейтенантом выстроена под вымпелами, сигнализирующими о потопленных судах. Экипаж, который никто уже не чаял увидеть живым, встречают бодрые марши военно-морского оркестра, приветствуя счастливое возвращение героев именно так, как это всякий раз показывали в кино; а вот лодки, ушедшие вместе с экипажами на дно, естественно, никто заснять и показать не мог.

Нет, не газеты прививали мне подобную веру в героев — родители выписывали не боевитый "Форпостен", а обстоятельные "Данцигер нойсте нахрихтен", — пожалуй, веру эту укрепили именно еженедельные киножурналы, снабжавшие меня приукрашенными черно-белыми новостями, которым я безоговорочно доверял.

Еженедельный киножурнал шел перед хроникально-документальным или художественным фильмом. В кинотеатре Лангфура или старогородском кинозале "УФА-паласт" на Элизабеткирхенштрассе я видел Германию в окружении врагов; она уже вела самоотверженные оборонительные бои в степях России, в знойных песках ливийской пустыни, на рубежах Атлантического вала, немецкие подлодки сражались на всех мировых океанах, а в тылу женщины вытачивали снарядные гильзы, мужчины работали на танковых конвейерах. Защитные редуты против красных орд. Народ в решающей битве за свою судьбу. Крепость Европы, противостоящая натиску англо-американского империализма; да, жертвы были велики, поэтому в газете "Данцигер нойсте нахрихтен" изо дня в день увеличивалось количество обведенных траурной рамкой объявлений с черным крестом, которые извещали о смерти солдат, павших за Вождя, Народ и Отечество.

Не к этому ли я стремился? Не примешивалась ли к моим мечтам тяга к смерти? Может, и мне хотелось, чтобы мое имя увековечили в траурной рамке? Вряд ли. Хоть я был эгоцентричен и одинок, но свойственные возрасту помыслы о самоубийстве были мне чужды. Следовательно, просто глупость?

Неизвестно, что происходит в душе пятнадцатилетнего подростка, который без всякого принуждения, добровольно хочет непременно отправиться туда, где идет война и где — как он догадывается и даже знает из книг — ведет свою бухгалтерию смерть, вычеркивая людей из списков живущих. Можно предположить избыток эмоций, стремление к самостоятельным поступкам, желание поскорее повзрослеть, стать мужчиной среди мужчин.

Вероятно, рядовому вспомогательной службы ВВС удалось поменять отпуск, положенный в конце недели, на увольнительную в среду или четверг. Так или иначе, после долгого пешего марша я доехал на трамвае от Хойбуде до данцигского Главного вокзала, оттуда поездом через Лангфур и Сопот — в Готенхафен, город, который в годы моего детства назывался Гдинген, а по-польски Гдыня. Он вырос слишком быстро, по-

этому не имел истории. Его новостройки с плоскими крышами тянулись до самого порта, защищенного молами и пирсами со стороны открытого моря. Здесь из матросов-новобранцев делали подводников. Такая же подготовка велась в других местах — например, в Пилау или еще дальше от нас.

Примерно через час езды я прибыл к цели моих героических мечтаний. Было это в марте или переменчивом апреле? Кажется, моросил дождь.

Над портом висела изморось. На причале Оксхёфта стоял пришвартованный "Вильгельм Густлофф", бывший лайнер организации "Сила через радость", теперь приспособленный под плавучую казарму учебного дивизиона подводников. Но наверняка я этого не знал. Военный порт и верфь считались закрытой зоной.

Спустя шестьдесят лет, с задержкой на целую человеческую жизнь, я, наконец, сумел написать новеллу "Траектория краба", которая повествует о лайнере "Вильгельм Густлофф", о его торжественном спуске на воду, о популярных круизах мирного времени, о переоборудовании ставшего на мертвый якорь лайнера под плавучую казарму в годы войны, о его новом морском походе с людьми на борту — тысяча курсантов и несколько тысяч беженцев; наконец, о его гибели тридцатого января сорок пятого года в районе Штольпебанк; про катастрофу мне было известно все до мельчайших подробностей: температура воздуха того дня — минус двадцать градусов, количество торпед, поразивших цель, — три...

Новелла получилась из нескольких переплетающихся сюжетов; прослеживая их, я видел себя новобранцем-подводником на борту тонущего "Вильгельма Густлоффа". Можно было догадаться, что творилось под бескозырками в головах у семнадцатилетних матросов незадолго до гибели в ледяных водах Балтики: мечты о девочках, дарующих короткое счастье, о будущих героических делах, причем все они, как и я, верили в окончательную победу.

Явочный пункт находился в приземистом бараке еще польских времен; там, за дверями с табличками, велась административная, организационная работа, бумаги пересылали по инстанциям или подшивали в канцелярские папки. Я записался на прием, после чего мне велели подождать. Передо мной оказалась очередь из двух-трех ребят постарше, с которыми мне было, в общем-то, не о чем говорить.

Штабс-фельдфебель и старший матрос хотели сразу же избавиться от меня: дескать, слишком молод. Мой год еще успеют призвать. Спешить некуда. Они курили и пили кофе с молоком из пузатых чашек. Тот, кто показался мне постарше — штабс-фельдфебель? — чинил впрок карандаши. А может, подобное занятие я видел в каком-то кинофильме?

Как был одет юный зенитчик — в форму или в гражданские шорты и гетры? Стоял ли он на почтительном расстоянии от стола, руки по швам, докладывая, как учили: "Прошу зачислить добровольцем в подводный флот!"

Предложили ли ему присесть?

Мнил ли он сам себя смелым, почти героем?

В качестве ответов возникает лишь смутная картинка, из которой трудно уловить что-то определенное.

Во всяком случае, я продолжал упорно настаивать на своем, даже когда мне сказали, что сейчас добровольцев в подводный флот не берут. Прием приостановлен.

Война, мол, идет, как известно, не только на море под водой. Но заявление мое оставят, дадут ему ход. Сейчас формируются танковые дивизии и, когда подойдет очередь моего двадцать седьмого года, тогда обо мне непременно вспомнят. "Не торопись, парень, долго ждать не придется".

Видимо, доброволец проявил покладистость: "Ладно, если не на подводный флот, то пускай в танковые войска".

Задавал ли он вопросы о новейшей технике: "А на 'Тигр' я попаду?"

Наверняка ему тут же вспомнились хроникальные кадры киножурналов, откуда черпали свои военные познания юные зрители: танки Роммеля среди песков пустыни.

Вероятно, я похвастал моей осведомленностью, заимствованной из "Карманного морского справочника" Вейера и "Морского календаря" Кёлера. Я знал назубок до мельчайших подробностей все, что касалось японских крейсеров, авианосцев или линкоров и их побед на Тихом океане: каким был, скажем, захват Сингапура и как шло сражение за Филиппины; я до сих пор помню точные данные о вооружении, которым располагали тяжелые крейсеры "Хурутака" или "Како", и о том, скольких узлов достигала их скорость. Память любит хранить старье, то есть вещи, которые обещают просуществовать долго, пусть даже в качестве утиля.

Через какое-то время похожему на добродушного дядюшку фельдфебелю и довольно грубому старшему матросу надоели мои разглагольствования. Они весьма резко оборвали разговор, но дали понять, что мое заявление не останется без внимания. А пока, дескать, мне все равно предстоит трудовая служба. От нее не освобождают даже тех, кто идет в армию добровольцем. У них строго. Они еще мне покажут, где раки зимуют.

Представляя себе вытянувшегося по стойке "смирно" подростка с голыми коленками, в гольфах и зашнурованных ботинках, которые он накануне начистил, словно на строевой смотр, и стараясь отделить воспоминания от вторичных наслоений — эпизодов из кинофильмов или прочитанных книг, — я слышу смех обоих взрослых мужчин в военной форме, казавшихся мне тогда уже старыми; в этом смехе звучали одновременно и ирония, и сочувствие, будто они знали, что предстоит испытать подростку в коротких штанах.

Левый рукав фельдфебеля был пуст.

Прошло время. Мы привыкли к барачной жизни и к двухъярусным кроватям. Тянулось лето без балтийских пляжей и купального сезона. Излюбленные словечки одного унтер-офицера, который якобы раньше учился на философском факультете, вплетались в наш школьный жаргон. Нас он называл "собачьим отродьем, забывшим смысл бытия": "Надо выбить из вас дурацкую самость". При взгляде на "кучку засранцев" ему приходила в голову мысль о нашей "заброшенности". В остальном он был вполне безобиден. Не злоупотреблял муштрой. Человек, любив-

ший слышать самого себя, — это свойство сохранилось у него вплоть до "матерниад" в романе "Собачьи годы".

При северо-западном ветре от портовой территории, где неподалеку от фабричных построек чудилось нечто белесое, притягивающее к себе вороньё, доносился тлетворный смрад. Позже я еще много чего навидался и нанюхался. И это имело отдаленные последствия. Кормили нас уже не помню чем.

В конце августа новый барак заняли украинские добровольцы из вспомогательных частей. Эти ребята были немногим старше нас, им надлежало обслуживать зенитчиков, освобождать их от разных подсобных работ на кухне или рытья траншей. Вечерами они тихо сидели возле сараев, поодаль от нас.

Зато вместе с ними мы охотились на длиннохвостых крыс в умывальных помещениях и на позициях наших восьмидесятивосьмимиллиметровых зениток. Охота велась в промежутках между учебными тревогами и занятиями по баллистике. Кто-то из нас — или это был украинец? — ловил крыс прямо голыми руками. Предъявителю более десятка отрубленных хвостов полагалась награда: юный зенитчик получал фруктовые леденцы, старослужащий — сигареты, а украинцам давали махорку, которую они предпочитали сигаретам.

И хотя наши уловы были весьма значительны, а урон, нанесенный крысиному поголовью, довольно велик, наша батарея в Кайзерхафене не могла похвастать явной или неявной победой над крысами; видимо, поэтому спустя десятилетия эти недоистребленные грызуны заполонили своими речами целый роман. Они снились мне поодиночке и как целый крысиный народ. Они высмеивали меня, ибо я все еще на что-то надеялся. Они же все знали наперед, а потому зарывались в землю... Только крысы оказались способны пережить человечество и все людские раздоры...

Вскоре после шестнадцатого дня рождения меня вместе с частью команды зенитной батареи Кайзерхафен перевели на береговую батарею Брёзен-Глеткау, которой для обороны расположенного рядом аэродрома от штурмовиков были приданы счетверенные зенитные установки. Там нашей добычей служило не столько поголовье длиннохвостых, сколько кролики.

В свободные часы я уходил к дюнам, где, укрывшись от ветра, кропал в дневнике осенние стишки. Для которых хватало перезрелого шиповника, будничной скуки, ракушек и вселенской скорби; колеблемого ветром прибрежного камыша или вынесенного прибоем резинового сапога. Наплывающий туман превращал в рифмованные строки воображаемую неразделенную любовь. В оставшихся после шторма водорослях и тине можно было найти мелкие кусочки янтаря, а если повезет, то и покрупнее — величиной с лесной орех. Однажды мне попался кругляш не меньше грецкого ореха; в нем, пережив хеттов, египтян и древних греков, Римскую империю и еще бог знает что, уцелело нечто похожее на тысяченожку. Но замков из мокрого песка я больше не строил.

Дома все шло своим чередом, сообразно дефицитной экономике военного времени. Поутихли ссоры с отцом во время моих коротких увольнений на выходные; видимо, мне нравилось не обращать на него

никакого внимания, хотя он был рядом, стоял или сидел в гостиной среди мебели, в костюме с галстуком, войлочных шлепанцах, или, повязав вечный кухонный фартук, неизменно месил тесто в вечном фаянсовом тазу, или рвал газету на бумагу для туалета; он был освобожден от армии, ему не надо было идти на фронт, поэтому соприкосновения с отцом оставались неизбежными. Зато на день рождения он подарил мне наручные часы марки "Кинцле".

Мать уже почти совсем бросила играть на пианино. Ее вздохи по поводу складывающегося положения дел заканчивались словами: "Даже не знаю, чем все это кончится".

Однажды она сказала: "Жаль, что нету Гесса. Он нравился мне больше, чем наш Вождь..."

А еще она говорила: "И чем им евреи не угодили? Раньше к нам захаживал коммивояжер-галантерейщик. Цукерманн его звали. Обходительный такой, скидку всегда мне давал..."

После ужина на стол выкладывались продуктовые карточки. Их нужно было наклеивать крахмальным клеем на газетные листы. Эти листы потом сдавали в хозяйственное управление, чтобы в соответствии с количеством сданных карточек получить новые продукты. После закрытия магазинов сети "Кайзерс Каффее" на площади Макса Хальбе у нас прибавилось клиентов.

Я часто помогал наклеивать продуктовые карточки. Подложкой служила газета "Данцигер нойсте нахрихтен" с недавними новостями. Талоны на муку или сахар закрывали собой, например, очередную сводку Верховного командования вермахта, где вместо слова "отступление" говорилось о "выравнивании линии фронта", чтобы скрасить реальную ситуацию. Названия оставленных городов были мне знакомы еще со времен наступления. Карточки на жиры или растительное масло закрывали, скажем, страницы с извещениями о гибели солдат. Талоны на бобовые культуры не позволяли прочесть еженедельно сменяющуюся программу кинотеатров или мелкие объявления и рекламу.

Иногда помогал и отец. Совместное наклеивание продуктовых карточек сближало нас. Он называл жену Ленхен. Она его – Вилли. Меня они звали сынок. Моя сестра по прозвищу Даддау в этом занятии никогда не участвовала.

Пока клейстер подсыхал, радио передавало воскресный концерт по заявкам, постоянно повторяя любимые мамины мелодии: "Ах, ее я потерял...", "Слушай, голубок воркует...", "Один, я вновь один...", песню Сольвейг "Пусть лето пройдет и весна пролетит...", "Колокола родины".

Зимой фронт продолжал пятиться. Победных реляций почти не слышалось. Зато все больше людей, пострадавших от бомбежек, искали пристанище в городе и предместьях. Среди них и сестра моего отца, тетя Элли, с мужем-инвалидом и девочками-двойняшками, которые мне нравились. Захватив остатки спасенного скарба, они перебрались из Берлина в пощаженный войной и еще целехонький город, который так уютно чувствовал себя посреди своей кирпично-готической старины, будто боевые действия всегда будут идти где-то далеко-далеко.

Кинотеатры работали вполне регулярно, как и в мирное время, поэтому увольнения на выходные мы использовали для походов в кино. С одной из двойняшек, без умолку щебечущей на берлинском диалекте, я

посмотрел комедию "Квакс — незадачливый пилот", где главную роль играл Хайнц Рюман, и фильм "Родина" с Зарой Леандер. Были и другие кинофильмы, которые мы смотрели вместе, тесно прижавшись друг к другу. Моя кузина, на год старше меня, проявляла в темноте бóльшую ловкость рук.

Похоже, в течение зимы та подпись, которая сделала меня в готенхафенской военной канцелярии добровольцем, пожелавшим быть направленным в тот или иной род войск, стала для меня чем-то вроде мимолетного каприза, который не влечет за собой последствий. Стремление уйти из дома на любой из фронтов испарилось. Теперь у меня появилась другая тяга. Я зачитывался стихами Эйхендорфа и Ленау, "Кольхаасом" Клейста и "Гиперионом" Гёльдерлина, а во время дежурства у зенитки погружался в свои мысли. Я засматривался на все еще покрытую льдом Балтику. Там, на туманном рейде, стояли на якоре грузовые суда, среди них, вероятно, и шведские.

Примерно в это же время, еще до начала весны, полевая почта доставила мне письмо, написанное ученическим почерком той самой девочки с черными косами, которая была предметом моей первой — ни с чем не сравнимой по страстности — любви. Что содержалось в этом письме, орфографические ошибки которого я счел необходимым исправить, из памяти улетучилось. Наше счастье превратилось в черепки, не успев начаться.

После войны я несколько лет просматривал списки разыскиваемых людей, опубликованные Красным Крестом, а также выпускавшуюся беженцами газету "Наш Данциг", где иногда сообщалось о встречах бывших одноклассниц из школы имени Гудрун, которая раньше называлась школой Хелены Ланге; я искал фамилию девочки, принимавшей разные обличья, казавшейся мне то до осязаемости близкой, то нереально далекой и получавшей в моих книгах разные имена.

Однажды, в середине шестидесятых, мне почудилось, будто я увидел ее перед главным порталом Кёльнского собора. В шляпке горшком, горестно глядевшая, она просила милостыню. Я заговорил с ней, в ответ почти безумная женщина что-то забормотала на кёльнском диалекте.

А в конце девяностых мы с Утой опять побывали в Гданьске, где в частной квартире среди совсем немногочисленной публики состоялась весьма удачная постановка моей повести "Ука" в исполнении немецко-польского камерного театра; после спектакля Ута и я прошли мимо старого здания на бывшей улице Браунсхёфервег. "Здесь она жила", — сказал я и сам показался себе смешным.

Свою утрату, поначалу почти невыносимую, я все же кое-как пережил. У меня оставалась еще одна из кузин, которой я отдал предпочтение. Служба, при всей скуке, шла вполне сносно, а то и вовсе неплохо. Уставшие от войны унтер-офицеры и старшие ефрейторы, занимавшиеся нашей подготовкой, не слишком свирепствовали и вроде бы даже испытывали к нам благодарность за возможность "приводить в порядок стадо баранов" вдали от войны.

На позиции береговой батареи равномерно накатывался прибой. Из мелкокалиберных винтовок мы якобы в учебных целях отстрелива-

ли кроликов и чаек, хотя последнее запрещалось. Когда заряжали дожди, то в свободные от дежурства часы мы играли в шашки или карты.

Подобное времяпрепровождение без особых событий могло бы занять не только переставшую медлить весну, но и лето. Однако вскоре после медицинского освидетельствования, которому подвергались все военнообязанные — один год за другим — в здании окружной военной комендатуры на улице Вибенвалл, мне пришла проштемпелеванная призывная повестка из Имперской службы труда.

Я был не единственным, кому повестку доставили заказным письмом. Тут все работало, как отлаженный часовой механизм. Настал черед двадцать седьмого года рождения. Срок призыва на трудовую службу — три месяца. Начало выпало на последние числа апреля или же первые числа мая. Вместе с другими ребятами, которых тут же сменил очередной набор данцигских старшеклассников, меня списали из рядов вспомогательной службы ВВС; я вновь надел короткие штаны и гольфы, что вызывало мое неудовольствие, когда я смотрелся в зеркало, навещал друзей или симпатичных сестер-двойняшек.

Эта быстрая череда событий уместилась на довольно узком промежутке, в то время как на далеком фронте собирали опознавательные жетоны с мертвых и раздавали наградные побрякушки живым.

На протяжении зимы и в начале весны сообщения о выравнивании линии фронта на Востоке — Киев был оставлен — и о сражениях между японцами и американцами за тихоокеанские острова, а также о событиях на юге Европы вновь расширили мои географические познания: после ухода итальянских союзников, что мы считали подлейшим предательством, и освобождения Дуче, спасенного десантниками в Абруццах — нового героя звали Скорцени, — наступила очередь затяжных боев за развалины монастыря Монтекассино. Американцы, высадившись на побережье севернее Рима, сумели увеличить плацдарм, за который все еще шли бои, когда мне пришлось снять ладную форму юного зенитчика, чтобы сменить ее на куда менее нарядные шмотки Имперской службы труда. Они были дерьмово-коричневого цвета, поэтому можно сказать, что мы выглядели обосранными. Особенно нелепым был головной убор — круглая фетровая шапка с козырьком и вмятиной посредине, прозванная "жопой с ручкой" и заслуживавшая лишь того, чтобы ее выбросили на помойку.

В моем раннем рассказе "Кошки-мышки", который, едва появившись на свет, попал под категорию "литературы, вредной для юношества", но позднее был включен в школьную программу и с тех пор служит объектом всевозможных интерпретаций для педагогов, более или менее строго придерживающихся методических рекомендаций, трагикомический герой Иоахим Мальке вынужден некоторое время носить сей невзрачный головной убор. Таким Иоахима Мальке увидел рассказчик Пиленц в дворцовом парке Оливы. И Тухельская пустошь, где находился мой трудовой лагерь, состоявший из выстроенных в каре жилых бараков и хозблока, вполне соответствовала описанию той самой слегка холмистой местности, где Иоахим Мальке превращался в героя войны: "...красивые облака над березами и над бабочками, которые не знали, куда им лететь. Темно-блестящие, круглые озерца среди болот, в которых можно было глушить гранатами карасей и замшелых карпов. Природа, куда ни присядешь посрать. Кинотеатр находился в Тухеле..." Ос-

тается добавить песчаную почву, смешанный лес и заросли можжевельника — подходящие места для партизан.

Однако мне время трудовой службы запомнилось не так, как его описывает Пиленц, повинуясь своей неудержимой потребности рассказать о Великом Мальке; дело не только в частностях, но и в складывающейся из них тенденции, которая применительно ко мне носит разоблачительный характер: здесь я упустил возможность усвоить первый урок сомнений, хотя потом — слишком поздно, зато радикально — стал сомневаться во всем, научился не склоняться ни перед каким алтарем и не принимать никакую веру.

Это не всегда давалось легко, ибо снова и снова разгорался огонек надежды и хотелось согреть им холодный разум. Это было желание прочного мира и всеобщей справедливости, упование на American way of life[1] с его потребительским раем; а вот теперь чудеса сулит новый Папа...

С самого начала трудовой службы мне удалось, что называется, откосить от работы, поскольку я бойко рисовал, умел обращаться с красками, из-за чего оказался на привилегированном положении. Стены размещавшейся в хозблоке столовой для начальства и личного состава предстояло украсить картинами, мотивами для которых я выбирал можжевельник, заводи с отраженными облаками, березки на слегка холмистой равнине. Было высказано пожелание — но не в приказном порядке — изобразить плещущуюся в воде нимфу.

Для натурных набросков я получал освобождение от работ; до полудня я принимал участие в обычной муштре, разучивал приемы — сначала с лопатой, потом с карабином К-98, зато после обеда мне разрешалось выйти из лагеря, захватив ящичек с акварельными красками, бутылку воды и блокнот "Пеликан". Красивые облака, темно-блестящие озерца и березки, растущие позади большого валуна или перед ним, ложились на бумагу сочными цветовыми пятнами. Позднее некоторые из эскизов переносились клеевыми красками на белые стены столовой. Уже давно мое внимание особо привлекали деревья, поэтому одиноко стоящий дуб служил, видимо, для меня излюбленным мотивом.

Я до сих пор люблю рисовать акварели, будь то во время путешествий или же в нашем белендорфском саду, поэтому мне легко вообразить себя сидящим возле пузырящейся болотной лужицы или на возвышении, то есть на одном из покатых валунов, оставшихся с ледникового периода.

Я прилежно рисовал слегка холмистые равнинные пейзажи, испытывая, признаться, некоторую боязнь. Ведь за можжевельником или возвышающимися из травы далекими валунами могли устроить засаду партизаны с трофейными карабинами. Рядового трудовой службы, который прилежно орудовал кисточкой и корчил гримасы, можно было легко выцелить и уложить первым же выстрелом.

Карьера фронтовика-добровольца закончилась бы, не успев начаться. К тому же я был безоружен. Предназначенные для нас карабины поначалу выдавали лишь для утренних учебных занятий или для стрельб по мишеням и чучелам.

1. Американский стиль жизни (*англ.*).

Если тогдашние будни и себя самого в качестве рядового Имперской службы труда я вижу расплывчато и бледно, то выдача карабинов запечатлелась до боли отчетливо и помнится по сей день.

Изо дня в день разыгрывалась церемония, которая совершалась заведовавшим оружейкой унтер-фельдмейстером с неизменно, как бы из принципа, серьезным выражением лица. Он выдавал карабины, мы принимали. Один за другим вооружались. Видимо, каждый рядовой трудовой службы должен был считать за особую честь прикосновение к дереву и металлу, прикладу и стволу карабина.

Пожалуй, так и получалось, что мы, подростки, начинали мнить себя настоящими мужчинами, когда замирали с карабинами по стойке "смирно", выполняли ружейные приемы "к ноге", "на караул" или "на плечо". Вероятно, мы почти буквально воспринимали поговорку "Винтовка – солдатская невеста" и считали себя если не женатыми на К-98, то хотя бы обрученными с ней.

Здесь нарочно и неоднократно говорится "мы", хотя среди того большинства, которое можно было загнать в общий строй или скопом просватать, имелось исключение, гораздо более отчетливо стоящее у меня перед глазами, нежели пользовавшийся привилегиями художник, его настенные росписи, усердная работа акварельной кисточкой и все остальное, что происходило на Тухольской пустоши при ясной погоде или под облачным небом.

Этим исключением был рослый паренек, голубоглазый, с пшеничными волосами и идеально-продолговатым черепом, какой обычно изображался на цветных плакатах – наглядных пособиях – как образец нордической расы. Подбородок, рот, нос, лоб – все вычерчивалось четкой линией, свидетельствовавшей об абсолютной расовой чистокровности. Зигфрид, копия сияющего бога Бальдра[1]. Светлого, как ясный день. Ни малейшего изъяна, пятнышка, даже крошечной родинки на шее или на виске. Никакого речевого дефекта, вроде шепелявости, не говоря уж о заикании или заминках при ответе на вопрос командира. Самый выносливый на марш-броске, самый бесстрашный при прыжках через глинистую канаву. Самый быстрый, когда надо было за несколько секунд преодолеть высокую стенку на полосе препятствий. Он запросто делал полсотни приседаний. На соревнованиях он мог бы легко побить любой рекорд. Нет, у него не было ни единого недостатка. Но подлинным исключением он, чье имя и фамилия стерлись из моей памяти, стал из-за неподчинения приказу.

Он не хотел выполнять ружейные приемы. Более того, он не желал даже прикасаться к стволу карабина. А что еще хуже: всякий раз, когда унтер-фельдмейстер с неизменно серьезной миной на лице протягивал ему карабин, – ронял его. Он или его руки вели себя преступно.

Мыслимо ли большее преступление, чем по небрежности, а тем паче, ослушавшись приказа, преднамеренно уронить в пыль учебного плаца карабин, боевое оружие, – суженую солдата?

С лопатой, настоящим орудием каждого рядового Имперской службы труда, он делал все, что полагалось, выполнял любые команды. На-

1. Зигфрид – герой средневековой "Песни о Нибелунгах"; Бальдр – божество света и радости в древнегерманской мифологии.

чищенным до зеркального блеска штыком лопаты он салютовал так, что этот штык сиял, будто солнце, перед его нордическим профилем. Он выглядел образцом для подражания, для поклонения. Пока в Великом Германском Рейхе еще функционировали кинотеатры, еженедельные кинохроники могли бы демонстрировать его на экране как некое сверхъестественное существо.

Что касается отношений с товарищами, он и тут заслуживал высочайшей оценки: тут же делился с другими присланным из дома ореховым пирогом, всегда был готов прийти на помощь. Добродушный и приветливый, он никогда не жаловался, просто делал то, что ему велели. Свои сапоги — а если просили, то и сапоги соседей по комнате — он чистил до такой уставной безукоризненности, что на поверке они радовали взор даже самого придирчивого унтер-фельдмейстера. С тряпкой и щеткой он обращался виртуозно, только к оружию не желал даже прикасаться, к тому самому карабину К-98, с которым все мы проходили военную подготовку.

На него накладывались всевозможные взыскания, с ним пробовали обращаться терпеливо. Ничего не помогало. Даже чистку выгребной ямы с помощью укрепленного на шесте черпака, в котором кишели черви, он выполнял без малейших пререканий, основательно; в облаке мух он часами черпал дерьмо из сортира, наполняя приготовленные к выносу баки, чтобы потом, хорошенько вымывшись под душем, свежим и бодрым, опять встать в строй к раздаче оружия и снова отказаться принять карабин: я вижу, будто в замедленной съемке, как карабин падает наземь, взметнув облачко пыли.

Поначалу мы задавали ему вопросы, уговаривали, потому что на самом деле любили этого чудика: "Да бери же, просто возьми в руки!"

Его ответ ограничивался несколькими словами; они вскоре стали крылатым выражением, которое повторялось шепотом.

Но когда из-за него наказанию начали подвергать всех, гонять до изнеможения под палящим солнцем, каждый из нас возненавидел его.

Я тоже заводил себя, злился на него. Ожидали, что мы сами возьмем его в тиски. Что и произошло. Он давил на нас, мы на него.

Соседи по комнате, те самые, которым он наводил глянец на сапоги, даже отлупили его: все — одного.

Не забуду, как через деревянную перегородку я слышал из соседней комнаты его стоны. Слышу удары ремня. Кто-то считал их вслух.

Ни побои, ни угрозы — ничто не могло заставить его все-таки взять оружие. Ребята нассали на его соломенный тюфяк, будто он сам мочится по ночам в постель, но он стерпел и это унижение, а затем в очередной раз произнес свою неизменную фразу.

Конец был неотвратим. Каждое утро мы строились на линейку, поднимали флаг, после чего заведовавший оружейкой унтер-фельдмейстер с обычной торжественной серьезностью приступал к выдаче карабинов, и наш чудик ронял из рук, словно горячую картофелину, предназначенный ему карабин. Неисправимый отказник вновь замирал по стойке "смирно", держа руки по швам и устремив взгляд куда-то вдаль.

Не могу сказать, сколько раз повторялась эта сцена, вызывавшая смятение начальства, пытаюсь вспомнить, какие вопросы задавали ему командиры, от офицеров вплоть до обер-фельдмейстера: "Почему вы так поступаете, рядовой? Почему, идиот?"

Его неизменный ответ сделался крылатым выражением, а для меня цитатой на все времена: "Нельзя нам этого".

Всегда сохранялось множественное число. Ни тише, ни громче, звонким голосом, который разносился далеко окрест, он заявлял во множественном числе то, от чего отказывался лично. Казалось, будто за ним незримо стоит если не целая армия, то по крайней мере батальон отказников, всегда готовых произнести ту же короткую фразу. Три слова сливались в одно: нельзя-нам-этого.

В ответ на расспросы он ничего не объяснял, оставляя неопределенное "это", даже отказывался назвать предмет — оружие, — который не хотел брать в руки.

Его стойкость переменила нас. С каждым днем подтачивалось то, что раньше считалось незыблемым. К нашей ненависти примешивалось удивление и восхищение, принимавшее форму вопросов: "Откуда у чудика эта выдержка? Почему он так упрям? Почему не объявит, что нездоров, ведь выглядит он уже совсем бледным?"

Мы отстали от него. Его больше не хлестали ремнем по голой заднице. Самые непокорные среди нас, ребята из Эльзаса и Лотарингии, которые говорили на непонятном для остальных диалекте и держались в свободное время вместе, а при первой же возможности — перед очередным марш-броском с полной выкладкой под проливным дождем — сказывались больными на слишком правильном немецком, шептали по-французски, хотя им это запрещалось, что-то вроде "бесподобно".

Отказник оказался вознесен на пьедестал. Более того, в глазах нашего начальства дело выглядело так, будто под влиянием одиночки может пострадать дисциплина в целом. Начались строгости, словно виновными были признаны все его одногодки.

В конце концов ежеутренним выступлениям отказника положил конец арест. Для этого имелся карцер. Прозвучала команда: "Марш за решетку!" Но хотя его и убрали с глаз долой, своим отсутствием он упорно продолжал напоминать о себе.

С тех пор воцарились дисциплина и порядок. Неожиданно закончились мои послеобеденные выходы для рисования на пленэре. Кисточки вымыты. Настенные росписи остались незавершенными. Клеевые краски засохли. Лишившись привилегий, то есть возможности филонить, я присоединился к остальным — стал проходить общую военную подготовку, которая состояла из стрельб, метания гранаты, освоения приемов штыкового боя и ползания по-пластунски за территорией лагеря.

Лишь изредка разговор касался его, все еще сидевшего под арестом. Кто-то — унтер-фельдмейстер или один из нас — сказал о нем: "Наверное, из свидетелей Иеговы". Другой подтвердил: "Точно, иеговист. Их еще называют исследователями Библии".

При этом голубоглазый паренек с пшеничными волосами и арийским профилем никогда не ссылался ни на Библию, ни на Иегову, ни на иные высшие силы, а всегда лишь повторял: "Нельзя нам этого".

Однажды его шкафчик опустел: исчезли личные вещи, среди которых находились религиозные брошюрки. Потом куда-то отправили его самого. Нам было сказано: "Откомандирован".

Мы не спрашивали куда. Я не спрашивал. Но всем было ясно. Отчислили его отнюдь не из-за непригодности. А шепотом добавляли: "Его давно должны были посадить".

Находились шутники, которым, впрочем, не слишком удавалось рассмешить остальных: "По такому чудику концлагерь плачет".

Кто-то рассказывал: "Есть такая секта, им этого нельзя. Поэтому иеговистов и запретили".

Разговоры ходили всякие, но никто толком не знал, почему их запретили, чем они занимались и о чем таком свидетельствовали. Зато никто не сомневался, по какому адресу отправляют упрямых отказников: Штутхоф. Этот концентрационный лагерь был известен по слухам, поэтому считалось, что чудику по имени Нельзя-нам-этого там самое место. "Там уж его обломают наверняка".

Неужели это само собой разумелось?

И никто ему не посочувствовал?

Неужели потом вся тягомотина опять пошла по заведенному порядку?

Что происходило в моей собственной голове? Смущало ли меня, что, с одной стороны, его убрали от нас, будто изолировав и посадив на карантин, как заразного больного, а с другой — его отсутствие продолжало оставаться столь заметным, словно нас всюду сопровождала какая-то зияющая дыра: на учебных занятиях, на дежурствах, во время ползания по-пластунски, за длинным столом над мисками с картофельным супом, в общем сортире, при чистке сапог, в снах, которые сопровождались поллюциями, и эротических фантазиях с их скорым рукоблудием. А наступившее лето выдалось сухим, знойным, ветреным. Всюду скапливалась пыль, закрывая собой многое, в том числе мои мысли, которые, видимо, все же смущали меня.

Но если отвлечься от вещей побочных и свести все в единую точку, то я почувствовал радость или по крайней мере облегчение, когда отказника не стало. Тень сомнения на всем, что прежде было незыблемым, рассеялась. Затишье в голове препятствовало полету мыслей. В ней возобладало тупое равнодушие. Я был вполне доволен собой и сыт. На автопортрете той поры я бы выглядел недурно откормленным.

Однако позже, много позже, когда я придумывал для рассказа "Кошки-мышки" странного, незаурядного героя, выросшего без отца церковного министранта, старшеклассника, выдающегося ныряльщика, кавалера Рыцарского креста, героя и дезертира Иоахима Мальке, прообразом для него послужил отказник по прозвищу Нельзя-нам-этого; правда, Иоахим Мальке стыдился своего огромного кадыка, а отказник выглядел безукоризненно, без малейших изъянов, когда снова и снова ронял карабин, медленно, словно нарочно затягивая время, чтобы эта картина глубже врезалась в память.

Позднее, когда сводка Верховного командования вермахта, вывешенная на доске объявлений, о высадке англо-американских войск на Атлантическом побережье, в очередной раз приумножила мою географическую осведомленность, — только наши эльзасцы и лотарингцы могли правильно выговорить названия нормандских и бретонских городов и деревень, — битва за Атлантический вал затмила для нас все, произошедшее

ранее, среди прочего и того паренька — идеальный образчик для выведения нордической расы, который стал для нас "жалом во плоти".

Продолжался усиленный режим несения службы. Нас дважды поднимали по ночной тревоге из-за партизан, но никто не стрелял, и вообще ничего особенного не происходило. По периметру лагеря были выставлены дополнительные посты, а некоторые из обычных постов удвоены.

Если мне выпадало стоять на посту одному, я пытался утихомирить страх, уносясь мыслями вдаль. Это я умел. История возвращалась к истокам, к легендам. Мои грезы наяву, помогая одолеть страх перед партизанами, населяли древние прусские божества: Перкунс, Пиколс и Потримс, поморская принцесса и князь Святопулк, а еще раньше — готы, переселившиеся из устья Вислы к Черному морю, огромные армии в древних доспехах.

Кроме того, мы работали над укреплением лагеря. Копали рвы, минировали проволочные заграждения. Была установлена сложная система, подающая сигнал тревоги. Однако ничего тревожного не происходило, если не считать того, что одним воскресным днем без видимых причин было объявлено общее построение: все двести пятьдесят ребят образовали полукаре, вместо обычных серых комбинезонов — дерьмово-коричневая выходная форма, на коротко стриженных головах — "жопа с ручкой".

Выйдя на середину плаца, к мачте с флагом, перед нами выступил неожиданно приехавший с целой свитой высокий чин Имперской службы труда. Говорил он отрывистыми фразами. Речь шла о трусливом предательстве подлой клики офицеров-аристократов, о неудачном — благодаря Провидению — покушении на жизнь нашего любимого Вождя и о мести — беспощадном истреблении "всего этого отродья". А дальше только о Нем, сумевшем — "воистину, о чудо!" — уцелеть.

Далее уже более пространные фразы чествовали избранника Провидения, которому мы должны были присягнуть на верность. Мол, с этого дня, этого часа, этой минуты настал наш черед исполнить свой долг, именно наш, ибо здесь и сейчас, как и по всему великому Германскому Рейху, молодежь, сплоченная организацией, которая названа в честь Вождя, клянется с беззаветной преданностью служить делу...

Нас охватил трепет. Нас бросило в жар нечто вроде религиозного порыва. Вождь спасен! Мы могли по-прежнему или заново верить в Провидение.

Прозвучали оба гимна[1]. Мы трижды выкрикнули: "Зиг Хайль!" В нас пылал гнев или скорее — нас жгла бессильная ярость по отношению к безымянным предателям.

Хотя мне никогда ни в школе, ни тем более в материнской лавке колониальных товаров не доводилось сталкиваться с аристократами, я, как было приказано, постарался вознегодовать против голубой крови, однако, похоже, испытывал при этом двойственное чувство, поскольку во время моих мысленных путешествий в темные кладовые немецкой истории и к ее светлым персонажам я привык восторгаться, например, всеми императорами династии Гогенштауфенов. Я мечтал быть оруженосцем Фридриха II в далеком Палермо. А вот в Крестьянских войнах я

1. Имеются в виду гимн Германии и гимн нацистской партии.

причислял себя к сторонникам Томаса Мюнцера, но одновременно видел себя сражающимся плечом к плечу рядом с рыцарями — предводителями крестьянских войск Францем фон Зикингеном, Георгом фон Фрундсбергом и Гёцем фон Берлихингеном. Моим кумиром был Ульрих фон Гуттен, а Папа и все попы — моими врагами. Когда же позднее стали известны имена некоторых заговорщиков — фон Вицлебен, фон Штауфенберг, — мне было трудновато поддерживать в себе пламя праведного гнева против "аристократического отребья".

Какая сумятица в головах под короткой стрижкой. Только что образ шестнадцатилетнего рядового Имперской службы труда казался совершенно четким, а теперь он начинает расплываться по краям. Не то чтобы этот образ стал мне теперь чужим, однако возникает чувство, будто мое одетое в тогдашнюю форму Я хотело бы спрятаться. Оно готово отказаться даже от собственной тени, лишь бы воспользоваться произвольным толкованием категорий денацификации, чтобы попасть в разряд "незначительно виновных".

Позднее именно они составили преобладающее большинство. Им ничего нельзя было доказательно вменить в вину, кроме "исполнения долга". Они распевали хором "Нет сейчас страны прекрасней". Они утверждали, что их совратили, ввели в заблуждение, в ход шли ссылки на смягчающие обстоятельства, на полную неосведомленность, они взаимно удостоверяли абсолютную непричастность друг друга к чему бы то ни было. Подобные лукавые отговорки, готовность изобразить из себя святую наивность могли бы помочь и мне: ведь на пергаментной кожице лука проступает петит бытовых маргиналий, забавных анекдотов и занимательных историй, слишком явственно стремящихся отвлечь меня от того, что хотело бы быть забытым, но остается занозой.

Тогда я достаю из ящичка над конторкой, за которой работаю, кусочек прозрачного янтаря, чтобы узнать, насколько твердо продолжал я веровать в Вождя, несмотря на очевидные трещины в фасаде веры, на усиливавшиеся, хоть и передаваемые шепотком слухи, на пятящийся фронт — теперь уже и во Франции.

Веровать в Него было несложно, даже не по-детски легко. Ведь Он оставался целым и невредимым, был по-прежнему самим собой. Твердый взгляд, видящий всех и каждого. Серый китель, никаких побрякушек. Только Железный крест времен Первой мировой войны, это запечатленное портретом скромное величие присутствовало всюду, куда ни посмотри. Его голос звучал откуда-то сверху. От любых покушений его оберегало нечто свыше. Может, и впрямь само Провидение?

Смущало, правда, не стиравшееся воспоминание о том пареньке с пшеничными волосами, который не уставал твердить: "Нельзя нам этого". Когда он исчез, его отсутствие ощущалось довольно остро, но настоящим примером он для меня все же не стал.

Вскоре после покушения нас отпустили. Мы сдали в кладовую свою неприглядную форму и лопаты, начистив их напоследок до блеска и отсалютовав ими на завершающем торжественном построении. Затем мы услышали в собственном исполнении гимн Имперской службы труда: "В нашей форме — цвет родимых пашен".

Переодетый в штатское, вновь стесняясь голых коленок и вечно сползающих гольфов, я, казалось, вернулся в детство. В летнем Лангфуре меня по-прежнему ждали родители, которые, по их словам, заметили, что сын "немного изменился".

Привычно ненавистная двухкомнатная квартира еще больше давила на меня своей теснотой, хотя теперь среди ее оклеенных обоями стен стало тише, даже слишком тихо: не хватало моей сестры, ее смеха, вихря от прыжков из гостиной в спальню и вокруг обеденного стола. Девчушки, которой все время хотелось играть, только играть, поэтому она захлопывала мою книжку, чтобы я присоединился к ней. Остались только ее куклы и плюшевые зверушки под подоконником слева.

Детей школьного возраста отправили по распоряжению гауляйтера в сельскую местность, дабы уберечь от террористических бомбардировок вражеской авиации. С ними поехали учителя класса моей сестры и других классов для продолжения занятий, которые шли теперь на полуострове Хель неподалеку от рыбацкой деревушки Хайстернест. Оттуда сестра посылала почтовые открытки, скучая по дому.

Родители баловали меня: отец готовил кисло-сладкое жаркое, а мать с застывшей улыбкой слушала мои несбыточные фантазии о том, как я отправлюсь с ней в южные страны, где цветут лимоновые деревья, только теперь сыну уже не хотелось сидеть у нее на коленях. Она со страхом ждала почтальона. Ее слабая надежда умещалась в одной фразе: "Может, все еще как-нибудь кончится до..."

До того дня, как почта доставила мне призывную повестку, оставалось меньше двух месяцев; это время, похожее на калейдоскоп случайных, бессвязных эпизодов, запомнилось как томительное и скучное ожидание.

Что за рецидив! Как я и опасался, после увольнения из Имперской службы труда я словно вновь превратился в оболтуса-старшеклассника, каким бывал на летних каникулах, только теперь без пляжей, без возни с девочками в дюнах, за кустами шиповника.

Куда ни зайди, всюду на комоде фотографии в траурной рамке, вполголоса рассказывают о погибших мужьях, сыновьях или братьях. Старый город выглядел убого, ожидая если не стремительного, то медленного упадка. Темные из-за обязательной светомаскировки улицы пугали жителей. Всюду плакаты: "Враг подслушивает!", "Они воруют уголь!" В скудных витринах — лишь залежавшийся неходовой товар. В лавке матери продаются без карточек эрзац-сливки "Секосан".

У Главного вокзала, на мосту через Мотлау, на Лабазном острове, на подходах к верфи Шихау полевая жандармерия и гитлерюгендские патрули останавливали для проверки прохожих в штатском, приехавших на побывку фронтовиков или слонявшихся девушек, которых становилось все больше и которые были весьма сговорчивы с простыми солдатами, не говоря уж об офицерах. Предупреждали насчет дезертиров, ходили слухи о том, что творила одна подростковая банда: кража со взломом в Хозяйственном управлении, поджог в порту, тайные сходки в католической церкви. Все эти невероятные дела приписывали "банде чистильщиков", которая позднее — когда у меня накопилось, наконец, достаточно слов, чтобы произвольно вызывать их поток, — показалась мне заслуживающей нескольких глав.

В романе "Жестяной барабан" одного из предводителей этой банды зовут Штертебекер. Он пережил конец войны, а в послевоенные годы сообразно логике событий сделался преподавателем гимназии, штудиенратом Старушем, предпочитающим избегать конфликтов, приспособленцем, который в следующем романе страдает от зубной боли, находясь "под местным наркозом", а все происходящее расценивает с двух точек зрения – с одной стороны, с другой стороны.

Я был всего лишь слушателем, когда одноклассники, которые – готовы они были идти добровольцами или нет – также ждали призывной повестки, будто избавления, пересказывали курсировавшие слухи, называя имена школьников, внезапно исчезнувших, то есть "ушедших в подполье". Одноклассник, у которого отец занимал высокий пост в полиции Рейнланда, что-то слышал о подростковой банде "Пираты эдельвейса", орудовавшей в разбомбленном Кёльне. Больше по привычке, чем ради интереса, я продолжал ходить в кино, смотрел в кинотеатре "Тобис-паласт" на улице Ланггассе "Романс в миноре", сравнивая актрису Марианну Хоппе с красавицами из моих старых альбомов сигаретных картинок, где дамы эпохи Ренессанса демонстрировали свой четкий профиль.

А еще я бродил по улицам Старого города, по Яшкентальскому лесу, коротая время и бессознательно вбирая в себя подробности, из которых скопилась такая масса материала, что позднее с ней было трудно справиться. Вижу себя на скамьях готических церквей – от церкви Святой Троицы до церкви Святого Иоанна – внимательно разглядывающим каждую арку, каждую кирпичную опору, будто их необходимо запомнить навсегда.

Кроме того, у меня были любимые места для чтения, особенно чердак, на котором из дощатых отсеков вытащили весь хлам; исчезло и просиженное кресло, поскольку все это считалось горючим материалом для бомб-зажигалок. Опустошенный чердак под все еще целехонькой крышей ждал грядущих событий. Поэтому здесь стояли ряды ведер и бочка с песком, лежали наготове тряпки для сбивания пламени.

Что же я читал под чердачным окном? Вероятно, "Портрет Дориана Грея" – зачитанный том в льняном переплете с кожаным корешком из книжных сокровищ матери. Обширный ассортимент уайльдовских пороков, один другого ужаснее, вполне годился в качестве зеркала, чтобы смотреться в него.

Пожалуй, тогда же, на чердаке, я проглотил одолженный у кого-то роман Мережковского "Воскресшие боги, или Леонардо да Винчи". Сидя на перевернутом ведре, я впитывал в себя больше, чем мог вместить. Я растворялся в книгах, которые побуждали меня воображать себя жителем совсем иных мест и эпох: Георгом Йеначем, гамсуновским авантюристом и путешественником Августом, келлеровским "зеленым Генрихом", Дэвидом Копперфилдом и тремя мушкетерами сразу.

Не могу сказать, когда именно я вытащил из дядиного книжного шкафа ремарковский роман "На Западном фронте без перемен". Попался ли он мне на глаза, когда я решил пойти в армию добровольцем и ждал вызова, или же я прочитал его вместе с военным дневником Эрнста Юнгера "В стальных грозах"? Эту книгу порекомендовал мне учи-

тель немецкого из гимназии на площади Ганзаплац в качестве подготовки к предстоящим фронтовым будням.

Штудиенрат Литшвагер, колченогий ветеран Первой мировой войны, нахваливал "колоритную фантазию" и, как он выразился, "яркую пластичность" моих гимназических сочинений, даже одобрил их "довольно дерзкую словесную эквилибристику", однако упрекал за "несерьезность", по его мнению, неуместную в годину суровых испытаний, которые выпали нашему отечеству.

Итак, еще будучи гимназистом или уже отбыв положенный срок в Имперской службе труда, я нашел томик Ремарка в книжном шкафу младшего брата матери. Дядя работал прорабом, руководил сборкой бараков из готовых частей — стен, оконных рам, дверей, которые изготовлялись в столярной мастерской моего деда, где безостановочно крутились циркулярные пилы и орудовали пятеро подмастерьев. Поэтому дядю Фриделя не забрали в армию, а выдали ему бронь. Он часто пропадал на стройке, так как вокруг верфи и порта сооружалось все больше обнесенных колючей проволокой бараков для рабочих, пригнанных с Востока.

Думаю, дядя не знал, что роман "На Западном фронте без перемен" находится под запретом, как не подозревал и я, читая историю о жалком конце добровольцев в окопах Первой мировой, что книгу Ремарка жгли вместе с другими запрещенными книгами. Я до сих пор ощущаю на себе влияние этого романа. Как пара сапог меняет своих владельцев... Как погибают солдаты, один за другим...

Книга и ее автор продолжают напоминать мне о юношеском недомыслии, но в то же время и о том, что возможности отрезвляющего воздействия художественной литературы ограничены.

Когда в середине шестидесятых мы с Анной и нашими четырьмя детьми проводили лето в Тесине, — где вместе с дочерью Лаурой я искал на лесистых склонах горных коз, а если находил, то мы давали козам лизать соль с ладоней, — я воспользовался посредничеством моей американской издательницы Хелен Вольф, которая устроила мне визит к Ремарку, в его виллу на озере Лаго-Маджоре, забитую всяческим антиквариатом. Я рассказал ему, как параллельное чтение двух книг вызывало у меня ощущение контрастного душа: с одной стороны, увлекательное юнгеровское живописание войны через призму приключений и испытаний мужества, с другой — меня ужаснула, потрясла мысль Ремарка о том, что война делает каждого солдата убийцей.

Пожилой писатель усмехнулся и перевел рассказ о моих юношеских впечатлениях от чтения книг обоих авторов на английский язык с жестким прусским акцентом своей поздней возлюбленной, бывшей звезде немого кино Паулетте Годар, которая была какой-то по счету женой Чарли Чаплина. Затем он продемонстрировал кое-что из своих антикварных сокровищ, например, китайские вазы и вырезанных из дерева мадонн. Нет, граппу мы с ним не пили.

Однако позднее, много позднее, когда я сочинял истории для книги "Мое столетие", мне вновь захотелось свести двух антиподов — Ремарка с Юнгером. Обращаясь к эпизодам Первой мировой войны, я усадил обоих кавалеров старой школы за ресторанный столик цюрихского

отеля "Шторхен", заставил их спорить, а управлять беседой доверил юной даме, занимавшейся историей и державшей себя по-швейцарски нейтрально. При всей взаимной учтивости знатоков обеих вин чувствовалось их жесткое отчуждение, когда заходила речь о смысле смертоубийственных окопных сражений. Для них война не закончилась. Что-то осталось недосказанным.

Вот и я, глядя на серебряное блюдо озера Лаго-Маджоре, признался Ремарку, что пятнадцатилетний гимназист, хотя и прочитал его книгу, описывающую множество вполне обычных для войны смертей, все же заявил о желании пойти добровольцем на подводный флот или в танковые войска. Эмигрант, которому давно набил оскомину затяжной успех, с очевидной неохотой разговаривал о своем знаменитом романе, который затмил собой все прочие его книги.

А потом на обеденный стол легла призывная повестка, испугавшая отца и мать. Подсела ли мама к пианино, чтобы сыграть что-нибудь из песенного сборника "Сад роз"? Или всплакнула?

Нет, нужно отмотать кинопленку немного назад: за несколько дней до того, как бумажка с печатью лишила родителей дара речи, я ездил с ними через Сопот и Готенхафен в Путциг, чтобы повидать эвакуированную сестру. При устойчиво хорошей августовской погоде до деревушки Хайстернест нас довез автобус.

Дом находился неподалеку от моря. Об этом свидетельствует фотография из семейного альбома, который мать уберегла от перипетий войны и депортации. Брат и сестра сидят рядышком на светлом песке хельского пляжа. Мы только что искупались или вот-вот пойдем купаться, правой рукой я по-братски обнимаю ее. Брат с сестрой, которые знают друг о друге очень мало, почти ничего. Такой близости у нас потом еще долго не было.

Сестра, которую я с детских лет зову Даддау, выглядит очень мило. Она улыбается. Ее брат, еще почти подросток, хотя в нем уже видны мужские стати, старается казаться перед объективом фотоаппарата серьезным.

Отцу весьма удался этот мирный снимок, сделанный в погожий день на исходе лета; фотография оказалась последней перед моим отъездом.

Ибо лишь теперь фактом стало то, о чем мы старались не думать: бумага лежала на столе, в ней все было написано черным по белому, имелись подпись, дата и печать — повестка. Но что было выведено крупным или мелким шрифтом на ее шапке?

Никакие вспомогательные средства не срабатывают. Разглядеть шапку бланка не выходит. Не получается и установить звание офицера, подписавшего повестку, словно его задним числом разжаловали. Воспоминания, обычно болтливые и любящие потешить анекдотом, на сей раз предстают чистым листом; а может, все дело во мне, и я сам не готов расшифровать письмена на пергаментной кожице лука?

Можно утешить себя цитатами: повестка и события, последовавшие за ней, — все это уже жевано-пережевано, облечено в выстроенные надлежащим образом слова и сделалось книгой. "Собачьи годы" растянулись больше чем на семьсот страниц. Тут подробно описано, как некто Харри

Либенау, став солдатом, заводит дневник и пишет с учебного полигона Фаллингбостель нашпигованные цитатами из Германа Лёнса[1] письма своей кузине Тулле, письма, в которых позднее, когда командировочные предписания поведут его от Люнебургской пустоши до Восточного фронта, он будет подбирать и не сможет подобрать рифму к имени Тулла: "Я пока не видел ни одного русского. Временами я уже больше не думаю о Тулле. Наша полевая кухня исчезла. Я читаю все время одно и то же. Беженцы запрудили все дороги и уже ни во что не верят. Лёнс и Хайдеггер во многом ошибаются. В Бунцлау на семи деревьях висели пять солдат и два офицера. Сегодня утром мы обстреляли участок леса. Два дня я не мог ничего записать в дневник, потому что у нас было соприкосновение с противником. Многих наших уже нет в живых. После войны я напишу книгу..."

Мне же в сентябре сорок четвертого ничто не предвещало будущей объемистой книги, однако я тоже вознамерился завести дневник — собрание запечатленных мгновений, а пока все еще сидел в коротких до колен штанах на деревянной скамье в железнодорожном вагоне третьего класса.

Поезд отошел от данцигского Главного вокзала, миновал Лангфур и покатил к Берлину. Фибровый чемодан, купленный специально для этой поездки, я засунул в багажную сетку. В голове был разброд, еще большая неразбериха, чем при обычной будничной суете. Но ни единая мысль не поддается и не желает стать цитатой, произнесенной хотя бы шепотом, невнятно; лишь призывная повестка похрустывала в нагрудном кармане моего слишком тесного пиджака.

Мать отказалась провожать сына на вокзал. Меньше меня ростом, она обняла меня в гостиной и застыла как потерянная между пианино и напольными часами: "Лишь бы ты целым вернулся..."

Когда Харри Либенау прощался со своей кузиной Туллой Покрифке, на ней была кокетливая форменная пилотка трамвайной кондукторши: "Смотри, чтобы тебе нос не отстрелили!"

Меня провожал отец. В трамвае мы ехали молча. Потом ему пришлось купить перронный билет. В своей велюровой шляпе он выглядел вполне прилично, под стать представителю среднего класса. Мужчина сорока с лишним лет, которому до сих пор удавалось пережить войну в штатском.

Он непременно хотел сам нести мой фибровый чемодан. Отец, от которого я, пока рос, всячески желал избавиться, он, на кого я возлагал вину за тесноту двухкомнатной квартиры и за общий туалет на четыре семьи, он, которого я готов был убить моим гитлерюгендским кинжалом, он, чьему искусству превращать душевные переживания в супы некто станет позднее подражать, он, мой отец, к которому у меня никогда не возникала нежность, зато слишком часто сталкивали ссоры, он, этот жизнерадостный, беззаботный, легко поддающийся искушениям человек, который всегда старался блюсти приличия и гордился "отменно изящным почерком", который по-своему любил меня, прирожденный добропорядочный супруг, которого жена называла Вилли, стоял рядом со мной, когда, раздувая пары, подошел поезд.

1. Герман Лёнс (1866–1914) — немецкий поэт, публицист и естествоиспытатель, автор многочисленных стихотворений о природе, в том числе сборника "На Люнебургской пустоши"; в годы нацистского режима считался одним из крупнейших поэтов Германии.

У него, а не у меня на глазах выступили слезы. Он обнял меня. Нет, именно я обнял отца, настаиваю на этом.

А может, мы просто обменялись мужским рукопожатием?

Мы оставались неразговорчивы, скупы на слова? "Будь здоров, отец!" – "До скорого, папа!"

Снял ли он шляпу, когда поезд отошел от перрона? Пригладил ли смущенно светлые волосы?

Махнул ли вслед велюровой шляпой? Или даже носовым платком, который летом, при большой жаре, завязывал на концах четырьмя узелками, превращая в уморительный головной убор?

Отчетливо помнится лишь панорама удаляющегося города со всеми его башнями на фоне вечернего неба. По-моему, слышался бой колоколов с церкви Святой Катарины, вызванивавший песню:

Будь верным и честным
до хладной могилы...

Больше всех других городских церквей, камень за камнем возрождавшихся из руин в послевоенные годы, именно церковь Святого Иоанна, стоящая несколько в стороне от остальных, ближе к Мотлау, привлекала меня во время каждого приезда в родной город, который старался восстановить свой прежний облик. Внешне не поврежденная, но изнутри выгоревшая и разоренная, эта кирпичная страдалица на протяжении десятилетий служила для польских реставраторов складом, где хранились пригодные для нового использования обломки.

В марте пятьдесят восьмого я, расспрашивая об этой церкви одного из немногих оставшихся здесь стариков, который все еще называл себя немцем, услышал, что, когда сначала бомбардировки, а затем артиллерийские обстрелы разрушили город, когда вместе с домами, уничтоженными пожаром на улицах Хэкергассе и Йоханнесгассе, Нойнаугенгассе и Петерзилиенгассе, сгорела и церковь Святого Иоанна, больше сотни мужчин, женщин и детей, искавших там убежище, погибли если не от дыма и пламени, то оказались погребены под обрушившимися стенами, штукатуркой и кирпичными сводами. "Только об этом, – сказал старик, – никто теперь и слышать не хочет".

С другой стороны, поляки утверждали, будто, когда женщины бросились в церковь, чтобы укрыться там, ее подожгли русские. Кто бы это ни сделал, устояли только обугленные стены.

Позднее треснувшие каменные плиты устоявшей церкви, ее усыпанный щебенкой пол стали хранилищем городских останков: сюда собирали каменные украшения фронтонов, фрагменты рельефов, балюстрады террас с улиц Бротбенкенгассе, Хайлигенгайстгассе и Фрауэнгассе, барочные дверные арочные рамы из гранита. Все, что сохранилось от прекрасной резьбы по камню, украшавшей Двор Артурса, все другие реликты, которые отыскались на свалках, – каждую находку снабжали аккуратной надписью и учетным номером, после чего отвозили на склад, где держали до использования при реставрации.

Каждый раз, когда мне удавалось пробраться внутрь церкви – а ее портал всегда закрывали довольно небрежно, – я неизменно обнаруживал в пыли и щебне среди аккуратно уложенных обломков чьи-то кости

и косточки, причем было неизвестно, относятся ли они еще ко временам Средневековья или же напоминают о мужчинах, женщинах и детях, которые якобы погибли в ярко пылавшей церкви Святого Иоанна, когда вокруг горел весь город и его храмы.

Толком никто ничего не знал. Возможно, кости высыпались из треснувших гробниц под напольными плитами. На беглый взгляд кости любых столетий похожи. В церкви Святого Иоанна, где некогда устанавливали свои алтари гильдии корабелов, бочаров и сундучников, до XVIII века под каменными плитами из песчаника или гранита с высеченными на них надписями хоронили богатых негоциантов и судовладельцев.

Кому бы ни принадлежали эти кости и косточки, они были частью каменных останков и вместе с ними служили свидетельством истории. Вероятно, поэтому в разоренной церкви уже в пятидесятые годы стали проводить натурные съемки польские кинематографисты: свет, проникавший сквозь высокие, кое-где забитые досками окна, привлекал операторов и режиссеров, так как создавал определенную эмоциональную атмосферу.

Во время моего последнего приезда в Данциг я увидел, что церковь Святого Иоанна сильно изменилась. Ни хранилища каменных останков, ни костей и косточек. Пол выровнен, окна застеклены, кирпичные стены отремонтированы. Слушатели сидели на стульях, ряды которых уходили далеко в глубь нефа, где я читал отрывки из "Траектории краба".

И пока строка за строкой разыгрывалась гибель океанского лайнера с многочисленным людским фрахтом на борту, а я читал, прислушиваясь к акустике церкви, та часть моих мыслей, которая предпочитает обращаться к прошлому, искала подростка, покинувшего город тогда, когда он стоял еще целым со всеми своими башнями и фронтонами.

Как я страху учился

Припомнилось ли мне по дороге до Берлина мое первое путешествие в том же направлении, возвращающее меня в детство? Когда же это было — в тридцать шестом, олимпийском году, или годом позже?

Я был еще учеником народной школы, когда согласно так называемой программе отправки детей в сельскую местность нас доставили поездом в Рейнланд, к самой границе с Голландией. Поскольку отправляли нас из суверенного государства, коим был Данциг, мы увидели весь тогдашний марионеточный театр: сначала пришли данцигские таможенники, потом дважды — польские, в другой форме, и, наконец, на пограничной станции Шнайдемюль германские, опять-таки в другой форме. И честь всякий раз отдавали иначе: одни подносили к козырьку фуражки ладонь, другие — два пальца, третьи — снова ладонь.

Все это происходило через небольшие промежутки времени. У каждого из ребят на шее висела целлофановая папочка с документами, которыми мы очень гордились.

Я работал у крестьянина, который держал коров и откармливал свиней, его сын Матиас был моим ровесником; здесь я научился из тщательно разглаженных грядок выкапывать отростки спаржи, стараясь их не повредить. Следовательно, дело было в мае. Деревня называлась Брайель. Порядки там царили еще более католические, чем в лангфур-

ской церкви Сердца Христова. Жена крестьянина заставляла Матиаса и меня каждое воскресенье ходить на исповедь. Тогда я еще верил в ад и грехов за собой знал предостаточно.

Дорога от четырехугольного крестьянского подворья до сельской школы следов в памяти не оставила. Да и вообще запомнилось немногое. Вижу лишь бесчисленное множество блескучих мух на побеленных стенах крестьянской кухни. С самыми жирными из пойманных мух я устраивал забаву, которую подсмотрел дома у одноклассника, чья любовь ко всяческой живности не знала границ: приклеивал к мухам разноцветные нитки. Мухи с красными, синими и желтыми хвостами кружили над столом, и смотрелось это довольно красиво.

Я соревновался с Матиасом, кто больше поймает мух, мы смахивали их рукой со стены. "Лучше мух ловить, чем баклуши бить", — хвалила нас бабушка, не вставшая со своего кресла и перебиравшая четки. За окном простиралась равнина. В трех церковных колокольнях от нас начиналась Голландия...

Лишь циник назвал бы мое второе путешествие на Запад отправкой детей в сельскую местность. Когда после ночного переезда и многочисленных остановок наш поезд с опозданием подошел к столице Рейха, двигался он так медленно, будто хотел дать возможность пассажирам если уж не записывать путевые впечатления, то хотя бы откладывать их впрок на будущее — для заполнения провалов памяти.

Помнится лишь вот что: по обе стороны железнодорожной насыпи горели дома и целые жилые кварталы. Из оконных проемов верхних этажей выбивалось пламя. Затем взгляд вновь падал в темные расщелины улиц и задних дворов, где росли деревья. Порой мелькала человеческая тень. Было малолюдно.

Пожары были вполне обычны, Берлин каждый день разрушался все больше. За очередным воздушным налетом последовал отбой. Поезд катил медленно, словно нарочно, чтобы я получше рассмотрел город.

До тех пор я видел руины лишь мельком в еженедельных выпусках кинохроники, когда там показывали транспаранты с надписями вроде: "Нас не сломить!" Или: "Рушатся стены, но наши сердца — несокрушимы!"

Еще недавно имперский министр пропаганды Геббельс живо изображал самого себя на экране городского кинотеатра "Тобис-паласт", подбадривая на фоне развалин мужчин и женщин, лишившихся жилья после бомбежек, пожимая руку коменданту убежища местной ПВО и трепля по щеке смущенно улыбающихся детишек.

Незадолго до получения мобилизационной повестки я побывал у дяди с материнской стороны, который работал киномехаником в "Тобис-паласт" и благодаря которому я несколько лет мог бесплатно смотреть фильмы, даже такие, например, как "Ванна на сеновале", хотя детей на эти сеансы не пускали. Может, еще тогда через окошечко возле проектора я увидел после киножурнала, в котором Геббельс разговаривал с людьми, уцелевшими в бомбежку, пропагандистский игровой фильм "Кольберг" с Генрихом Георге в главной роли?

Позднее ходили слухи, будто ребята, одетые на время киносъемок в исторические костюмы и храбро отражавшие натиск наполеоновских войск, позднее, когда они уже не были статистами, а Кольбергу пришлось реально противостоять русским и полякам, попали в народное

ополчение — фольксштурм. Многие из них погибли, только на сей раз никто не снял фильм об их героической смерти.

Людей на вокзале не беспокоили далекие пожары. Царила обычная суета, толкотня, раздавались перебранки, внезапные взрывы смеха. Одни отпускники возвращались на фронт, другие — с фронта. Девушки из СНД раздавали чай или кофе и только хихикали, когда солдаты давали волю рукам.

Под не слишком разбитым навесом перрона едко пахло застоялым паровозным дымом; или то была гарь пожарища?

Я нерешительно остановился перед множеством указателей к различным явочным, сборным и командным пунктам. Два чина полевой жандармерии с бляхами на цепочках, за что жандармов предостерегающе прозвали цепными псами, объяснили мне, куда идти. После недолгого ожидания в кассовом зале — какой же это был из берлинских вокзалов? — мне выдали командировочное предписание, где следующим пунктом прибытия значился Дрезден.

Вижу очередь парней, они болтают друг с другом. Всех томит любопытство, будто нам обещано интересное приключение. Всем весело. Слышу свой громкий смех, только не знаю, над чем. Раздают сухой паек, в том числе сигареты, положенные и мне, некурящему. Кто-то предлагает поменяться на лакомство, которое у нас дома бывало лишь на Рождество: марципан, обвалянный в порошке какао. Вроде бы суровая реальность, а кажется детским сном.

Потом воздушный налет загнал нас в просторный вокзальный подвал, который служил бомбоубежищем. Там вскоре образовалось сборище солдат и штатских, много детей, а еще раненые — кто на носилках, кто на костылях. Откуда-то появилась труппа цирковых артистов, среди них лилипуты — все в костюмах; воздушная тревога застала их во время очередного представления.

Пока снаружи лаяли зенитки, а вдалеке и поблизости взрывались бомбы, циркачи продолжали свое выступление: один гном поразил публику, жонглируя булавами, шарами и разноцветными кольцами. Другие лилипуты показывали акробатические трюки. Среди них выделялась тоненькая дама, которая грациозно сворачивалась в узел, посылая зрителям воздушные поцелуи и получая взамен бурные аплодисменты. Руководил труппой, гастролировавшей в качестве фронтового театра, маленький старик в костюме клоуна. Проводя пальцами по краям бокалов, расставленных рядами и по-разному заполненных водой, клоун извлекал из них тоскливо-прекрасную мелодию. Ярко загримированный, он улыбался. Картинка, запечатлевшаяся в памяти.

Сразу после отбоя я перебрался городской электричкой на другой вокзал. Из оконных проемов жилых домов вновь полыхало пламя. Опять руины фасадов, развалины целых кварталов, выжженных ночными бомбежками. Вдалеке — здание фабрики, высвеченное изнутри пожаром, будто праздничной иллюминацией. В утренних сумерках готовился к отправке состав до Дрездена.

О том, как я доехал туда — ничего. Ни слова о выданном на дорогу сухом пайке, никаких провидческих или задним числом пришедших на ум мыслей, которые подлежали бы истолкованию. Можно лишь утверж-

дать — а следовательно, и подвергать сомнению, — что именно здесь, в еще не тронутом войной городе, точнее — неподалеку от его предместья по названию Нойштадт, на втором этаже виллы, расположенной в районе, именуемом "Белый олень", мне стало ясно, в какую часть меня направляют. Из очередного командировочного предписания явствовало: где-то далеко в богемских лесах, на учебном полигоне войск СС из призывника, носящего мою фамилию, должны были сделать танкиста...

Спрашивается: испугало ли меня то, что бросилось в глаза тогда, на призывном пункте, как ужасает меня сдвоенное "С" сейчас, спустя шестьдесят лет, когда я пишу эти строки?

На пергаментной кожице лука не сохранилось ничего, что можно было бы прочитать как свидетельство страха или даже ужаса. Скорее, я считал войска СС эдакими элитными подразделениями, которые бросают на наиболее опасные участки фронта, чтобы закрыть брешь, прорвать окружение, как это было с "Демянским котлом"[1], или, например, отбить занятый противником Харьков. Двойная руна на воротнике не производила на меня отталкивающего впечатления. Юноше, мнившему себя мужчиной, важнее был род войск: если уж не довелось попасть на подводный флот, о котором в информационных сводках уже почти не появлялось экстренных сообщений, то пусть я стану танкистом в дивизии, которая, как говорилось на командном пункте "Белый олень", формировалась заново под названием "Йорг фон Фрундсберг".

Йорг фон Фрундсберг был известен мне как предводитель Швабского союза времен Крестьянских войн и как "отец ландскнехтов", человек, сражавшийся за свободу, за волю. А еще в войсках СС мне чудилось что-то европейское, поскольку их дивизии формировались из французских, валлонских, фламандских и голландских добровольцев, там было много норвежцев, датчан, даже нейтральных шведов; они воевали на Восточном фронте, защищая, как тогда провозглашалось, западную цивилизацию от большевистского нашествия.

Словом, отговорок довольно... Но все же я десятилетиями отказывался признаться самому себе в причастности к этому слову, к этой сдвоенной литере. То, что было принято мной из глупого мальчишеского тщеславия, я умалчивал из растущего стыда после войны. Но груз остался, и никто не может облегчить мне этого бремени.

Хотя в осенние и зимние месяцы тупой муштры, пока из меня делали танкиста, я ничего не слышал о военных преступлениях, которые позднее выплыли на свет, однако ссылка на неведение не оправдывает меня перед лицом того осознаваемого факта, что я был частью системы, спланировавшей, организовавшей и осуществившей уничтожение миллионов людей. Даже если согласиться, что на мне нет прямой вины, нельзя избавиться от тяжкого осадка, который просто так не спишешь на коллективную ответственность. Знаю, жить с этим придется до конца дней.

За лесами и среди лесов, на раскисших полях и пашнях. Грязный снег на деревьях и крышах бараков. Вдали луковка церковной башни. На безы-

1. "Демянский котел" — принятое в немецкой историографии название Демянской наступательной операции Советской армии в январе–мае 1942-го, когда крупные силы вермахта были окружены в районе г. Демянска Новгородской области; в ходе затяжных боев немецким войскам удалось прорвать окружение.

мянном полигоне ни одного чешского слова, только немецкие команды, которые морозный воздух разносит далеко окрест.

Наша боевая подготовка на устаревшей технике — танки TIII и TIV, использовавшиеся в первые годы войны — ограничивалась изнурительной муштрой. Мне казалось, что так и должно быть, однако первоначальное воодушевление все более угасало. Нас, новичков — кроме моих ровесников здесь, правда, были также старослужащие из ВВС, откомандированные в войска СС и прозванные дарами Геринга, — гоняли с утра до ночи, обещая "смешать с грязью".

Все происходило, как в прочитанных мной книгах, но имена даже самых жестоких мучителей напрочь забыты, словно их нарочно вычеркнули из памяти. Приходилось идти на всяческие уловки или же безропотно покоряться. Наглотавшись однажды разогретого масла из банки с сардинами, я сумел симулировать желтуху, дабы уклониться от муштры, в другой раз помог фурункулез, весьма распространенный в нашей учебке, но вечно переполненный госпитальный барак давал убежище лишь на короткий срок. Потом муштра возобновлялась.

Нашим обучением занимались унтер-офицеры, еще довольно молодые люди, которых год-другой, проведенный на фронте, сделал закоренелыми циниками; теперь они, награжденные шпангами за участие в рукопашных схватках и медалями за восточную кампанию, прозванными "орденом за мороженое мясо", передавали нам свой опыт, нажитый на кубанском плацдарме или в танковом сражении на Курской дуге. Они делали это то с ожесточенной сосредоточенностью, то с веселой безжалостностью, то просто поддавшись сиюминутному настроению. Громогласно или тихо они осыпали нас солдатской бранью, состязаясь в разнообразии истязаний, часть которых придумывали сами, а часть заимствовали из давних армейских традиций.

Запомнилось немногое. Кое-что из воспитательных мер для новобранцев запечатлелось в памяти как смешной эпизод; впрочем, не знаю, является ли ответ на испытанные унижения лишь плодом моей мстительной фантазии или же месть действительно состоялась, да еще в столь анекдотической форме; по крайней мере эта история не лишена пикантных подробностей.

Вижу, как ранним утром я иду по заснеженному и еще темному лесу, обвешанный слева и справа здоровенными алюминиевыми термосами. Туда — почти бегом, обратно — еле передвигая ноги. В лесу затерялось похожее на замок поместье, которое, однако, приметно благодаря освещенным окнам; поговаривают, будто там расквартированы высшие чины. Иногда мне слышится доносящаяся оттуда музыка. Порой определенно кажется, что там репетируют струнный квартет Гайдна или Моцарта, но к моей истории, творившейся в тиши, это не имеет ровно никакого отношения.

Вот уже несколько дней как мне приказано доставлять нашим унтершарфюрерам и гауптшарфюреру к завтраку два термоса с кофе, который должен оставаться горячим в течение всего дня, для чего его постоянно подогревают. Кофе готовят в кухонном бараке за лесом. Нам, новобранцам, давали ячменный кофе, к которому, по слухам, якобы подмешивали соду для подавления сексуальности. А вот напиток, который я носил полудюжине привилегированных унтершарфюреров и га-

уптшарфюреру и который полагалось доставлять горячим, был, судя по всему, настоящим кофе. Во всяком случае об этом свидетельствовал аромат из термосов.

Дорога туда и обратно отбирала у меня половину времени, отводившегося на завтрак, и те минуты, которых мне недоставало, чтобы успеть почистить комбинезон от вчерашней запекшейся грязи, а потому на утренней поверке мой внешний вид вызывал нарекания, за которыми следовали взыскания: бег вверх-вниз по холмистому полю с полной выкладкой и в противогазе, по налипающей на сапоги глине — истязание, способное на всю жизнь исполнить новобранца в противогазе чувством мести.

Вероятно, я придумал свою месть, обливаясь слезами за запотевшими круглыми стеклами противогаза, снова и снова разрисовывая ее себе до мельчайших деталей.

На обратном пути из кухни я останавливаюсь в укрытии заснеженных сосен. Огни поместья заметны издалека, а меня оттуда не видно. Тишина. Слышится лишь мое дыхание.

Отлив немного кофе, ставлю на снег термосы и мочусь туда, чтобы восполнить недостачу, сначала в один, потом в другой. Остальным поливаю сугробы между деревьями, отчего снег едва заметно желтеет.

Вдобавок начинается снегопад, скрывая все следы. Мне жарко, несмотря на холод. Меня охватывает чувство, похожее на счастье.

Внутренний голос шепчет: они будут пить эту бурду, подслащивая сахаром, которым запаслись неизвестно где. Прямо сейчас, за завтраком, а потом после обеда и еще подогреют к ужину, когда, наоравшись за день до хрипоты, они потянутся к термосам. Опережая события, вижу их, унтершарфюреров и гауптшарфюрера, отсчитываю каждый их глоток за глотком.

И они действительно опустошали термос за термосом, пили то, что я приносил более или менее горячим. В мечтах и наяву. Хотя кто смог бы меня уличить? Рискну предположить, что повторяемый ежедневно с никому не видимой ухмылкой акт бессильной мести помог мне вынести муштру и тяжелые истязания; а в соседней роте один новобранец повесился на ремне от противогаза незадолго перед отбыванием очередного наказания.

Все остальные приказы я исполнял без тайного саботажа — например, ползал под днищем учебного танка. Команда называлась: "Промерить клиренс!"

Вот что должно было сделать из меня настоящего мужчину: краткий курс ознакомления с тяжелым вооружением. Стрельба по подвижной цели. Ночные марш-броски с полной выкладкой. Приседания с карабином на вытянутых руках. Поощрением служила дезинсекция, которая время от времени производилась в специально оборудованном бараке. После дезинсекции мы поотделенно шли голыми в душ, после чего можно было посмеяться в кинобараке над комедией с участием Ханса Мозера и Хайнца Рюмана.

Почта приходила все нерегулярнее. После обеда нас пичкали теорией. В бараке, где шли занятия, нам демонстрировали майбаховский танковый двигатель. Память не отложила ни единой технической детали. Водить машину я до сих пор не умею и не хочу. От азбуки Морзе, которую нам тоже вдалбливали, в памяти также ничего не осталось.

Раз в неделю нам докучали политзанятием, на котором шла речь о "крови и почве", о "жизненном пространстве". Этот словесный мусор оказался живучим; его и сегодня можно найти в Интернете.

Отчетливей — поскольку он сложился в рассказ — запечатлелся в памяти эпизод, находящийся за рамками повседневной изнурительной муштры. Некоторых призывников, среди них и меня, по очереди вызывали в похожее на замок поместье, которое казалось мне таким загадочным во время моих утренних походов. Всюду, начиная с холла, где стояло пианино, на витой лестнице, на стенах большой залы висели оленьи рога и темнели роскошно обрамленные картины, изображающие сцены охоты. Мебели было совсем немного, только письменный стол на гнутых ножках. За ним восседал приветливый оберштурмбанфюрер, похожий на учителя гимназии.

Разрешив мне "встать поудобней", он поинтересовался, какой профессией я хотел бы заняться после окончательной победы. Он разговаривал со мной тоном доброго дядюшки, озабоченного будущим своего племянника.

Умолчав о своем твердом намерении стать художником, я уклончиво ответил, что хотел бы изучать историю искусств; на это мне была обещана поддержка, если я соглашусь поступить в школу юнкеров для будущего руководящего состава и если меня туда примут.

По его словам, уже сейчас кадры, проникнутые национальной идеей, готовят там для решения многих задач по территориальному планированию, которые возникнут после окончательной победы, когда произойдет необходимое переселение инородных популяций; эти кадры будут руководить экономикой, восстановлением городов, финансовым сектором и упомянутой мной сферой искусств... Потом он осведомился об уровне моих знаний.

Доброго дядюшку в очках без оправы, чьего звания я точно не помню — похоже, все-таки оберштурмбанфюрер — вроде бы действительно интересовал мой, как он выразился, "жизненный путь". Поэтому я отбарабанил ему все, чего понабрался благодаря картинкам из сигаретных пачек и монографиям "Кнакфуса". Говорил без умолку и, должно быть, весьма самонадеянно об автопортретах Дюрера, об Изехаймском алтаре, о картине Тинторетто "Чудо святого Марка", которую похвалил за смелую перспективу в изображении пикирующего апостола.

После экскурсов по ужатой до трех альбомов истории мирового искусства кладезь моих познаний иссяк, завершившись дерзкой характеристикой Караваджо, которого я назвал "убийственным гением"; затем будущий выпускник юнкерского училища пустился в пространные рассуждения о жизни и творчестве Ансельма Фейербаха и вообще о "немецких римлянах", а под конец о Ловисе Коринте, которого Лили Крёнерт, моя учительница рисования в школе Святого Петра, считала гениальным. Поэтому я объявил его произведения, выставленные в Доме немецкого искусства, выдающимся достижением современной живописи.

Покачав головой, добрый дядюшка скупым жестом отправил меня прочь: судя по всему, я был признан негодным для карьеры в качестве руководящего кадра после окончательной победы, ибо юнкерское училище не избавило меня от дальнейшей муштры.

На семнадцатилетие я, хоть и с опозданием, получил из дома посылку: шерстяные носки и раскрошившийся пирог. А к ним прилагались исписанные каллиграфическим отцовским почерком две страницы, полные заботливых наставлений, совершенно далеких от моей реальной жизни. Позднее шли только письма, а после Рождества прекратились и они.

Сообщения с "доски объявлений" уверяли нас, что наступление в Арденнах развивается успешно и в ходе военных действий ожидается перелом, однако вскоре из сводок стало известно о вторжении русских в Восточную Пруссию. Рассказы об изнасилованиях и убийствах немецких женщин под Гумбиненом занимали мое воображение во время теоретических занятий.

Днем в морозном зимнем небе появлялись эскадры вражеских бомбардировщиков. Они беспрепятственно совершали свои полеты, за ними тянулся конверсионный след. Куда они летели? Собственно, выглядело это красиво. Только куда подевались наши истребители?

А еще ходили слухи о ракетах V-1 и V-2, о том, что вот-вот будет пущено в ход "чудо-оружие". В конце февраля, когда уже разлетелась молва о спаленном Дрездене, полнолунной ночью, звенящей от мороза, нас привели к присяге. Хор исполнил обязательную по такому случаю песню войск СС: "Пускай кругом измена, мы верность сохраним..."

Вскоре я стал очевидцем событий, приобретших характер организованного хаоса и ознаменовавших собой — сперва медленно, потом с нарастающей быстротой и, наконец, лавинообразно — крушение Великого Германского Рейха.

Но видел ли я, что дело идет к финалу?

Представлял ли себе, что происходит с нами, со мной?

Существовала ли вообще среди каждодневных забот о том, чтобы добыть порцию супа и солдатскую пайку хлеба, какая-то возможность оценить реальное положение вещей?

Осознавал ли семнадцатилетний парень начало того конца, который позднее назовут "крахом", всю его грандиозность и глубину?

Когда моя первая попытка разобраться в путанице, царившей в голове молодого солдата под не по размеру большой каской, которая постоянно сползала ему на глаза, и запечатлеть результаты на бумаге, что обернулось в начале шестидесятых годов романом "Собачьи годы", то дневниковые записи рядового мотопехоты Харри Либенау, для которого война превратилась в непрерывное отступление, переплелись и смешались с его страстными письмами к кузине Тулле, оказавшейся, по слухам, на пассажирском лайнере "Вильгельм Густлофф", который перевозил беженцев и затонул в ледяных водах Балтийского моря.

Я тоже вел нечто вроде дневника, делая заметки в тетради, пропавшей вместе с другим походным имуществом и зимней шинелью где-то под Вайсвассером или Котбусом. Списывая эту пропажу, я испытываю сейчас такое чувство, будто вновь потерял самого себя.

Что же строчил я на линованной бумаге во время кратких привалов или сравнительно длительных передышек?

Какие мысли уносили меня от того, что происходило вокруг, растекаясь порой томительной скукой, когда мы ждали вечно отстающую по-

левую кухню или очередных приказов, гнавших нас то в одну, то в другую сторону?

Заносило ли в мою тетрадь предвестье весны рифмованные строки?

Нравились ли мне мои эсхатологические настроения?

Нет, не удается воспроизвести ни одной из моих бредовых мыслей, ни строчки из мартовских виршей, ни малейших сомнений, которые мне надлежало бы иметь на ту пору и поверять их моему утерянному дневнику; но тогда возникает вопрос: что же собственно делал призывник, прошедший военную подготовку?

Сидел в танке, став если не наводчиком, то хотя бы заряжающим?

Довелось ли ему стрелять по движущейся цели, как учили на мишенях?

Где, когда и к какой части я был прикомандирован?

Пока что мне не удается добиться какой-либо определенности насчет солдата скорее призрачной, нежели реальной дивизии Йорга фон Фрундсберга. Из учебного лагеря среди богемских лесов отдельные группы направлялись в удаленные места формирования маршевых рот. Одна группа двинулась к Вене, другая должна была принять участие в боях за Штеттин. Нас же товарный эшелон увез ночью через Теген-Боденбах на Дрезден, оттуда дальше на восток, где в Нижней Силезии вроде бы проходила линия фронта.

От Дрездена запомнилась лишь гарь пожарищ и картины, увиденные через щель отодвинутой двери товарного вагона: между рельсами на фоне опаленных фасадов грудилось что-то, покрытое сажей. Кому-то почудились обугленные трупы. Другим померещилось не знаю что. Мы спорили, чтобы заглушить ужас; ведь и сегодня то, что произошло в Дрездене, погребено под словесами.

Похоже, мы прибыли в реальность, чтобы сразу вновь покинуть ее или заменить на нечто, желающее быть иной реальностью. После того как наш вагон при сортировке несколько раз отцепляли и направляли в противоположные стороны, наша группа добралась, наконец, до своей маршевой роты, которая еще не была полностью укомплектована и расквартировалась в освобожденной для этой цели школе. Солдаты кухонной команды пилили на улице вынесенные из здания парты — заготавливали дрова. На школьном дворе разместились бараки, построенные, чтобы преждевременно не закончилась моя барачная жизнь, начавшаяся со службы во вспомогательных частях противовоздушной обороны.

Здесь мы ждали обещанного тяжелого вооружения, танков "Тигр". Ожидание затягивалось, но было довольно сносным, благодаря бесперебойному продовольственному снабжению и нестрогому несению службы. Находилось даже время для кинофильмов. Кажется, я снова видел фильм "Мы делаем музыку" с Ильзой Вернер и ее неунывающим художественным свистом. Этот фильм еще в школьные годы заменял мне запрещенный джаз. И, может, именно здесь я увидел пропагандистский фильм "Кольберг"?

Но как долго наша составленная с бору по сосенке команда, куда были прикомандированы и пехотинцы из армейских частей, и наземный персонал утраченных аэродромов, ждала здесь не столько обещанных танков, сколько посылаемой нам вдогонку полевой почты, которая все чаще отсутствовала?

Это время похоже на не поддающийся датировке кинофильм, склеенный из различных эпизодов, которые прокручиваются то замедленно, то в ускоренном темпе, пленка движется назад, потом снова вперед, лента постоянно рвется, превращается в совсем другой кинофильм, с новыми персонажами и иными, случайными событиями.

Во всяком случае перед глазами отчетливо рисуется один унтер-офицер, обычный фронтовик, обедающий вместе с нами за длинным столом. Внезапно ему срочно понадобилось в сортир; тогда, отодвинув еще полную тарелку, он приставил к ней часового, для чего заученным движением двух пальцев вынул из правой глазницы круглую синюю стекляшку, положил ее на кусок мяса величиной с ладонь, выдававшийся каждому из нас к вареной картошке и капусте с коричневой подливой. Затем последовал приказ часовому: "Бди!" После этого все сидящие за столом не могли оторвать глаз от охраняемой тарелки, пока предусмотрительный засранец не вернулся из сортира.

За что еще цепляется память: натюрморт из вещей, не желавших становиться искусством и служивших лишь практическим надобностям. Кстати, многие из наших солдат еще долечивали ранения, их направили в маршевую роту прямо из госпиталя; под конец годным к строевой службе признавали любого.

Однажды под маскировочными сетями появились хоть и не "Королевские тигры", но все-таки три или четыре "Пантеры" — самоходные орудия без вращающейся башни, для обслуживания которых наша сборная команда была подготовлена явно недостаточно. Тем не менее нас вытащили из бараков, посадили на броню в качестве сопровождения, с обычными карабинами, некоторым дали штурмовые винтовки.

Фронт вроде бы проходил вблизи Сагана, силезского городка, который удалось отбить, но бои за него продолжались. Говорили, будто оттуда пойдет наступление на Бреслау, чтобы прорвать блокаду города, превращенного в крепость. Но дошли мы только до Вайсвассера, где исчезла всякая организация, а заодно там пропало мое походное имущество вместе с дневником и зимней шинелью.

Тут фильм обрывается. Сколько бы я ни пытался склеить обрывки и запустить ленту снова, получается невнятный калейдоскоп. Мне удалось избавиться от замызганных портянок, заменив их шерстяными носками, добытыми на брошенном вещевом складе; там же штабелями лежали нижние фуфайки и плащ-палатки. На каком-то привале в пойме реки я трогаю вербные сережки.

Куковала ли ранняя кукушка? Вел ли я счет отмеренным годам?

А потом я вижу первых мертвецов. Молодых и старых, в армейской форме. Они висят на еще голых придорожных деревьях или на липах, растущих на рыночных площадях. Картонка на груди гласит, что повешенный — "трус, подрывающий боеспособность вооруженных сил". Мой ровесник, да еще с пробором слева, как у меня, висит рядом с офицером неопределенного звания, которого военно-полевой суд разжаловал перед казнью. Шпалеры из мертвецов, нас проносят мимо оглушительно скрежещущие гусеницы танков. Никаких мыслей, запечатлелись только картины.

В стороне вижу на пахоте крестьян, тянущих борозду за бороздой, словно ничего вокруг их не касается. Один из них впряг корову. За плугом — воронье.

И снова вижу забившие дороги толпы беженцев: конные повозки, между ними старухи и подростки тащат за собой или толкают перегруженные ручные тележки. На чемоданах и узлах сидят дети, пытающиеся спасти своих кукол. Старик тащит тележку с двумя ягнятами, которые надеются уцелеть на войне. Собиратель живых картин видит больше, чем может вместить в себя.

Во время одной из передышек, когда мы опять двигались от фронта, я приударил за девчонкой, которую звали — тут я совершенно уверен — Сюзанной; она бежала с бабушкой из Бреслау. Девчонка гладит меня по голове, мне разрешено держать ее за руку, не больше. Все это волнительно; дело происходит в уцелевшем хлеву разрушенного крестьянского хозяйства. На нас поглядывает теленок. Ах, если бы у этой истории была изюминка, ради которой стоило бы пожертвовать скучной правдой.

Но в дневник я сумел бы записать лишь то, что "Сюзанна носит бусы вишневого цвета..." А может, такие бусы носила совсем другая девушка, не русоволосая, а чернявенькая, с длинными косами, имени которой я не хочу называть?

Вечно рвущийся и заново склеиваемый фильм ничего не показывает из того, что творилось за границами моего кругозора. Хотя из сводок, которые курсируют в виде слухов, известно о захвате моего родного города русскими, я еще не знаю, что старый центр Данцига будет долго представлять собой дымящуюся груду развалин, что руины сожженных кирпичных церквей уже ждут фотографа, которому надлежит перед началом грядущего планового восстановления документально зафиксировать все разрушения, каждый остов колокольни, каждый осколок фасада, чтобы позднее школьные классы увидели...

Но мысленно я все еще мог окинуть взором панораму города, пересчитать слева направо все церковные башни. Все фронтонные украшения для меня еще оставались на месте, как и оставались целыми улицы, по которым я ходил в школу и возвращался домой. Я силился увидеть мать за прилавком и отца на кухне. Или меня уже мучил страх, что родители и сестра с их нехитрыми пожитками сумели найти место на "Вильгельме Густлоффе"?

Тут из калейдоскопа картин и сцен, режиссером которых был случай, необходимо выделить и прокрутить эпизод моего первого соприкосновения с противником, только у этого эпизода нет ни точной даты, ни места действия, да и самого противника я в глаза не видел.

Можно лишь предположить, что было это в середине апреля, когда после длительного артиллерийского обстрела немецких позиций по Одеру и Нейссе советская армия прорвала фронт на нашем участке между Форстом и Мускау, чтобы свершить возмездие за свою разоренную родину, за миллионы погибших и чтобы добиться победы, только победы.

Вижу наши "Пантеры", несколько бронетранспортеров, грузовики, полевую кухню и разномастную команду из пехоты и мотострелков, занявших позиции в молодом леске, готовясь то ли к контратаке, то ли к тому, чтобы заткнуть брешь в обороне.

Среди деревьев — березки, набухают почки. Пригревает солнышко. Птичий щебет. Сонное ожидание. Кто-то, вряд ли старше меня, играет на губной гармонике. Солдат взбивает мыльную пену, бреется. И вдруг, совершенно неожиданно — или умолкнувший птичий щебет послужил оглушительным сигналом тревоги? — на нас обрушился "сталинский орга́н".

Слишком мало времени, чтобы понять, насколько оправдано это прозвище. Вой, шипение, грохот? Две-три батареи "катюш" полностью накрывают наш лесок. Основательно, без пропусков, они сметают все, что укрывалось под молодыми деревцами. Спасения нет; или же все-таки есть, хотя бы для одного юного танкиста?

Вижу: я, как учили, бросаюсь под днище "Пантеры". Еще кто-то, водитель, наводчик или командир самоходки, тоже "измеряет клиренс". Наши сапоги задевают друг друга. Слева и справа мы прикрыты гусеницами. Орган играет минуты три, целую вечность. От страха мочусь в штаны. Потом тишина. Рядом стук зубов, они выбивают целые строфы.

Этот стук начался еще до того, как орган закончил свое выступление, теперь стук продолжился и не прекратился даже тогда, когда крики раненых заглушили все остальные звуки.

Времени пролетело совсем немного, но его хватило: уже по ходу первого урока я с лихвой научился страху. Он целиком заполонил меня. Все тренировки забыты, кое-как выкарабкиваюсь из-под днища, оглядываю развороченную лесную землю и ползу по прошлогодней жухлой листве, в которую, пока тон задавал "сталинский орган", вдавливал лицо и запах которой мне запомнится надолго.

Шатаясь, поднимаюсь на ноги, и на меня обрушивается лавина образов. Лохмотья молодого леска, березки словно переломаны о колено. Задевая верхушки деревьев, ракеты взрывались, не долетев до земли. Там и сям раскиданы тела, поодиночке или кучами, мертвые и еще живые, скрюченные, проткнутые сучьями, изрешеченные осколками.

Неужели этот паренек только что так ловко играл на губной гармонике?

Солдат с засыхающей мыльной пеной на щеке...

Между ними ползают уцелевшие, кто-то оцепенел вроде меня. Некоторые орут, хотя и не ранены. Кто-то хнычет, словно ребенок. Стою молча, в мокрых штанах, вижу рядом растерзанное тело молодого солдата, с которым несколько минут назад я трепался, не помню о чем. Внутренности наружу. Круглое лицо, только оно как-то скукожилось в мгновение смерти...

Однако все, что здесь подробно описано, я уже где-то читал; нечто похожее было у Ремарка или у Селина, да уже у Гриммельсхаузена, когда он рассказывает о битве при Витштоке, где шведы порубили в куски императорских вояк, при этом он, в свою очередь, цитирует картины ужаса, заимствованные у...

Неожиданно клацавший зубами человек оказывается рядом, он выпрямляется во весь рост, стряхивает с себя знобящую тряску, отчего на его воротнике сразу же явственно проступают знаки отличия старшего офицера войск СС. На шее съехавший набок Рыцарский крест. Герой, каких показывают в киножурналах, на протяжении нескольких лет демонстрировавшихся нам, школьникам.

Он кричит на меня, видевшего, как он клацал зубами от страха: "Рядовой, столбняк напал? Всех собрать! Немедленно собрать всех боеспособных! Занять новые позиции, бегом! Приготовиться к контратаке".

Вижу, как он мечется над растерзанными телами, мертвыми, еще живыми. Орет, размахивает руками. Он смешон и уже не похож на героя с картинки; задним числом я даже благодарен ему за то, что его суета среди уничтоженного подразделения — уцелели лишь две самоходки и несколько бронетранспортеров — навсегда развенчала идеал героя, насаждавшийся со школьных времен. Что-то надломилось. Остов моей веры, получивший первую, еще поддающуюся склейке трещину от русого и голубоглазого мальчугана по имени Нельзя-нам-этого, пошатнулся, но пока еще устоял.

С тех пор я находился в уже безымянных подразделениях. Распадались батальоны и роты. Дивизия "Фрундсберг", если таковая вообще когда-либо реально существовала, перестала существовать. Советской армии удалось совершить широкий прорыв через Одер и Нейссе. Линия фронта, смятая и продырявленная, значилась лишь на бумаге. Да и что я ведал тогда о линии фронта, о том, где она проходит или должна проходить?

В суматохе отступления я прибивался к различным частям, которые сами были остатками прежних соединений. Все это происходило без непосредственного соприкосновения с противником, но страх преследовал меня. Солдаты, повешенные на обочине шоссейных дорог, служили постоянным предостережением об опасности, которой подвергался каждый отставший от своей роты или не имевший командировочного предписания с печатью.

Центральной группировкой Восточного фронта, отодвинутого далеко на запад, командовал пресловутый генерал Шёрнер, отдававший приказы "стоять насмерть!" Согласно этим приказам "цепные псы" полевой жандармерии хватали, не разбирая чинов и званий, военнослужащих, не имевших командировочных предписаний, и отдавали их как трусов и дезертиров летучим военно-полевым судам. Те без проволочек выносили приговоры, и осужденных вешали, да еще так, чтобы — назидания ради — было видно всем. Эти расправы стали притчей во языцех. Шёрнера с его приказами боялись больше, чем противника.

Шёрнер занимал меня еще долгие годы после прорыва фронта между Форстом и Мускау. В середине шестидесятых я задумал пьесу под названием "Проигранные сражения" об этом страшном и кровожадном генерале-фельдмаршале. Из задуманной пьесы ничего толком не получилось. Но в романе "Под местным наркозом", где со множеством перебивов и отступлений повествуется о том, как некий зубной врач лечит учителя гимназии, штудиенрата Старуша от прогении и ее последствий, а также о гимназисте, который намеревается сжечь свою любимую таксу по кличке Макс в знак протеста против войны во Вьетнаме, присутствует генерал-фельдмаршал Фердинанд Шёрнер, выведенный под фамилией Крингс; так упорно стоял у меня за спиной этот выродок, приказывавший вешать солдат.

Страх был неизменной частью моего походного снаряжения. Отправившись учиться страху, я получал каждодневные уроки его. Пригнуться, увернуться, сделаться незаметным — эти элементарные при-

емы выживания приходилось выполнять без предварительных тренировок. Горе тому, кто учился плохо. Иногда помогал лишь зачатый хитростью и случаем отпрыск по имени везение.

Позднее некоторые ситуации, когда я спасся от смерти благодаря одной лишь счастливой случайности, всплывали в памяти так часто, что оформились в виде занимательных историй, а с течением времени все более отшлифовывались, настаивая на своей достоверности с помощью мельчайших подробностей. Однако все, что помнится с войны как пережитая опасность, подлежит сомнению. Даже если рассказываемая история козыряет точнейшими деталями, а сами рассказы выглядят убедительными и абсолютно подлинными, словно мушка в янтарной капле.

Достоверно то, что в середине апреля я дважды попадал за русскую линию фронта в составе разношерстных команд. Так уж получалось среди неразберихи отступления. Оба раза это была дозорная группа с неясными задачами. Выручала удача, а может, чистейшая случайность, но обе ситуации еще годами возвращались ко мне в ночных кошмарах, варьируя спасительный исход.

Всевозможные уловки были мне известны по книгам, которые я скорее глотал, нежели читал еще школьником. Наш учитель, штудиенрат Литшвагер, которому нравились мои сочинения с их немыслимыми отступлениями, дал мне облегченное издание "Затейливого Симплициссимуса", заметив в качестве рекомендации: "Барочный реализм — фантастический и правдивый, как все у Гриммельсхаузена", после чего книга меня и впрямь захватила.

Вероятно, я подбадривал себя примерно так: если уж пройдохе Симплициссимусу, которого за каждым кустом поджидали опасности Тридцатилетней войны, удалось их избежать благодаря хитрости и фортуне и если ему во время битвы при Витштоке помог его сотоварищ Херцбрудер, сумевший до того, как пробил смертный час Симплициссимуса, спасти его ударом топора от скорого на расправу профоса, чтобы сей малый впредь сочинял и сочинял свои книги, то, может, и тебе пособит удача или какой-нибудь другой Херцбрудер.

Первый случай погибнуть под автоматными очередями или попасть в плен, чтобы научиться искусству выживания в Сибири, выпал мне, когда случайный отряд из шести-семи человек под началом фельдфебеля предпринял попытку вырваться из подвала одноэтажного дома.

Как мы попали за русскую линию фронта и очутились в подвале дома, больше походившего на крестьянскую хибару, не помню. Но нужно было перебраться на другую сторону улицы, туда, где оборонялись наши. Фельдфебель, длинный как жердь, в пилотке наискосок, сказал: "Сейчас или никогда!"

Название той вытянувшейся вдоль дороги в песчаном Лаузице деревушки, где шли бои, я либо не знал, либо уже забыл. Из подвальных окон слышалась стрельба: то одиночные выстрелы, то автоматные очереди. Ничего съестного в подвале не нашлось. Зато заблаговременно сбежавший хозяин, торговавший, видимо, велосипедами, припрятал здесь свой дефицитный товар, разместив его на деревянных стойках или подвесив передними колесами вверх; велосипедов было достаточ-

но, все вроде в неплохом состоянии, шины подкачаны, словно ждали своего часа...

Фельдфебель явно принадлежал к породе людей решительных, а потому слышу, как он, сказав "Сейчас или никогда!", скорее шепчет, чем приказывает в голос: "Разобрать велосипеды. И что есть духу — сваливаем!.."

Мое смущенное, но наверняка прозвучавшее возражение: "Господин фельдфебель, я, к сожалению, не умею ездить на велосипеде", вероятно, показалось ему неуместной шуткой. Впрочем, никто не засмеялся. А у меня не было времени, чтобы разъяснить причину моего постыдного неумения примерно такими словами: "Видите ли, моя матушка содержит скромную лавку колониальных товаров; доходы у нее небольшие, поэтому она не могла купить мне ни новый, ни подержанный велосипед; таким образом, у меня отсутствовала возможность своевременно обучиться езде на велосипеде, хотя порой это может спасти жизнь".

Не успел я взамен похвалиться рано приобретенными навыками хорошего пловца, как фельдфебель принял очередное решение: "Берите автомат. Прикроете наш отход. Мы вытащим вас отсюда, позже..."

Возможно, кто-то из отряда, послушно снимая со стойки велосипед, попытался приглушить мой страх. Но тщетно. Я занял у подвального окна позицию с автоматом, с которым не умел толком обращаться. Правда, не способный и к этому солдат не успел сделать ни единого выстрела, так как пять-шесть человек, выскочивших через переднюю дверь дома, были тотчас срезаны автоматными очередями посреди улицы неизвестной деревни; выстрелы прогремели то ли с той стороны, то ли с этой, то ли с обеих сразу.

Кажется, я видел, как эта горстка людей, взмахивая руками, валилась на землю, дергалась от предсмертных судорог. Кто-то — может, долговязый фельдфебель? — падая, перекувырнулся. Вскоре уже никто не шевелился. Только переднее колесо велосипеда, торчащее из кучи тел, продолжало вертеться и вертеться.

Но, возможно, картина этого побоища возникла у меня в сознании. Была разыграна моим воображением гораздо позднее, ибо на самом деле я покинул свою позицию у подвального окна еще до расстрельного финала и ничего не видел, не хотел видеть.

Без автомата, доверенного мне оружия, прихватив лишь свой карабин, я выбрался из дома торговца велосипедами, крадучись через задний двор и скрипучую калитку. Прикрытый садами, деревьями и кустарником с набухшими почками, я ушел тропинками из деревни, где еще гремел бой, и неожиданно наткнулся на узкоколейку, проложенную по насыпи высотой с человеческий рост и окаймленной по обеим сторонам кустами. Она шла прямо к предполагаемой линии нашего фронта. Тишина. Только воробьи да синички в кустарнике.

Не то чтобы я успел чему-то научиться у фельдфебеля, который счел, что я просто глупо пошутил, будто не умею ездить на велосипеде, но мгновенно принятое решение двинуться по узкоколейке, провидчески предсказывавшей направление, оказалось верным.

Примерно через километр хода по деревянным шпалам и щебенке я увидел поврежденный мост с дугой, поднимавшейся над рельсами, а на нем — сначала машины с пехотой, а потом небольшую группу бредущих солдат — немцев, судя по неторопливой манере двигаться. Недолго

думая, я примкнул к ним, поскольку одинокий солдат без командировочного предписания вне зоны соприкосновения с противником становился смертником, кандидатом на виселицу.

Знаю, мой рассказ звучит неправдоподобно и отдает небылицами. В подтверждение этой истории о том, как я случайно уцелел, говорит следующий факт: даже спустя несколько десятилетий мои дочери и сыновья тщетно пытались уговорить меня поучиться ездить на велосипеде, выбрав какую-нибудь лесную тропинку, без лишних свидетелей — дело ведь, дескать, нехитрое, под силу ребенку. Но стоило мне поддаться на ободрительные призывы, как это было, например, в датском Ульсхеле-Скоу, где Мальте, Хансик и Хелена криками "Папа, давай! Не трусь!" заставили меня сесть в велосипедное седло, как все мои старания кончались тем, что сын матушки, которой — пусть она сама того не ведала — жизнеспасительно не хватило денег на покупку "железного осла", как я презрительно именовал велосипед, неизменно падал наземь.

Лишь моя Ута сумела в начале восьмидесятых, — когда, по ее мнению, мой образ жизни был недостаточно активным, — раззадорить меня на отчаянный поступок, и я рискнул залезть на голландский велосипед-тандем: она ехала впереди за рулем, я сидел сзади, и мне нравилось, как развеваются по ветру ее волосы. Чувствуя себя в безопасности, я давал волю полету мыслей, которым не было нужды стеснять себя необходимостью безотлагательных решений.

Что до других моих дней и не знаю как пережитых ночей после развала фронта по Одеру и Нейссе, то прокрученный назад и латаный-перелатаный фильм рассказывает о них немного. Не помогают ни ранее многоречивые пергаментные кожицы лука, ни прозрачный янтарь, сохранивший для нас доисторическое насекомое таким, будто поймано оно только сегодня. Придется вновь обратиться к Гриммельсхаузену, которого схожие перипетии войны научили страху и наградили приключениями, достойными "егеря из Зуста". Подобно тому, как описание битвы при Витштоке разыгрывается на реке Доссе и в ее болотистых окрестностях, где гибнут императорские войска, — причем Гриммельсхаузен живописует это побоище, искусно пользуясь барочной лексикой своего коллеги, поэта Мартина Опица, — так и я могу указать, что боевые действия, непосредственно затронувшие меня, разыгрывались в Лаузице, районе между Котбусом и Шпрембергом.

Похоже, тогда вновь предполагалось стабилизировать фронт, чтобы именно оттуда, где я плутал, сформировать новую группировку для прорыва сужающегося кольца вокруг столицы Рейха. Говорили, будто Вождь остается на своем боевом посту.

Противоречивые приказы вели к хаосу, воинские части двигались навстречу друг другу, мешали сами себе; лишь потоки силезских беженцев упорно придерживались одного направления — на запад.

Ах, до чего легко лились из-под моего пера слова в начале шестидесятых годов, когда я без особых сомнений уличал факты во лжи и находил объяснения тому, что не имело смысла. Шлюзы были отворены. Слова низвергались неукротимым водопадом. Попадая то под кипящую, то под студеную струю, омолаживались традиционные приемы повество-

вания. Пытка щекоткой развязывала язык упорной немоте, добиваясь признаний. Любой пук рождал звучное эхо. Каждая находка стоила трех пожертвованных истин. Все реальное происходит, сообразуясь с определенной логикой, но не менее логична возможность и прямо противоположного хода событий.

Так, в заключительной главе второй части романа "Собачьи годы" сделана попытка обнаружить присутствие смысла в подземном бункере Вождя, то есть в последней битве за Берлин, которая на самом деле следовала лишь логике безумия. Поиски сбежавшего пса по кличке Принц, любимой овчарки Вождя, обрели такую словесную форму, когда невнятная стилистика Хайдеггера — "Ничто ничтожествует непрестанно" — смешалась с чудовищным нагромождением существительных в приказах Верховного главнокомандующего вооруженных сил Германии и потоки этой смеси напрочь снесли все, что сопротивлялось им в виде крупиц правды: "Согласно приказу Вождя... предписывается силами 25-й мотопехотной дивизии закрыть брешь в районе Котбуса и тем самым предотвратить возможный прорыв собаки... Изначальная явность собаки Вождя улавливается дальночувствием. Улавливаемое дальночувствием Ничто в оперативном районе группы Штайнера установлено как Ничто... Ничто установлено между танками противника и нашим передним краем".

Но там, где я находился или где мне надлежало находиться — "брешь" под Котбусом? — не существовало никакого "нашего переднего края" в виде организованных воинских соединений. Дивизию "Фрундсберг", приписанную, вероятно, к пресловутой группе Штайнера, вполне можно было назвать "ничто". Сколоченные наспех остатки подразделений реагировали на противоречивые приказы. Все распадалось, не подчиняясь какой бы то ни было логике, и так продолжалось до тех пор, пока — теперь кинолента вновь выводит меня на экран — прихоть высших сил не уготовила рядовому мотопехоты новое предназначение.

По воле случая, давнего знакомого, наугад мечущего свои игральные кости, меня прибило к отряду из двенадцати-пятнадцати человек, который за неимением тяжелого вооружения использовался как разведгруппа, иначе говоря — команда смертников.

У меня куда-то запропастилась плащ-палатка и, что еще хуже, потерялся карабин, поэтому мне выдали итальянский автомат, попавший таким образом — если бы дело дошло до серьезной стычки — в весьма ненадежные руки.

Помню совещание сгрудившихся касок, бросавших тень на угрюмые лица мужчин и испуганные физиономии юнцов, среди которых тогдашняя фотография, если бы кто-нибудь снял ту разношерстную компанию, запечатлела бы меня как третьего слева.

Командовал опять фельдфебель, старый служака, только на сей раз приземистый и широкоплечий. Согласно приказу нам надлежало, выдвинувшись вперед, искать соприкосновения с противником.

В опустившихся сумерках мы, поплутав, выбрались на вспаханную танковыми гусеницами лесную дорогу, по которой вроде бы несколько часов назад прошла колонна "тигров" и бронетранспортеров — ударная группа. Мы должны были установить с ней контакт. Но из рации, кото-

рую мы несли с собой, доносился только шум и бессвязные обрывки чьих-то переговоров.

По обеим сторонам дороги царило однообразие: сосны, только сосны. Только высокие сосны, справа и слева. Хотя тяжелого оружия тащить не приходилось, но по пути мы подобрали старика, который, судя по повязке, был ополченцем, да еще двух легко раненных солдат, похожих на близнецов, поскольку оба хромали на левую ногу.

Ополченец нес какую-то околесицу: то ворчливо богохульствовал, то ругал соседа. Раненых солдат нужно было поддерживать, почти нести. Двигались медленно. По рации все еще не поступало никаких сообщений от ушедшей вперед ударной группы, поэтому фельдфебель приказал устроить на обочине привал. Похоже, изрядный фронтовой опыт подсказывал ему, что следует дождаться возвращения бронетранспортеров, которые захватили бы заговаривающегося ополченца и обоих раненых. Впрочем, измотаны были все. По счастью, он послал в дозор на лесную дорогу не кого-либо из юнцов, а именно меня, велев получше разуть глаза.

И вот опять рисуется картина: каким я вижу себя самого. На мне каска, которая сползает на лоб. Я исполняю приказ. Я усердно стараюсь справиться с заданием.

Мне действительно удалось это сделать, несмотря на усталость; через некоторое время среди темного ночного прогала лесной дороги я разглядел световую точку, которая по мере приближения разделилась на два огонька. Выкрикнув по уставу: "Замечен движущийся транспорт! Вероятно, бронемашина пехоты", я вышел на середину дороги, чтобы меня было лучше видно и чтобы согласно приказу остановить предполагаемый бронетранспортер; будучи левшой, я поднял левую руку.

Возможно, меня смутило, что приближающийся гусеничный бронетранспортер ехал с зажженными фарами, а когда он притормозил в нескольких шагах от меня, сомнения подтвердились. Хватило одного взгляда. Только русские могли себе позволить не экономить электричество, гнать вперед, ни о чем не...

"Иваны!" – крикнул я отряду на обочине, а сам, не теряя времени на то, чтобы разглядеть пехотинцев, плотно рассевшихся на бронетранспортере, и таким образом впервые встретиться с советским солдатом лицом к лицу, прыгнул вправо, пока не раздались выстрелы, нырнул в сосновый молодняк на обочине, оказался уже поодаль, но еще в опасной зоне.

Тут же послышались крики на двух языках, их заглушила перестрелка; в конце концов последнее слово осталось за русскими автоматами.

Пока я потихоньку отползал, продираясь меж густого молодого сосняка, слева и справа били автоматные очереди, но меня они не задели, в отличие, видимо, от нашей остальной команды вместе с фельдфебелем. Даже ополченец больше не богохульствовал и не ругал своего соседа, сводя с ним какие-то счеты. Раздавались только голоса русских, теперь уже поодаль. Кто-то рассмеялся, и смех был вполне добродушным.

Предательски громко похрустывали сухие ветки, поэтому уцелевший пехотинец не рискнул ползти дальше по-пластунски, как его учили. Он прикинулся мертвым, будто желая уклониться от хода истории, а ведь итальянский автомат делал его боеспособной единицей.

Лишь когда вражеский бронетранспортер тронулся с места и за ним последовали другие, я опять пополз, выбрался туда, где молодняк граничил со взрослым лесом, а деревья стояли строгими рядами, воплощая собою прусский порядок. Меня совсем не тянуло назад, поскольку там лежали только трупы. К тому же бледные отблески света и шум моторов на лесной дороге свидетельствовали о новом движении противника.

Я все дальше углублялся в лес; неожиданно, как по заказу, пробился полумесяц; небо было не слишком облачным, поэтому в лунном свете юный солдат не так уж часто натыкался на стволы деревьев. Запах смолы настолько поглотил его и обволок собой, что солдат сделался похож на насекомое, сохранившееся в моем янтаре и претендующее на то, чтобы быть моей инкарнацией; этот кусочек янтаря всегда лежит у меня под рукой рядом с другими находками в верхнем ящичке конторки, за которой я работаю; янтарь желает, чтобы его разглядывали на просвет, ждет вопросов. Если набраться терпения, то паучок, клещ или жучок могут дать ответ...

Что же я вижу, разглядывая при свете полумесяца одинокого рядового мотопехоты, являющегося как бы ранним изданием нынешнего, уже пожилого человека?

Он выглядит так, будто сбежал из сказок братьев Гримм. Вот-вот заплачет. Ему совсем не нравится история, в которую он попал. Ему хотелось бы походить на заглавного персонажа из книги Гриммельсхаузена, героя столь близкого, что он почти осязаем. Он и впрямь немножко похож на этого героя, которому мир представляется сумасшедшим домом, состоящим из целого лабиринта углов и коридоров; выбраться оттуда можно лишь с помощью чернил и пера, да еще под каким-нибудь диковинным именем, вроде Наперименускор. Вот его уловка, которая оправдывала себя еще со школьных времен: сочинительство помогает выжить.

А пока все, что произрастет дальше, имеет своей питательной средой одни лишь предположения. Ему хочется примерить на себя ту или иную роль, я же вижу только бесцельно плутающего солдатика, который порой смутно вырисовывается между ровными, одинаковыми по росту соснами, а потом пропадает снова, ускользая от будущего видоискателя.

Он все еще вооружен, держит автомат наизготовку. Бесполезным продолговатым барабаном болтается противогаз. В холщовой котомке для провианта завалялись крошащиеся остатки сухого пайка. Фляга наполовину пуста. Отцовский подарок, ручные часы со светящимся циферблатом марки "Кинцле" остановились неизвестно когда.

Ах, если бы уже сейчас у него был тот кожаный стаканчик и три игральные кости, которые достались ему в качестве трофея вскоре после окончания войны. С помощью этих игральных костей он и его ровесник, сотоварищ по лагерю для военнопленных в Бад-Айблингене, станут гадать о будущем. Ровесника будут звать Йозефом, он окажется целеустремленным католиком, желающим непременно стать священником, епископом или даже кардиналом... Впрочем, это уже совсем другая история, начало которой пока неведомо и которой нечего делать здесь, в темном сосновом бору.

Вот он спит сидя, прислонившись к дереву. Вот проснулся и испуганно вздрогнул, но озноба не почувствовал, хотя еще недавно ему так

не хватало теплой шинели, потерянной под Вайсвассером. При дневном свете он, как и сосны, отбрасывает тень. Но не может воспользоваться этим ориентиром, чтобы выйти из леса, бродит по кругу, не замечая этого, достает сухарь, отворачивает крышку фляги, пьет, отчего каска съезжает на затылок. Он не может вести счет минутам, под руками нет ничего, чтобы погадать о будущем; ему нужен друг — пусть еще безымянный, а пока он сам силится походить на того Симплекса, который знает выход из любой передряги, был прозван "егерем из Зуста" и прослыл отменным фуражиром, способным раздобыть не только черный хлеб, но и вестфальский окорок.

А теперь, когда вновь смеркается и начинает покрикивать сыч, он дожевывает последние крохи; его томит голод и чувство полного одиночества под ночным небом, которое заволакивают тучи.

Окутанный кромешной тьмой, он получает новый урок страха, чувствует, как страх придавливает его, старается вспомнить детские молитвы: "Боженька милый, даруй мне силы..", кажется, даже зовет: "Мама, мама!", а та в свою очередь пытается докричаться до него из дальнего далека: "Иди ко мне, малыш! Сделаю тебе твой любимый гоголь-моголь", но он остается в темном бору, один-одинешенек, пока не происходит нечто не воображаемое, а вполне реальное.

Слышу шаги или звуки, похожие на шаги. Хрустнул сучок. Крупный зверь? Кабан? Или всего лишь белка?

Кто-то движется, то чуть ближе, то дальше, но идет ко мне, вот уже совсем рядом.

Осторожно! Затаить дыхание! Спрятаться за сосну!

Сделать то, что вдолблено муштрой. Снять предохранитель. Тот, наверное, тоже снимает предохранитель.

Два человека, подозревающие друг в друге врага. Потом, через много лет, из этого могла бы получиться сцена для балета или кинофильма, такие сцены бывают в каждом вестерне: напряжение растет, начинается ритуальный танец перед стрельбой.

Говорят, в темном лесу нужно насвистывать, чтобы избавиться от страха. Что-то — возможно, издалека помогла мама — подсказало мне, что надо напевать. Только не заученные марши, вроде "Эрики", и не модный шлягер, например из тех, что недавно исполняла Марика Рёкк — о том, как одиноко человеку ночью, — нет, с губ сама собой сорвалась подходящая случаю детская песенка. Я запел первую строчку куплета "Ханси боится, / Страшно ему..." и повторял ее до тех пор, пока не услышал в ответ: "Ночью по лесу / Плутать одному".

Не знаю, сколько продолжался наш антифон; наверное, понадобилось некоторое время, чтобы опознавательный сигнал — здесь заплутали два существа, принадлежащие к немецкому роду-племени — сработал и был понят правильно, после чего мы оба, покинув свои укрытия и опустив оружие, заговорили на солдатском жаргоне, подходя друг к другу все ближе, совсем близко...

Второй певец нашего дуэта держал штурмовую винтовку, он был на несколько лет постарше и на несколько сантиметров пониже. Без каски, в мятой полевой фуражке, довольно тщедушный, он говорил на берлинском диалекте с характерной ноющей интонацией. Мой легкий испуг, когда он щелкнул зажигалкой: огонек сигареты осветил угрюмое лицо.

Позднее выяснилось: воевать он начал с польской кампании, побывал во Франции и Греции, дошел до Крыма и дослужился до старшего ефрейтора. Дальнейших званий не хотел сам. Ничто не могло вывести его из душевного равновесия, что подтвердилось последующими событиями, когда всякий раз дело могло обернуться совсем худо. Он стал моим ангелом-хранителем, сыграв роль гриммельсхаузеновского Херцбрудера; в конце концов он вывел меня из леса, а потом протащил и через русскую линию фронта.

На одном из привалов он при свете луны, выглянувшей на достаточное время, тщательно соскоблил свою двухдневную щетину. Мне пришлось держать карманное зеркальце моему новому командиру.

Только начинавшееся от опушки поле с уходящими на запад бороздами побудило нас выйти из-под лесного покрова. Похоже, поле вспахали совсем недавно, а кончалось оно за небольшим холмом. Потом мы пошли по окаймленному кустами проселку, преодолели речку по мосту, который не охранялся. Наполнив фляги, мы напились, вновь пополнили фляги; старший ефрейтор устроил перекур.

Лишь на третьем мосту — видимо, путь наш пересекал рукава разветвленной Шпрее — вдалеке мелькнул огонек. До нас долетел смех, обрывки слов. В отсвете огня мелькнули тени.

Нет, Иваны не пели, не были в стельку пьяными. Наверное, одни спали, а другие...

Лишь когда мы уже миновали реку, вслед раздались возгласы: "Стой!" и еще раз: "Стой!"

На третий раз — мост был позади — старший ефрейтор скомандовал: "Бегом! Жми что есть мочи!"

И мы понеслись так, как я потом еще долго, тягуче и медленно бежал в моих послевоенных снах, прямо через пашню, вывороченная сырая земля липла к подошвам, опадала комьями и налипала снова, отчего мы, теперь уже под огнем автоматов и освещенные взлетевшей в небо ракетой, двигались заторможенно, будто в замедленной съемке, и этот слишком растянувшийся киноэпизод окончился лишь тогда, когда мы добрались до канавы, опоясывавшей поле, которая и укрыла нас. Ракета больше не взлетала, поле оставалось темным. Лишь изредка проглядывала луна. Выскочивший кролик подался в сторону, но так лениво, словно нас не стоило бояться.

Мы поплелись дальше, через поле; мосты больше не встречались. В рассветных сумерках показалась деревушка, которую, похоже, еще не занял противник; притулившись к церковке, она спала до того покойно и мирно, будто вообще выпала из времени.

Странно, что у меня до сих пор стоит перед глазами суровое, а может, просто немного хмурое лицо австрийского ротмистра, встретившего нас у противотанкового заграждения возле деревни; могу даже описать мешки у него под глазами и усы, хотя простояли мы с ним и его ополченцами не больше минуты. По натуре, видимо, человек флегматичный, он прервал наш многословный доклад вопросом: "Ну, а где же командировочное предписание?", произнеся его таким тоном, будто речь шла о пустяковой формальности.

Однако без бумажки с печатью разгуливать не полагалось, дело грозило полевым судом, а потому ротмистр велел трем старикам, воору-

женным дробовиками и фаустпатроном, запереть нас в подвале крестьянского дома. Один из стариков счел нужным заявить, что он здешний бургомистр и к тому же местный бауэрнфюрер.

Опять-таки странно, что никто не собирался нас разоружать. На руках у ротмистра сидела собачка в ошейнике, украшенном бисером; он разговаривал с ней так ласково, будто ничто на свете не заслуживало его участливого внимания, кроме этой псины. Один из дряхлых стариков, конвоировавших нас в подвал, сунул моему старшему ефрейтору начатую пачку сигарет не помню какой марки, словно исполняя перед казнью последнее желание осужденного.

Запамятовал я и то, как называлась эта деревушка, куда мы вышли через линию фронта к своим — целыми и невредимыми, хотя и голодными, — чтобы тут же угодить на скорую расправу полевого суда. Может, Петерляйн? А возможно, этим уменьшительным именем звалась другая деревушка, которую мы миновали позднее.

Подвальные полки ломились от банок со всяческой снедью; содержимое банок обозначалось аккуратными наклейками, написанными от руки зюттерлиновским шрифтом, какому в школе учили наших бабушек. Пыль с банок обтерта. В бутылях темнел яблочный сок и сок бузины. В углу лежала горка картошки, из которой уже повылезали ростки величиной с мизинец.

Мы до отвала наелись тушенки, опустошили большую банку маринованных огурцов, напились соку. Потом мой старший ефрейтор закурил, что делал редко, зато со смаком. Как и моя далекая матушка, он умел пускать дым колечками. Опорожнив овальный барабан противогаза, я наполнил его клубничным и вишневым джемом, что позднее сыграло со мной злую шутку.

Часа два мы ждали полевого суда, ни словом не обменявшись о грозившем нам приговоре, просто дремали, — во всяком случае эти часы не отложились в памяти как время проникнутого страхом ожидания, — после чего старший ефрейтор проверил подвальную дверь. Она оказалась незапертой. Ключ торчал снаружи. Нас никто не охранял. Интересно, спугнули ли бы мы спящую кошку, если бы таковая имелась?

Через окошко в кухне над подвалом мы осмотрели противотанковое заграждение. Никто из ополченцев не докуривал там свою трубку. Исчез ротмистр с собачкой. Похоже, деревню оставили. Или же ее обитатели делали вид, будто их здесь нет и никогда не бывало.

Ротмистр либо забыл про нас, либо, поддавшись меланхолическому капризу, предоставил нас собственной судьбе. На противотанковом заграждении, сооруженном из свежеспиленных сосен, прыгали воробьи. Пригревало солнышко. Хотелось петь.

В стороне от заграждения просматривалась часть поля; там развернутой цепью на нас двигался враг, русская пехота. Издали все выглядело безобидно: крошечные фигурки. Я вновь увидел красноармейцев на расстоянии выстрела. Каждый солдат по отдельности был еще почти неразличим, однако дистанция сокращалась. Но выстрелы не раздавались. Под пилотками, касками, ушанками медленно продвигавшихся фигур угадывались молодые парни, вероятно мои ровесники. Форма

землистого оттенка. Мальчишеские лица. Вот их уже можно пересчитать, слева направо. Каждый — мишень.

Однако я не взял итальянский автомат наизготовку, да и мой старший ефрейтор не изъявлял желания оборонять штурмовой винтовкой деревушку под названием Петерляйн. Мы бесшумно скрылись. Даже если бы Иваны по команде или же просто по привычке начали стрелять, мы не стали бы отвечать огнем.

Объяснялось это отнюдь не человеколюбием и не может считаться заслугой. Скорее, было просто неразумно открывать прицельный огонь, да и не имелось на то особой нужды.

Поэтому мои обычные заверения, что за ту неделю, когда война цепко держала меня, я ни разу не совместил мушку с прорезью, наводя их на цель, не затаил дыхание, чтобы плавно спустить курок, и вообще не сделал ни единого выстрела, лишь немного заглушают пришедшее позднее чувство стыда. Словом, мы действительно не стреляли, это точно. С меньшей уверенностью могу припомнить, когда именно сменил свою форменную куртку на другую, не столь сильно компрометирующую меня. Сам ли я додумался до этого?

Вероятно, старший ефрейтор приказал мне сменить форму из-за двух рун на моем воротнике, да еще помог мне сделать это. Не нравились ему значки СС. Из-за них он и сам оказывался в плохой компании, хотя раньше у нас не было разговора на сей счет.

Наверное, это произошло еще в заставленном банками подвале или на каком-нибудь привале, когда старший ефрейтор, намылив лицо, побрился, затем закурил сигарету и сказал: "Если Иваны нас поймают, тебе — конец. Парней с такими цацками на воротнике расстреливают на месте. Пулю в затылок, и привет!"

Где-то он организовал, как это называлось на солдатском жаргоне, обычную армейскую куртку. Без пулевых отверстий и пятен крови. Она даже подходила мне по размеру. Таким, без двойной руны "зиг", я нравился ему куда больше. Да и я ничего не имел против нового обмундирования.

Так заботлив был мой ангел-хранитель. Подобно тому, как Херцбрудер всегда приходил на выручку Симплицию в минуту смертельной опасности, так и я, сменивший обличье, мог целиком положиться на моего старшего ефрейтора.

После — это всегда накануне. На то, что именуется настоящим, на это вечно мимолетное сейчас-сейчас-сейчас неизменно падает тень, отбрасываемая прошлым, поэтому столь тяжело дается продвижение вперед, в так называемое будущее.

Обремененный этой тяжестью, я оборачиваюсь назад и по прошествии шести десятилетий вижу, как семнадцатилетний юнец с использованной не по назначению коробкой от противогаза, в форменной армейской куртке, новенькой, будто только что выданной, держится рядом с хватким, живучим, предчувствующим любую опасность старшим ефрейтором, про которого ни за что не подумаешь, что до войны он работал парикмахером; оба стараются прибиться к какой-нибудь отступающей части. Им удается обходить контрольные посты "цепных псов". Лазейки отыскиваются. Редко можно угадать, где проходит линия фронта. Среди

тысяч солдат рассеянной армии плутают двое, без документов. Какая же часть поредела настолько, чтобы подобрать их?

Лишь по дороге из Зенфтенберга в Шпремберг, запруженной конными повозками с беженцами, этой паре, одетой в одинаковую серую форму, посчастливилось воспользоваться затором, чтобы получить на импровизированном сборном пункте, развернутом у обочины, спасительную бумажку с печатью. Прямо под открытым небом установлены стол и скамейка. На столе — чистые бланки. На скамейке сидит уставший от войны главный фельдфебель; не задавая вопросов, он быстро заполняет очередной бланк и шлепает печать. Я повторяю то, чему меня научил старший ефрейтор.

Теперь мы не беззащитны, ибо приписаны к сформированной части, пусть даже она существует пока лишь на бланках: довольно призрачная защита. Зато перед нами вполне явственно предстает полевая кухня, занявшая свое место на лужайке возле сборного пункта. Ее котел дымится. Пахнет похлебкой. Присоединяемся к очереди. Все чины стоят вперемешку. Офицеров тоже не пускают без очереди. Ближе к финалу воцаряется фронтовая анархия, которая уравнивает чины и звания.

Дают картофельный суп с мясом. Повар наливает сначала полный черпак со дна, потом добавляет полчерпака сверху. У обоих кроме "сухарок" сохранились манерки, а также ложка с вилкой, поэтому каждый получил из котла свои полтора черпака. Настроение не подавленное, но и не бодрое. Типичная апрельская погода. В данный момент как раз проглянуло солнце.

Стоим друг перед другом, синхронно работаем ложками. "А ведь сегодня у Адольфа день рождения! — говорит солдат, расположившийся неподалеку и тоже орудующий ложкой. — Где же доппаек? Шоколад, например, сигареты или стопарик, чтобы чокнуться? За здоровье Вождя!"

Кто-то пытается рассказать анекдот, путается... Заразительный смех. Новые анекдоты. Вполне мирная картинка. Не хватает только губной гармошки.

— Что это за местность? Как называется?

— Лаузиц.

Сразу находится знающий человек: "Тут бурого угля полно".

Весной девяностого года сразу несколько причин привели меня в деревни и городки этого края между Котбусом и Шпрембергом. Живо интересуясь происходящим вокруг, я записывал все, что поражало новизной, но мыслями не мог оторваться от прошлого.

В ту пору казалось, что произошедший из-за войны раскол Германии на два государства, затянувшийся более чем на четыре десятилетия, если не будет преодолен благодаря объединению, то хотя бы приведет к постепенному сближению, которое устранит существующие различия. Во всяком случае — едва ли не чудом — такая возможность представилась вполне реально. Однако возобладало мнение, будто времени на долгий процесс нет, а потому надо уравнять бедный Восток с богатым Западом при помощи денег ускоренными темпами, то есть быстрее, чем первоначально предполагалось.

Я совершил две поездки; сперва на несколько дней приехал в Котбус, где стаи торговых агентов, авангард капитала, уже заполонили ме-

стные отели, затем — уже ранним летом — целью моей второй поездки стал Альтдёберн. Там я устроился в пансионе с завтраком у одной вдовы, у которой была взрослая дочь. Это был городок с замком, дворцовым парком, остановленной фабрикой, гастрономом, женской клиникой и советским солдатским кладбищем у церковной площади; кладбище было ухоженным, разбитым на стройные ряды. В ресторане можно было заказать солянку, а к ней привезенное из Баварии пиво. Все это происходило после объявления "валютного союза", но уже пошла распродажа столь мирно оккупированной страны. Западные фирмы всюду демонстрировали свое присутствие.

Меня же интересовали только сами здешние места. Куда ни кинь взгляд, ландшафт везде обнаруживал следы того, что тут многими десятилетиями добывали бурый уголь. Там, где за дворцовым парком уголь добывался открытым способом, карьер напоминал внеземные, лунные пейзажи. Терриконы вскрышной породы, меж ними неподвижные озерца грунтовых вод. Над ними ни единой птицы.

Карьер простирался сразу за женской клиникой, там я рисовал углем и свинцовым карандашом, один лист за другим. Сначала это были окрестности Альтдёберна, потом остатки деревни Прицен, затем я сменил место, чтобы запечатлеть трубы и холодильники кочующего комбината "Шварце пумпе".

Вскоре я заполнил целый блокнот "энгровской" бумаги, все двадцать листов. Я рисовал переплетение лент отслуживших транспортеров, делал наброски брошенных скреперов, застывших вблизи и поодаль.

Созерцание бездн, созданных человеческими руками, позволяло угадывать за ними нечто большее, чем виделось поверхностному взгляду, вызывало слова, которые позднее прозвучали в романе "Долгий разговор", предвосхищая "овосточнивание" Запада и указывая на мрачные перспективы, открывшиеся мне над рукотворной бездной.

Но потом — между одним рисунком и другим — кинолента закрутилась назад и я вновь пустился, пускаюсь по собственному следу.

Со сдвигом во времени мне предстоит найти у дороги, ведущей из Зенфтенберга на Шпремберг, рядового мотопехоты, который стоит возле старшего ефрейтора, говорящего на берлинском диалекте с ноющими интонациями, разглядывает окрестности и строит гримасы. Не помню точно места, где повар полевой кухни раздавал нам суп и где мы ели из уже наполовину опустошенных манерок.

Припекает июньское солнце, как пригревало оно и тогда, в апреле. Мы синхронно работаем ложками. Рядом дорога, по которой идет на рубеж контратаки бронеколонна, ей мешает встречный поток беженцев. Разминуться можно только по одной стороне дороги. С обочины сыплются комья земли.

Ниже, до противоположного края карьера, простираются выработки бурого угля. "Бурое золото" ждет своей отправки в топки электростанций или на фабрику, где прессуют угольные брикеты. В годы войны, как и в мирное время, Лаузиц давал прекрасные возможности для добычи угля открытым способом, происходило это и в год больших перемен, когда я приехал сюда, чтобы увидеть больше чем можно.

Над терриконами, над озерцами грунтовых вод — тишина. Пока я запечатлевал наисовременнейший ландшафт, возникший благодаря

угольным карьерам, тишины хватало для того, чтобы слухом, обращенным в прошлое, услышать рев майбаховских моторов, крики беженцев с повозок, ржанье лошадей, детский плач, шлепанье фельдфебелевой печати, перестук алюминиевых ложек, подбиравших из манерок остатки супа, — и тут же разрывы первых советских снарядов.

Между тем как черпнуть ложкой раз и другой, мой старший ефрейтор произнес:

— Это же — тридцатьчетверки!

— Тридцатьчетверки! — эхом откликнулся я.

Из леска на противоположной стороне карьера выкатилось несколько танков. Маленькие, словно игрушечные, они, остановившись, начали стрелять. Затор на дороге, возникший из-за мешавших друг другу встречных потоков, позволял вражеским танками вести прицельный огонь. Снаряды ложились все ближе. Нашим "пантерам", самоходкам с неподвижной башней, нужно было развернуться, чтобы занять огневую позицию. Раздались команды, заглушающие друг друга крики, самоходки сбрасывали повозки с людьми на обочину, в карьер, просто сметали с дороги, словно мусор.

Вижу симпатичного лейтенанта, высунувшегося из башенного люка и отчаянно жестикулирующего, будто он голыми руками пытался расчистить сектор обстрела, вижу малышей на опрокидывающихся повозках, слышу орущую женщину и одновременно не слышу ее крика, а вижу то чуть поодаль, то совсем близко разрывы снарядов, беззвучно ищущих свою цель; теперь, чтобы не видеть всего этого, я пялюсь на остатки супа в алюминиевой манерке, еще ощущаю голод, но уже чувствую себя удивленным зрителем, почти безучастным свидетелем обескураживающей сцены, разыгравшейся, словно в немом кино, но тут же одним взмахом пера превращаюсь в Гриммельсхаузена, переместившегося из прошлого в сиюминутное настоящее, в Гриммельсхаузена, которому на протяжении долгих смертоносных лет войны довелось переживать одно опасное приключение за другим, битву за битвой; мне что-то шепчут в ухо, мне ясно помнится все, что происходило вокруг; кажется, будто мне грезится сон, хотя я вовсе не грежу, голова остается ясной до той самой секунды, когда с нее срывает каску, у которой ослаб ремешок, и я теряю сознание.

Наверное, только на короткое время, если вообще можно было вести счет времени. То, что потом случилось со мной и вокруг меня, возникает и исчезает либо в виде призрачных, размытых, либо в виде резко-отчетливых картин: отлетевшая полупустая манерка, а с ней и ручные часы марки "Кинцле".

Но где же мой старший ефрейтор?

Где автомат и оба магазина?

Почему я все еще стою? Или я уже снова поднялся на ноги?

На правом бедре сильно кровоточит рана, пропитывая кровью штаны. От сорванного ремешка саднит подбородок. Плетью повисла левая рука, не могу шевельнуть ею, когда вместе с кем-то бросаюсь на помощь моему старшему ефрейтору: вот он лежит передо мной!

Осколком снаряда ему раздробило обе ноги. Выше, кажется, все цело. Он глядит удивленно, не веря случившемуся...

Взметнувшаяся пыль закрывает от меня полевую кухню, которая продолжает дымиться как ни в чем не бывало; старшего ефрейтора уно-

сят, а меня, поддерживая, доводят до санитарной машины, где размещают вместе с другими ранеными. Сюда же подсаживается санитар. Прочих раненых вынуждены оставить, они орут, ругаются, кто-то цепляется за машину... Наконец, дверцы захлопнуты и закрыты на задвижку.

Машина трогается, нас везут, как можно догадаться, в полевой госпиталь.

Запах лизола. Санитарная машина рождала ощущение безопасности. Война объявила перерыв. По крайней мере пока ничего особенного не происходило; мы медленно продвигались вперед. Старший ефрейтор лежал, распластавшись. Его лицо, обычно свежевыбритое и розовое, теперь позеленело, на щеках проступила щетина. Да и сам он выглядел каким-то скукоженным. Ноги в бинтах.

Он лежал на носилках, был в сознании и смотрел на меня, не поворачивая головы, искоса. Он попытался сложить какую-то фразу, произнести ее внятно; наконец, это ему удалось, и он попросил меня со своей обычной ноющей интонацией, чтобы я достал сигарету из мятой пачки, а заодно и зажигалку.

Я, некурящий, зажег сигарету, вставил ему между губами, которые сразу перестали вздрагивать. Сделав несколько затяжек, он закрыл глаза, но тут же снова испуганно открыл их, будто только сейчас осознал, что с ним произошло. Нечто новое в нем испугало меня: на его лице читался страх.

После некоторой паузы, когда слышались только стоны других раненых и ругань санитара, который жаловался на нехватку перевязочного материала, а я сам удивлялся тому, что не чувствую боли, мой старший ефрейтор попросил, нет — приказал мне расстегнуть ему штаны, кальсоны и сунуть для проверки руку между ног.

Когда я подтвердил ему, что там все на месте и цело, он ухмыльнулся, сделал еще пару затяжек, после чего затих, потерял сознание, сделавшись маленьким и тщедушным.

Двенадцатью годами позже, описывая оборону Польской почты в Данциге, я наделил тем же самым жестом Яна Бронского: Ян сунул пятерню в штаны Кобиелы, коменданта здания, чтобы подтвердить умирающему сохранность его мужского достоинства.

В полевом госпитале нас разлучили. Старшего ефрейтора отнесли в палатку, я остался на улице. И тут, когда мне собирались перевязывать бедро, еще до того, как я спустил штаны, раздался всеобщий смех, имевший вполне очевидную причину: коробка от противогаза, все еще висевшая у меня сзади, оказалась взрезанной осколком длиной в палец, через образовавшуюся щель потек клубничный и вишневый джем, испачкав мои штаны. Они потом долго приклеивались к заднице, а кроме того, притягивали муравьев, что было совсем уж несмешно.

Взрезанный барабан от противогаза остался в госпитале. А вот осколок советского снаряда, пощадивший будущего отца моих сыновей и дочерей, я бы охотно сохранил, чтобы показывать детям и внукам: глядите, какой аттестат был выдан мне, пошедшему на войну добровольцем, за то, что я изведал ужас и научился страху. Смотрите, дети, какой он длинный и зазубренный...

Затем перевязали и мое левое плечо, которое почти не кровоточило, но в нем засел кусочек металла, хотя, предположительно, совсем маленький. Дырочку от него едва удалось отыскать в моей новой форменной куртке. Повисшую плетью руку сунули в перевязь. Полевой госпиталь удачно разместился рядом с железнодорожной сортировочной станцией, поэтому память не сохранила воспоминаний о промежуточных пересадках. Так быстро закончилась для меня война, хотя вокруг она еще продолжалась.

К вечеру состоялась погрузка. Это было, видимо, в ночь с двадцатого на двадцать первое апреля, так как санитары, составлявшие посадочный список, врач и легкораненые, к числу которых отнесли и меня, все еще ругались по тому поводу, из-за которого началось брюзжание у полевой кухни: никому не выдали дополнительных пайков, что обычно делалось на протяжении всех военных лет в день рождения Вождя. Ни сигарет, ни банки сардин, ни бутылки шнапса на четверых. Ничего...

Всем солдатам, даже мне, некурящему, это казалось крайне досадным и едва ли не более значительным событием, чем очевидный крах Великого Германского Рейха. К ругани примешивались проклятья, каких раньше мне слышать не доводилось.

Товарняк, в одном из вагонов которого я лежал среди легко- и тяжелораненых, катил к неизвестному пункту назначения. Зачастую стоянки длились бесконечно, а порой они бывали совсем короткими. Снаружи смеркалось. Несколько раз состав отправляли на пересортировку. Вагон освещался лишь одной карбидной лампой.

Мы лежали на соломе, пропахшей гнилью и мочой. Рядом со мной горный егерь с перевязанной головой читал религиозную книжонку при свете карманного фонарика. Его губы шевелились. Справа метался на лежаке раненный в живот, он кричал до тех пор, пока не затих совсем.

Воды не давали. С нами не было санитара, который мог бы отозваться на крики раненых. Крики и стоны раздавались независимо от того, ехал поезд или стоял. За последним стоном наступала внезапная тишина.

Мой сосед слева вполголоса молился. Разбушевавшийся в тусклых отсветах карбидки раненый сорвал с себя бинты, вскочил, упал, вскочил снова, чтобы опять упасть и уже не подняться. Справа больше никто не шевелился.

Ночь никак не кончалась, она тянулась и еще долго продолжалась в моих снах первых послевоенных лет. Нет, боли я пока не чувствовал. Лишь изредка впадал в дрему, чтобы тут же вновь встрепенуться. Потом все-таки заснул, не знаю на сколько.

Когда товарняк, наконец, остановился, нас, живых и мертвых — например, раненного в живот соседа — выгрузили. Врач ставил галочки в списке, сортируя легко- и тяжелораненых. Ему хватало одного взгляда. Настолько споро шло у него дело.

Старинный, чудесным образом уцелевший Майсен, город со знаменитым собором, в утренних лучах весеннего солнца. Как в песенке: все птички уже прилетели. Многие раненые, я тоже, жадно хватали кружки с соком, которым поили нас представительницы Союза немецких деву-

шек, привыкшие, видно, к разгрузке товарняков с подобным содержимым.

Тяжелораненых увезли на грузовиках. Мы же, легкораненые, заковыляли, поддерживая друг друга, в гору, к замку, оборудованному под госпиталь. Горожане, среди них множество женщин, стояли у обочины. Кое-кто помогал идти. По-моему, я тоже брел в гору, опираясь на молоденькую женщину.

Год назад мой старший сын Франц, которому уже за сорок, полный энергии и переменчивых желаний, и моя младшая дочь Неле, учившаяся тогда в Дрездене на акушерку и пытавшаяся скрыть свои переживания из-за любовных передряг, отправились вместе посмотреть отреставрированный Майсен; они послали мне оттуда почтовую открытку с видом города на глянцевой стороне. Написанное на обороте читалось как свидетельство их детской любви: в благодарность за то, что случай уберег меня, Неле и Франц поставили свечи в местном соборе.

В замке со мной обошлись на скорую руку. Госпиталь был переполнен. Раненые лежали по всем коридорам на чем попало. Усталые врачи, раздраженные медсестры, жалобы на нехватку всего, особенно медикаментов. Поэтому мне лишь обновили повязку на правом бедре и на левом плече, где, как записали в документ с подписью и печатью, засел крошечный осколок снаряда. В моем случае операцию сочли не срочной, сэкономили и на противостолбнячной сыворотке.

Выданный сухой паек лег в холщовую "сухарку", которая оставалась при мне. Пропали только наручные часы. Зато теперь у меня была пилотка, даже подходившая мне по размеру. Жаль, что не удалось сменить противно липкие штаны.

Пообещав, что позднее разберутся как следует, сделают противостолбнячный укол и выдадут новые штаны, мне вручили командировочное предписание, мое последнее, где конечной целью значился город-госпиталь Мариенбад; этот часто упоминающийся в литературе и известный знаменитыми посетителями курорт — старый Гёте, влюбившись здесь в юную девицу и получив отказ, утешился написанием "Мариенбадских элегий" — находился где-то за Рудными горами, далеко в Судетах.

Пока я ждал, чтобы поставили печать на моем документе — это была единственная бумажка, где значилась моя фамилия, — из операционной вывезли на каталке старшего ефрейтора. Нос его еще больше заострился. Никогда я не видел его таким небритым. Моего ангела-хранителя провезли мимо в виде упакованного туловища, без ног. Он спал, и неизвестно было, следовало ли надеяться, что он очнется из своего забытья, или бояться этого.

Его провезли по коридору, где висело всяческое средневековое оружие: алебарды, арбалеты, обоюдоострые топоры, стрелы, палицы и мечи, а также мушкеты, какими, наверное, воевали в смутные времена Гриммельсхаузена; чего только не выдумал человек с течением веков для общения с себе подобными.

Я смотрел вслед моему старшему ефрейтору. Эта картина — как его бесшумно увозят, — которую я по желанию всегда могу вернуть назад, не дает ответа на вопрос: жив ли он еще, и если да, то где находится? Его имя тоже остается неизвестным, ибо так и не было названо.

Под воздействием военной выучки я называл его, будь то в сосновом бору или заполненном банками подвале, "господин старший ефрейтор". Он был моим командиром, который хотя мне и тыкал, чтобы одернуть, когда я бросался в неверном направлении или совершал какую-либо оплошность, но всякий раз называл меня рядовым. Фамильярности он не допускал.

Поэтому я не верю собственной памяти, которой кажется, будто его звали Хансом, как героя той детской сказки, что я пел в темном лесу, пока не услышал ответ, а порой он вроде бы даже сам именовал себя Хансиком, как тогда, в санитарной машине, когда он приказал мне: "Сунь Хансику руку в штаны", чтобы проверить его мужскую сохранность.

Да, там все было на месте. Но вот только у моего ангела-хранителя не оказалось собственного Херцбрудера. Без него я бы отдал концы. Так он говаривал, чуя опасность: "Гляди, рядовой, как бы тут тебе концы не отдать".

В первые послевоенные годы, даже позднее, когда безногие колясочники были обычным явлением на улицах или в канцеляриях, куда из-за ограниченной трудоспособности их брали подшивать бумажки, я спрашивал себя: не он ли это? Может, этот тщедушный инвалид за канцелярским столом, не поднимающий глаз и с ноющей интонацией задающий вопросы, прежде чем дать тебе регистрацию на проживание в Берлине-Шарлоттенбурге, и есть твой Хансик с его берлинским диалектом?

Не знаю, как я одолел Рудные горы. Куда-то добирался поездом, пока они еще ходили, потом на конных повозках — от деревни к деревне, названия которых забылись. Однажды меня вез открытый грузовик с двигателем-газогенератором, работавшим на древесных чурках; грузовик натужно тянул в гору, тут внезапно налетел американский штурмовик, который, спикировав, поджег машину сразу после того, как я, заметив самолет, выпрыгнул из кузова и скатился в кювет; если бы эту сцену снимали для военного фильма под названием "Когда все пошло прахом", для нее понадобился бы хороший каскадер.

Дальше — пробелы. Ничего, что могло бы сложиться в связный рассказ. Каким-то образом я продвигался вперед. Пользовался любыми транспортными средствами, неуклонно следуя командировочному предписанию, не позволявшему сделать лишний крюк.

Уже в горах я заночевал у пожилой семейной пары, школьного учителя и учительницы, разводивших за домом кроликов. У меня уже начался жар, семейная пара собиралась выходить меня, дать гражданскую одежду, оставить у себя, спрятав в подвале, пока, по их словам, "все это не закончится".

Их сын, фотография которого в траурной рамке стояла на книжной полке, погиб в боях за Севастополь. Ему было лет двадцать. Его костюм оказался бы мне впору. Можно было прикоснуться к его книгам на полках. На фотографии у него такой же левый пробор, как у меня.

Я не остался, решив и дальше следовать командировочному предписанию в собственных штанах, которые после основательной стирки перестали притягивать муравьев, и двинулся через горы. Учитель и учительница смотрели мне вслед с лесенки перед своим домом под черепичной крышей.

Не знаю, как я добрался до Карлсбада, еще одного курортного городка с литературной и – если вспомнить Метерлинка – историко-политической подоплекой, где посреди улицы у меня подкосились ноги, я упал без сознания и не смог подняться.

Хорошо, что при мне имелась бумажка с печатью, ибо, как я позднее узнал, один из страшных "цепных псов", увидев на улице лежащего, а точнее, валяющегося солдата, первым делом проверил его единственный документ – командировочное предписание.

Оба курорта были городами-госпиталями. Но жандарм ориентировался на указанный в документе пункт назначения. Положив мое бесчувственное тело на заднее сиденье мотоцикла, он привязал меня ремнем и доставил прямиком в соседний госпитальный город Мариенбад, где для рядового мотопехоты война действительно закончилась и страх его отпустил; хотя позднее он вновь вернулся в мои сны и, по-домашнему освоившись там, обосновался надолго.

Послесловие от переводчика

Салман Рушди, которого связывают с Гюнтером Грассом дружеские отношения, однажды не без ехидства заметил: когда немецкие журналисты приходят брать у него интервью, они непременно заводят разговор о нобелевском лауреате. "Неужели вы и впрямь считаете Грасса великим писателем? Да, "Жестяной барабан" — шедевр. Но что дальше?.." А затем всегда следует просьба рассказать о последней встрече Рушди с Грассом, причем журналиста живо интересуют любые подробности и мельчайшие детали: как выглядел Грасс, что сказал, о ком отозвался критически, кого похвалил...

Грасс для Германии — это, говоря словами Пастернака, "новость, которая всегда нова". Буквально нет недели, чтобы немецкая пресса, радио и телевидение не сообщили читателям, слушателям и зрителям об очередном выступлении писателя, об участии в том или ином общественном мероприятии, о его гражданской инициативе и даже просто о его публичном высказывании. Причем каждое такое сообщение немедленно обрастает множеством комментариев, нередко полярного свойства. Немецкая публика весьма неравнодушна к Грассу. Его сторонников и противников объединяет одно — повышенное внимание к творчеству и общественной деятельности этого писателя.

Пожалуй, ни один юбилей последнего времени не отмечался в Германии с таким размахом, как недавнее восьмидесятилетие Гюнтера Грасса. Особенно активно в торжествах участвовали три города. Гданьск, прежний Данциг, где 16 октября 1927 года родился нобелевский лауреат, организовал многодневную программу, в ходе которой состоялась международная конференция, посвященная его творчеству, и большая выставка скульптурных и графических работ Грасса. Юбиляр сам приехал в родной город, где среди прочих чествователей его поздравляли Лех Валенса и бывший президент ФРГ Рихард фон Вайцзеккер.

Геттинген, где находится издательство "Штайдль", выпускающее книги Грасса, отметил юбилей писателя праздничным вечером, на котором присутствовало две с половиной тысячи гостей. Телевидение транслировало вечер в прямом

эфире, да еще и повторяло программу на следующий день. Немецкие радио- и телевизионные каналы вообще отнеслись к юбилею Грасса с беспрецедентным вниманием. Скажем, все радиостанции АРД провели накануне юбилея совместную четырехчасовую передачу под названием "Оптимистичный Сизиф", которая рассказывала о литературном творчестве Грасса, об основных вехах его биографии, о его общественной деятельности. Телевидение продемонстрировало несколько художественных фильмов по произведениям Грасса и документальных фильмов, посвященных писателю, в том числе — новую полуторачасовую ленту под знаменательным названием "Неудобный".

Наконец, в Любеке, где теперь живет Гюнтер Грасс, прошло официальное празднество, на котором юбиляра лично поздравил действующий президент ФРГ Хорст Кёлер. В своей поздравительной речи президент не мог обойти автобиографическую книгу Грасса "Луковица памяти", публикация которой вызвала огромный резонанс не только в Германии, но и за пределами страны[1].

В центре внимания оказались военные эпизоды автобиографии. С этими главами и знакомит своего читателя "ИЛ". Но на самом деле книга охватывает двадцатилетний период жизни писателя — с осени 1939 года, когда началась Вторая мировая война, до осени 1959 года, когда появился роман "Жестяной барабан", принесший автору всемирную славу. Журнальная публикация завершается ранением юного рядового войск СС, каковым был весной 1945 года Гюнтер Грасс. Последующие главы повествуют о лагерях военнопленных, откуда он вышел в апреле 1946 года, о скитаниях лишившегося родины, дома и семьи данцигского паренька по западным оккупационным зонам, о работе на калийном руднике, о встрече с семьей, которой удалось уцелеть, о неудачной попытке поступить в дюссельдорфскую Академию художеств, об овладении профессией каменотеса, о состоявшемся-таки поступлении в Академию художеств и переезде в Берлин, где учеба была продолжена в тамошней Академии искусств, о смерти матери, которая так много значила для Гюнтера Грасса, о его жене Анне Грасс и, наконец, о литературном дебюте в известной "Группе 47", который послужил прологом к написанию "Жестяного барабана".

Именно эти главы имел в виду президент Кёлер, когда говорил в своей поздравительной речи, что книга "Луковица памяти" — свидетельство тому, с какой жаждой нового и волей к творчеству начинало свою послевоенную жизнь поколение Грасса[2].

А еще в этой юбилейной речи было особо подчеркнуто, что Грассу снова и снова удавалось добиваться того, чтобы о книгах спорили, чтобы литература и литературная жизнь играла важную общественную роль.

1. Мне уже доводилось писать об этом на страницах журнала. См.: Феномен Грасса. "ИЛ", 2007, № 1, с. 243–259. Позднее издательство "Штайдль" выпустило документальный сборник, который подводил итоги широкой дискуссии о книге "Луковица памяти". Эта дискуссия ознаменовалась прямо-таки фантастическим количеством – "многие десятки тысяч" (!!!) – публикаций, выступлений, рецензий, восторженных и критических отзывов и т. д. См.: Martin Köbel (Hrsg): Ein Buch, ein Bekenntnis. Die Debatte um Günter Grass' "Beim Häuten der Zwiebel". Göttingen: Steidl, 2007. S. 357.
2. http://eng.bundespraesident.de/-,2.641475/Laudatio-von-Bundespraesident-.htm

Ян Юзеф Щепанский

Ланч в Гарварде

Рассказ

Перевод с польского К. Старосельской

В 1958 году Генри Киссинджер еще не был выдающимся государственным деятелем, хотя уже тогда можно было предположить, что рано или поздно таковым станет. Пока же он был одним из профессоров Гарвардского университета, а также основателем и руководителем международного семинара, в работе которого я принимал участие (был вторым, после Яцека Возняковского[1], приглашенным поляком).

Киссинджера недолюбливали другие профессора (его обвиняли в грубости и чрезмерной амбициозности), да и участники семинара относились к нему прохладно, видя, как неравномерно распределяет он свои симпатии. Впрочем, приписываемая ему необъективность не носила личного характера и не вытекала из каких-либо предубеждений. Причины ее были чисто политические. Представители стран, где в данный момент происходило что-либо важное, могли рассчитывать на его милостивое расположение — приглашение домой, долгие беседы у камина со стаканом виски в руке. Прочие существовали лишь как статисты, не заслуживающие особого внимания.

Я оказался, можно сказать, в привилегированном положении. Еще свежа была память о польском Октябре[2], а Гомулка пользовался в Аме-

© Copyright by Jan Józef Szczepański
© К. Старосельская. Перевод, 2008

1. Яцек Возняковский (р. 1920) — историк искусства, публицист, эссеист, издатель. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

2. В октябре 1956 г. в Польше состоялся пленум ЦК ПОРП, на котором первым секретарем ЦК был избран Владислав Гомулка (1905–1982) и принят новый курс, направленный на демократизацию общественно-политической жизни.

рике немалой популярностью. Вне зависимости от этих обстоятельств Генри Киссинджер производил на меня сильное впечатление. Его энергия, глубокий и звучный баритон, прекрасное чувство юмора и молниеносная реакция выдавали сильную личность, наделенную незаурядным умом. Боюсь, что я, не сумев со знанием дела откомментировать план Рапацкого[1], довольно быстро его разочаровал. И тем не менее, благодаря Гомулке, остался в кругу избранных и не разделил участи безвестных фигурантов – таких, например, как филиппинец, внук последнего султана какого-то островка, который по прибытии в Кембридж[2] разместил в газетах объявление, что он принимает от пяти до шести пополудни, и ежедневно в эту пору, в тюрбане, расписных одеждах и бархатных туфлях с загнутыми носами, терпеливо (но тщетно) ждал в своей комнатушке в кампусе лиц, жаждущих воздать ему почести. Также я ни разу не нарвался на снисходительную улыбочку, каковой был удостоен испанец, чьим единственным научным вкладом в нашу программу стал доклад о бое быков. Честно говоря, и я ничем не обогатил эту программу (темой которой была "массовая культура"), однако Киссинджеру, похоже, это было безразлично.

Одним из многочисленных увлекательных мероприятий были еженедельные встречи с так называемыми guest speakers. Генри Киссинджер приглашал различных важных особ – политиков, ученых, общественных деятелей, писателей, – чтобы мы могли познакомиться с их мнениями и обменяться с ними своими соображениями. В субботу вечером в одной из аудиторий гость читал лекцию для всех участников семинара, а на следующий день в клубе для преподавателей устраивался в его честь торжественный ланч, на который приглашались несколько избранных. Ланчу всегда предшествовала тщательная подготовка. За два дня до него сотрудники Киссинджера рассылали всем приглашения, к которым прилагался схематический рисунок стола, где для каждого было обозначено его место.

Я получил такое приглашение по случаю визита госпожи Элеоноры Рузвельт. Темы ее лекции не помню. Кажется, она рассказывала об акции помощи детям в разоренной войной Европе, в которой лично принимала активное и заслуживающее всяческих похвал участие. Зато я хорошо помню сам ланч и сопутствующие ему обстоятельства.

Вышеупомянутое приглашение я положил на письменный стол в своей комнате, лишь мельком на него взглянув, поскольку куда-то спешил и уже убегал. Лето было жаркое и ветреное, поэтому все окна и двери в наших жилищах сутки напролет оставались открытыми. Вернувшись к себе, я увидел, что ветер разбросал по комнате лежавшие на столе бумаги. Аккуратно их собрал, но приглашения среди них не обнаружил.

На следующий день, направляясь в кафетерий на завтрак, я встретил Киссинджера. Он поинтересовался, получил ли я приглашение. Я признался, что оно у меня куда-то пропало. Это известие сильно его взволновало. Высоко подняв брови над толстыми стеклами очков, он спросил:

1. Выдвинутый в октябре 1957 г. министром иностранных дел Польши А. Рапацким проект создания в центре Европы зоны, свободной от ядерного оружия.
2. Пригород Бостона, где находится Гарвардский университет.

– Как это – пропало?

– Ветер смахнул со стола. Я искал, но безуспешно.

К моему удивлению, он развернулся и быстро зашагал к своему кабинету. Днем мне вручили новое приглашение. На этот раз я внимательно его изучил. Мне предстояло сидеть по правую руку от госпожи Рузвельт.

Ланч протекал в соответствии с планом, в той шутливой, непринужденной атмосфере, которая столь часто обманывает европейца, не способного распознать правил жесткого церемониала под маской эгалитарной простоты. Моя соседка оказалась весьма разговорчивой, развлекать ее мне не понадобилось. Все в ней было на пару размеров великовато. Кисти рук, ступни, бюст, нос, похожий на два сдвинутых кулака. Из широкого рта торчали вперед поистине лошадиные зубы, глаза были неестественно выпуклые, что наводило на мысль о базедовой болезни. Говорила она громко, звучным грудным голосом. Однако, благодаря непреходящей оживленности, телесная избыточность госпожи Рузвельт была не лишена своеобразной прелести.

Тот факт, что я из Польши, вызвал у нее – непонятный мне – энтузиазм. После нескольких непременных "Оу!" она поздравила меня – ведь я имел счастье проживать в той части света, где выковывается будущее нашей планеты. Я в ответ скептически заметил, что мы у себя в стране мечтали не о таком будущем, и это спровоцировало дискуссию.

– Да у вас, поляков, – заявила госпожа Рузвельт, – какой-то комплекс по отношению к России. Вы просто ее не знаете и потому несправедливы.

Когда я напомнил, что за века соседства мы все же кое-что о России узнали, она стала резко мне возражать. Именно так рождаются предубеждения и предвзятость! Она имела возможность оценить эту страну объективно. Она была в Москве. Она даже посетила тюрьму. Она и не представляла себе, что прискорбную проблему пенитенциарных учреждений можно решить столь гуманно. Камера вовсе не темница. Светлые стены, цветы на окнах, чистехонькое белье на кроватях, в углу икона, а заключенные – умытые, элегантные, любезные – производят впечатление скорее обитателей санатория, нежели преступников. Я не пытался оспаривать эти идиллические представления. В конце концов на Лубянке я не бывал. Только много лет спустя я прочел в "Круге первом" Солженицына описание посещения московской тюрьмы не названной по фамилии, но весьма высокопоставленной американской дамой. Автор был одним из этих опрятных "обитателей санатория", которые целых полчаса отстаивали честь заведения в специально, напоказ оборудованной камере.

Спустя пару дней я нашел первое, пропавшее приглашение. Согласно приложенной схеме я должен был сидеть совершенно в другом месте, вдалеке от вдовы президента. И тут я понял, почему разволновался Киссинджер. Он мне не поверил. Логика дипломата подсказала ему, что я был оскорблен, получив недостаточно почетное место.

Шон Макбрайд

Зелень. Трава. Благодать

Роман

Перевод с английского Никиты Михайлина

Посвящается Хлое, Алисе и Айслинн

Ведь насколько вам, милостивый государь, должно быть известно, на свете существует превеликое множество разнообразных сисек. Одни по форме смахивают на яблоко, другие на грушу; одни совершенно непристойны, другие, напротив, скромны и застенчивы, и одному Богу известно, сколько еще их есть на свете.

Гюстав Флобер
Из письма к Луи Буйе, 1851

1

Аллилуйя, сто тысяч вонючих чертей. Майк Шмидт уселся помочиться.

Как дела, долбоеб? Меня зовут Генри Тобайас Тухи. Я люблю Господа Иисуса Христа, рок-н-ролл и Грейс Макклейн — только не в этом

© 2003 by Shawn McBride
© Никита Михайлин. Перевод, 2008

порядке. Могу я испросить у Тебя благословения? И свидетеля в придачу. Я иду к вам со святым именем Господа, Яхве, Большого Члена, Ока Небесного, Кого Бы Там Ни Было на устах. Мне было видение: Он явился предо мной и во имя любви возвестил мне мое предназначение. Он сказал: Генри, сделай так, чтобы Грейс стала твоей женой. Спой ей песню и предложи выйти за тебя на глазах у всей свадебной толпы. Соверши это ради ее любви, ради того, чтобы твои родители вновь полюбили друг друга и твой депрессивный старший брат наконец очнулся от унылого сна. Только-то и всего, Большой Брат? Нет проблем. Да будет исполнена Воля Твоя.

Доброе утро, улица Святого Патрика. Доброе утро, Филадельфия. Город братской любви. Город тупиков и одностороннего движения. Цветущая метрополия, средоточие торговли, центр притяжения и самовыражения преступников — как организованных, так и не очень. Вотчина "Филлиз", "Флайерз", "Сиксерз" и "Иглз"[1] — именно в таком, бля, порядке. Доброе утро, Америка Северная, Южная, Латинская и Центральная. Доброе утро, Канада. Доброе утро, Россия, Чехословакия, Гондурас, Зимбабве, Бразилия, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Австралия, Ирландия, Япония, Китай, Аппалачи, Чили, Мексика, Верхняя Монголия, Внешняя Монголия, Нижняя Монголия, Монголия Шиворот-навыворотная и Вверхтормашечная. Забыл кого-нибудь? Ну и хрен с ними.

За окном утро пятницы, прекрасное утро последнего уик-энда летних каникул, 1984. В спальне, которую я делю со своим старшим братом Стивеном Джозефом Тухи, солнце пробивается через шторы с символикой НФЛ[2]. Ему восемнадцать, он пьет. Он спит подо мной на нижней койке. Стивен громко храпит, на подушке у него блевотина, и, скорее всего, он не помнит, как вчера бился на кулаках с нашим отцом, Фрэнсисом Натаниэлом Младшим.

Ночные драки Стивена с Фрэнсисом Младшим уже стали семейной традицией. Ночь Битвы смотрите каждый вечер дома у Тухи. В этом углу с довольно потерянным видом расположился наш неудачник, Стивен Тухи, рост — пять футов девять дюймов, вес — сто пятьдесят фунтов. Курносый с Кружкой под Носом. В противоположном углу — рост пять футов семь дюймов, вес сто восемьдесят — находится наш чемпион, Фрэнсис Натаниэл Тухи Младший, Фрэнсис Боепочтальон, у которого на спине растительность гуще, чем на голове.

Мне нужен чистый бой, ребята. Никаких клинчей, никаких ударов в затылок. И потише, чтобы соседи опять не вызвали копов, а Сесилия Реджина Тухи Младшая, известная также под именем Сес, не разревелась. Пожалуйста, воздержитесь от нанесения увечий Фрэнсису Натаниэлу Тухи Третьему, когда тот прибежит к нам в гостиную из соседнего дома, чтобы положить конец схватке. И самое главное, постарайтесь драться подальше от телевизора, к которому недавно подвели кабель. Свалив на пол телевизор с кабелем, вы совершите грех еще более ужасный, чем если бы вы помочились в священнический потир, так что коли уж придется крушить мебель, то начните с кресла или кофейного столика.

1. Четыре самых известных в Филадельфии команды: бейсбол, хоккей, баскетбол, американский футбол. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Национальная футбольная лига (американский футбол).

Будильник с эмблемой "Филадельфия Филлиз" показывает десять тридцать. Черт. Сейчас я уже должен был встретиться с моим лучшим другом Бобби Джеймсом. Однако меня это не беспокоит. Подойду через часок, после того как оденусь и причешусь. Но прежде всего следует заняться Майком Шмидтом. Наверное, придется объяснить, кто он такой, в том случае, если А) ты телка, либо же, в случае Б), если ты парнишка, который играется в куколки. Майк Шмидт — третий игрок "Филлиз" и мой злейший враг по причинам, которые я не желаю сейчас обсуждать, потому что эта тема для меня больная. Я пытаюсь устаканить свою жизнь после Происшествия. Точно в десяточку. Шарик жвачки, которым я плюнул в этого говнюка, угодил ему прямо в длинный шнобель, присоединившись к сотням себе подобных. Я делаю так каждое утро. Это такая терапия. Мне уже лучше.

Я иду по коридору, минуя ванную и комнату Сес прямиком в родительскую спальню, где стоят пластинки Сесилии Тухи. Коллекция впечатляет, как и моя шевелюра. У нее есть абсолютно все альбомы, выпущенные с 1950 по 1979 год. Долгоиграющие пластинки рядами выстроились на полках вдоль стен, а те, что на 45 оборотов, — в разваливающихся шкафчиках. К ним-то я и направляюсь — нет времени слушать целый альбом. Чего бы такое послушать? Ага, вот оно: "Let It All Hang Out" Омбрес. Хорошая пластинка. Я вынимаю ее из чехла и иду в комнату Сес, где стоит проигрыватель, а также проходят репетиции нашей группы под названием "Филобудильник". Я опускаю иглу. Песня начинается с проповеди. Слышно, как хлопают. Я принимаюсь плясать в белых трусах, подпевая пластинке. Признайтесь честно, вы когда-нибудь слышали такие ритмы в белой музыке? Ну, скажите, что да. А я над вами посмеюсь.

— Генри, заткни хлебало и выключи это дерьмо, — орет Стивен, не вставая с кровати.

Я убавляю звук, прекращаю петь и опять несусь в ванную. Вот я уже перед зеркалом, а Омбрес всё продолжают петь. Быстрая проверка подмышек на наличие волос не приносит положительных результатов. Долбаный карась, думаю я про себя, в то время как Стивен, шатаясь, заваливается в ванную, преклоняет колена и блюет в унитаз.

— Йоу. Сдается мне, Генри, ты сегодня не в форме.

У Стивена ярко-зеленые глаза, даже когда он блюет в унитаз после пьянки. На голове у него шухер из черных, слипшихся сосульками волос. Росту в нем пять футов девять дюймов, смазливый, но до меня ему, конечно, далеко. Смазливый — не более того, по моей собственной долбаной шкале. Вам любая телка скажет — или я.

— Йоу. С чего ты взял? — спрашиваю я, смачивая волосы под струей из крана.

— Да что ни возьми. Музыка. Прическа. Проповедь, — тут он снова блюет.

— Не читал я никаких проповедей. Это тоже была запись с пластинки. Я просто подпевал, придурок.

— Может и так, — говорит он, — но я слышал, как ты повторял то фуфло, что проповедники гонят по телеку.

— И чё дальше? — спрашиваю его я. — Они прикольные. Тебе не кажется?

Я смотрю проповедников по кабелю и мотаю себе их прически и стиль одежды. А если не проповедников, смотрю юмористов. Та же фигня, только у этих прически катят, а некоторые отдельные придурки еще и одеваются дерьмово.

– Мне-то откуда знать, – говорит он. – Я их не смотрю.

Блюет.

– Ты много теряешь, – сообщаю я ему в ответ.

– Если уж на то пошло, – говорит он, – мне больше нравится, когда ты подражаешь юмористам.

– Никому я не подражаю, ты, дятел долбаный. Я сейчас, – говорю я и, злой как черт, возвращаюсь в спальню. Открываю верхнюю дверцу шкафа – там в надежной коробке хранится Зеленухыч, моя расческа. Я снимаю крышку с коробки, достаю оттуда коричневую сумку, открываю пакетик из-под сэндвичей, разворачиваю спрятанный там платок – и вот у меня в руках Зеленухыч, этот трепаный, несгибаемый ублюдок.

– Какие проблемы, чувак? – говорю я ему. Да, я разговариваю со своей расческой. Зеленухыч, человек действия, молчит мне в ответ. Я отвожу его в ванную, а Стивен уже успел уснуть, примостившись на унитазе. Он набрал пятнадцать фунтов с тех пор, как в прошлом июне закончил школу с аттестатом, который теперь пригодится ему для того, чтобы, лежа в луже на улице, укрывать голову от дождя (это если верить угрозам Фрэнсиса Младшего).

Стивен начал пить после того, как его девушка Мэган погибла в автокатастрофе в квартале от нашего дома. Месяц спустя, будучи уже без пяти минут выпускником, он бросил футбол. Оценки поползли вниз. Куда-то подевалась его личность. Раньше он всех всегда смешил. Рядом с ним всем было весело, всем становилось легче жить, особенно мне. Он был моим кумиром. Если драка шла из-за фигни, он всегда мог ее прекратить буквально парой шуток. Не бывало такого, чтобы он не улыбался. Когда он входил в комнату, все сразу оживлялись. А потом погибла Мэган, и у него все пошло кувырком. Сюда влез еще Фрэнсис Младший, и с тех пор все покатилось по наклонной. Стивен напивается, приходит домой, рубится на кулаках с Фрэнсисом Младшим и затем отключается. На следующее утро он просыпается, блюет в унитаз, засыпает на унитазе, потом снова просыпается и начинает расспрашивать меня про вчерашний вечер, поскольку сам ничего не помнит.

– Генри, ты сегодня папу уже видел? – спрашивает Стивен.

– Нет, – отвечаю я. – Не видел с вашей вчерашней драки.

– Что? – спрашивает он. – Когда это мы с ним подрались?

– Издеваешься?

– Нет. Я помню, как вернулся домой, и еще была проблема, когда не мог подняться по лестнице.

Я втираю себе в волосы две капли геля. Дальше зачесываю волосы строго назад. Теперь можно делать пробор посередине, но мне хочется рассказать Стивену всю вчерашнюю херню. Я могу делать только что-нибудь одно. Но тогда это будет несправедливо по отношению к Стивену или же, наоборот, к моим волосам.

– Да, на лестнице у тебя и впрямь были *проблемы*, – говорю я ему.

– Ну вот, а я про что, – произносит он с облегчением.

— Папа и Фрэнни *поволокли* тебя наверх. А то так бы и замерз на улице. Так что сам смотри, были у тебя проблемы или нет.

— Серьезно?

— Серьезно.

— Я шел за папой или папа шел за мной? — спрашивает он.

— Не знаю, — честно признаюсь я. — Я стоял наверху, жевал конфетки и тянучку и оформлял билеты на предстоящий бой.

— Заткнись. Что я ему говорил?

— Точно не помню. Как обычно. Пошел на хрен, отъебись, отсоси, педрила.

— Я упоминал про то, что папа пялит миссис Куни за спиной у мамы? — интересуется Стивен.

Фрэнсис Младший изменяет жене, нашей маме, Сесилии Регине Тухи Старшей, с миссис Куни, которая живет в конце квартала напротив. А наш дом стоит последним на этой стороне. Если представить себе улицу Святого Патрика в виде прямоугольника, то дорога от дома Тухи к дому Куни как раз поделит ее на два треугольника.

— Нет, такого не припомню, — отвечаю я.

— Мама плакала?

— Угу.

— Вот черт. Что еще было?

Неожиданно у меня пропадает всякое желание рассказывать дальше. Во-первых, я до сих пор не сделал пробор. Во-вторых, я до сих пор не сделал пробор. Упоминание о приезде полиции или о его рыданиях в данный момент ни к чему хорошему не приведет. Самое время заняться прической.

— Все не так ужасно, — говорю я. — Ну, сшиб там пару хреней.

— И все, больше ничего? Ты уверен, что я при маме не наговорил всяких глупостей?

— Уверен. В любом случае, она ведь в курсе, правда?

— Но это не значит, что ей надо все разжевать по слогам, не стоит мешать жанры. — Тут он снова блюет.

— Красиво пошло, — говорю я, — но мне надо уложить волосы, приятель. Иди еще поспи.

— Да, еще чуть-чуть и пойду, — отзывается он, и тут его выворачивает наизнанку. — Ну вот, чуть полегчало. Удачного дня, малыш Генри. Накинь на себя чего-нибудь. А то, если отправишься на улицу прямо так, сбегутся телки и напихают долларов тебе в трусы.

Он со стонами удаляется в спальню, по дороге нервно и немного испуганно бормоча что-то про жизнь, которая катится к чертям. Меня возбуждает мысль о телках, пихающих баксы мне в трусы. Вставший у меня в белых трусах член отражается в зеркале. Что ты будешь делать с этой гребаной штуковиной? Знать бы, как его угомонить. В библиотеку записаться, что ли? Ну хватит, пора отвлечься от стояка и переключиться на прическу.

Она (прическа) уже почти стоит колом, и неплохо бы залезть под душ с шампунем и начать все с нуля, но не такой уж я дурак. Я не из тех, кого обычно называют чистюлями. Я делаю пробор и распушаю волосы — это раз плюнуть; теперь одеколон. Поделюсь секретом: когда пшикаешь спреем на голову, не смотри на инструкцию по применению. На-

до, чтобы баллончик шипел без малого три минуты. И непроницаемая мгла да сгустится над ванной так, чтобы твой собственный пердеж звучал отголосками туманного горна. Так, то сделал, это сделал. Теперь, когда волосы в порядке, можно одеваться.

Но сначала окинуть прическу беглым взглядом на предмет соответствия писку моды. Слухи о пользе от ежедневного принятия душа сильно преувеличены. Нет такой необходимости. Я придерживаюсь расписания: понедельник — среда — пятница. Воскресенье — День Господень, а посему грешно по таким дням тешить свое тщеславие, исполняя ритуалы типа купания. Однако ухаживать за прической и воздерживаться от купания — это лишь два шага на пути к сногсшибательной внешности.

Шаг третий — выбор одежды, которая бы выделяла тебя из стада. Каким образом? Очень просто. Старайся не носить футболки с логотипами спортивных команд, если, конечно, не собираешься торчать весь день под днищем машины или кормить помоями свиней. Натяни лучше рубашку с воротником вроде той, какую я надеваю в данный момент. Попробуй-ка подбери себе такую же крутую рубашку, как моя с лосями, чтоб так же выгодно тебя подавала. Не обращай внимания на фырканье и бульканье в ванной — это Стивен. С шортами попроще. К рубашке с лосями имеет смысл надевать только шорты из шотландки. Девка вроде Грейс точно не устоит. А обуюсь, пожалуй, в черные беговые кеды с желтой полоской. Пусть они немного выбиваются из цветовой гаммы: если обувка не подходит к одежде — это не смертельно. Теперь самое время запихнуть Зеленухыча в носок для быстрого доступа в походных условиях.

Прикид нельзя считать законченным, если на тебе не надето ни одной вещи во славу Иеговы. Лучше что-нибудь неброское, скажем, наплечники. Это что-то вроде шнурков, к которым прикреплены два ярлычка с изображением святых. Наплечники нужно носить как двойное ожерелье: одна картинка спереди, другая сзади. И что особенно замечательно, наплечники — это гарантированный пропуск на выход из ада. Стоит умереть в наплечниках — и отправляешься прямиком в рай. Без вопросов.

Скажем, к примеру, угоню я сегодня автобус, потом, не знаю, ну там, переееду парочку старушек с ходунками. Затем выйду из автобуса, обчищу их сумочки. С деньгами пойду в бар и напьюсь. В баре начну спорить с чуваком по поводу того, кто лучше: я или Бобби Редфорд. Допустим, он скажет, что я чуть получше. А я скажу, что точно лучше, и намного. Тут я выйду на улицу, сяду за руль автобуса, снесу в баре стену и переееду болвана. Потом вытащу деньги у него из лопатника, подойду к музыкальному автомату и врублю Боба Сигера и его "Сильвер буллет бэнд", песню "Old Time Rock & Roll". Потом я снова сажусь за стойку, заказываю еще выпить и начинаю спорить с другим чуваком: кто круче — я или Бобби Де Ниро. Он говорит, что вроде бы Де Ниро. А я говорю, что Де Ниро без вопросов. Базар я кончаю точно так же — просто сбиваю его автобусом.

Потом опять присаживаюсь выпить. В бар заходит Де Ниро, садится рядом и заказывает стопку, лихо опрокидывает ее. Потом искоса смотрит на меня и спрашивает:

— Про меня говорил? Это ты про меня говорил?

А я ему:

— Ну да, но только хорошее, Бобби.

Но он не ведется на эту туфту. Он достает огромную бандитскую пушку и нашпиговывает меня свинцом. Я труп, но на мне наплечники. В свете всего этого возникает вопрос: смогут ли они спасти меня от ада? И да, и нет. По-хорошему, мне бы полагалось прямиком в рай, даже если бы я вошел в Жемчужные Врата с рулем от автобуса и холодным пивом.

Но мы забываем об ужаснейшем из всех грехов. Хуже убийства, и даже хуже пропущенной мессы. Я врубил Боба Сигера на музыкальном автомате. А этого дерьма мне не простит и сам Бог.

В гостиной бардак. Лампа валяется на полу рядом с перевернутым кофейным столиком и кипой журналов. Синтетические чехлы на диване и кресле для двоих накинуты явно наспех. Еще хорошо, что уцелел телевизор с кабелем. Я хватаю пульт и жму на кнопку "вкл". По телику, как обычно, одно дерьмо: сплошные ток-шоу, смотреть которые было бы намного интереснее, если бы их участники бились на кулаках, видеоклипы с немецкими придурками, которые играют на пианино, словно на гитаре, кулинарные шоу с жирными тетками в роли ведущих, повторы старых черно-белых фильмов, мыльники и игровые шоу. В итоге я нахожу религиозный канал, где проповедник во фраке и рубашке с оборочками, с коком под Элвиса, держит за руки даму необъятных размеров с двумя резиновыми грелками вместо сисек. Необъятная дама с грелками вместо сисек рыдает от счастья. Она где-то посеяла Господа, но вновь Его обрела, слава Ему же. Проповедник потеет и улыбается. Зрители аплодируют и кричат всякую чушь. Я выключаю телек. Потом опять включаю. Опять выключил. Теперь включил. И снова выключил. Обожаю этот пульт.

На улице рычит собака и человек кричит от боли. Я бегу на крыльцо. Там моя собака, Гвен Флэггарт, кусает почтальона, Фрэнсиса Натаниэла Тухи Младшего, который еще вдобавок приходится мне отцом. Пока Флэггарт вгрызается ему в лодыжку, Фрэнсис Младший обзывает ее жирной сукой.

— Йоу, пап, — говорю я ему. — Посылку мне не принес?

Мы с Бобби Джеймсом написали на обороте "Мэгэзин" (журнал гарантированного взаимного уничтожения) заявку на кучу всякого дерьма, включающую в себя пластмассовые собачьи какашки, жвачку с приколом, ароматические палочки и доску, которая не просто доска. Мы собираемся катиться на доске в школу. Цыпулям доски нравятся.

— Йоу, Генри, — отвечает он. — Чего? Ты про это?

Он достает из набитой до отказа почтальонской сумки маленькую коричневую коробочку и протягивает ее мне, а тем временем Флэггарт продолжает рычать и кусаться. Фрэнсис Младший прицеливается и отвешивает собаке смачного пенделя ногой. Бам. Флэггарт, эта уродина, валится на спину, закрывая морду лапами, и чихает, будто улыбаясь во всю свою желтозубую пасть.

— Загони собаку в дом, Генри, пока я ее не убил, — говорит он мне.

Я открываю дверь, и он дает ей пинок под зад. Уже в доме она с блядским видом подруливает к спящей Джин, другой нашей собаке. Джин просыпается, замечает Флэггарт и подвигается. Флэггарт садится на освободившееся теплое местечко. Мы с Фрэнсисом Младшим по-прежнему стоим на крыльце.

— Стивен все еще наверху, Генри? Дрыхнет? — спрашивает он.

— Не-а, вроде проснулся, — говорю я.

— Как он там?

— Бывало и лучше. Блюет.

— Это понятно. Я спрашиваю, вид у него подавленный? Расстроенный?

— Угу, но это дело обычное, — замечаю я.

— Знаю, — отзывается Фрэнсис Младший, который на вид — вылитый Стивен, только покрепче будет, лицо покруглее и волос на голове поменьше, да еще черные круги под глазами.

— Он что-то говорил — вроде собирается сегодня в Комьюнити-колледж, — вру я ему.

— Правда? Вау, — говорит в ответ Фрэнсис Младший, — может быть, до него дошло хоть что-то из того, что я ему вдалбливал.

— Ага, конечно, пап, — говорю я, хотя с его стороны думать так попросту тупо.

— Ну, ты меня понимаешь, это насчет школы и прочего дерьма.

— Конечно.

Бобби Джеймс высовывает из двери свою жирную морду и смотрит в сторону нашего дома, но он слишком плохо видит, чтобы разглядеть меня издали. Оно и хорошо, потому что иначе он бы принялся истерически свистеть. Как только он вновь исчезает за дверью, у меня начинает трезвонить телефон.

— Пора кончать со всем этим дерьмом, Генри, — продолжает Фрэнсис Младший. — Он катится по наклонной. Нельзя, черт побери, ломаться из-за одного несчастья. Жизнь и впрямь летит к чертям, но при этом она еще и движется вперед, и нужно двигаться вместе с ней. Ему бы надо гонять мяч и поступить в колледж. И тебе тоже. Я не хочу, чтобы ты разносил по домам макулатуру и бегал от собак. Вы оба слишком смышленые для этого.

— Я понял тебя, брат мой, — говорю я ему.

— Хватит паясничать. Я серьезно. Наша работа не из легких, — заявляет он, глядя куда-то сквозь меня. А это значит, что сейчас начнется разговор, который будет прерываться всякий раз, когда ему придется отвечать на вопросы соседей по поводу почты. — Понимаешь, Генри, я просто хочу, чтобы у тебя в жизни все сложилось лучше, чем у меня — *Привет, Милдред, да, пришел твой "Ридерз дайджест", сейчас принесу* — в шестнадцать лет я уже работал на почте, Генри, и передохнул только во Вьетнаме — *Гарри, этого твоего чека на страховку сегодня не было, но я обещаю, что дождусь его* — у твоего брата в башке мусор, и потом он будет горько сожалеть об ошибках, которые совершает сегодня — *Юнис, подожди две минуты и хорош орать там, лысуха беззубая...* — ты даже посмышленее Стивена будешь; я не допущу, чтобы ты наполнял стаканы на банкетах вместо того, чтобы читать нужные книжки в колледже и бегать за юбками вдали от всего этого крутежа. Я не позволю Стивену все забросить из-за того, что погибла его возлюбленная одноклассница. Когда мне было семнадцать, я сам на руках вынес из дома тело семилетнего брата. На следующий день нужно было идти на работу. И я пошел. Жизнь не желает ждать. И если для того, чтобы удержать твоего брата на этом свете, мне опять придется с ним драться, я, черт возьми, так и сделаю — *Да, Майк, меня покусала моя собственная собака* — ну все, мне по-

ра, а то как бы они не зажгли факелы и не погнали меня всем скопом на почту. У тебя на голове все в порядке, хватит прихорашиваться. Слушай, чем планируешь сегодня заняться?

– Да как обычно, – отвечаю я. – Буду шататься с Бобби Джеймсом. Выглядывать на улице телок и мелочь под ногами. А также громко возглашать о своей любви к Яхве.

Я всегда несу такую чушь – все равно он меня не слушает.

– Напиши маме записку, ладно? – говорит он. – И не дури. Деньги есть?

– Откуда?

Он достает бумажник, в котором три рваных дояларовых бумажки. Протягивает две мне, потом смотрит на последнюю и отдает и ее. И говорит:

– Держи, вот.

– Спасибо, дружище.

– Да не за что.

– Пап, – спрашиваю я его, меняя тон, – мужику обязательно кого-нибудь пялить за спиной у жены?

– Чего? – успевает выдохнуть он перед тем, как чуть не выпрыгнуть из кедов и выронить сумку, чтобы затем нагнуться, завязать шнурки и взглянуть на меня снизу вверх. – А почему ты спрашиваешь?

– Да так, – отвечаю я. – На днях на спортплощадке кто-то обмолвился.

– И про кого?

– Не помню. Но не про тебя.

– А я про себя и не думал, – сообщает он мне, распрямляясь и вновь надевая сумку на плечо.

– Знаю, – говорю я. – Ведь так только пидоры поступают.

– Да, вроде того. Ну ладно, мне пора. Будь паинькой.

– Ты тоже.

Фрэнсис Младший, перемахнув через крылечные перила, что твой гимнаст, удаляется, чтобы завершить обход улицы. С минуту я смотрю ему вслед, потом иду в дом, нахожу ручку, бумажку и пишу: "Ма, ушел. Вернусь. Искренне твой во Христе, Генри". Сесилия посмеется. Она любит шуточки про Иисуса. Я выключаю, затем опять включаю и снова выключаю телевизор. Дистанционные пульты. Вау. На часах пять минут двенадцатого. На кухне звонит телефон. Стивен наверху блюет и стонет. Игла скребет по сорокапятке, которую я никогда не снимаю с проигрывателя. Я делаю шаг – и окунаюсь в сладкий летний воздух. Яхве с безграничной любовью гладит меня ласковыми лучами солнца.

2

Как-то раз с утра (дело было в мае прошлого года) сестре Эдвине Непорочной, нашей приходящей матушке-наставнице, стало плохо прямо на глазах всего нашего седьмого класса при попытке наорать на Дэниэла Макдэниэла за то, что тот запихал себе в обе ноздри по стёрке. Признаться, я и сам тогда находил этот трюк довольно забавным, но такая уж у них, у монашек, порода. Вечно они смеются над пресными шуточками льстивых священников, не замечая стёрок в носу, которые как раз

таки и отделяют истинные семена от плевел комического жанра. Я даже немного завидовал Дэниэлу. Пластическая комедия никогда не была моей сильной стороной. Пару раз за день мне доводилось повстречаться со столбом или смешно перескочить через лавку, но то были случайности. Совсем другое дело — Дэниэл Макдэниэл. Если уж стёрки и оказывались у него в носу, то исключительно по его собственной воле.

Мы все так ржали, что сестра Эдвина Непорочная, у которой из-за рака груди была только одна маленькая сиська, прекратила выписывать на доску семь смертных грехов и повернулась к нам. Увидев, что один из учеников ведет себя неподобающим для истового католика образом, сестра, которой много не надо было, сорвалась на Дэниэла Макдэниэла и обозвала его безбожным лентяем, не желающим определять свой жизненный путь в соответствии с только что услышанными догматами истинной веры. Словом, она сломала об колено чертову указку и заорала: *лентяй лентяй лентяй*. И орала до тех пор, пока не стала красной как рак и не бухнулась на пол. Она рухнула, как от пули, и так и осталась лежать, если не считать момента, когда санитары подняли на носилки ее скрюченное тело. Легенда гласит, что она и по сей день сидит в кресле-качалке на крыльце санатория Сестер Непорочного Сердца в Кейп-Мей, штат Нью-Джерси, тянет через трубочку томатный суп и бормочет *лентяй лентяй лентяй*, покуда кто-нибудь не вгонит в ее прыщавую задницу шприц с лошадиной дозой снотворного.

Все вышесказанное не имеет значения кроме как в связи с молоденькой козочкой с грудками-орешками по имени Мизз Дженкинс, которая заменяла сестру Эдвину до конца года. Она была высокая, и у нее были длинные темные волосы и темные глаза. Она носила кофточки без рукавов и коротенькие юбочки в цветочек. Когда она наклонялась над партой, чтобы помочь тебе с заданием, видно было, какой на ней лифчик. На одном из шаров у нее была темная родинка, которую так и хотелось скушать что твою шоколадку. Она смеялась над католиками и Святыми Пятницами в качестве Дней творения, показывала нам картины великих художников и познакомила нас с минимализмом, своим любимым направлением в искусстве.

И вот, собственно, к чему я веду. Если ты, подобно Мизз Дженкинс с ее плоскими сиськами и ногами как у балерины, фанат минимализма, то улица Святого Патрика местечко не для тебя. Ровные шеренги типовых домов по обеим сторонам. Парадные двери — все как одна белые с черным фронтоном — выходят на бетонные веранды, обнесенные черными железными перилами. На верандах громоздится хлам: барбекюшницы, детские велосипеды, роликовые коньки, коробки из-под игрушек, колесные диски, автомобильные детали, вымпелы с символикой "Филлиз" и "Флайерз", безголовые куклы, собачьи экскременты и мусорные ведра, набитые пустыми пивными бутылками. Между каждыми двумя домами по цементной дорожке с двумя рядами ступенек. Дорожки спускаются к тротуару, который тянется внизу вдоль чахлых, под уклон расположенных лужаек.

Лужайки — предмет особой гордости. Все они мало того что шириной немногим больше фута, так еще и очень крутые. Тем не менее соседи на улице Святого Патрика буквально из кожи вон лезут друг перед другом, украшая свои газоны всевозможными лозунгами вроде МОНДЕЙЛ И ФЕРРАРО — НАШИ ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, цветочными клумбами, картонными хрюшками и прочей скотинкой, табличками ПО ГАЗОНУ

НЕ ХОДИТЬ, американскими флагами и статуями святых. На улице Святого Патрика ровно семьдесят восемь однотипных домов, ровно семьдесят восемь пригорков с лужайками и ровно семьдесят восемь статуй мертвых святых. Нет, постойте, вру: семьдесят семь святых и одна Дева Мария.

Сюда же прибавим жителей. Те роликовые коньки и детские велосипеды, которых не видно на верандах, находятся на ногах или под задницами у детишек, гоняющих повсюду. Их мамаши носят короткие прически в стиле "Невеста Франкенштейна" вкупе с позолоченными сережками и фиолетовыми олимпийками, курят "Вирджиния слимз" и до хрипоты орут на детей, чтобы те не разгонялись, не тормозили, застегнулись, шли домой или играли на улице. Папаши ходят в джефф-хэтах — так мы называем широкополые фетровые шляпы, как у первопоселенцев, — и с важным видом шествуют в сторону "У Пола Донохью", бара на углу, предварительно выслушав от своих жен предупреждение не возвращаться домой пьяными. Подростки постарше тусуются возле машин кучками по пять-шесть человек, все как один с поднятыми капюшонами и в рубашках навыпуск. Старые кошелки стоят, скрестив руки на груди, и провожают хмурым взглядом всё и вся, чему не больше тридцати лет, а также перекрикиваются, громко поминают Отца Небесного и своих покойных мужей в связи с тем, что мелкаши потеряли нюх и стали вести себя как грубые неблагодарные чудовища. Улица Святого Патрика для ирландцев-католиков, и точка. И ни один говнюк, ни один язычник не может здесь жить, не может принадлежать этому месту, не может даже пройтись по тротуару, не собрав себе на черепушку десятка-другого пустых пивных бутылок. Здесь таких не любят.

Сегодня на улице Святого Патрика все как обычно. Отец Бобби Джеймса, мистер Джеймс, у которого волосы всегда ухожены и зачесаны набок, пришел в полицейской форме на вызов к дому Магонов. У миссис Магон торпедообразные сиськи. Она закрылась в доме от мистера Магона (лысая голова, если не считать комка жирных волос на макушке), потому что тот как раз возвращается с ночной вахты в баре "У Пола Донохью". Миссис Магон швыряет в него полными бутылками "Будвайзера" из окна на втором этаже с явным намерением раскроить ему башку.

— Получай, — вопит она, — ты ж больше всего на свете любишь эти чертовы штуки.

— Пэг, зачем ты это делаешь? — вопрошает мистер Магон невозмутимо и смиренно, параллельно пытаясь ловить своих деток на подлете к мостовой. И ему действительно удавалось спасти немало потенциальных жертв в рядах бутылок до тех пор, пока он не надумал одну из них открыть. Теперь его попытки ловить их одной рукой, не забывая про початую бутылку во второй, все чаще оборачиваются пеной и битым стеклом на тротуаре. Мистер Джеймс по кротости и деликатности своей натуры сохраняет спокойствие и приводит разумные доводы.

— Пэг, такими методами ничего не решишь. Дэн, неужели так необходимо пить вторую именно сейчас? — спрашивает он.

— Йоу, мистер Джеймс, — приветствую я его. — Как идут дела?

— Йоу, Генри, — отвечает он. — Дела шли неплохо, пока я не решил проведать этих двоих.

— Привет, миссис Магон. Привет, мистер Магон.

— Здравствуй, Генри. Передавай маме привет, — говорит мне в ответ миссис Магон.

— Генри, помоги мне, поймай несколько бутылок, — говорит мне в ответ мистер Магон.

— Не смей вмешивать сюда детей. Стой где стоишь, Генри, — приказывает мне мистер Джеймс.

Черт. Было бы забавно поймать бутылку-другую, если уж они так и сыплются из окна. Наверняка я бы спас их больше, чем мистер Магон, который, должно быть, и сам нередко мечтает о падающих с неба бутылках "Будвайзера", если только они не пущены ему в голову собственной женой из окна во втором этаже строения, которое он именует своим домом. В его мечтах бутылки плавно спускаются с небес на парашютах и приземляются аккурат в красный холодильник, и без того набитый под завязку. В мечтах нет никакой жены, есть разве что ее голова, покоящаяся во льду среди все тех же бутылок "Будвайзера".

— Генри, что бы ты предпринял, будь ты на моем месте? — спрашивает мистер Джеймс.

— Пристрелил бы обоих, — отвечаю я. — А потом вернулся бы к ларьку с пончиками.

— Не смешно, Генри. Все скажу твоей маме, — сварливо огрызается миссис Магон.

— Меньше шуток — больше реальный улов бутылок, — вставляет теперь уже разъяренный мистер Магон.

— Пристрелить их? — смеется мистер Джеймс. — С такими методами, пожалуй, хорошо, что ты родился в семье почтальона, а не копа. Когда будешь думать, чем в жизни заняться, знай: тебе лучше всего идти в почтальоны.

— Я бы хотел стать почтальоном-полицейским, — сообщаю я ему в ответ. — Разносил бы почту, а как увижу, что кто-то пытается залезть в чужое окно, сразу мерзавцу в рожу слезоточивым газом — и в почтовом мешке в тюрьму.

— Думаешь, этот парень поместился бы в почтовый мешок? — интересуется мистер Джеймс, указывая на мистера Магона и на его живот, которому никогда не удается полностью скрыться под выцветшей рубашкой с символикой "Филлиз".

К дому Магонов не спеша приближается Фрэнсис Младший. Он принес им почту. Он кивает мистеру Джеймсу и мистеру Магону, затем поднимает голову и обращается к миссис Магон:

— Пэг, тебе случайно не нужна карточка с указанием нового адреса для твоего дуралея? Хочешь, я могу положить ее в ящик вместе с почтой?

— Да уж, Фрэн, будь так любезен, — отвечает она. — Тебя не затруднит переслать всю эту макулатуру в Сибирь?

— Нет, тут я пас. Я только путаться в адресах мастер.

— С чем с чем, а с этим ты справляешься лучше некуда.

Мужчины смеются и вместе принимаются ловить падающие бутылки.

— Ребята, кто-нибудь смотрел вчера вечером игру "Филлиз"? — интересуется отец, раскрывая почтальонскую сумку для очередной бутылки.

— Карлтон подавал не ахти, — замечает мистер Джеймс, одновременно перехватывая бутылку, не разбившуюся о навес крыльца, прежде чем скатиться вниз на бетон. — Прямую подал чисто, а крученый слишком высоко.

— Наверное, от той травмы никак не оправится, — говорит мистер Магон, ловя очередную бутылку и ни на секунду не спуская глаз с остальных.

— Вряд ли. Сейчас врачи такое дерьмо за полчаса вправляют, и через пару недель питчер на площадке как новенький, — говорит мистер Джеймс, не успевая к одной (вдребезги), но при этом спасая другую.

— Лучше бы Карлтону поправиться до игры на титул чемпионов. Не каждый же раз Шмидт в девятом раунде будет попадать в отбивающего, — говорит Фрэнсис Младший, тут же ловит бутылку, сбивает с нее крышку и уже в открытом виде протягивает мистеру Магону.

— Спасибо, Фрэн, — говорит мистер Магон.

— Нет проблем.

— На хрен Майка Шмидта, — сообщаю я им.

Вся компания, за исключением Фрэнсиса Младшего, смотрит на меня с улыбкой.

— Он не любит Шмидта, — пожимая плечами, поясняет Фрэнсис.

— Ага, терпеть не могу, — заявляю я. — Мне пора за Бобби Джеймсом. Пока, ребята.

Они тоже прощаются со мной, а затем возвращаются к своей забаве: миссис Магон продолжает запускать бутылку за бутылкой и вопить что-то про смену замков, а остальные трое — смеяться по поводу женитьбы и детей и к чему это в итоге приводит.

И такой народ тут везде. Несмотря на постоянные драки, люди каким-то образом все равно сохраняют дружеские отношения. Примерно та же фигня происходит через каждые два дома на третий, пока я иду по улице к Бобби Джеймсу. Мистер Маллиган (триста фунтов чистого веса, маленькие бачки, шевелюра как у Элвиса) прилюдно спустил штаны с сына Табби (те же триста фунтов и то же самое на голове) и лупцует его голую задницу за то, что тот привязал телефонный шнур к пожарной сирене и таскал ее по полу. Рядом трехсотфунтовая миссис Маллиган с дирижаблеобразными сиськами объясняет Табби, что эта публичная казнь их самих ранит даже больнее, нежели его голую задницу. Пока эти жирные придурки разбираются, начальник пожарной команды мистер О'Молли, живущий в этом же квартале, стоит в брюках и без пиджака и прячет лицо в ладони. Пятилетние Джимми Килпатрик и Джимми Мулейни, два стриженных ежиком поросенка, несутся по улице с памперсом, который они свистнули из-под задницы у двухлетки Дениз Маккивер. Их с воплями преследуют миссис Килпатрик и миссис Мулейни (обе молодые, с сиськами как канталупы и без лифчиков — аллилуйя!) и по ходу не могут удержаться от смеха при виде своих маленьких монстров. Мисс Фарбер, старая сова со славными сиськами, поливает прямо в лицо из садового шланга безгрудую мисс Уилсон, свою лучшую подругу и злейшего врага одновременно, на клумбе, от которой попахивает тухлой свининой. Теннисные мячики со стуком отскакивают от парадных дверей, откуда в ответ доносятся истошные родительские *йоу*. Ракеты из пластиковых бутылок и петарды со свистом проносятся мимо трехколесных велосипедов, груженных трехлетками. Собаки гоняют кошек и белок. В домах, где живут глухие и немые, орут телевизоры. Фрэнсис Младший раздает всем счета и конверты с квитанциями.

Я причесываюсь, и уже на подходе к дому Бобби Джеймса меня через улицу окликают Ральф Кунн и Джералд Уилсон.

— Йоу, Генри-хайросексуал, — кричит Джералд. — Иди-ка сюда.

Я перехожу через дорогу и останавливаюсь у машины Джералда, которая покоится на четырех шлакоблоках при полном отсутствии стекол в окнах. Джералд, у которого густая шевелюра с зачесом набок, как у какого-нибудь долбоеба из шахматного клуба, — внук той самой миссис Уилсон, которая сейчас откашливается после порции воды из шланга. Он живет с ней, потому что его родители умерли. У Ральфа сухие волосы и короткая квадратная армейская стрижка. Он сын миссис Куни, которую пялит мой отец. Ральф ненавидит всю нашу семью так, будто мы все как один пялим его мать. Джералд и Ральф — оба фанаты оружия и вообще всего военного. Они носят камуфляжные рубашки, поджигают муравьев, мастерят бомбочки и все такое прочее, от чего телки просто тащатся. Джералд худой и высокий. Ральф крепкий, небольшого роста.

— Йоу, — говорю я. — От двух танкосексуалов слышу.

Джералд смеется.

— Заявление по поводу танкосексуалов свидетельствует о том, как мало ты знаешь о сексе и военной технике, Генри. Танк имеет только одно отверстие, слишком большой диаметр которого исключает всякую возможность получения удовольствия от трения при вхождении.

— Вы зря теряете время, я ни слова не понял в вашем военном жаргоне, генерал.

Ральф приближается ко мне, злобно посмеиваясь.

— Военный жаргон. Сколько тебе сейчас?

— Тринадцать, — сообщаю ему я.

— Тринадцать. *Почтальон,* вот уж кому как не знать все эти слова, верно, Тухи? — заявляет мне Ральф, который обзывает Фрэнсиса Младшего *почтальоном* скорее чтоб обидеть, нежели просто упоминает о его профессии.

— Чего? — спрашиваю я. — Наверное. Он воевал во Вьетнаме.

— Думаешь, были случаи, когда косоглазые реально могли его пришить? Похоже, нет, он ведь сам подлей любого косоглазого. Вон, смотри, твой подлючий косоглазый папаша крадется к нашему дому. Ма. Йоу, ма, — как теленок кричит Ральф своей маме, которая тем временем, стоя на крыльце и улыбаясь, принимает у отца почту. Это последний дом на нашей улице, куда он доставляет почту перед тем, как отправиться на Ав и туда, дальше.

— Чего тебе, Ральф? — нетерпеливо спрашивает она и прикуривает сигарету. Фрэнсис Младший стоит рядом с видом виноватого ублюдка.

— А где папа?

— Он на работе в тюрьме, — отвечает она. — Ты прекрасно это знаешь, Ральф.

Мистер Куни работает охранником в Холмсбургской тюрьме, что в пяти кварталах к востоку от улицы Святого Патрика, недалеко от I-95 и Дэлавер-ривер. Жить рядом с тюрьмой круто. Время от времени можно наблюдать, как какой-нибудь сбежавший придурок в спортивном костюме и наручниках несется по улице. В Холмсбурге работает куча папаш из окрестностей. Либо надзирателями, либо почтальонами, копами, пожарными, строителями, кровельщиками, водителями грузовиков, газовщиками или электриками. Ни один предок в нашей округе не ходит на работу в галстуке и не возвращается домой чистым. В общем, при та-

кой работе никто не ложится спать голодным, но и ни у кого не водится банковских счетов. Игра называется "от зарплаты до зарплаты".

— Может быть, стоит отпустить *почтальона*, чтобы он мог дальше разносить *почту* и поскорее завершил свой *почтовый* обход.

— Может быть, тебе стоит заниматься своими гребаными делами и не лезть в чужие, а, Ральф? — парирует миссис Куни.

У нее сиськи номер три, она невысокого роста, с короткой стрижкой, негроидными чертами лица, и кожа у нее оливкового цвета. Она ничего, но до Сесилии Тухи ей как до Китая раком.

— Как дела, Генри? — с улыбкой интересуется она.

Она всегда со мной приветлива, поэтому я разговариваю с ней вежливо, не заставляю ее чувствовать себя неловко, но при этом даю понять, что я от нее не в восторге.

— Да так, знаете, — говорю я, — не жалуюсь.

— Мой сын тебя достает? — спрашивает она.

— Нет, мы просто болтаем, обмениваемся рецептами, как водится между подружками.

Она смеется.

— Ладно, если будет доставать — скажешь мне, уж я ему задницу разровняю. Ральф, я иду в дом, чтобы позвонить по телефону и немного посмотреть телевизор. Разрешается?

Ральф ничего ей не отвечает, стоит, заткнувшись и уставившись в землю, только видно, как под кожей желваки ходят. Его мама говорит что-то Фрэнсису Младшему, чего мы не слышим, тот кивает, а затем перелезает через ограду и спрыгивает в сквер, на который торцом выходит дом Куни, чтобы идти дальше на Ав.

— Вы когда окна проделаете в своей хибаре, а то и посмотреться не во что? — спрашиваю я у Джералда и знай себе причесываюсь, правда без зеркала. Не то чтобы оно мне нужно. Просто с зеркалом удобней.

— Опять ты со своими шуточками, Тухи, — фыркает Ральф. — Ох уж эти Тухи. Все-то они лапочки.

— Да, Ральф, что правда, то правда, — соглашаюсь я, а сам знай себе дальше причесываюсь. В общем-то, по большому счету, мне его жаль. Дом у него не из счастливых.

— Опять ты за свое, — говорит он, — хоть раз заткни свое хлебало.

— Спокойно, Ральф, — осаживает его Джералд перед тем, как повернуться ко мне. — Генри, ты что делаешь сегодня вечером? В Тэк-парк пойдешь?

— Сомневаюсь, — отвечаю я. — Мы сегодня играем в "Свободу" на улице. А, да, еще Шеймас О'Шоннеси собирается провести семинар по сниманию лифчиков. Я пойду.

— Чего там Шеймас смыслит в лифчиках? — спрашивает Джералд.

— А ты сам-то в них чего смыслишь? — спрашиваю я в ответ.

Джералд прочищает горло и показывает на свою машину.

— Тут у меня будут языки пламени.

— А с чего такой интерес, что я делаю вечером? — удивляюсь я. — Мы вроде как не корефаны.

— Иди ты, — отвечает мне Джералд. — Все равно ты можешь понадобиться вечером в парке.

— Пардон?

— Там сегодня может нарисоваться парочка говнюков из Фиштауна.

Фиштаун — это белый район, по большей части расположенный под надземкой, рядом с абсолютно черным Севером. Фиштаун — район еще более убогий и нищий, чем наш. А наш называется Холмсбург, точно как тюрьма.

— Ну? — говорю я. — И откуда ты знаешь?

— Вчера вечером слышал в парке, — отвечает Джералд. — Парнишка сказал, что его сестра танцевала с пацаненком из Фиштауна на прошлой дискотеке, так вот он с парой дружков намыливается сегодня проведать ее и заодно в баскетбол погонять.

— И дальше чего? — спрашиваю я. — Там всегда трутся. Я-то вам на кой сдался?

— Нам нужны все и каждый, и не в баскетбол играть, — не сводя с меня глаз, объясняет Ральф. А в глазах страх пополам со злобой и зрачки то шире, то уже.

— А, извини, сразу не дошло. Вы их побить хотите: двадцать против троих — чтоб все по-честному.

— Не о том базар, чтобы по-честному, — сердито отвечает мне Джералд. — Базар о том, что надо показать этим говнюкам, куда им не нужно соваться из их говенного района.

Бровь у него ползет вверх.

— Твой брат Стивен тоже там будет.

— По крайней мере мы *надеемся*, — ухмыляется Ральф. — В смысле, все Тухи, конечно, лапочки, и все кругом это знают, но, может, вы двое и потянете за одного.

— Кончай с математикой. У тебя вон и так уже дым из лопухов валит, — в конце концов раздраженно отвечаю я. И, как выясняется, очень зря, потому что Ральф, которому уже давно только повод и требовался, резко делает движение, как будто хочет меня ударить. Я отскакиваю назад, зацепляюсь о бордюрный камень и приземляюсь на задницу. И тут же вскакиваю, но они уже все равно ржут надо мной.

— Тухи, лапусик долбаный, — говорит Ральф. — Тебе, братишка, не мешало бы у пацанов поучиться. Мы с мужиками идем сегодня на площадку. Можешь оставаться и играть с девчонками в свою "Свободу". Нам-то чихать. А теперь беги, а то как бы там твою подружку без тебя не облапали.

Он показывает в сторону Бобби Джеймса, который стоит на крыльце своего дома и орет в папашин мегафон: ГЕНРИ ТУХИ, ПРОСЬБА НЕМЕДЛЕННО ЯВИТЬСЯ К МОЕМУ ПАРАДНОМУ КРЫЛЬЦУ. ГЕНРИ ТУХИ, НЕМЕДЛЕННО К МОЕМУ ПАРАДНОМУ КРЫЛЬЦУ. КОНЕЦ СВЯЗИ.

Бобби Джеймсу, бля, помощь нужна. Парень явно не в себе.

3

— Йоу, — приветствует меня Бобби Джеймс. — Что-то ты поздненько, Генриетта.

— Йоу, — отвечаю я. — Будешь без конца волноваться, заработаешь себе язву, Роберта.

— А ты себе лысину заработаешь, если будешь без конца причесываться.

— Это что еще за плоские шуточки?

— Здесь не шутят, Коджак[1].

Ключей к пониманию Бобби Джеймса несколько. Он ни за что не поделится жвачкой "Базука", будь то простая, вишневая или апельсиновая. Не дождешься от него и чипсов, причем ни жаренных в масле, ни рифленых. Никакого лука в сметане. Никакой газировки. Ни пепси-колы, ни кока-колы, и уж точно никакой RC-колы. Почему — вот главная загадка. У миссис Джеймс, его мамы, весь дом забит сладостями, будто накануне атомной бомбардировки.

Еще пара фактов касательно Джеймса. Он всегда носит кепку "Филлиз" и рубашку "Сиксерз". У него светлые волосы, как у меня, но у него они чуть рыжее, а у меня чуть белее. Причесывает их он совсем неплохо, но потом эта жопа с ручкой все портит своей кепкой. Свои какашки он величает испражнениями и исключительно "опорожняет кишечник". Целует взасос своего китайского мопса Боргарда и — за вознаграждение — совочком собирает за ним дерьмо на газоне, причем и то, и другое делает с большим удовольствием. Он скрытый фанат далласских "Каубойз" и живет с сознанием того, как это стыдно. Он редкостный чистюля. Он всегда до блеска начищает кроссовки, причесывает волосы на ногах, наглаживает свои гетры и натирает "Уиндексом"[2] наручные часы. Если принести ему что-нибудь, будет прыгать от радости и нетерпения, как последняя сучка.

— Ты получил собачью какашку и сигареты-жвачки? — спрашивает он. — А скейтборд прислали?

— Спокойно, дорогая, — говорю я. — Вот сигареты. Скейтборд потом.

— Чего хотели эти двое? — спрашивает он, показывая в сторону Джералда и Ральфа, слушающих "Crazy Train" Оззи Осборна на магнитоле, которую им каким-то образом удалось починить, и безбожно перевирающих песню на гитаре. Я не большой поклонник Оззи, но эта песня у него ничего.

— Они хотят, чтобы мы сегодня вечером помогли им побить ребят из Фиштауна в Тэк-парке.

— Что? — испуганно переспрашивает Бобби Джеймс. Он не участвует в разборках на спортплощадке по глубоко религиозным причинам: например, потому, что не хочет драться по дерьмовым поводам. Не сказать, чтобы я сам рвался. Никто не называет нас с Бобби Джеймсом крутыми с тех пор, как мальчишки перестали в драках тягать друг друга за волосы и обмениваться оплеухами.

— Ты все прекрасно слышал, ебанашка, — говорю я.

— Кто ебанашка? — обижается он. — Чего мы там забыли? Ты ведь не собираешься туда идти, правда?

— Чего ради? Мое лицо — мой хлеб насущный.

1. Лейтенант Тео Коджак — герой телесериала (1973—1978, 1989—1990) о работе нью-йоркской полиции, в 1970-е гг. занимавшего лидирующие места в рейтинге популярности.
2. Товарный знак универсального моющего средства для стеклянных поверхностей.

– Я серьезно, Генри.

– А я серьезно туда и не иду. У меня с фиштаунскими косяков нет.

– Плюс ты драться не умеешь, – добавляет он и отправляет в рот пластинку жвачки.

– Вот-вот. Есть еще? – спрашиваю я.

– Нет. Нету. Вообще нет. Слушай, мы заваливаемся к Марджи и Грейс или как?

– А как же.

Мы даем друг другу пять.

– Круто. Самое время дать нам пощупать сиськи. Мы же теперь восьмиклассники. Пора сдавать товар, – сообщает он мне, запихивая себе в пасть еще жвачку, которой у него якобы нет.

– Согласен и еще раз согласен, – соглашаюсь я, даже несмотря на то, что еще ни разу с телкой не целовался.

– Бобби Джеймс, тебе звонят, – встревает Джинни Джеймс, его пышногрудая старшая сестра. Завтра она венчается в церкви Святого Игнатия. Появившись в дверном проеме с телефонной трубкой в руках, она замечает меня и улыбается, как и большинство других телок. – Как дела, Генри Тухи? Какие планы?

– А у тебя, Джинни? Как обычно. Стайлинг и профилирование. И красоток ищу.

Джинни смеется, и сиськи трясутся в такт ее смеху – чем не стимул и дальше отпускать шуточки.

– Так ты придешь завтра на мое венчание? – интересуется она. – За показ денег не берем.

– Да, приду, – отвечаю я. – Вопрос в другом – придешь ли ты сама?

– За меня не волнуйся, малыш. Вот об Эйсе стоило бы побеспокоиться.

Эйс без двух минут супруг. Он классный. Он таскает нас собой на игры "Филлиз" и орет вместе с нами на Майка Шмидта, хотя ему на него пофиг.

– Думаешь, у него есть любовник? – спрашиваю я.

– Не в том дело, – говорит она. – Хотелось бы поглядеть, как ты ему это скажешь. Просто он сейчас на взводе. Ничего не ел с прошлой недели. Ни горошинки, ни единого чипса.

– И чего он так боится? – говорю я. – Ну стоите вы там. Пару минут трете со священником. Говорите ага, потом целуетесь. Делов-то!

– Вот тебе бы с ним и пообщаться, – говорит мне она. – А то остальные мужики только и твердят ему, чтоб не женился.

Приближается Фрэнсис Младший, почтальон и всеобщий любимчик.

– Что нового, Джинни? Я забыл отдать вот это письмо, когда проходил мимо вашего дома.

– Чего нового-то? – смеется она. – У меня все хорошо, мистер Тухи. А сами-то как?

– С каких это пор ты стала называть меня мистером Тухи? – спрашивает он.

– Примерно с тех самых, когда вы начали лысеть, – отвечает она.

– Что?

– Да шучу я. А то, гляжу, вы чуть сумку из рук не выронили.

– Да я просто с ней так играюсь. Нехорошо говорить пожилым леди о том, что они начинают лысеть.

– Ваша шевелюра в полном порядке. Если уж кто из Тухи и облысеет, так это будет Генри.

– Может, хватит про лысины? Господи, пап, огрей ты ее наконец своей сумкой, – это я говорю.

– И не подумаю, Генри. Готова к завтрашнему дню? Никаких задних мыслей?

– Да, черт возьми. И нет, – говорит она. – Хотите мне что-то сказать? Или предостеречь?

– Не-а, ничего даже близко, – успокаивает он ее. – Просто интересуюсь.

– А вы сколько уже женаты?

– Приблизительно с того самого дня, как выяснил, что Сесилия беременна.

Тут он смущенно улыбается.

– У нас скоро двадцать пятая годовщина.

– Черт. Неплохо. Врете, небось. Завтра у меня свадьба. Расскажите.

– Да, пап, расскажи ей, – прошу я его, потому что это про то, как мои родители любили друг друга и были счастливы вместе, чего уже, судя по всему, давно нет.

Фрэнсис Младший оглядывается по сторонам, будто желая убедиться, что никто посторонний его не услышит.

– Ну ладно, ладно. Я попросил своего приятеля, чтобы он, как наш личный шофер, отвез нас ночью за город на большом отцовском "олдсмобиле". Мы поехали на север к реке, в окрестности Нью-Хоуп, что рядом с Вашингтонз-кроссинг. Когда мы еще только встречались, мы часто строили планы, как уедем из города и поселимся в пригороде, там, где между соседними домами есть немного места. Чтобы дети могли играть в уиффлбол[1] во дворе. Чтобы ночью видны были звезды на небе. Так или иначе, я нарядился во фрак с белым жилетом. И мы поехали туда. Был конец августа, ночь, и по-прежнему стояла такая жара, что у меня яйца чуть не плавились. Хотя, может, я просто сильно нервничал. Мы остановились у реки. Я сидел на огромном валуне. Она сидела у меня на коленях. Мы говорили про все то, о чем я сказал: про дом, про деревья, про траву и все такое. Потом я поднялся, спел ей "Далеко за синим морем" и сделал предложение.

Фрэнсис Младший прочищает горло. Лицо у него покраснело.

– Так вы и петь умеете? – удивляется Джинни.

– Ни единой ноты не вытяну, – теперь уже со смехом отвечает он.

– А почему именно "Далеко за синим морем"?

– Это была единственная песня, которая нравилась нам обоим.

– Мистер Тухи, я раньше и не подозревала, что́ вы на самом деле за человек.

Джинни светится улыбкой.

– Мистер-мистер – опять заладила. Ну-ка прекрати. А как Эйс делал тебе предложение?

1. Нечто вроде дворового бейсбола. Обычно играется на треугольной площадке с пластмассовой битой и пластмассовым мячом с отверстиями.

– Над бургерами в "Макдоналдсе", – говорит Джинни, отводя взгляд.

Фрэнсис Младший смеется.

– Да ладно.

– Я серьезно, – отвечает она.

– Довольно романтичный ублюдок.

– Нет, ни капли. Но он меня любит. Ну и как, оно того стоит? Вы в упряжке уже четверть века. Поделитесь мудростью.

– Мудростью? Я разношу почту. Жалкое занятие. Смотри-ка, вам еще одно, – сообщает он, протягивая ей только что обнаруженное в сумке письмо. Оба смеются. – Иногда оно того стоит.

– Как насчет сегодня?

– Завтра спросишь. Мне пора двигать.

И он отправляется дальше по улице в сторону Ав. Заходит в боковую дверь "У Пола Донохью" – ею пользуются все – под большой неоновой вывеской со стрелкой, которая гласит: ВХОД ДЛЯ ЛЕДИ.

– Генри, у нас тут кризис, – сообщает мне Бобби Джеймс, который стоял на веранде и что-то бубнил в телефон все время, пока Фрэнсис Младший трепался с Джинни. Он прижимает к груди мегафон.

– Это Гарри Карран? – уже зная ответ, спрашиваю я.

– Ага, – говорит Бобби. – Спрашивает, какие у нас на сегодня планы.

– Скажи, что мы собирались гулять, – говорю я ему. – Спроси, он пойдет с нами?

Гарри повернут на физической форме. Каждый день в шесть утра он бегает трусцой до Тэк-парка с баскетбольным мячом и блокнотом для записи всех удачных и неудачных бросков. Подстригает большинство газонов на улице Святого Патрика. Когда не занят ничем из вышеперечисленного, все равно об этом говорит.

– Не сработает. Я знаю, как от него избавиться. Ну держись, Гар, – это уже в трубку, – присоединяйся, если хочешь, но должен тебя предупредить: мы идем в музей изобразительного искусства, а потом на открытый концерт классической музыки. Что? Господи Боже. Ты только послушай, Генри, – теперь уже мне, – Гарри говорит, что любит изобразительное искусство и симфоническую музыку. Что же делать?

Я смеюсь. Влип Бобби Джеймс. Гарри на самом деле любит симфоническую музыку. Он объявил об этом вчера вечером в присутствии двух десятков ребят возле входа в "Семь-Одиннадцать", да и телок тоже.

– Ну что ж, Роберта, – говорю я, – похоже, мы отправляемся слушать классику. – Я вскакиваю на стол, стоящий на веранде, и принимаюсь дирижировать невидимым оркестром. Пам-па-па-пам-па-па-пам-па-па-пам-*па*-пам! – Привяжем к лодыжкам гирьки – и трусцой на концерт. А ну-ка подвиньтесь. Прошу тишину в зале. Духовая секция начинает слоновьим пердежом.

Слышно, как за дверью смеется Джинни, которая держит телефонный аппарат, пока Бобби разговаривает.

– Джинни, не подначивай его. Не смешно, – фыркает он.

– Генри, слезь с маминого нового стола, – говорит он мне, а затем вновь обращается к Гарри: – Ладно, заходи. Только без своих гребаных гирек и скакалок. Давай резче, а то уйдем без тебя. Пока.

Он протягивает трубку Джинни, и она исчезает за дверью. Гарри, который живет по соседству с Бобби Джеймсом, выходит из дома, перепрыгивает через перила и вот уже стоит на веранде вместе с нами. Волосы у Гарри темные, плохо уложены, с пробором (как он думает) посередине; веснушки и плюс пять дюймов роста к нашим с Бобби Джеймсом пяти футам. Он носит красные гетры до колен и в тон к ним красную футболку и спортивные шорты с надписью FATHER JUDGE BASKETBALL CAMP 1984[1]. Еще он носит защитные очки а-ля Карим Абдул-Джаббар с непременным ремешком на затылке.

– Йоу, – здоровается он.

– Йоу, – дружески приветствую его я.

– Йоу, – не очень дружески (рот набит жвачкой) приветствует его Бобби Джеймс.

Здесь я ненадолго отвлекусь, чтобы сказать, что слово *йоу* занимает важнейшее место в филадельфийском наречии. Им можно пользоваться, чтобы кого-то позвать, поприветствовать, обратить на что-то внимание, для выражения удовольствия или отвращения. Допустим, я увидел голые сиськи Джинни Джеймс и хочу, чтобы Гарри и Бобби Джеймс на другой стороне улицы тоже обратили на них внимание. Теперь допустим, что Гарри они понравились, а Бобби Джеймсу – нет, плюс он в придачу выходит из себя и мне нужно его успокоить. Вот как будет звучать наш разговор:

ГТ: Йоу. Йоу.
ГК: Йоу.
БД: Йоу.
ГТ: Йоу!
ГК: Йоу!
БД: Йоу!
ГТ: Йоу.

Но поскольку сиськи Джинни находятся вне пределов ясной видимости, я спрашиваю у Гарри, как насчет ланча. Гарри живет богато за счет стрижки газонов. У него целый парк газонокосилок, он пользуется услугами личного бухгалтера и адвоката и бегает в лучших баскетбольных кроссовках, какие только можно купить за деньги. А именно "Конверс". Так, бля, или иначе, Гарри говорит всем, что в банке у него четыре сотни с лишним. Но я готов терпеть эту лапшу у себя на ушах, если к ней прилагается "геройский сэндвич"[2], газировка и пакетик чипсов.

– Получишь, – говорит Гарри, – если перед едой прочитаешь молитву, святой отец Тухи.

– Ты просишь меня о благословении перед походом в ад ко всем чертям? – спрашиваю я уже тоном проповедника, и Гарри, которому много не надо, начинает хихикать.

– Да, пожалуйста, – говорит он.

– Я пустой. Так что пусть Господь сам во мне покопается.

– Аминь. Господь да покопается в тебе, – соглашается Гарри.

1. FATHER JUDGE – известный в штате Филадельфия католический колледж.
2. Длинная, разрезанная вдоль булка с начинкой из нескольких видов мяса, сыра и салата с приправами.

— Аминь — это ты верно заметил! — восклицаю я. — Итак, проследуем в сей район, — говорю я, делая рукой широкий приглашающий жест в сторону однотипных двухэтажек. Мне видны сиськи миссис Маккивер, пока она нагибается, чтобы поправить своей дочке памперс. Господь Всемогущий! — Промеж люда всех сословий мы будем искать, дабы обрести и восхититься, пышногрудых девиц из церкви Святого Игнатия, равно как и их пышные груди.

— Точно, — орет Гарри мне в ответ.

— Аминь, — произносит Бобби Джеймс, наконец присоединяясь к нашему веселью.

— Воистину их прекрасные грудки — дары Господни, — заявляю я.

— Угу, — подтверждает Джеймси, закрыв глаза и воздев над головой руки.

— Истину глаголешь, — свидетельствует Карран, застывая в той же, что и Бобби Джеймс, позе.

Святой дух нашел свой путь к их грешным душам. А может, они просто думают о сиськах. Сложно сказать, хотя в принципе один хрен. Главное, что сработало. Я забираюсь на деревянный стол.

— Могу ли я призвать кого-нибудь из вас в свидетели, дабы воздать хвалу Господу за грудные выпуклости? — вопрошаю я.

— А что это такое? — опуская руки, интересуется Гарри.

— Сиськи, осел, — сообщаю ему я. — Мне нужно, чтобы свидетельствующий взошел ко мне на стол.

Гарри карабкается ко мне:

— Я люблю Господа нашего и сиськи.

— Но только в таком порядке, верно? Сначала Господь и лишь потом сиськи. Правильно говорю, брат Карран?

Гарри приоткрывает один глаз и смотрит на меня:

— Да?

Возликуем!

— Именно так, брат Карран, ты должен любить Господа больше, чем сиськи. И ты, брат Бобби Джеймс, вступи на стол и засвидетельствуй.

— Но в моих ли это силах? Если стол сломается, мама выбьет из меня последнее дерьмо.

— Тем более. Взойди сюда, к братьям, и возгласи к холмам вместе с нами.

— Нет уж, приятель. Она только-только его купила.

— Ах ты тварь безбожная, — снижая голос, дабы донести до него свою мысль, взываю я к нему. А еще потому, что всякие долбаные зануды-соседи начинают орать: "Заткнись, Тухи".

— Брат Бобби Джеймс отказывается присоединиться к нам. Его душа и разум помрачены. Больше самого Иисуса Христа его волнует жвачка. Услышьте же, люди: жвачка "Базука", — снова громогласно возвещаю я, невзирая ни на каких язычников-соседей, которые уже величают меня говнюком. — Ведь сказано в Писании, что тем, кто не разделит жвачку с ближним своим, да будет как пером щекотать задницу адово пламя. Бобби Джеймс за наличку очистит от собачьего дерьма газоны ваши.

Бабах. Стол рушится. Мы с Гарри падаем на цементный пол: я — в смех, он — в слезы. Бобби Джеймс в панике и, как всегда в таких случаях, быстро-быстро читает "Аве Марию".

— Прекрати молиться. Я не хотел. Гарри, сними очки и вытри слезы.

— Вот-вот. Ты всегда "не хотел", Тухи, — ноет Джеймси. — Ты не хотел, чтобы Арчи ушибся, когда прикрепил петарды к его инвалидному креслу. Ты не хотел ставить в неудобное положение свою маму, когда надевал на голову ее трусики и делал из них мини-парашют. До тебя доходит, нет? Ты помнишь про все это дерьмо?

— Нет, не помню, — вру я. Конечно, помню. И, бля, ничего из этого и выеденного яйца не стоило, чтобы поднимать скандал. Арчи, этот ущербный дружок моей сестренки Сес, *сам* хотел устроить трюк с петардами. Чтобы сделать парашют, я воспользовался старыми трусами, *которые мама носила, когда была беременна*, а не теми, что она носит обычно. — Я заплачу тебе за новый стол. Гарри, дай ему десять баксов.

Гарри, все еще хныча, лезет за пачкой купюр (одна сотенная, одна двадцатка и двадцать долларовых) и спрашивает у Бобби, будет ли у него сдача с двадцатки.

— Убери свои деньги. Давайте просто оттащим стол под веранду, — говорит Бобби.

Мы с ним беремся за стол и тащим его вниз по ступенькам, а оставшийся на веранде Гарри, хлюпая носом, принимается выполнять касания ступней ладонями. Когда мы возвращаемся, Бобби Джеймс спрашивает меня:

— Ну что, теперь уже можно завалиться к этим телкам?

— К каким телкам? — спрашивает Гарри, который до смерти их боится. — Я думал, мы идем на концерт и в музей изобразительного искусства.

Мы спускаемся с веранды и выходим на улицу. Нас ждет миллион девчонок и два миллиона сисек в придачу. Мне вполне хватит одной и двух, соответственно.

4

Покуда Гарри отжимается на одной руке, мы с Бобби Джеймсом решаем, к кому из девчонок пойдем сначала — к Грейс Макклейн или к Марджи Мерфи. Долбаный дятел Джеймс говорит, что до Марджи идти ближе. Я говорю, что до Грейс. Признаю, спор глупый. Марджи живет по соседству с Бобби Джеймсом, а Грейс живет по соседству с Марджи.

Мистер Мерфи сидит возле дома на металлическом раскладном кресле и читает спортивный раздел. Он в обрезанных джинсах и без рубашки — пузо вываливается из-под ремня — и только что закончил стричь газон. Гарри направляется прямо к нему. Мистер Мерфи стоит на пути его газонной монополии. В среду вечером он ходит на то же, что и Гарри, собрание в церковь Святого Игнатия. Здесь Гарри обычно занимается тем, что клеит новых клиентов и старается угодить уже имеющимся. У парня промоушн.

— Йоу, Майк, — здоровается Гар. — Как оно? Как Черил?

Мистер Мерфи, симпатичный, прилично причесанный чувак, улыбается в ответ:

— Йоу, Гарри. Ребята.

— Йоу, — отвечает Бобби.

– Йоу, – отвечаю я.

Гарри внимательно изучает дворик, чтобы дать понять мистеру Мерфи, что это он именно газон изучает. Не больно тонко, но не бывает тонких миллионеров.

– Неплохая работа. Вот здесь вы своим триммером срезали у Черил несколько цветов. Пропустили участок вокруг святого Петра и вон под теми коровами.

– Да я не сильно и заморачивался, – говорит мистер Мерфи. – Триммер под коров не пролезет, а самому нагибаться и выдергивать все по травинке не больно-то хочется.

– Спина все еще беспокоит? – осведомляется Гарри.

– Ага. Что-то лучше не становится.

– И все же, Черил никак не может быть довольна. Только посмотрите на заросли вокруг святого Петра. Он что, пробирается по рисовому полю? Господи, Майк.

Мистер Мерфи смущенно смотрит себе под ноги.

– Да слышу, слышу, Гар, но что я могу поделать?

– Специально для начинающих, – говорит ему Гарри. – Купите себе секатор на длинной ручке. Тогда не придется гнуться: можно будет сидеть в траве с прямой спиной и подравнивать газон под животными. Кстати, на прошлой неделе моя мама купила точно такой же.

– Правда? – спрашивает Мерфи. – И даже под коровой в темных очках и с коктейлем?

– Да на спор, – отвечает Гарри. – И под бегемотом на тракторе, и даже под свиньей в раскладном кресле. А за вымя вы ее уже пробовали?

– Что?

– Смотрите.

Гарри нагибается к игрушечной корове и сжимает ей вымя. Корова говорит: *Мы знакомы?* Мы смеемся. Я причесываю волосы. Бобби Джеймс обновляет жвачку. Гарри сжимает вымя еще раз. *Могли бы хоть хмыкнуть для начала. А где ваш белый пиджак?* Потом еще раз. *Я люблю тебя. Возьми меня замуж.*

– Секатор позволит не только избежать боли в спине, – продолжает Гарри, – но еще и аккуратно все подстричь, избежав жертв из числа цветов и газонных животных, и Черил будет очень рада. Теперь по поводу спины. У меня есть новые грузики для лодыжек, думаю, должны помочь. Я привязываю их, когда бегаю.

– Бегать? – переспрашивает мистер Мерфи. – Я уж лет двадцать как не бегал.

– А вы *ходите* с ними. Спина окрепнет. И мышцы на заднице будут в постоянном тонусе.

Я ловлю быстрый, но выразительный взгляд Бобби Джеймса: ему не верится, что Гарри посмел взрослому сказать *задница*.

– Правда? Я попробую, Гар. Спасибо. На этой неделе придешь на собрание?

– Да как же я могу пропустить, Майк, – отвечает Гарри, незаметно показывая пальцем на мистера Мерфи и подмигивая.

– Здорово. Тогда увидимся. Полагаю, мальчики, вы пришли к Марджи. Я позову ее.

– О'кей, мистер Мерфи, – отвечает Бобби.

— Пока, мистер Мерфи, — отвечаю я.

— До скорого, Майк. Сначала грелку, потом сразу лед на спину, — говорит Гарри.

— Ну ты и жопа, Гарри, — говорит ему Бобби Джеймс, как только мистер Мерфи отходит достаточно далеко, чтобы его не слышать.

— Это еще почему? Я что, не могу дать совет по поводу больной спины товарищу по церковной конгрегации?

Дабы выразить свое одобрение, Бобби Джеймс начинает скакать вокруг Гарри, производя звуки сирены и пожарного колокола. *Ту-туу, динь-динь-динь, наши выиграли*, орет он. Ровно в этот момент дверь открывается и выходит Марджи Мерфи, владелица маленького черного сердечка Бобби Джеймса, который ведет себя как долбаная пожарная машина. Не слишком хорошее начало. Почувствовав это, Джеймси густо краснеет и умолкает.

— Йоу, ребята, — приветствует нас Марджи — эдакий сорванец с сиськами размером в кулачок, — нервно покусывая губу. Стоя в дверном проеме, она очень быстро оглядывает нас бездонными голубыми глазами. Марджи понимает, что мы по амурному вопросу, но не знает, кто из нас Ромео. В ее голове начинают вариться хитрые расчеты.

— Йоу, — приветствует ее Гарри, застывая в глубоком, до земли поклоне, — скажи отцу, что я подстригаю газоны за разумную плату.

— Привет, аллилуйя, — говорю я (или какую-то другую хрень в этом роде) с улыбкой завравшегося сенатора на лице.

— Йоу, Марджи, — говорит Бобби Джеймс, приподнимая кепку, дабы сгладить неловкую ситуацию. Но говорит с двенадцатью пластинками жвачки во рту, пока не решается все это выплюнуть. Жвачка приземляется на голову святому Петру.

— Привет, Бобби Джеймс, — отвечает Марджи, улыбаясь во все свои брэкеты.

— У тебя классный загар, Марджи, — сообщает он ей голосом сексуально озабоченного полуробота.

Марджи ухмыляется.

— Ты просто душка. Это я в летнем лагере. Мы там каждый день купались и катались на каноэ. И я все время ходила в бикини.

Стоны, вставшие члены, но тут из двери появляется противная безгрудая миссис Мерфи в скверном (как всегда) настроении (возможно, из-за отсутствия сисек). Она окидывает газон оценивающим взглядом, затем кричит куда-то внутрь дома.

— Майкл, подойди сюда, пожалуйста, — спокойным холодным голосом командует она.

— Да, дорогая? — по-бабьи откликается мистер Мерфи, давая понять, кто в доме настоящий мужчина.

— Майкл, я только на прошлой неделе ходила в цветочный магазин за этими бегониями, помнишь?

— Конечно, помню, — отвечает он.

— Ну конечно же помнишь, — передразнивает она его. — И сколько я за них заплатила: много или не очень?

— Много.

— Так мы их затем купили, чтобы ты все покромсал газонокосилкой? — спрашивает она.

— Нет, дорогая, конечно же нет, — говорит он. — Правда?

— Правда. Так с какой тогда стати они валяются на газоне вместо того, чтобы расти на клумбе?

— Я ужасно извиняюсь, Черил, — встревает Гарри, — но у Майка боли в спине и он не может толком дотянуться до этих сложных участков. Я предложил ему несколько возможных решений, но лучше всего просто позвонить мне вот по этому номеру, — сообщает он, протягивая ей визитку, на которой значится следующее: ГАРРИ КАРРАН & К°. МЫ СТРИЖЕМ ТРАВУ НА ЗАГЛЯДЕНЬЕ — ВЫ НЕ ОТРЫВАЕТЕ ЖОПЫ ОТ СИДЕНЬЯ.

— А я — миссис Мерфи, — хмуро отвечает она, — а газон стрижет мой муж.

— Прошу прощения, я только хотел сказать, что стригу большинство газонов...

— Я знаю. Спасибо, в помощи не нуждаемся, — огрызается она, возвращая визитку Гарри.

— Брось, Черил, улыбнись наконец, — испуганно просит мистер Мерфи. — Парнишка просто хочет помочь.

— Что, извини, ты, кажется, попросил меня улыбнуться? — переспрашивает она.

— Эээ... Да нет, я так... — бормочет он.

— Вот и хорошо. Иди в дом. Поможешь мне резать сэндвичи к ланчу.

— Уже бегу, дорогая. Ты ведь любишь треугольничками, правда? — спрашивает он уже за дверью.

Марджи с лицом, красным как у рака, смотрит куда-то вдаль.

— Марджи, — говорит Бобби Джеймс, — не хочешь сегодня погулять с нами?

Она благодарно улыбается.

— Может быть. А что вы собираетесь делать?

— Кататься на велосипедах, — отвечает он, подмигивая нам с Гарри. — Ведь так, ребята?

— О да. Кататься на велосипедах, — стараюсь подыграть ему я. Велосипеды — это то, что надо. Я за.

— Ну как, Марджи? — спрашивает Гарри, который все просек и радуется.

— Я с радостью, — отвечает она.

— Здóрово. Мы заскочим за тобой, как только поедим и опорожним кишечник, — говорит Бобби.

— Ну давай, до скорого, Бобби, — с улыбкой говорит она перед тем, как неизвестно для чего удалиться в дом.

— А теперь поглядим, сможешь ли ты своей так же, как я, заговорить зубы, — с пятнадцатью пластинками жвачки в пасти говорит мне Бобби Джеймс, и я чувствую его острый локоть у себя между ребер.

Волосы у Грейс Макклейн прямые и темные, кожа бледная и все тело в веснушках — от кончика носа до кончиков пальцев на ногах. Сигаретный дым оставляет налет на ее крупных, как у кролика, зубах. Глаза у нее зеленые, как трава и листья на деревьях. Сисек пока нет. Но я весь терпение. Сиськи будут. Грейс не любит, когда ей вешают, и неважно кто. Она затушит бычок тебе об лоб, если сказанешь что-нибудь ей не по вкусу. У нее

есть три биты для стикбола[1]: карвбол, фастбол, слайдер, да и все остальные — форкбол и наклбол, — грубо говоря, тоже (будут готовы к началу весеннего сезона 1985 года). Уж поверьте. Я влюбился в нее три недели назад, когда она позволила мне потрогать ее ноги под одеялом.

В тот вечер мы сидели вдвоем у нее на веранде под половинчатой луной после игры в "Свободу". Было прохладно, и большинство ребят уже разошлись по домам. Грейс на слабó предложила кому-нибудь остаться с ней на улице и поесть мороженого в рожках. Я сказал: а хули — и согласился. Мы переместились к ней на крыльцо. Она уплетала нехилые рожки, шарика на три, не меньше, так, что аж за ушами трещало. Мы их ели, разговаривали и смотрели, как мистер О'Тул, сосед из дома напротив (редкие седые волосы, сзади забранные в хвост), уходит от жены, миссис О'Тул (очень скучные шары не больше второго размера). Пару раз он мотался туда-сюда, из дома к своему грузовику, и зашвыривал в кузов мусорные мешки со всякой всячиной. Это был мирный развод. Миссис О'Тул придерживала ему дверь открытой, пока он бегал с вещами. Они поцеловались на прощание, когда он закончил. Их пятилетний сын Джулиан (плохая стрижка "под горшок") сидел у окна, выходящего на улицу, и, уперев кулаки в подбородок, наблюдал за происходящим.

— У Джона Леннона сына звали Джулиан, и он тоже пережил развод родителей, когда Джон ушел от Синтии к этой щуплогрудой морской ведьме Йоко Оно, — поведал я Грейс. — Чтобы как-то утешить Джулиана, Пол Маккартни написал песню "Hey Jude".

— Не люблю Битлз, — сказала Грейс.

— Ха! За что бы? — раздраженно поинтересовался я.

— У них все песни одинаковые, — ответила она.

— Значит, у тебя тут одни жевательные сигареты, — сказал я ей, указывая на пачку, которую она мяла в кулаке, — коли не слышишь разницы между "Знакомьтесь, Битлз" и "Сержантом Пеппером".

— *Знакомьтесь,* бля, *Битлз, Сержант,* бля, *Пеппер,* какая на хрен разница, — сказала она, прилепив к губе только что закуренную сигарету.

Я чуть не взбесился, пока она не накинула на нас одеяло и не положила ноги мне на колени. Тут у меня встал. Но вставшего члена мало. Я провел кончиками пальцев от ее лодыжек до шортов. Грейс не пыталась меня остановить. Она курила и улыбалась. Пока все это происходило, мы с ней о чем-то говорили, но я не помню о чем. Я был на автопилоте. Мы с равным успехом могли говорить о колебаниях на бирже или о каком угодно прочем дерьме.

А потом на веранду вышла пьяная и косая миссис Макклейн и прервала нас.

— Я надеюсь, на вас еще что-нибудь надето, кроме одеяла, ребятки, — сказала она, зашвыривая пустую пивную бутылку в корзину для мусора. Хотя она тут же вернулась в дом, момент был потерян.

— Наверное, надо уложить ее в постель, — вздохнула Грейс перед тем, как унести в дом свои ноги вместе с одеялом до утра, а я с болью в сердце поплелся домой, благо вставший член указывал мне путь.

1. Упрощенная форма бейсбола, уличная игра, в которой вместо бейсбольного мяча используется резиновый мячик, а вместо биты — ручка от метлы или палка.

В данный момент мой член указывает на дом Макклейнов, поскольку мы стоим и стучимся к ним в дверь. Нам открывает улыбающаяся миссис Макклейн с банкой пива, которую она держит через синюю прихватку, в руке и, как обычно в жару, в трикотажной рубашке "Иглз" поверх сисек размером с апельсин.

— Йоу, Генри. Йоу, Гарри. — Затем пара секунд замешательства. — Добрый день, Роберт.

На прошлой неделе, когда мы играли в "Свободу", Бобби Джеймс пробежал по их газону и потоптал цветы, посаженные мистером Макклейном, который погиб три года назад при тушении пожара. Миссис Макклейн со дня гибели мужа очень заботилась об этих цветах, пока Бобби Джеймс их не растоптал. Вот она на него и обозлилась.

— Йоу, миссис Мак Ка[1], — говорю я.

— Йоу, Ширли, — говорит Гарри.

— Да, миссис Макклейн, добрый день, — холодно здоровается Бобби Джеймс.

— Заходите, ребята.

— А Грейс дома? — переходя сразу к делу, спрашиваю я.

— Она наверху в душе, — отвечает миссис Макклейн.

Мы дружно всхрюкиваем, как последние идиоты, или бледнеем чуть не до обморока, как последние сучки, — выбирайте, что лучше.

— Присаживайтесь, мальчики, и отдышитесь. Я принесу чего-нибудь попить.

Мы плюхаемся на диванную синтетику. По телику с приглушенным звуком идет "Достойная плата". Безгрудая телка-байкерша подбегает и вешается на шею хозяину, который целует ее, не забыв облапить за задницу. Миссис Макклейн возвращается с двумя высокими стаканами с зонтиками и дольками лимона, протягивает один мне, другой Гарри, а затем садится рядом с хмурым и обделенным Бобби Джеймсом.

— Гарри, за газон мы с тобой в расчете? — спрашивает миссис Макклейн.

— Думаю, да, Ширли, — отвечает Гарри, вытаскивая толстый блокнот из пояса-сумки. — Да, все правильно. Я стриг ваш газон во вторник, и вы заплатили наличными — пять по доллару и пятерка.

— Вау, — говорит она. — Теперь вдобавок к бухгалтерии у тебя еще и эта штука. Вот это я понимаю — деловой человек.

— Блокнот это мелочь. Дома, в офисе, у меня все хранится в компьютерных файлах.

— Даже так, в компьютерных файлах, — смеется миссис Макклейн. Она вообще очень любит говорить и слушать. Можно ей запросто поведать о том, что у тебя грибок на ногах, и в ответ получить: "Ну и ну, черт побери". — Знаешь что, давай-ка я заплачу тебе вперед за весь сезон. Пятьдесят долларов устроит? На-ка, подержи пиво, — обращается она к Бобби Джеймсу, — а я схожу на кухню, принесу Гарри деньги.

Слышно, как наверху выключается душ, и я с легкой дрожью представляю себе, как Грейс вылезает из ванны, завернувшись в полотенце.

1. Принятое в Америке сокращение фамилии по первой букве. В данном случае имеется в виду миссис Макклейн.

А внизу Бобби Джеймс запрокидывает голову и принимается глохтать пиво миссис Макклейн.

— Рехнулся? Поставь на место, — умоляет его Гарри.

В ответ Бобби Джеймс ухмыляется и отхлебывает еще пива. Скрип на лестнице заставляет нас невольно вздрогнуть. Это Грейс Макклейн только что съехала по перилам в одном полотенце. Мне хочется вскочить и захлопать, но у меня опять встает. Ничего не могу с собой поделать. Со мной это случается в час по десять раз. *Это по разу каждые шесть минут.*

— Йоу, девочки, что случилось? — спрашивает она у нас, кусая ногти, но даже так выглядя на все сто.

— Йоу, — отвечает Бобби.

— Йоу, — говорит Гарри.

— Йоу. Отличный прикид, — перед тем как сглотнуть, успеваю вставить я.

— Знал бы ты, что под ним, — смеется Грейс.

— Наверное, совсем ничего, — совершенно серьезно сообщает ей Гарри, желая прийти нам на помощь.

— В точку. Под ним я голая. Роберто, жопа с ручкой, ты что, мамино пиво пьешь?

Бобби рыгает.

— Не-е. Это мое.

В гостиную возвращается миссис Макклейн и протягивает Гарри две двадцатки и десятку.

— Мам, не видела моих сигарет? — спрашивает Грейс.

— Нет, с тех пор как их выкурила, — отвечает ей мама.

— Опять? — говорит Грейс. — Ну знаете, девушка...

— Да успокойся, — говорит миссис Макклейн. — На вот, возьми пару моих.

— Но это ведь *легкие*, — вздыхает Грейс.

— Я сегодня же куплю тебе еще классических, о'кей?

— Тогда ладно, но на будущее постарайся держать лапы подальше от моего курева.

Не пугайтесь. Макклейны всегда так между собой общаются. Но любят они друг дружку от этого ничуть не меньше.

— Ты слышал, Генри, как моя дочь со мной разговаривает? Ну разве она не прелесть?

— Да уж, это точно, — отвечаю я, не отводя глаз от Грейс и ее ножек.

— Да чего там Хэнк смыслит? Он вон, Битлз любит, — сообщает ей Грейс.

— А я все больше по части хэви-метал. Знаете, там, Сэббат, ЭйСи-ДиСи. Сатанинская пурга типа, — говорит Бобби Джеймс.

— Чепуха все это, — говорит ему миссис Макклейн. — Я люблю ранний рок-н-ролл. Пятидесятые и все такое.

— Мне классика нравится больше, чем рок, — сообщает Гарри, — но я продюсер группы, в которой выступает Генри.

— Группы? — удивленно спрашивает миссис Макклейн.

— Ну да, группы. "Филобудильник", — отвечаю я.

— Да никакая у них не группа, мам, и Гарри ничей не продюсер. Они зависают в комнате у Сес Тухи с ненастоящими инструментами, поют

под пластинки миссис Тухи и курят жевательные сигареты, которые покупает Гарри.

— И ты с нами. Ты тоже так делаешь, — возражает ей Бобби Джеймс перед тем, как рыгнуть.

— Да, но в отличие от тебя, долбоеб, я не курю всякое поддельное дерьмо и знаю, что это все понарошку, — парирует Грейс.

— Твои проблемы, — смеюсь я. Еще бы! — Придет время, и мы станем настоящей группой.

— Верно, — замечает Грейс, — всего-то и надо завести настоящие инструменты и научиться на них играть.

Миссис Макклейн садится рядом с Бобби Джеймсом, берет пустую банку, удивленно встряхивает, а тот снова рыгает. Мы с Грейс прыскаем. Гарри хватается за грудь, точно какая-нибудь старушенция с четками на утренней мессе. Миссис Макклейн отправляется на кухню за следующей.

— Грейс, а какими средствами для волос ты пользуешься? — спрашиваю я, глядя на ее волосы.

— Шампунем. Я пользуюсь шампунем, Хэнк, — говорит она мне.

— Но каким? И насколько часто? А гель или спрей употребляешь?

— Чувак, я просто мою волосы шампунем, а потом ополаскиваю водой, — заявляет она.

— А эту туфту с травами пробовала когда-нибудь? У тебя концы секутся здесь и вот здесь, — указываю я Зеленухычем, не касаясь ее волос. Пока рановато знакомить ее с Зеленухычем. Мои волосы — моя расческа. Плюс я нигде не вижу секущихся концов. Мне просто хочется подвинуться поближе и понюхать ее.

— Концы секутся? — переспрашивает Грейс с деланым интересом. — Ты это серьезно? Смотри, Хэнк, что это у тебя тут, вши? — спрашивает она и тут же берет меня в захват за голову и с силой проводит по ней суставами пальцев. Мое лицо при этом прижимается к ее маленьким сиськам, и я вижу, как струйки воды скользят у нее по бедрам. Господь Всемогущий, Господь Всемилостивый. Грейс поворачивает меня кругом и забирается ко мне на спину. О боже. Гарри с Бобби Джеймсом лыбятся, но тут возвращается миссис Макклейн со свежей порцией пива.

— Грейс, ты чего? Ну-ка слезай с него и марш наверх одеваться, — кричит она перед тем, как протянуть Бобби Джеймсу банку пива со словами: — Подержи-ка. Я спущусь в подвал.

— Ладно, мам, спокойно, — отвечает ей Грейс, спрыгивая с меня, и бежит к лестнице. Бога нет. — Хэнк, какие у твоих девочек планы на сегодня?

— Кататься на великах, — отвечаю я. — Марджи Мерфи тоже с нами. Пойдешь?

— Только если снимете с ваших великов цветочные корзинки, — говорит она на полдороге наверх.

— Какие корзинки? Ну ладно, — фыркает Бобби Джеймс. — У меня пятискоростной с переключением, — сообщает он ей вслед. Затем, рыгая, плющит об лоб банку из-под пива, содержимое которой он только что выглохтал.

Возвращается миссис Макклейн, ставит на край стола лампу без абажура и забирает у Бобби Джеймса смятую банку.

— Надо бы притормозить, — бормочет она, направляясь в сторону кухни.

— Меня что-то с пива на поесть потянуло, Генри, — говорит Бобби Джеймс. — Прежде, чем мы поедем или побежим исполнять твои поручения, мне необходим "геройский сэндвич" с ветчиной. Грейс, поди принеси мне еще пива.

— Сможешь побить меня — тогда принесу, — пугает она.

— Ладно, забудь. Пойдемте, ребята, — с испуганной ноткой в голосе предлагает Бобби.

Грейс смеется.

— Подожди, трусишка. Будет тебе пиво. Хэнк, смотри. А вот и я.

Она забирается на самый верх лестницы. Я подхожу к подножию. Она съезжает по перилам и приземляется ко мне на руки.

— По каким это поручениям ты собрался бежать, Хэнк?

— Да ничего особенного, — говорю я. — Так, то да се в связи с нашей свадьбой.

Мы падаем. Грейс смеется, оказавшись на мне верхом. Ее мокрые волосы облепляют мое лицо. Я вижу лик Господа и все прочее, и настолько в шоке, что у меня даже не встает. Может, я умер от удара головой об пол и уже в раю? Здорово, если так!

— *Нашей свадьбой?* — спрашивает она, улыбаясь и глядя мне прямо в глаза.

— Я сказал *нашей?* Я имел ввиду Эйса и Джинни, — говорю я ей.

— Нам с тобой пожениться. Это будет что-то с чем-то, — смеется она, потом залепляет мне две пощечины и встает, оставляя меня лежать на полу наедине с огромной вселенной, где Бога нет и в помине. А она тем временем пошла добывать Бобби Джеймсу пиво.

— Угощайтесь, мисс Джеймс, — говорит Грейс, уже успевшая вернуться из кухни с сигаретой во рту, и пихает ему банку за пазуху.

— Черт, холодная, — взвизгивает он. — А у твоей мамы есть еще одна такая синяя штука?

— Нет, — отвечает Грейс. — Выметайся.

— Ладно, — говорит Бобби. — Пиво у меня. Валим отсюда, парни.

— Подожди секунду, — говорю я. — Перед тем как уйти, могу я попросить тебя об одном одолжении, Грейс?

— Все что угодно, Хэнк. Я слушаю.

— Ты можешь еще раз съехать по перилам?

— Конечно, могу.

Ее улыбка — и за тысячи миль отсюда огромные, словно горы, ледники начинают таять, как кубики льда на раскаленной сковородке. Она сдувает пепел с сигареты и щелчком отправляет ее в сторону Гарри, который стоит в дверях и ни туда ни сюда. Не сводя с меня глаз, Грейс поднимается вверх по ступенькам и съезжает вниз. А внизу я закрываю глаза и раскрываю объятья. Шарах. И мы снова на полу, она сверху, ее мокрые волосы на моем лице, и Всемилостивый Господь между нами. И вся вселенная Его благоухает кокосовым шампунем.

— Пока вы будете мотаться, я подготовлю свой внедорожник. После ланча не забудь про меня, Хэнк.

— Даже не надейся, — отвечаю ей я.

— Круто.

Из подвала доносятся шаги. Грейс спрыгивает с меня и взбегает вверх по лестнице. Мы расстаемся, и Бобби Джеймс благодарит ее за пиво. А она нам: "Да, да, чтоб вы заблудились, подружки".

5

Тощий ублюдок по имени Мэтт Манджоли, которого все зовут просто Жирный Мэтт, владеет "Деликатесами Жирного Мэтта" на углу Святого Патрика и Фрэнкфорд-ав. Он также владелец банкетного зала "У Манджоли" в нескольких кварталах к северу от закусочной, за церковью Святого Игнатия по ту сторону от Ав. Там работает Стивен, там я буду петь для Грейс. Жирный Мэтт, у которого короткие седые волосы, зализанные назад, ответит, если кто поинтересуется, что связан с мафией, так что лучше не стоит. Стены у него увешаны картинками, которые все итальяшки просто обожают: сплошные римские папы, святые и певцы вперемежку с благодарственными открытками от итальяшек и их семейств, которым он организовывал вечера. Он делает "геройские сэндвичи" и рассказывает одни и те же корки про всяких-разных умников, которых кто-то где-то когда-то грохнул.

— Жирный Мэтт, расскажи нам про бандитов, — просит Бобби Джеймс, а в это время за стойкой безголосый телевизор показывает, как Майк Шмидт пробросил мяч через отбивающего, и на стерео орет песня группы Блю Айз "Сделай Вупи"[1] из альбома "Песни для танцующих влюбленных". Хорошая песня, хороший альбом.

— Все про гангстеров да про гангстеров, — сетует Жирный Мэтт, правда в шутку. — Почему вы, парни, никогда не спрашиваете про кого-нибудь из этих, у меня на стенах? Про Льва XXIII или про Тони Беннета, например?

— Про пап нам и так священники расскажут. На хрен Тони Беннета, — заявляет Бобби.

— На хрен Тони Беннета? Я под Тони Беннета с женой на свадьбе танцевал. Попридержи язык, а не то я тебе его живо вот этим резаком отчикаю, — предупреждает Жирный Мэтт, неоднократно утверждавший, что знает, где зарыто тело Джимми Хоффа[2], и плотно упакованной в золотые кольца пятерней швыряет под резак брикет болонских колбасок.

— А под какую песню? — спрашиваю я.

— "Да будет любовь", — растягивая слово *любовь*, отвечает он мне.

— Это которая из "Стучит мое сердце", да? — уточняю я.

— Ага, из него самого. Смотри-ка, чего знаешь, — одобрительно говорит Жирный Мэтт.

— А не быстровато ли для свадебного танца? — спрашиваю я.

— А мы под нее медленно и не танцевали, Генри, — говорит Мэтт. — Мы плясали.

— Что, прямо при всех?

1. Игра в кости с использованием специальных карт. Смысл состоит в том, чтобы выкинуть пять одинаковых чисел ("making Whoopee", или "making love"), а затем вытащить карту с заданием для партнера.
2. Джеймс Риддл Хоффа (1913—1975?) — американский профсоюзный деятель, по обвинению в контактах с преступным миром и подкупе присяжных в 1967 г. приговорен к тюремному заключению; бесследно исчез и считается убитым.

– Да, Генри, прямо при всех. Мы же на свадьбе были жених с невестой.

– Прямо так и *плясали*. Интересно, – говорю я.

– Не люблю встревать в стариковские беседы, но Мэтт обещал рассказать историю про бандитов.

– Так и есть, – говорит Мэтт. – Припас тут одну для вас. Случилось все в том самом коктейль-баре под названием "Бамбуковая таверна Табу Тики", что в самом центре Южной Филадельфии. Заведение держал Танцор Фрэнсис. Он преуспел в районе и получил свое прозвище за то, что танцевал как бог и при этом был самый крутой парень из всех, кого я знал. Ну вот, а этот ирландец – Дэнни Клири – зашел и стал нарываться.

– А почему он стал нарываться? – спрашивает Бобби Джеймс, а сам пихает меня локтем и подмигивает, потому что, как и мы с Гарри, слушает эту историю уже раз двадцатый.

– Дэнни Клири был ирландская жопа с ирландской ручкой – как и все ирландцы (без обид), – он умел вертеться и рот держать на замке, – говорит Жирный Мэтт. – Так он пробился в банду, но слишком много о себе возомнил. В общем, парнишка решил, что ему теперь все можно. Оставлял свой "олдс" прямо перед входом в бар, потом играл, ел и пил, ни разу ни за что не заплатив.

– И что же случилось с Дэнни Клири? – с широко раскрытыми глазами спрашивает Бобби Джеймс.

– Его мочканули в ресторане на глазах у всех. Он хватал официантов за галстуки и щипал официанток за задницы, а многие из них, между прочим, встречались с другими ребятами из мафии – из *итальянской* мафии, вернее, из *сицилийской*. Нужно было что-то делать, сами понимаете, – рассказывает Жирный Мэтт, а сам параллельно штампует "геройские сэндвичи" с такой скоростью, что от золотых часов и колец на пальцах искры летят.

– И как его мочканули? – интересуется Гарри.

Мэтт глядит на нас в упор, аккуратно заворачивая очередной сэндвич.

– Он утонул.

– Как он мог утонуть в ресторане? – спрашиваю я.

– Скажем так: в ресторане стояли большие баки с водой, и Дэнни слишком долго проторчал в одном из них вместо крышки. – Жирный Мэтт смеется, и его золотые зубы сверкают в электрическом свете.

– Это ты его мочканул? – все же спрашивает Бобби Джеймс, хотя и знает, что в ответ Мэтт скажет нам ровно то же самое, что сказал федералам: он ничего не помнит.

– Я скажу вам слово в слово то же самое, что сказал федералам: я ничего не помню. – Снова золотая ухмылка. Он пробивает нам чек. – Шесть баксов ровно, Гарри.

– С сотни сдача будет? – спрашивает Гарри, вытаскивая сотню из пачки.

Жирный Мэтт, будто не слыша заданного вопроса, вытягивает из пачки шесть бумажек по доллару и кладет их к себе в выдвижной ящик. Звонит колокольчик на двери закусочной. Восьмилетний Арчи О'Дрейн, калека на инвалидном кресле, с шофером, то бишь с моей мамой Сесилией Тухи, плюхаются на пол после неудачной попытки последней втащить его вместе с каталкой в магазин по ступенькам. Вслед за ними, в футболке ФИЛЛИЗ и с хвостом светлых волос на затылке, за-

ходит моя сестра Сес Тухи, которой тоже восемь. Она переступает через них, замечает меня и, светясь улыбкой, прыгает ко мне на руки, в то время как я пытаюсь пробраться к Сесилии, чтобы помочь ей (но не Арчи) подняться с пола.

— Йоу, Генри, — говорит Сес, улыбаясь от приятной неожиданности: видно, не рассчитывала найти меня здесь.

— Йоу. Что такое? Ты их, что ли, повалила? — спрашиваю я, указывая на Сесилию с Арчи.

— Нет, но я об этом подумывала, — шепчет она, повисая у меня на шее, пока я причесываюсь, Гарри тянет паховую мышцу, Бобби Джеймс ворует банку пива из упаковки, Жирный Мэтт сажает Арчи обратно в кресло, а Сесилия Тухи прикуривает сигарету и собирает с пола таблетки, которые высыпались у нее из сумки.

— Прекрати здесь курить, — ворчит Жирный Мэтт уже опять из-за стойки.

— Я прекращу здесь курить, когда у тебя снаружи появится пандус для инвалидных кресел, — огрызается Сесилия. Она высокая, в коротком летнем платье, и у нее идеальные сиськи номер три. Я бы их пощупал, я ведь не гордый. Выдыхая дым точно вверх, она игриво смотрит на меня.

— Хэнк Тухи и два его лучших дружка. Какая приятная неожиданность. Йоу, мистер Карран, что, газоны в округе перевелись?

— Йоу, Сесилия, — говорит Гарри. — На сегодня я взял выходной.

— Без вопросов, — говорит она. — Джеймси, мальчик мой, а что это у тебя там в кармане — банка с пивом или ты так рад видеть набитую жвачками витрину?

Бобби Джеймс боится высокой, красивой и острой на язык Сесилии Тухи, поэтому он лезет в карман, достает оттуда дымный шарик. Швыряет его на пол. Бум. И удирает, словно какой-нибудь горе-фокусник.

— Что это было? — со смехом спрашивает Сесилия у скрывшегося за витриной с чипсами Бобби Джеймса.

— Дымный шарик, — поясняет он ей, выглядывая из укрытия.

— И для чего они? — спрашивает она.

— Свадебный рецепт моей сестры — на случай, если родственничек в углу зажмет.

— Без булды?

— Ага, без булды, — говорит он.

— Можно мне один посмотреть?

— Думаю да, — отвечает он, скорее раздраженно, нежели испуганно, и протягивает ей шарик.

— Круто, — говорит она и как ребенок рассматривает шарик вблизи, зажав его между большим и указательным пальцами. — Хэнк, подойди ко мне и спроси, что у нас сегодня на обед.

— О'кей, — отзываюсь я, приближаясь к ней и вступая в игру. — Что у нас сегодня на обед, ма?

Она швыряет шарик на пол — пуф — и прячется за витриной с чипсами.

— Вот здорово, — хихикает она. — Ну-ка дай мне еще, Бобби.

— Что? Серьезно?

— Да, сделай милость, — говорит она. — Спасибо. Мэтт, скажи мне, что я должна тебе десять баксов.

— Миссис Тухи, прошу вас. Вы и так уже напустили столько дыма, — умоляет он.

— Давай-давай, — говорит она ему.

— Ладно, — вздыхает он, затем хлопает в ладоши: — Вы должны мне десять баксов — да будет так.

Она швыряет шарик — вжик! — выбегает за дверь и со смехом возвращается обратно.

— Ну что, миссис Тухи, повеселились — и хватит? — спрашивает у нее Бобби Джеймс. — Могу я остальные оставить себе?

— Ладно уж, — разрешает она, затем затягивается и выпускает дым ему в лицо, отчего Бобби Джеймс начинает кашлять.

— Тайм-аут. По одиннадцатому крутят мой ролик, — сообщает Жирный Мэтт, выключает стереофонию с Синатрой, включает звук в телевизоре, затем краем глаза косится на пульт и включает 1—1. Что замечательно в кабельном телевидении, так это любительские рекламные ролики местных магазинов. Врубаешь MTV и смотришь в промежутках между клипами Майкла Джексона, как кто-нибудь из твоего района рекламирует свой дурацкий магазин. — Вот он. Тише, пожалуйста.

По ящику показывают, как итальяшка с зализанными назад волосами заходит к Жирному Мэтту с бутылкой из-под лимонада. Он почесывает подбородок, изучая меню ланчей, затем улыбается и кивает хозяину.

— Как дела? — спрашивает он у Мэтта.

В ответ — легкая ухмылка:

— Сегодня вполне. Чем могу помочь?

— Дай мне вон ту газировку, — говорит парень и отправляет Мэтту шестнадцать пенсов вдоль по стойке.

— Что будешь есть? — спрашивает Мэтт.

— Ничего, — говорит он Мэтту, — мне только газировку.

— Но, друг мой, сейчас самое время для ланча, — говорит Мэтт. — Ты уже где-то поел?

— Да вроде так, — смущенно признается парень, — я только недавно съел «геройский сэндвич».

— Я не ослышался — ты уже съел сэндвич?

— Ну да, я же сказал, — повторяет парень.

— И где ты его брал? — косясь на него, интересуется Мэтт.

— Тебе-то что? Там, на Ав, в другой закусочной.

— В другой закусочной, говоришь?

— Да. У тебя что, со слухом проблемы?

— Не в сицилийской? И не мы ее крышуем?

— Да не знаю я. Какая разница? Ты что, вышвырнешь меня за то, что я не у тебя взял сэндвич?

Свет меркнет, в фокусе остаются только Мэтт и этот придурок.

— Вышвырнешь! — Мэтт смеется. — Ты даже мог бы мне понравиться, если бы не изменил моей закусочной.

— Что? — уже начиная нервничать, переспрашивает его этот долбоеб.

Мэтт тянет его к себе и целует. А когда отпускает, несколько вооруженных пулеметами Гатлинга[1] головорезов выступают из тени различ-

1. Пулемет назван по имени изобретателя Р. Дж. Гатлинга (1818—1903). Изобретен в 1862 г.

ных укрытий: один из-за прилавка с консервами, другой из-за лотка с хлебом, третий из-за морозильников, четвертый из-за прилавка с мороженой вырезкой, — и нашпиговывают парня свинцом. Как только тот падает замертво, головорезы исчезают, и в заведении снова зажигается свет. В дверь заходит женщина и видит на полу мертвого придурка.

— Винни, — причитает она, бросаясь к недвижному телу. — Мой муж! Отец тринадцати детей! — и с воплем "Он мертв! Ты убил его!" кидается на Жирного Мэтта и начинает молотить его кулаками в грудь. — За что? За что? За что? — рыдает она.

— За то, — спокойно объясняет ей Мэтт, хватая ее за запястья и глядя прямо в глаза, — что он купил сэндвич у конкурентов, которые родом не с Сицилии.

— Как ты сказал? — переспрашивает она. Она уже не плачет — в голосе испуг и злоба.

— Он купил сэндвич не в нашем районе.

— Тогда и черт с ним, с предателем, плевала я на него, тьфу, — говорит она, изображая плевок, потом опять поворачивается к Мэтту: — Можно мне фунт индейки, фунт сыра и полфунта печенки? Да, тебе небось нужна известь, чтобы избавиться от трупа?

Звучит классическая итальянская музыка. Голос за кадром произносит: *Закусочная Жирного Мэтта на углу Святого Патрика и Фрэнкфорд. Закусочная Жирного Мэтта не связана с Коза Нострой.* Конец ролика. Мы хлопаем Жирному Мэтту с возгласами одобрения, а он сгибается в поклоне, затем выключает звук в телевизоре и ставит "The Beat of My Heart" Тони Беннета, предварительно показав мне с улыбкой обложку пластинки.

— Йоу, леди, как настроение? — спрашивает подкативший к нам, пока мы стояли у кассы за стойкой, Арчи О'Дрейн, как всегда невозмутимый, в своем инвалидном кресле с пушистым сиденьем леопардовой раскраски, сигнальным рожком, приклеенным к одному из подлокотников суперцементом, и плюшевыми игральными костями, болтающимися на другом, с наклейкой на бампере ОХОЧУСЬ ЗА ТЕЛКАМИ и с брызговиками для защиты от грузовиков на колесах. В общем, это нечто среднее между дьявольским локомотивом для ангелов, тяжелым восемнадцатиколесным трейлером и автобусом для гастролей какой-нибудь рок-звезды. У Арчи волосы неплохо расчесаны и уложены спереди и на затылке, но сзади свисают длинными прядями, и он младший брат погибшей девушки моего брата, Мэган О'Дрейн. Вообще-то я люблю пацаненка, но, конечно, ни за что ему об этом не скажу. А то было бы слишком просто. К тому же есть еще очень важная вещь: поскольку он калека, нужно издеваться над ним так же, как над всеми остальными, здоровыми. Самый забавный способ — это называть его Арчибальдом и награждать сложными эпитетами, которые он воспринимает как ругательные. Например:

— Йоу, Арчибальд. Ты здравомыслящеболтливый ублюдок, — сообщаю я ему.

— Сам такой, а я нет. И не называй меня Арчибальдом, — предупреждает он.

— Арчибальд, — говорит Гарри, — твоим мозгам присуща эйнштейновская неутомимость.

— Это твоим, а не моим. И зовут меня Арчи, не путай, Мэри.

— Арчибальд, ты негативная противоположность инфантильного имбецила, — говорит Бобби.

— Сам такой, а я нет. Если еще хоть один пидор назовет меня Арчибальдом, я урою его на месте.

Сесилия подзывает Жирного Мэтта к холодильнику с колбасами, нагибается и на что-то указывает. В закусочную заходят двое ребят из газовой компании, оба рокеры, стриженные под пуделя. Уставившись на нагнувшуюся Сесилию, они тычут друг друга локтями. Сесилия выпрямляется, замечает их взгляды и улыбается им широко и приветливо. Берет у одного каску и надевает себе на голову со словами: "Мне теперь только отбойного молотка не хватает". Парни, обалдев, на нее смотрят, потом с улыбкой переглядываются. Тони Беннет поет "Любовь на продажу". Жирный Мэтт со скоростью света нарезает мясо. Опять звонит дверной колокольчик. Заходит Фрэнсис Младший с почтой, видит Сесилию в защитной каске рядом с этими двумя газовыми жопами и улыбается: он знает за ней такие штучки.

— Не хочешь познакомить меня со своими любовниками, Сесилия? — спрашивает он.

— Конечно. Это Бифф и Брент. Они стриптизеры. А этих четверых жеребцов ты, пожалуй, уже знаешь, — говорит она ему, указывая на нас. — А твоя-то где?

— Да вот она, — отвечает Фрэнсис Младший, забирая у меня Сес.

— Ну разве ты у меня не душка, — говорит ему Сесилия.

Они обмениваются улыбками, невзирая на то, что она имеет в виду совсем другое, и он это знает. И все равно, когда они улыбаются друг другу, видно, что их любовь умерла еще не до конца. Такие вот, брат, извращенцы.

— Я встречаюсь с *Арчи*. Арчи, скажи ему, — говорит Сес. Следует пауза. — Лучше скажи, а то хуже будет.

— Мм, я парень Сес, мистер Тухи, — говорит Арчи.

— Тогда, наверное, мне стоит ее отпустить, — говорит Фрэнсис Младший ему в ответ и сажает Сес на стойку, а сам берет у Мэтта бутылку газировки (Мэтт обеспечивает его по одной в день забесплатно). — Спасибо, Мэтт. Сесилия, я буду дома как обычно. Сверхурочных сегодня нет.

Сверхурочные — наряду со спорами о преимуществах бифштекса перед просто куском холодного мяса — тема для широкого и всестороннего обсуждения среди родителей на улице Святого Патрика.

— Будешь с нами есть или еще где? — спрашивает она.

— Ясное дело, дома, как всегда, — отвечает он ей.

— Ну конечно, — фыркает она.

— Ты чего? — спрашивает он. — Я хоть раз не пришел к ужину?

— Ну еще бы. Как жратвой запахнет — ты всегда тут как тут, — говорит она.

— Миссис Тухи, я прошу вас, — умоляет ее Жирный Мэтт.

Сес соскакивает со стойки и направляется в угол, где стоят банки с корнишонами. Двое заправщиков выбираются под шумок из магазина, а вслед им, как из пулемета, несутся ругательства. Не успевают они скрыться, как в двери появляется мой самый старший брат Фрэнсис Натаниэл Тухи Третий, он же Фрэнни Тухи, в форме почтальона. Семейства классом повыше могут похвастаться, например, поколениями врачей. Но только не Тухи. От предков к нам тянется лишь длинная череда

форменных шортов с шевронами, собачьих укусов и перцовых баллончиков. Фрэнни живет с нами по соседству. В свои двадцать четыре он уже успел обзавестись небольшой лысиной, и вообще вид у него довольно смешной. Но даже несмотря на лысину, ему не дашь больше шестнадцати, хотя умен он совсем не по годам. Таким, наверное, и должен быть некрасивый старший ребенок в семье.

— Все ведут себя прилично? — спрашивает он, обводя глазами насторожившуюся компанию.

— Да, все, кроме твоей матери, — отвечает Фрэнсис Младший.

— Вот уж неправда, Фрэнни, — возражает Сесилия. В присутствии Фрэнни они с Фрэнсисом Младшим немного сбавляют обороты. Препираться не прекращают, но оба говорят с ним так, будто задолжали ему много ответов.

— Неправда? Захожу я сюда посреди рабочего дня и что вижу? Как она шутки шутит с какой-то деревенщиной.

— Ах, так значит, *я* вру? — возмущенно спрашивает Сесилия, ни к кому конкретно не обращаясь. — Он, значит, два раза кряду заходит к Куни, а потом ему, видите ли, не нравится, что я разговариваю с двумя здоровенными жеребцами из газовой компании.

Фрэнни внимательно следит за обоими, словно директор школы, старающийся разобраться, который из придурков угодил мячом в окно его кабинета:

— Нет, я докопаюсь до истины. Сес, что здесь произошло?

— Да я даже не в курсе, о чем они: Куни, какая-то деревенщина, — докладывает Сес. — В общем, все как обычно: опять пожопились.

Дзинь. К Жирному Мэтту заходит Стивен Тухи, видит всю семейку в сборе и сразу же выходит.

— Вот видите — Стивена напугали, — говорит Фрэнни снова как директор, но на этот раз как усталый директор, и берет у Жирного Мэтта бесплатную газировку. — Давайте постараемся все уладить, хорошо?

— Я лучше пойду, — говорит Фрэнсис Младший. — А то, если и дальше так, мы все равно ни к чему не придем. Ты домой, Фрэнни? Работа вроде еще не кончилась.

— Угу.

— Я с тобой. Мэтт, спасибо за газировку. Сесилия, увидимся вечером. Нет времени.

— Да, и у меня тоже, пошел ты... — кричит она под звон колокольчика над распахнутой Фрэнсисом Младшим дверью. — Сес, не сиди на полу. Вынь ногу из банки с огурцами.

— Она ногами в огурцы залезла? — ужасается Мэтт. — Господи Боже.

— Я не в банку, а на банку, — раздраженно сообщает Сес Жирному Мэтту, лежа спиной на полу голыми пятками на банке. — Ма, ты кричать уже закончила?

— Пока да.

— Хорошо, тогда я встану, — спокойно говорит она, подходит к нам и кладет руку на плечо моргающему от смущения Арчи. — Вы тут без меня моего парня не дразнили?

— Я не твой парень, — сердито бурчит Арчи.

— Ты только что сказал папе совсем другое, — напоминает она ему.

— Ты мне угрожала.

– Да, и что? Заткни пасть. Говорить будешь тогда, когда тебя спросят, мистер.

– Да, дорогая, – вздыхает Арчи. – Генри, куда сегодня с ребятами собираешься?

– Кататься на великах, – говорю я.

– А нам можно с вами? – спрашивает он.

– И как мы будем с твоим креслом? – спрашиваю его я.

– Я не буду отставать, – говорит он.

– Я надену ролики и буду его сзади толкать, – предлагает Гарри.

– Двенадцать долларов ровно, миссис Тухи, – сообщает Жирный Мэтт.

– Вот, держите, – Гарри протягивает ему двадцатку, а затем говорит, обращаясь к нам: – Я тут недавно новые ролики купил. Толкание калек – отличная тренировка. Как считаешь, Арчибальд?

– Меня зовут не Арчибальд, – говорит ему Арчи, – но вообще круто.

– О'кей, тогда договорились, – заключаю я. – Арчи и Сес отправляются домой с мамой, словимся после ланча. Отлично?

Третьеклашки отвечают "да". Жирный Мэтт сверкает золотыми зубами. Сесилия забирает свою коричневую сумку. Мы помогаем ей спустить Арчи по ступенькам на тротуар.

– Все в порядке? – спрашиваю я Сесилию, которая засмотрелась на поток машин, движущийся по Ав.

– Что-что? – переспрашивает она.

– Ты как?

– Все нормально, – отвечает она, выходя из оцепенения, опуская сумку с мясом на колени Арчи и беря за руку Сес. – Ты со своей женой себя так же вести будешь?

– Не-а, – честно отвечаю я.

– Будешь верным? И обращаться с ней по-человечески? Уважать ее? Любить ее что ни день все сильней?

– Да, да, да и еще раз да, – с улыбкой отвечаю я.

– Здорово. – Она тоже улыбается. – Храни в себе эту доброту и оптимизм. Не давай никому их у тебя отнять.

– Ни за что на свете, куколка, – обещаю я ей.

– Куколка, – фыркает она мне вслед, закуривая сигарету. – Тебе б еще с девками научиться разговаривать. Ну, это потом. У тебя же куча важных дел. Ладно, сынок, мне пора. Будь паинькой. Да, вот еще что. Люби тебя Господь, но на меня не рассчитывай.

Я смеюсь. Эту фразу сказала женщина своему бывшему мужу-министру, который ей изменял, в ток-шоу с религиозным уклоном, идущем поздно вечером. Мы потом смеялись несколько дней кряду. Так что теперь у нас это дежурная шутка. Перед тем как поставить Сес на подножку инвалидного кресла, Сесилия еще раз улыбается мне. Сес изображает рев моторного катера, Сесилия крутит ручки, а Арчи кричит, пародируя британский акцент: "По местам, команде приготовиться, старт". И все трое сломя голову несутся по улице Святого Патрика: моя неугомонная мама вместе с моей странной сестрой и калекой с обрубком вместо руки.

Бобби Джеймс, Гарри и я сидим на железнодорожной эстакаде где-то в тридцати футах над Фрэнкфорд-авеню, или просто Ав, как мы ее называ-

ем, и едим сэндвичи. Ав — главная улица нашей жизни, если не считать улицы Святого Патрика. Фрэнкфорд-ав очень длинная — от самых северных окраин Филадельфии вплоть до Кенсингтона на юге, где переходит в Кенсингтон-ав. К югу вдоль Ав районы тянутся один за другим. Здесь найдется все, начиная со старомодного кинотеатра для автомобилистов под открытым небом и заканчивая тату-салоном, укрывшимся под линией надземки.

Улица Святого Патрика пересекает ее почти посередине, не так чтобы сильно близко от нас, но и не больно далеко. Здесь Ав идет под уклон, но это только в том случае, если спускаешься по ней вниз. Местные здесь бьют стекла в домах и пишут граффити на стенах, ну и прочее дерьмо, тем не менее соседей это все равно бесит, сечете, о чем я? Постоянные стрелки на спортплощадке, вот, типа, как сегодня намечается, но обычно с пустыми руками, хотя иногда отдельные пидоры приходят с битами, брусками два на четыре или заточками — мочкануть кого-нибудь или дать понять, что не шутят. Убийства тут случаются все больше в домах: всякая там семейная хрень — вроде как двадцатилетний сынок поспорил с маманей из-за денег, задушил ее по пьяни, а с утра ничего не помнит.

Так что районч жесткий, но не слишком, просто так тут никто приключений не ищет. По мне, отморозкам просто неймется. Филли, мать ее, — город не одной только расовой нетерпимости. Тут даже белый к белому из другого района не сунется. Сегодняшняя стрелка как раз подтверждает это правило — какого черта *им* тут надо! — и поэтому я не хожу по Ав в любую сторону дальше чем на четыре квартала. Слишком уж лицо мое мне нравится. Да и все равно незачем. В нашем районе и так есть все, что нужно. Папаши работают, может, кварталов за пять от дома. Мамашки сидят с детьми. Если тебе что-то понадобится, спроси у соседей, и тебе скажут, что это где-то за углом на Ав. Сюда относятся: пивной ларек, пиццерия, бар на углу, прачечная, ювелирный магазин, фастфуд с морепродуктами, "Деликатесы", туристическое агентство, похоронное бюро, контора по продаже подержанных машин, бесплатная библиотека, пожарная часть, почтовое отделение, банк, дешевый супермаркет, католическая церковь. Все вышеперечисленное располагается "за углом на Ав". Район выглядит старомодно, и, если судить по домам и фасадам магазинов, можно подумать, что мы живем все еще в 1963-м, а не в 1984-м. Единственный способ определиться со временем здесь — это посмотреть, какого года выпуска машины, и прибавить лет десять.

Улица Святого Патрика отходит вправо через четыре квартала от эстакады, на которой мы сидим и едим сэндвичи (сидим к ней лицом). Также справа рядком выстроились всякие магазины — в том числе и "Деликатесы Жирного Мэтта". Кое-где этот ряд прерывают улицы, идущие параллельно Святому Патрику, да еще Тэк-парк, спортплощадка длиной в три квартала. По другой стороне Ав и слева от нас на целых восемь кварталов растянулись церковь Святого Игнатия вкупе с кладбищем, домом пастора, женским монастырем и двумя зданиями приходской школы. Церковные владения находятся между велосипедной дорожкой и Никльбэк-парком, что ровно по левую руку от нас, а банкетный зал "У Манджоли" тоже слева, но так далеко, что отсюда его почти не видно.

В принципе, нам запрещается сидеть здесь, на эстакаде, но подчиняться такому идиотскому запрету просто невозможно. Раньше тут ходил тихоходный поезд, но теперь, после того как пару лет назад летом одному мальчишке по имени Дэнни Дойл отрезало здесь ногу, когда он попытался перепрыгнуть через рельсы, линию закрыли. Сразу после несчастья родители вместе со священниками стали добиваться, чтобы поезд убрали, и в итоге настояли на своем. Даже теперь, когда никакого поезда уже нет и в помине, они как ненормальные что ни день предупреждают нас держаться подальше от путей и особенно от эстакады. Доски здесь действительно шаткие и щели между ними достаточно широкие, чтобы тощий ублюдок вроде меня мог провалиться и приземлиться на лобовое стекло какой-нибудь машины из потока внизу. Но такого не может быть. Среди нас таких смелых и отважных нет. С нас хватит и доски покрепче, на которой можно просто посидеть и полюбоваться видом, который мне очень нравится, потому что чувство такое, будто ты жмурик.

Только не подумайте, что я уже на тот свет собрался. Просто отсюда я смотрю на весь свой мир сверху, с высоты, и выглядит он намного лучше, чем из окон первого этажа. Вот, например, справа от меня, где магазины, солнце сверкает, отражаясь в окнах домов. В тех же самых сплошь заляпанных грязью окнах, если смотреть на них с тротуара. Слева все еще красивей. За церковной землей тянется парк, и отсюда, с эстакады, видно и как дважды круто поворачивает велосипедная дорожка, и ручей виден, и верхушки деревьев, роняющих на землю свои листья и тени. Даже церковные здания кажутся милыми и опрятными — и не подумаешь, что они кишат священниками, трупами и пингвинами (местное название монашек, молящихся за ваши грешные души, покуда сами вы дома отлыниваете). Отсюда все такое тихое, будь то магазины справа или кладбище слева. Единственно откуда доносятся хоть какие-то звуки — это снизу: шорох шин да лязг троллейбусных дуг. Троллейбус, скрипя тормозами, останавливается чуть ли не у каждого дома, чтобы высадить или посадить очередную порцию старперов. Дуги торчат как две большие антенны, тянущиеся к проводам, и из-под них то и дело сыплются искры. Мне нравится этот звук: есть в нем какой-то успокаивающий ритм. И все это вместе рождает во мне чувство чего-то огромного и прекрасного, какой и должна быть любовь, любовь ко всему, что я зову своим домом. Если дать глазам расфокусироваться, то с той стороны, где парк и кладбище, все перестает казаться просто зеленым, а с той, где дома и магазины, — просто бетонным. Вокруг все сплошь становится зеленым, как трава.

— Генри, как ты думаешь, у кого сиськи лучше — у моей сестры или у твоей мамы? — потягивая украденное у Жирного Мэтта пиво, спрашивает Бобби Джеймс, пока мы наблюдаем за тем, как, повернув с кладбища направо, в нашу сторону движется похоронная процессия с включенными в полдень фарами и прикрепленным к крыше катафалка крестом со вделанной в него надписью "похороны" на оранжевом фоне.

— Сложный вопрос, — отвечаю я. — У твоей сестры объемней, но я бы с большим удовольствием потискал мамины.

— Не согласен. Что еще может быть в сиськах, кроме объема?

— Выразительность, — раздраженно разъясняю я, — округлость и жесткость. — Я загибаю по пальцу на каждую из этих наиважнейших характеристик. — Тебе только одно и надо — такие дыни, чтоб в руках не уме-

щались. А у твоей сестры целые арбузы. Мне они очень нравятся, короче. Просто я хочу сказать, что от таких все тело в синяках будет. Так и убиться можно.

– Убиться? – говорит он. – Покалечиться – возможно, но убиться – нет. По-моему, величина – самое главное. Я бы лучше пощупал у сестры. Гарри, а тебе какие больше хочется?

У Гарри, который до этого сидел себе тихо в надежде, что его не спросят, энергетический напиток от неожиданности попадает не в то горло. Содержимое банки приземляется на лобовое стекло универсала, следующего в процессии. Водитель, мужик с пышной шевелюрой и женой с сиськами номер два на пассажирском сиденье, недоуменно смотрит по сторонам, но не наверх, так что мы остаемся незамеченными.

– Черт, ты угодил прямиком в похоронную машину, – говорит Бобби. – Ну, у кого лучше – у мамы или у сестры?

– Я не знаю, – смущенно отвечает Гарри.

– Что значит "не знаю"? Либо одно, либо другое, – требует Бобби.

– Нет, – отвечает Гарри, испуганно и упрямо глядя перед собой.

– Скажи имя и все. Джинни Джеймс. Миссис Тухи.

– Нет, не буду.

– Меня от тебя тошнит. Не хотел тебе говорить, но так оно и есть. Придется отсесть подальше, – с этими словами Джеймси резко встает. Правая нога проскальзывает в щель между балками. Мы с Гарри в унисон кричим *черт* и *господи* и хватаем его за рубашку. Он приземляется яйцами на балку, но дальше не проваливается. Далеко внизу пивная банка попадает по крыше другой машины из той же процессии. Стриженный бобриком парень за рулем замечает нас в заднее стекло и хмурится, но молчит, видимо из уважения к покойному товарищу.

– Генри, – говорит Гарри, меняя тему разговора, покуда Джеймс трет ушибленные яйца, – куда отправимся сначала? В музыкальный магазин, в ювелирный или в похоронку?

Завтра вечером я буду петь "Далеко за синим морем" Бобби Дэрина – как когда-то папа пел для мамы, – а потом во время свадебного приема в банкетном зале "У Манджоли" предложу Грейс выйти за меня замуж. После ужина, наверное. Мы собираемся в ювелирный магазин за кольцом. Эта фальшивка стоит всего сто долларов. В прошлом году его купил Стивен, чтобы сделать предложение Мэган О'Дрейн, а потом, когда она погибла, сдал обратно, да еще со своим сердцем и головой в придачу. Кроме того, нам надо заскочить в музыкальный магазин, чтобы напомнить его владельцу, Маусу Макгинли, о том, что он со своим биг-бэндом завтра должен там играть забесплатно – спасибо Гарри и его газонокосилочным связям в мире взрослых, – пока я буду петь. Следующее на очереди – похоронное агентство, куда мы отправимся договариваться насчет катафалка, который потом повезет нас с Грейс кататься вокруг города. Конечно, катафалк – не лучший выбор, но зато бесплатно, – опять же, спасибо Гарри. Что же касается самой Грейс, то я не особо рассчитываю, что дело закончится помолвкой или женитьбой. Я просто хочу с шиком и при всех признаться ей в любви.

– Давайте пойдем в похоронку вечером, чтобы было темно, – предлагаю я.

– Ага, – соглашается Джеймси, – когда будет темно.

— Нет, лучше сходим засветло, — говорит Гарри, который боится похоронных агентств ничуть не меньше сисек. — Там кругом гробы. Мне будет страшно.

— Тогда решено. Вечером идем в агентство, — говорит Бобби Джеймс, давая мне пять.

— Кроме того, — добавляю я, — музыкальный магазин закрывается сегодня раньше и завтра не работает.

— Здорово, — надувается Гарри.

— Да ради бога, Гар, дуйся сколько влезет, нам-то что? — говорит ему Бобби, а затем поворачивается ко мне: — Генри, объясни мне одну вещь: думаешь, оно все того стоит? Я по-прежнему слабо себе представляю, как ты будешь сначала ей петь, а потом предложение делать. Не скажу даже, что ты для этого слишком туп. Мне просто интересно, *зачем* ты это делаешь. Вам обоим по тринадцать. Думаешь, она ответит да?

— Возможно, и нет, но это не важно. У меня на то другие причины. Родители, Стивен.

— А, тогда, конечно, все ясно, — с сарказмом в голосе говорит он.

— Генри покупает то же самое кольцо, что и Стивен, в день, когда умерла Мэган, — говорит Гарри, который всегда был поумней и потому лучше меня понимает. — Он поет песню, которую его отец пел его матери. Он хочет, чтобы его родители любили друг друга как раньше. Он хочет достучаться до Стивена. Не слишком сложно для тебя, а то повторю? — огрызается Гарри, который обычно принимает сторону Бобби, но только не в тех случаях, когда речь заходит о серьезных вещах, — лишний повод мне его уважать, о гирьках на лодыжках я сейчас не говорю.

— А-а, — тянет Бобби Джеймс, внимательно на меня глядя. — Тогда чего же мы ждем? — мирно спрашивает он.

— Вот именно, — поддакивает Гарри, который в это время занимается тем, что собирает в мусорный пакет пустые банки и обертки от сэндвичей. Он замечает, что я смотрю в сторону леса. — На что так уставился, Генри?

— Все эти деревья там, — говорю я, указывая рукой вдаль. — Скоро они начнут менять цвет. Когда будем сидеть здесь на следующей неделе, в листве уже появятся пятна желтого и красного.

— Ага, — соглашается Гарри, — но пока они еще все зеленые.

— Да, все зеленые, — повторяю я, и на лице у меня играет легкая улыбка, как у Моны Лизы.

Мы встаем: впереди у нас недолгая дорога домой.

6

Наверное, вы думаете, семерым живущим в одном квартале подросткам собраться, чтоб поехать куда-нибудь на великах, — дело плевое. На все про все от силы десять минут. Куда там. У них на это уйдет час и семь минут. Распишу подробнее:

1.10 (пополудни) Джеймс, Карран и Тухи идут по домам: Джеймс — опростаться, Карран — считать свои миллионы, Тухи — за сестренкой с ее дружбаном.

1.13 Тухи произносит проповедь на углу. Основные темы: 1) любовь Яхве ко всем людям, кроме Бобби Джеймса, 2) рост цен на хотдоги на играх "Филлиз", 3) каким образом Иисус сохранял волосы волнистыми во влажном воздухе Иерусалима и 4) попытка инвентаризации содержимого усов Майка Шмидта.

1.20 Карран и Тухи оттаскивают Джеймса от двери "У Пола Донохью".

1.30 Во время выполнения переходов прыжком из положения "упор присев" в положение "упор лежа" у Каррана случается стояк. Джеймс отказывается к нему прикасаться. Тухи сжимает член Каррана до тех пор, пока тот не прекращает вопить. Мимо проезжает машина, набитая подростками, которые хором кричат *Пидоры*.

1.40 Тухи приходит домой. Стивен, Сес, Арчи и Фрэнни сидят и смотрят "Положитесь на Бивера", Уорд и Джун Кливер обсуждают Бивера, а в это время наверху у себя в спальне Сесилия с Фрэнсисом Младшим орут друг на друга, переворачивая все вверх дном. Тухи спускается в подвал за своим бабским великом без скоростей с раздолбанным сиденьем, кое-как покрашенным дома серебряной краской. Перегоняет его к веранде с дорожки за домом.

1.45 Тухи снова дома и спасает Арчи из рук Фрэнни, который раскачивает его в воздухе, как маятник, ухватив за грудки. Он забирает Сес и Арчи с собой на улицу, пока Сесилия скачет вокруг и поет "Покрылось все розовым цветом", Фрэнсис Младший уничтожает пакет чипсов, Гвен Флэггарт рычит на него, Фрэнни поднимает с туфли упавший сыр и принимается подпевать Сесилии, а Стивен выходит вон.

1.50 Тухи подвозит инвалидное кресло к газону перед домом Тухи. Арчи выпадает из кресла, но при этом не плачет. Сес просит повторить. Тухи уступает с милостивого согласия Арчи.

1.52 Карран выходит на веранду в фиолетовом шлеме под цвет фиолетовых роликов. Теряет равновесие, перелетает через перила и стучится колесами роликов в дверь к Бобби Джеймсу.

2.07 Джеймс выходит из дома с мокрой головой и банкой пива в руке. Его оранжевый велосипед с переключателем на пять скоростей — предмет всеобщей зависти — сияет как летнее солнышко.

2.10 Мистер Мерфи хлопочет над только что купленным голубым детским велосипедом Марджи. Миссис Мерфи предупреждает его, чтобы он перестал носиться с дочерью как с писаной торбой. Мистер Мерфи советует Тухи и Каррану никогда не жениться.

2.14 Грейс Макклейн вылетает из дома на горном велике, перепрыгивает на нем через перила, потом через табличку "Мондейл—Феррaро", затем резко тормозит у статуи Франциска Ассизского и тушит бычок об его мудрую лысую голову. Господи Боже.

2.14.30 Тухи, без объяснения причин, заставляет всех себя ждать тридцать секунд, пока у него не перестанет стоять.

2.15 Компания покидает улицу Святого Патрика.

Всемером мы пересекаем Ав около церкви. Едем сплоченной группой: впереди — Гарри и Арчи. За ними молча следует Марджи Мерфи. Бобби Джеймс едет за ней и, я просто уверен, пялится на ее задницу. Грейс едет за Бобби Джеймсом, курит и, насколько я могу видеть, не пялится

на задницу Бобби Джеймса. Я держусь позади Грейс и, конечно же, пялюсь на ее задницу. За мной едет Сес, которая, я так надеюсь, не пялится на мою. Мы пересекаем Ав и въезжаем на кладбище, которое нужно преодолеть перед тем, как выехать на велосипедную дорожку.

Широкая бетонная дорога разрезает аккуратную, поросшую травой землю и опоясывает кладбище плавной дугой, чтобы господа могли навещать своих дорогих покойников, не покидая машин с кондиционерами, покуда не приблизятся к могилам на расстояние в десять шагов. Возле каждого ряда из десяти памятников припарковано по машине, и тут же кто-нибудь кладет цветы на могилу, или зажигает красную свечу, или дергает сорняки у надписей. Здесь нет деревьев, и солнце бьет прямо в траву, вечно зеленую траву, ведь ее поливают могильщики, да и удобрений внизу хватает. Мы со свистом несемся мимо вереницы могил, смеясь и болтая, перекликаясь друг с дружкой. Никакого неуважения к умершим: люди, стоящие там и сям над могилами, не обращают на нас внимания, наверное потому, что не замечают солнечного света и их мысли блуждают где-то далеко в тумане. Краем глаза успеваешь смутно разобрать надписи на камнях. Венциале, Мерта, Кейн, Гинтер, Маккэн, Макклоски, Салливан, Фуди. Внизу надписи, вроде ДА ПРЕБУДЕТ ОН В СВЕТЕ ГОСПОДНЕЙ ЛЮБВИ, ВСЕМИ ЛЮБИМЫЙ И ЛЮБОВНО СОХРАНЯЕМЫЙ В ПАМЯТИ. Слово *любовь* встречается на кладбище через каждые пять футов, в сто раз чаще, чем слышишь или видишь его в жизни, и вот чего я никак не могу понять: какого хрена все ждут смерти человека, чтобы потом признаться ему в любви.

После пяти минут энергичной езды на запад от Ав с ее автомобильным ревом мы сворачиваем влево во внутреннюю часть кладбища. Здесь уже пострашнее. Отсюда по-прежнему видно Ав и приходскую школу с прилегающим двором, расположенные непосредственно на территории кладбища, но тут мы уже на пороге другого мира. Могильные плиты здесь настолько древние, что при их виде невольно бросает в дрожь. Впереди, ближе к Ав, даты жизни колеблются от 1910 до 1978 или там от 1915 до 1981, примерно так. Трава хранит гладкие серые камни, на которых всегда свежие цветы. А вон тут одни сплошные склепы, каждый размером чуть не с весь наш дом, а над входами — с размахом выгравированные имена вроде Макмануса. Внутри там забавно пахнет, если, конечно, кишка не тонка просунуть голову между досками, закрывающими оконные, по всей видимости, отверстия. Сегодня у нас тонка, поэтому мы продолжаем двигаться дальше, как хорошие солдаты на плохих — несмотря на звонки на рулях, флаги на сиденьях и фотки бейсболистов на спицах — велосипедах.

После склепов начинаются плиты уже скорее коричневого, чем серого оттенка, с датами вроде 1808–1848 и с овальными фотографиями покойников, больше смахивающих на бандитов с Дикого Запада. Есть могилы и без плит — просто ряды торчащих из земли во все стороны серебристых крестов да стершиеся от времени статуи, больше смахивающие на адовых демонов, нежели на святых. Кругом полно битых пивных бутылок, оставленных подростками, которые курят здесь травку и пьют пиво, пока копы всех не разгонят. Сейчас здесь хоронят только тех, у кого нет денег на место поближе к дому, к Ав да и вообще к жизни.

В их числе Мэган О'Дрейн, чье надгробие тоже находится тут, в углу кладбища, как раз у поворота налево, назад к Ав, к злобным звукам

жизни. Стивен здесь, он приходит сюда каждый день и сидит вот так, на траве, скрестив ноги, а рядом с ним скрючился на корточках, как бейсбольный кетчер, отец С. Томас Альминде, OSFS[1], — молодой священник с аккуратной короткой стрижкой, который бьет детей в приходе и муштрует церковных служек. Он лепил что-то Стивену в правое ухо, но потом оба услышали звук приближающихся велосипедов. Теперь они наблюдают, как мы подъезжаем. Арчи посылает воздушный поцелуй могиле сестры, но больше никак своих чувств не проявляет. Священник одобрительно кивает и продолжает смотреть на нас, не говоря ни слова. Стивен смотрит на меня и на Сес в хвосте компании своими большими глазами, в которых давно поселилась боль. Кажется, вот-вот улыбнется, но тут он вновь переводит взгляд на могильную плиту, и мы поворачиваем налево к Ав.

— Эй, красотка, — поворачиваюсь я к Сес, которая несется вперед, грустная-прегрустная, глядя прямо перед собой. Маленькие ножки работают так, будто она взбирается на гору в "Тур де Франс". Я замедляюсь, чтобы она могла со мной поравняться.

— Да, это я, чем могу помочь? — спрашивает она, все еще глядя перед собой.

— Нет, я, — говорю я ей. — Я увидел себя в твоем зеркале на руле.

— Ах, ну да, — говорит она, и на ее серьезном личике уже готова снова появиться улыбка, обнажая прогалины между зубами, через которые спокойно пролетит теннисный мяч. — У меня что, зеркало не в порядке?

— Хрена там, не в порядке, — сообщаю я ей. — Сес, сколько ставишь, если я сделаю стойку на руках на велосипеде, потом перекувырнусь на твой, а потом кульбитом к Джеймси на голову и к Арчи на колени, и все это не сбавляя скорости?

— Ставлю сто миллионов миллиардов долларов, что не сможешь, — хихикает она, — но у тебя столько денег нет, и у меня тоже. Так что езжай-ка спокойно, приятель. Мне нравится, когда ты рядом, особенно в целом виде.

— Да, мне тоже, — отвечаю я, мы улыбаемся друг другу, я выжидаю момент, чтобы ее обнять. Велосипедные шины шуршат дальше в сторону Ав, в сторону Никльбэк-парка, прочь от гнетущего мертвого кладбища.

Парк начинается сразу за кладбищем и дальше переходит в лес. Велосипедная дорожка пересекает тротуар, и ты мчишься по ней с пятидесятифутового холма прямо в гущу деревьев. Как только мы выезжаем на тропу, Гарри останавливается и вытягивает руку, указывая нам на ручей, бегущий у подножья холма слева от нас.

— Смотрите, как солнце отражается в воде от тележки наверху, — говорит он.

Мы любуемся на отражение магазинной тележки на колесах, сверкающее, словно алмаз.

— Вы только посмотрите на эти шины с левого боку, — говорит Арчи. — На вид им лет десять, а в воде выглядят как новенькие. Вот бы мне на кресло такие.

1. Аббревиатура, означающая, что данный священник выполняет дополнительную социальную нагрузку по работе с детьми из неблагополучных семей.

Мы дружно охаем и ахаем от восхищения.

— Природу надо любить, — говорит Грейс, щелчком отправляя окурок на дорожку. — Нет желающих вернуться и погулять по улице Святого Патрика?

Мы оглядываемся туда, где гудят машины и искрят троллейбусы, а потом со смехом несемся дальше по тропе. Поначалу здесь шумно и небезопасно. После первого поворота у водопада тусуются пуэрториканцы. Они курят травку, расписывают граффити стволы деревьев, жарят ребрышки на мангалах и слушают оглушительную музыку, где ничего не разберешь из-за обилия духовых и барабанов. Они прыгают в воду прямо в одежде, а иногда метлами сбрасывают белых с велосипедов и крадут колеса. Мимо риканцев нужно ехать быстро и смотреть прямо перед собой, не забывая при этом украдкой поглядывать по сторонам, чтобы вовремя заметить голову, высовывающуюся из-за дерева с метлой, и успеть развернуться. Летишь мимо них, потом по деревянному мосту через ручей, где от тряски приятно вибрирует в ушах.

Когда едешь под деревьями, светотень играет на лице. Обычно белые дальше не суются. Сюда быки в футболках "Харлей" ходят выгуливать без поводков своих псин. Еще здесь бегают разные тощие лысые лохи в коротеньких шортиках и без верха; если повезет, можно увидеть, как на такого нападает немецкая овчарка — очень забавное зрелище.

Дальше долгий подъем, приходится сильнее работать педалями. Потом круто направо, вниз по холму, мимо большой эстрады, где никудышные барды поют песни Вуди Гатри и Пита Сигера под жидкие аплодисменты трех десятков безработных синяков, сидящих на траве поблизости. Дальше идет длинный и солнечный прямой участок, который заканчивается еще одним вибрирующим в ушах мостом, потом поворот налево, и сразу же второй водопад и новая партия травокурящих, велокрадущих, древорасписывающих пуэрториканцев, мимо которых нужно опять-таки пролететь на скорости до того места, где тропа вновь ныряет в тень и начинает виться между деревьев. Под бетонной аркой хорошее эхо, и можно, проезжая под ней, крикнуть *йоу* или *жопа* — получится смешно.

После арки лес начинает сгущаться, постепенно людей вокруг становится меньше, потом они исчезают вовсе. Остаешься только ты сам, шестеро твоих лучших приятелей да Мать Природа. Здесь кора у деревьев твердая и коричневая, и на ней нет никаких сердец с надписями вроде ХУЛИО ЛЮБИТ МАРИЮ. В воздухе пахнет жимолостью. По обеим сторонам тропы сквозь широкий травяной ковер пробиваются желтые и фиолетовые лесные цветы. Деревья расступаются — солнце пригревает нам спины и головы, — затем вновь начинают толпиться у тропы, нависая над нами, словно плакучие ивы, словно в танце. Заслышав звон побрякушек на наших велосипедах, олени перестают жевать ягоды и несутся к воде. Мы зовем их, нежно, с любовью. Просим не пугаться. Сегодня здесь нечего бояться. Сес говорит мне: "Смотри, Генри, я еду с одной рукой и ко мне на корзинку приземлился листочек". Марджи Мерфи в целях безопасности показывает руками сигналы поворотов. Бобби Джеймс на ходу рвет ягоды с кустов и кидается ими в защищенного шлемом Гарри, который не обращает внимания на эти покушения, чтобы не уронить Арчи. Арчи задирает руки вверх каждый раз, как его кресло катится под

гору. Грейс едет без рук и курит одну за одной, запрокидывает голову, чтобы выдохнуть дым прямо вверх, и смотрит на синее небо.

Я гляжу на это и чувствую, что все кругом — любовь, и это все я люблю в ответ. Высокие деревья, свежий воздух, раздолье и тишина. Умиротворение. Никаких битых бутылок и покореженных машин. Никаких баров на углу и магазинов "всё по доллару". Только я, моя сестра, мои друзья вдали от городской толкотни. Все, кого я люблю, счастливы и влюблены в кого-то, кто с ними рядом, здесь, в лесу — а может, и на ферме — в окружении цветов, деревьев, зеленой травы, и Грейс Макклейн рядом со мной, любит меня. Я еду на велосипеде по лесу, и все это здесь, прямо передо мной. Я все это вижу, чувствую на вкус, ощущаю повсюду, даже кончиками пальцев рук и ног. Не существует ничего, способного разрушить это чувство во мне.

Ничего, кроме Горы, словно разбойник поджидающей велосипедистов на шестой миле лесной тропы. Вышиной она миль в сорок и такая крутая, что, когда штурмуешь ее на велосипеде, кажется, будто взъезжаешь по стене на колокольню церкви Святого Игнатия. Те из нас, кто на велосипедах, способны на такое, хоть и трудно придется, а вот у Гарри с Арчи, похоже, намечаются проблемы. Мы сворачиваем с тропы, не доезжая ярдов пятидесяти до подножья Горы, чтобы посовещаться. Гарри полон оптимизма.

— Почему бы и нет? — говорит он. — За ланчем я употребил много углеводов. Я смогу.

— Мы верим, что ты сможешь, — нахмурившись, говорит ему Марджи Мерфи. Из нас всех она самая ответственная. То есть я хочу сказать, она здесь единственная ответственная. — Так зачем тогда пробовать, правильно? Давайте просто повернем обратно.

— Подожди-ка секунду, — говорит ей Бобби Джеймс. — Это ведь Америка. Если он хочет подняться на роликах в гору, толкая перед собой инвалидное кресло, это его право. Кто мы такие, чтобы его останавливать? Мы ж не коммуняки какие-то, — возмущается он, ратуя не столько за демократию, сколько за возможность посмотреть, как они навернутся.

— Генри, скажи хоть что-нибудь своим идиотам друзьям, — говорит Марджи, показывая на Бобби и Гарри.

— Я за них, — сообщаю я ей. — Гарри хочет попытаться — почему бы и нет?

— Спасибо, Генри, — говорит мне Гарри.

— Нет проблем, Гар, мы же с тобой друзья все-таки, — отвечаю я.

— Я ушам своим не верю, — жалуется Марджи. — Сес, тебе не кажется, что это попросту глупо?

— Нисколечко, черт возьми, — отвечает ей Сес. — Я верю в Америку, как Бобби Джеймс.

— Грейс, ну хоть ты меня поддержи, — умоляет Марджи, которой уже просто не к кому больше обратиться.

Грейс только смеется:

— Ну и вали отсюда, если что не устраивает. Жалко, я фотик не взяла.

— Просто невероятно. Вокруг одни идиоты, — говорит Марджи точь-в-точь как ее мамаша.

— А мое мнение здесь кому-нибудь интересно? — спрашивает Арчи, пожевывая зубочистку.

Все умолкают и смотрят на него в ожидании вердикта.

— Я согласен.

Мы ликуем и хлопаем в ладоши, все, кроме Марджи, которая в отчаянии крутит пальцем у виска. Гарри предлагает нам въехать на Гору и ждать его там. Пыхтя и потея, мы ползем на велосипедах вверх по Горе, все, кроме Грейс, которая уже взлетела на вершину и, улыбаясь, ждет нас там и обзывает трусами и хлюпиками. Взобравшись наверх, мы подъезжаем к краю и смотрим на Гарри и Арчи и на ручей, текущий внизу и слева от нас, под пятидесятифутовым обрывом. Прямо посреди потока, по всей видимости не замечая нас, стоит пожилой пузатый чувак с густыми усами, в шляпе с провисшими полями и рыбацких сапогах; стоит, жует во рту сигару, прихлебывает из блестящей фляжки и громко беседует с Господом по поводу отсутствия в воде рыбы, а сам тем временем пытается поймать на муху хоть что-нибудь.

— Господи, если бы ты только знал, на что мне пришлось пойти, чтобы получить сегодня отгул, — сообщает он. — И все только для того, чтобы посидеть тут и расслабиться. Я поменялся сменами с Майком Паттерсоном, а ты сам знаешь, какой он мудак. Право слово, легче самому себе зуб выдрать. Вдобавок мне досталась смена со сверхурочными. Босс посмотрел на меня как на шизика, когда я сказал, что затеял все это ради того, чтобы порыбачить в этой безрыбной луже. А потом и жена прознала, но что я тебе рассказываю — ты сам все видел. Конечно, некрасиво об этом напоминать, но ты уж не взыщи.

Он снова отвлекается на удочку, потом делает глоток из фляжки и продолжает свою речь.

— Она обозвала меня последним лентяем, — сетует он. — А я за тридцать лет излазил все, какие только можно, столбы, чтобы у всех телефоны работали. Один раз меня даже шибануло. Думаю, в тот раз мы чуть было с тобой не встретились. Вот уж что помню, так помню.

Гарри и Арчи несутся на всех парах по направлению к Горе. Арчи радостно улюлюкает, наслаждаясь моментом.

— Она застукала меня в супермаркете, когда я покупал хорошую мороженую кукурузу к рыбе. Фирменную. Если бы ты видел, что́ она мне устроила, то, наверное, подумал бы, что я совершил какой-нибудь смертный грех. За тридцать лет я ни разу не поел чего-нибудь эдакого. Мои приятели все едят на завтрак "Чириоуз"[1] из ярко-желтых коробок. А мне достается жареный овес — крупные черные буквы на белой коробке. И разве я хоть раз возроптал? Нет. И она еще смеет тявкать на меня, как паршивый пудель, за то, что потратил лишних тридцать центов на пакет кукурузы, где нарисован здоровенный зеленый придурок в коротеньких подштанниках и с шарфом.

Арчи и Гарри уже у подножья Горы. Арчи воздевает руки над своей пустой башкой. Лицо Гарри — сама сосредоточенность. В середине подъема Гарри начинает выдыхаться.

— Господи, я прошу тебя об одной простой вещи. Просто дай мне поймать рыбу перед тем, как я вернусь домой к этой не закрывающей рта банши[2]. Всего одну. Хоть прилипалу, хоть баклешку, мне все равно.

1. Торговая марка сухого завтрака в форме колечек из цельной овсяной муки и пшеничного крахмала с минерально-витаминными добавками.
2. Привидение-плакальщица (в шотландском и ирландском фольклоре); опекает семью и предвещает душераздирающими воплями смерть кого-то из ее членов.

Гарри и Арчи продолжают двигаться вверх по склону, как при замедленной съемке, причем Гарри напрягается так, будто толкает перед собой автомобиль. Преодолев три четверти пути, они застревают намертво.

– Ну, мы поехали, – улыбаясь нам, говорит Арчи.

– Нет, только не это, – вскрикивает Гарри по-девчоночьи, глядя на нас с ужасом, а мы все смеемся, машем ему руками и желаем счастливого пути. Они стремглав несутся с холма задом наперед. Охренительно смешное зрелище.

– Я согласен даже на гуппи, Господи. Или пошли мне с неба чертова кита.

Гарри и Арчи преодолевают звуковой барьер, запинаются о большой камень и падают в воду в десяти футах от рыбака, а тот от неожиданности подпрыгивает на месте, как попкорн на сковородке, и роняет сигару и удочку. Сигара уплывает вниз по течению, удочка под углом выныривает из воды в паре футов от Арчи, который сидит в своем инвалидном кресле посреди ручья и ржет как ненормальный. Приводнившийся на лицо тремя футами дальше Гарри поднимается и на подламывающихся ногах направляется к рыбаку. Он снимает свои спортивные очки, чтобы вылить из них воду, вынимает пачку купюр из сумки-пояса и вытягивает из нее мокрую банкноту.

– Вот десять баксов, и мы замнем это дело, хорошо? – произносит он, падая на колени в мелкую воду, словно алкаш на берегу Иордана в ожидании, когда Иисус окрестит его в пиве.

После смертельного номера с погружением инвалидное кресло Арчи вышло сухим из воды, отделавшись восьмеркой на колесе и царапинами. Сейчас мы сидим в тени толстого дерева с большими листьями на другой стороне извилистой дороги в конце велосипедной тропы и в восьми милях от дома и смотрим на коров, которые пасутся вокруг и мычат, бля, за огромным забором на ферме. Арчи и Гарри разделись и щеголяют в белых трусах, пока их одежда сушится на валунах. Гарри достает из сумки-пояса пакет.

– Кто-нибудь проголодался? У меня есть семечки.

Следует дружный гул неодобрения.

– А что плохого в семечках? – обиженно спрашивает Гарри.

– Без сахара, – говорит Сес.

– Без жира, – говорит Арчи.

– Безо льда, – говорит Бобби Джеймс.

– Убери свои семечки, стройняшка, – говорит Грейс, копаясь у себя в рюкзаке. – У меня есть молоко и кексы, – объявляет она, закуривает сигарету, вытаскивает упаковку "Магдаленас" и кварту молока и передает еду по кругу. Жизнь прекрасна. Мы откидываемся назад, наслаждаясь угощением – Грейс продолжает курить, – и отдыхаем: лениво, в полудреме, а коровы вокруг отгоняют мух шлепками хвостов и медленно пережевывают траву – морды у них тупые, как валенок.

– Генри, а что это такое у коровы внизу? – спрашивает Сес.

– Это у нее яйца, – отвечает ей Грейс и кладет мою голову себе на колени, прежде чем я успеваю сказать ей, что не нужно говорить Сес такие вещи. Господи Иисусе. О чем бишь это мы? А, да про коров и про яйца.

— Это вымя, Сес, — с трудом говорю я сестре, поскольку перед моим мысленным взором по небу проносятся стаи взведенных членов. — Гарри, кинь мне свой шлем, — говорю я и пристраиваю его себе по центру.

— Если хочешь знать, что такое яйца, посмотри вон туда, — говорит ей Бобби Джеймс, указывая на Гарри, который в это время поднимает танкетки[1] и проверяет сохнущую одежду. Он нагибается, и сзади, на трусах "Вилланова уайлдкэтс" расправляется слово ЗАЩИТА. После того как все отхохотались, Марджи Мерфи кладет голову Бобби Джеймса себе на колени.

— Генри, а что такое яйца? — спрашивает Сес.

— Да так, ерунда, — отвечаю я ей, смахивая у нее с губ кокосовую стружку. — Помнишь, вчера я тебе рассказывал, как фермеры получают молоко из вымени?

— Ты сказал, что они его *выжимают*, — улыбается Сес, со своими хвостиками похожая на хоккеиста. — Ребят, а вы можете вынуть Арчи из кресла, чтобы он мог положить голову мне на колени?

Мы с Гарри приподнимаем Арчи, который краснеет так, что даже под темными очками заметно, и кладем его головой на колени Сес. Потом я снова падаю рядом с Грейс и возвращаю все по местам: голову — ей на колени, шлем — чтоб прикрывал стоячий член, который исполняет у меня в штанах нечто похожее на ча-ча-ча: пам-пам-пам-пам-пам-па!

— Приятно хоть иногда выбираться из кресла, — говорит Арчи, ловя ладонями мошкару.

— Генри, а вся эта земля — она что, принадлежит одной семье? — спрашивает Сес, глядя на ферму.

— Скорее всего, да, — отвечаю я.

— И вон там, где трава за забором, — это тоже их двор?

— Ага.

— Прям всё-всё?

— Угу. Всё их.

— И тут всегда так тихо и мирно?

— Конечно всегда.

— Тогда почему все не живут на фермах? — спрашивает она, и я не могу удержаться от смеха.

— Да какие-то они странные, эти фермы, — говорит ей Грейс, играя моими волосами.

— Что значит странные? — тут же встревоженно переспрашиваю я.

— Странные, как будто там кто-то *живет*. Все так тихо и открыто. Мне было бы страшно там ночевать.

— А вот и не было бы, — убеждаю я ее. — Ты бы жила там со своим мужем. Вы будете сидеть у порога, держась за руки. Ты будешь засыпать у него на плече, и он будет обнимать тебя и чувствовать твои мягкие волосы у себя на щеке и нюхать, как пахнет шампунем. Ночью на дворе будет светло от звезд, и тишина, и никаких драк. Ты будешь жить одной любовью. И вокруг не будет ничего страшного и странного, — говорю я с неподдельным жаром.

1. Вид спортивной обуви.

— Господи, Хэнк, — говорит мне Грейс, — ты говоришь так, будто про нас с тобой.

— А что, если б и так? — спрашиваю я, улыбаясь, и не мигая смотрю прямо ей в глаза.

— А, поняла. Я подыграю, — говорит она, широко улыбаясь мне в ответ. — Значит, если мы с тобой поженимся и будем жить на ферме, то, если ночью мне станет страшно, ты меня защитишь? Верно говорю?

— Да, куколка, совершенно верно, — сияя, подтверждаю я. — Я, Хэнк Тухи, буду твоим защитником.

— О, мальчик мой. Но нам понадобится еще и собака, — продолжает она, правда, с ухмылкой. А глаза так и пляшут на мне.

— Заметано, — говорю я. Все, что только Грейс ни пожелает.

— И пара охранников.

— Заметано.

— И может, еще танк и ручные гранаты. А, еще тигр.

— Все заметано.

— Ну вот и ладненько, — смеется она. — Тогда как только — так сразу, Хэнк.

— Круто, я придумаю что-нибудь особенное, — говорю я.

— Например? — приближая лицо ко мне и выпуская дым изо рта, спрашивает она.

— Ну не знаю. Может, песню спою или танец станцую на глазах у кучи народа.

— Клево, — смеется она. — Дай мне знать, когда соберешься, чтобы я могла принарядиться.

— Не выйдет, сладкая моя, — говорю я. — Это будет сюрприз. Кстати, тебе идет абсолютно все. Тряпки, мусорные пакеты. Абсолютно без разницы.

— Мусорные пакеты, — повторяет за мной Грейс; ее широкая улыбка сверху освещает мою — я все так же лежу у нее на коленях. — Ну, Хэнк Тухи, это уже слишком. — Теперь она улыбается еще шире и теплее, чем солнце над головой. Кажется, будто мне улыбается вечность, но тут до меня доносится голос Сес:

— Арчи, а ты как собираешься сделать мне предложение?

— Никак, — отвечает ей он. Она дергает его за ухо. — Ай!

— О, я расскажу тебе, как это будет. Ты наймешь лодку на озере. На воде два ряда горящих свечей будут обозначать дорогу к центру озера. Ты отвезешь меня на лодке туда, мимо свечей, потом подаришь мне букет из дюжины роз, потом скажешь, что я самая красивая женщина в мире, и потом спросишь, не соизволю ли я стать твоей женой. И не спеши, спрашивай медленно, понял?

— Понял, — вздыхает Арчи.

— Вот и умница, — удовлетворенно заключает она.

— А я хочу сделать предложение своей будущей жене во время прыжка с парашютом, — заявляет Гарри.

— Ты хочешь сказать — будущему мужу? — уточняет Бобби Джеймс.

— А мне не важно, как мне будут делать предложение. Я просто хочу быть всегда любимой, — говорит Марджи, — и счастливой. Я хочу выйти замуж и жить счастливо в браке, а не просто лишь бы замуж.

Она смотрит вдаль, туда, где виднеется дом на ферме, и, наверное, мечтает о своей будущей любви и о жизни вдвоем. Чтобы было не так, как у родителей. Похоже, мы все малость этим грешим. На некоторое время все замолкают. Девчонки перебирают наши волосы. Гарри демонстрирует боевые стойки. И никто не бьет его за это по рельефно выступающим шарам. Иногда только замычит какая-нибудь корова, и мы тихонько смеемся. Теплый ветер шелестит травой и листвой. Солнце пропекает нас, как печенье в духовке. Видно, как по дороге из города тихонько сматываются машины-универсалы, груженные счастливыми семействами, которых ждет впереди фантастический выходной в ресторане, куда пускают только в ботинках и белой рубашке. Грейс наклоняется ко мне. На лице улыбка. Темные волосы щекочут мне щеку и кажутся рыжими от солнца, которое прячет в тень ее лицо, а голову освещает будто нимбом. Проходит час, возможно, два. А мы всё лежим и лежим молча, увлеченные нашей любовью, влюбленные в жизнь. Потом, спустя некоторое время, мы встаем, все так же не говоря ни слова, и отправляемся обратно в город, на улицу Святого Патрика. На обратном пути нет крутых подъемов. Самое трудное позади. И так чуть не угробились на фиг.

Все восемь миль обратного пути мы проезжаем в грустном молчании. Вокруг снова начинают всплывать звуки города. Трава и стрекот кузнечиков уступают место реву машин, резким выкрикам, продуктовым тележкам и разрисованным из баллончиков деревьям. А потом раз — и мы уже вернулись. Проезжаем по кладбищу: Стивен уже отошел от могилы ярдов на двадцать и плетется по направлению к Ав — наконец отправился домой. Мы стоим на светофоре на улице Святого Патрика. Парень на десятискоростном велике лупит кулаком по двери машины, которая чуть его не сбила. Когда мы переезжаем через дорогу, он уже ругается и дерется с водителем. И вновь улица Святого Патрика, где ряды однотипных домов на зеленых пригорках отбрасывают тень на дорогу. Едешь на велосипеде и стараешься не смотреть по сторонам, потому что — куда ни глянь — кругом святые на газонах размахивают табличками "Мондейл—Ферраро", словно озлобленные профсоюзные рабочие в нелепом пикете.

7

Двое парней с девушками подходят к прилавку в "Музыкальном магазине Мауса Макгинли", что на Фрэнкфорд-ав у самого поворота на Святого Патрика, в самом сердце Холмсбурга. Парням на вид лет по двадцать пять, прикид как у бухгалтеров с жиденькой шевелюрой, которые перед сном всегда читают Библию. У обеих девчонок — одна блондинка, другая брюнетка — классические сиськи не меньше четвертого размера. Простые блузки и юбки ниже колен; зевают. Появляется хозяин, Маус Макгинли, худой чувак слегка за сорок, тоже одетый на манер лысоватого бухгалтера.

— Привет, — как зомби произносит блондинка. — Мы бы хотели купить музыкальные инструменты, чтобы стать рок-группой и играть настоящее рубилово. Только вряд ли ты предложишь что-нибудь приличное — больно уж смахиваешь на библиотекаря.

— Внешность может быть обманчивой, дорогуша, — отвечает Маус, прищелкивая пальцами. Теперь на нем, вместо рубашки, застегнутой на все пуговицы под джемпером, и широких брюк цвета хаки, серебристый с блестками костюм в обтяжку без рукавов, а в придачу к нему — накидка с капюшоном и сапоги на платформе. В руках электрогитара с декой в форме V, на которой пламенеющими буквами написано "Маус". Он играет "Пурпурный туман" Джими Хендрикса, извиваясь в такт музыке. Потом прерывает игру и с улыбкой смотрит на восхищенных посетителей.

— Вау, — так же тупо, как и блондинка, произносит брюнетка, — а можно мы тоже?

Маус опять щелкает пальцами — и вот четверо дебилов уже на сцене: в фиолетовых обтягивающих комбинезонах, трое с гитарами, один на барабанах. Они лабают "Пурпурный туман", как Маус минуту назад, а тот стоит и покачивает над головой огоньком зажигалки и рубит воздух кулаком. Музыка постепенно стихает, и голос за кадром говорит: *Музыкальный магазин Мауса Макгинли, угол Фрэнкфорд и Святого Патрика, надежда тебя не обманет – уйдешь ты в пурпурном тумане.*

— Ну что, ребят, как вам ролик? — Маус вопросительно смотрит на меня, Гарри, Арчи и Бобби Джеймса, который распрощался с дружками в конце квартала, чтобы отправиться вместе с нами на Ав по свадебным делам. — Или, думаете, слишком того? — с тревогой спрашивает он, стоя за прилавком и держа руку на телевизоре. Маус, умеющий играть на любом инструменте и в равной степени балдеющий от Джимми Хендрикса, Джона Леннона, Чарли Прайда и Чарли Паркера, стоит перед нами в том же бухгалтерском прикиде, что и в рекламе.

— Здоровско, — говорю я ему.

— Так и знал, что тебе понравится, Генри. А вы что думаете, ребята?

— В целом мне понравилось, но вот следующий вполне можно бы сделать при содействии моей службы ландшафтного дизайна.

— Большие сиськи у телок — это плюс. Но могли бы быть и побольше, сиськи, в смысле, — заявляет Бобби Джеймс.

— Неплохо бы добавить трюков в инвалидном кресле. Парочку моих, например, — добавляет Арчи.

— Все понял. Служба ландшафтного дизайна, сиськи побольше, прыжки в инвалидном кресле. Сейчас, Генри, я тебе кое-что покажу, — говорит Маус, ныряя под прилавок, и достает оттуда четыре пластинки. Первая называется "Pan, Amor y Cha Cha", это испанская телка Эбб Лейн с шарами третьего размера, темными волосами и великолепной задницей. На обложке Эбб стоит боком в золотистом платье, запустив руки себе в волосы и приподняв их так, что видно шею и лопатки, и смотрит в объектив с видом "Генри, дай мне в рот". Я почти слышу, как она мне это мурлычет. И как этажом ниже работает у меня в трусах подъемный механизм.

— Привет, детка, — очень ласково здороваюсь я с ней. — Ничего так, Маус, совсем даже неплохо.

— А как насчет этой? — спрашивает он.

Маус накрывает обложку следующей пластинкой. Альбом "Hawaiian Paradise" группы "Хавайан Айлендерз". Гавайская девочка в травяной юбке закинула руки за голову, ее шарообразные сиськи прикрыты одним только цветочным венком, какие раздают всем при выходе из само-

лета. И за это я ненавижу сейчас всех гавайцев. Но какую-то часть буферов разглядеть все же можно, так что не совсем уж все упущено, и мой член подрастает еще немного.

Маус перебирает стопку, вытягивает еще одну пластинку, и у нас перехватывает дыхание. Факты: группа — "Перкашн Попс Оркестра" Дика Шорки; альбом — "Holiday for Percussion"; на обложке — одна голая телка. Да, бля, ты не ослышался, голая телка — все видно от талии и выше — стоит боком, слегка откинувшись назад, идеальный большой рот. Длинные прямые волосы спадают на сиськи. И за это я ненавижу сейчас все длинные волосы, но не настолько, чтобы не дать пять троим чувакам, стоящим рядом со мной. Вот теперь у меня встал по полной, так, что даже больно. Голова раскалывается.

— И напоследок самое лучшее, — произносит Маус. — Зацените.

Маус медленно достает добивающую. "Music of the African Arab", Мохаммед Аль-Баккер, с виду ослоторговец, и его "Ориэнтл энсембл". На обложке ослодилеры свистят телке, которая танцует на столе. На ней широкие штаны, в каких исполняют танец живота. Живот голый. Так же как и, о Господи, левая сиська и сосок. Левая сиська и сосок. Левая сиська. Сосок. Тьма перед глазами.

Тьма спадает, и я вижу четыре силуэта на фоне крутящихся лопастей вентилятора на потолке. Я моргаю — и вот уже могу различить Мауса, Гарри, Бобби Джеймса и Арчи, которые сгрудились надо мной и встревоженно на меня смотрят. Слабая струя прохладного воздуха от вентилятора овевает мне лицо.

— Что случилось? — спрашиваю я.

— Ты упал в обморок, — отвечает мне Гарри.

— В обморок. Господи Боже, — говорю я. — Я что, выглядел как полный придурок?

— Нет, все-таки лучше, чем Гарри, — говорит Бобби Джеймс. — Он вскрикнул и закрыл лицо руками.

— Неправда, — возражает Гарри, все еще сопя себе в ладони.

— Заткнись. Я говорю — закрыл, вон и сейчас еще... — говорит Джеймси.

— Да, ну и что с того? Сам заткнись.

Джеймси бросается через меня на Гарри, и, лежа на полу, который кажется мне сейчас таким же мягким, как моя собственная кровать, я вижу, как он вцепляется ему в горло, пытаясь задушить, но тут подходит Маус и их разнимает.

— Ладно, ладно, ребят, успокойтесь, — говорит он им. — Давайте поможем Генри подняться.

Гарри, Джеймси и Маус поднимают меня за руки и сажают на стул. Арчи подкатывает ко мне с банкой газировки, с пшиком открывает ее и протягивает мне.

— Спасибо. Что у меня на голове? — с беспокойством спрашиваю я у них. Мне сейчас очень нужен прямой и честный ответ.

— Все нормально, — отвечает Маус. — Волосок к волоску. И все же, думаю, не стоит больше тебе показывать обложки с альбомов.

— Тогда я их у тебя куплю, — говорю я. — Буду на них любоваться перед сном.

– Генри, я не хочу быть в ответе за твои отрубы, – возражает мне он.

– Клянусь, это только по первому разу. Продай, прошу тебя. Умоляю.

– По первому разу? На *той неделе* ты точно так же грохнулся, когда я показывал *другие* обложки. Кроме того, это вещи коллекционные. Стóят, наверное, целое состояние, – заявляет жадный до баксов Маус, мгновенно превращаясь в торгаша, который всем своим видом хочет сказать "сколько предлагаешь".

– Я дам два бакса за все четыре.

Маус смеется:

– Да ты что, а может – шестнадцать за все?

– Четыре бакса, – повышаю я цену.

– Восемь, – отвечает Маус.

– Шесть.

– Семь.

– Согласен. Карран, заплати ему, – говорю я.

– Дайте-ка я вам еще кое-что покажу, ребята, – говорит Маус, загребая денежки Гарри. И ведет нас в дальний угол магазина, где вдоль стены стоят в ряд электрогитары. – Вот, только что получил этих деток. Это "фендер", вишня, юзаная, струны перетянуты, пара царапин сзади. Это соло, тридцать баксов. А вот басуха, точь-в-точь как у Пола Маккартни, только не настоящий "хофнер". Тоже юзаная, перетянутая и поцарапанная, тоже за тридцать баксов. А это ритм, с автографом брата второй жены Тайни Тима: сорок баксов. С этими тремя гитарами вы, ребята, в одной ударной установке от создания самой настоящей группы. Сто баксов всё вместе, но я уступлю за девяносто пять, без налогов.

– Нет, спасибо, не сегодня, – говорит Гарри. – Мы насчет группы для Генри на завтра. Хотим уточнить: готовы они завтра прийти и сыграть, не передумали?

Маус играет на саксе в биг-бэнде, которая исполняет всякое дерьмо вроде Томми Дорси, музыки из телешоу и баллад Синатры. К чести Гарри нужно сказать, что это он с ними договорился на завтра.

– Мы придем, – говорит Маус. – Генри по-прежнему собирается петь "Далеко за синим морем"?

– Да, а как же, – отвечает Гарри. – А вы-то ее играете?

– Такое дерьмо мы и во сне сыграем, – хвастается Маус.

– Отлично, – говорит Гарри. – Во сколько вы появитесь?

– В восемь сорок и к девяти состроимся. Пойдет?

– Все слышал, Генри? В девять вечера, согласен? – спрашивает меня Гарри.

– Да, любое время покатит, – говорю я ему.

Маус скрещивает руки на груди и украдкой косится на меня, пока я причесываюсь.

– Любуешься моей красотой? – интересуюсь я. – Не хочешь фотку на память?

– Нет и нет. А движения для песни уже отработал?

– Угу. Репетировал каждый вечер, – говорю я.

– Ты и правда собираешься завтра сделать предложение этой детке?

– Ага.

– Еще раз – как ее зовут? – с улыбкой спрашивает он.

— Грейс Макклейн.

— Очень похоже на то, как я сам делал предложение, — говорит Маус, беря в руки акустическую гитару без струн. С мявом выскакивает его кошка Диззи. — Вот ты где, Диззи.

— Ты делал предложение? Никогда не видел твою жену, — говорю я.

— Потому что она ушла от меня десять лет назад, когда тебе было сколько? Три? Четыре?

— Три, — отвечаю я. — Прости, что спросил.

— Нет, все путем, — говорит он. — Мы с ней десять лет прожили до того, как она ушла. И надо сказать, эти десять лет были лучше некуда. Если точнее, то девять.

Он улыбается — печальной, но какой-то светлой улыбкой — и берет другую гитару — со струнами. Усаживается на прилавок рядом с Диззи и поет ей битловские "Восемь дней в неделю", тихо так, мягко, — а мы все стоим и смотрим на него, и нам радостно.

— Маус, а как ты делал ей предложение? — прослушав песню до конца, спрашивает Гарри.

— Я целиком проиграл на саксофоне альбом "Love Supreme" Джона Колтрейна у нее под окошком, — говорит Маус, глядя в окно магазина так, будто его предложение — сцена из фильма, а окно — экран в кинотеатре. — Сыграл, наверное, раз десять подряд, а она просто сидела на подоконнике и смотрела на меня.

— А как ты перешел от игры к предложению? — спрашивает Бобби.

— Ее отец запихал грейпфрут мне в саксофон, и тут я сделал ей предложение. Он сказал *О нет*, а она сказала *О да*, и через три месяца мы поженились и жили счастливо девять лет.

— А что потом пошло не так? — спрашивает Гарри; для него не существует вопросов, которых нельзя задавать.

— Да все не так. Или ничего? Не знаю. Любовь — это загадка. Вот суть сегодняшнего урока.

Он отставляет гитару и берет Диззи на руки. Диззи издает полумяукающий-полуурчащий звук, как будто только что слопала птичку в один присест.

— Мне жаль, что так вышло, Маус, — говорю я ему.

— Спасибо. Всё в норме. Всё зашибись. Хотите, сыграю что-нибудь из Хендрикса?

Мы хором кричим «да».

— Отлично. Подождите, сейчас вернусь, — говорит он нам.

Маус исчезает в задней комнате и вскоре возвращается в своем суперменском прикиде, как в рекламе, но волосы по-прежнему зачесаны набок. Он проходит в глубь магазина, где есть маленькая сцена и на стене, затянутой черным бархатом, висит неоновая вывеска с надписью МАУС. Он щелкает выключателем, чтобы зажечь имя на стене, потом с нарочитым акцентом, прямо как у Хендрикса, спрашивает в микрофон: "Как у нас настроение сегодня вечером?", будто нас здесь не четверо, а все сорок тысяч. Мы беснуемся, и Маус говорит "хорошо", точь-в-точь как Джими. Берет стоящую у бархатной стены гитару с декой в форме V и включает ее в сеть. Слышится треск и жужжание. Он продевает голову в ремень, пробует струны и винтит колки туже некуда.

Потом он отступает в глубину сцены, бешено рвет струны — кажется, будто в магазин въехал чудовищных размеров грузовик с гигантской выхлопной трубой, из которой доносится неплохой блюз. Маус рвет тему так, словно его ужин поставлен на карту, совершенно не попадая в ноты и совершенно не парясь по этому поводу. Он играет соляки́, стоя на коленях, и заканчивает, уже играя у себя за спиной. За все это время не бросив на нас ни единого взгляда. Звук еще доносится из усилителей, а он кидает гитару на сцену и удаляется в заднюю комнату, а мы бесимся и шалеем от восторга.

Возвращается Маус — опять в своей бухгалтерской одежде — и утирает пот со лба непомерных размеров платком. Он отключает гитару, ставит ее обратно на стенд и идет к витрине, чтобы выглянуть в дверь, за которой нет никого, кто желал бы войти, но это его нисколько не волнует. С улыбкой на лице Маус подходит к маленькому холодильнику, укрывшемуся за прилавком, достает из него кварту молока и наливает в миску для Диззи, которая тут же спрыгивает на пол, чтобы попробовать, что ей там такое перепало. Он ставит молоко на место и берется за саксофон, отливающий золотом как крыша какого-нибудь "сгустка мышц"[1].

— Вам, ребята, еще что-нибудь нужно? — спрашивает он у нас.

Мы отвечаем не-а.

— Тогда извините нас с Дизз, но нам нужно побыть с ней наедине.

Маус принимается играть самый известный альбом Джона Колтрейна "Love Supreme", тот самый, который он играл своей жене, стоя у нее под окном, когда делал ей предложение за десять лет до того, как они разошлись. Но ведь он прав. Все равно это благо — любовь. Мы выходим из магазина, и вслед за нами — грустные звуки саксофона. Они поднимают нас и несут назад на улицу Святого Патрика, словно фуникулер на лыжном курорте, словно облака, словно волшебный ковер с подушками для ног и сиденьями с подогревом.

В прошлом году Сесилия Тухи повела нас с Сес в Филадельфийский музей изобразительного искусства в часы бесплатного входа, то есть в воскресенье утром. Пока мы были там, я увидел самое прекрасное из всего, что когда-либо видел в жизни. Нет, я не про живопись: живопись — дерьмо, нагоняет на меня тоску. Портреты всяких ослов с бакенбардами, которые выпучив глаза смотрят на молодых художников, снимающих с них копии. Китайские вазы, которых не моги коснуться. Фрески, на которых семьсот голых болванов возносятся к Богу, а тот сидит верхом на облаке и знай себе почесывает золоченую задницу палочкой из слоновой кости. Жуть как смешно.

Ну, в общем, стоим это мы потом у входа. Мы с Сес раз сто пробежали вверх-вниз по ступеням, как Рокки Бальбоа, а Сесилия все это время улыбалась, курила и общалась с каким-то хреном с хайром как у телки, который ей втирал про то, что скоро заканчивает школу и дальше собирается в Пенн[2]. И тут я вижу, как телка в бикини расшнуровывает кроссов-

1. Двухдверный спортивный автомобиль с непропорционально мощным двигателем и усиленной подвеской. Концепция такой машины разработана в США в начале 60-х гг. Типичный пример — "понтиак GTO".
2. Университет штата Пенсильвания, один из лучших в штате.

ки в каких-нибудь десяти футах от меня. Она только что вернулась с пробежки. Ее сиськи мирно свисали, словно свежие фрукты, испещренные капельками росы, пока она завязывала шнурки на туфлях. Что это были за сиськи! Великий Боже! Мне хотелось подойти и подержать их, освободить ее согнутую спину от их бремени на время, пока она до конца не затянет шнурки.

Я торчу от сисек. Существует великое множество их разновидностей. Надувной пляжный мяч, или арбуз, или дирижабль, или теннисный мяч. Есть и специально созданная для тринадцатилетнего сатирика, при виде такой тянет смеяться и плакать одновременно, она жутко большая и пружинистая, и полна любви, как пончик с кремом. А есть сиська локомотивная, заостренная такая, с яркими огнями, которая мчится впереди задницы прямо тебе навстречу, и так и хочется, словно птенцу, раскрыть клювик и встать у нее на пути. Существует также кенгурячья сиська, которую можно оседлать и в два прыжка ускакать на ней прямиком в солнечную Австралию. Есть еще сиська размером со всю планету Земля, подвижный центр всего живого, истинный источник живительного воздуха, сиська сухая и вместе с тем влажная, грозная и безопасная, сиська, способная извергаться будто вулкан, сиська, заставляющая трепетать перед ней, как кролик перед удавом, и при этом любить ее все сильней, когда член распирает настолько, что им хоть софтбольный мяч в центр отправляй, и когда пот льет со лба градом, и только и молишь Господа о том, чтобы он поразил тебя громом небесным, до того как сам взорвешься, словно фейерверк в бункере. Мать моя женщина. Вот такую сиську имеешь в виду, когда, делая заказ на дом из сисечного магазина, говоришь в трубку: "Привезите мне тупую второкурсницу с огромными сиськами". Вот о чем мечтает такой озабоченный ублюдок, как я.

Примерно этим и были заняты мои мысли, когда я заявился на семинар по снятию лифчиков к дому Шеймаса О'Шоннеси, которого все почему-то (хрен его знает почему) привыкли тюкать с утра до вечера. *Чем раньше, тем лучше,* заявил мне мой одногодок Шеймас двадцать минут назад, в рубашке и при галстуке расставляя складные стулья на газоне вокруг статуи Святого Блеза, у которого лысина на голове и по свече в каждой руке в знак того, что он — покровитель всех драных глоток на свете. Шеймас брал по пять долларов за билет на сегодняшнее представление, потому что хочет начать копить деньги на поступление в духовную семинарию и потом стать священником. Он живет через дом от нас и по соседству с Фрэнни Тухи, который, в свою очередь, живет по соседству с нами. Как только Шеймас сообщил мне об изменении графика, я криком известил об этом Бобби Джеймса, который в это время мыл велосипед у себя на веранде. Вот он уже возле моей двери, только что из душа, в рубашке с воротничком и плиссированных шортах и с кожаной папкой и ручкой "Филлиз" в руке. У меня ручка "Сиксерз" и точно такая же папка, но, в отличие от Бобби Джеймса, я не принимал душ и не переодевался. Да это и не важно, все равно я выгляжу лучше, чем он.

Мы подходим к газону перед домом Шеймаса, где с кожаными папками и ручками "Флайерз" расположились человек двадцать ребят с нашего квартала и нашего же возраста, ну, может, плюс-минус год, форма одежды свободная. Шеймас, который укладывает волосы муссом и ста-

вит их гелем, приветствует каждого вновь пришедшего, пишет его имя на стикере ПРИВЕТ МЕНЯ ЗОВУТ и прилепляет стикер ему на рубашку. Мы пробираемся к столу регистрации. Его явно вынесли из столовой в доме О'Шоннеси.

– Йоу, Генри, Бобби Джеймс. Как дела, парни? – спрашивает Шеймас, а сам при этом пишет на двух бирках БОББИ ДЖЕЙМС и ПРЕПОДОБНЫЙ ОТЕЦ ТУХИ, соответственно. Всеобщее рукопожатие – включая нас с Бобби Джеймсом – и смех.

– Йоу, – говорит Бобби.

– Йоу, – говорю я, – похоже, неплохо вы тут устроились.

Помимо стола здесь есть складные стулья, доска, скатерть на столе (там же кувшины с водой и вазочка с фруктовым салатом), подиум (деревянный и с крестом впереди) и манекен телки, наряженный под девочку из католической гимназии.

– Спасибо, Генри, – говорит Шеймас. – Ты первый, кто это заметил. Только посмотри на этих животных.

Реймонд Макафи, этот густоволосый озабоченный дебил, хватает манекен и сует его в объятья святому Блезу так, будто бы они трахаются, и отвечает на наши приветственные улыбки, просунув язык между двух пальцев.

Публика уже начинает кипятиться. Макафи забирается на стул и заводит песню, которую подхватывают все остальные: *Сиськи, сиськи, сиськи.* Если кто-то, кого могли ввести в заблуждение рубашки с воротничком и бирочки с именами, поначалу и думал, что событие намечается тихое и мирное, то теперь стало ясно как день, что подобные мысли можно смело засунуть себе в жопу.

– Ну да, ты же знаешь, что сиськи буквально сводят нас всех с ума, – говорю я.

– Он дело говорит, – поддерживает меня Бобби Джеймс.

– Я все понимаю. Просто мне бы хотелось, чтобы после того, как мы закончим, уцелело хоть что-нибудь из мебели. Все просто ошалели, когда я сказал, что моя сестра собирается устроить живую презентацию, – говорит Шеймас.

– Шутишь, – с восторгом выдыхаю я.

У Шейлы О'Шоннеси коровьи сиськи номер четыре. Ошибочка. Номер пять.

– Никаких шуток, – говорит он.

– И как ты ее уломал? – спрашиваю я. – Обещал ей заплатить?

– Нет. Я сказал ей, что двадцать парней будут смотреть, как она снимет лифчик.

– А, все понятно, – говорит Бобби Джемс. – Я слышал, она еще та шлюшка.

– Хлебальник заткни про мою сестру, – говорит Шеймас. – Она согласилась на это во имя науки, в качестве соцнагрузки.

– Соцнагрузка. Может, пригласим ребят с государственного канала – пусть репортажик сделают.

– Не-а, не прокатит, я уже звонил им и предлагал. Отказались, – мрачно отвечает Шеймас.

– Черт, вот незадачка-то, – грустно замечает Джеймс. – Генри, пойдем-ка поищем, где нам сесть.

— Стойте, — говорит Шеймас, — а где Гарри? Он на той неделе заплатил за вас и за себя.

— Не думаю, что он появится, — сообщаю ему я.

— Упускает шанс посмотреть на сиськи моей сестры? Он что, гомик?

— Сложно сказать, — Бобби Джеймс пожимает плечами.

— Что ж, деньги за билет я ему не верну. Я коплю на то, чтобы стать священником.

Мы садимся, кому-то говорим *йоу*, кому-то жмем руки и соглашаемся, что семинар получится просто супер. Шеймас приближается к подиуму. Итак, семинар "Сиськи Экспо 1984" будем считать открытым.

— В первую очередь я хочу поблагодарить всех за то, что пришли, — начинает он.

Аплодисменты. Реймонд Макафи встает и начинает свистеть и делать неприличные движения тазом.

— На свете слишком много несчастных телок, — продолжает Шеймас. — И не только здесь, на улице Святого Патрика, но и повсюду. Так почему же они несчастливы? Потому что ребята, которые пытаются залезть к ним в лифчик, на самом деле просто-напросто неуклюжие любители. Сегодня мы постараемся разобраться с этой проблемой.

Аплодисменты усиливаются. Макафи обегает всех собравшихся и всем дает пять.

— Спасибо тебе за рвение, Реймонд, — говорит Шеймас. — Оно крайне заразительно. Сегодня у меня по плану информативная неформальная и развлекательная программа. Мы будем говорить о лифчиках. Мы будем говорить о сиськах. Но это будет не простой разговор. Мы будем учиться на практике.

Толпа входит в раж. Макафи кувыркается через голову.

— И как я уже сказал вам заранее, моя сестра Шейла выступит с живой презентацией.

От оваций у меня начинают болеть уши.

— Но начнем мы с вопр. и отв. — говорит Шеймас. — Хорошо, Реймонд, давай ты первый.

— Когда твоя сестра собирается выйти и показать нам свои сиськи? — спрашивает тот.

— Уже довольно скоро. Еще есть вопросы? Да, вы, в заднем ряду.

— Твоя сестра сейчас дома?

— Ага, — говорит Шеймас. — Кто еще? Спрашивайте, смелее.

— Нижнее белье уже на ней?

— Не могу точно сказать. Еще вопрос. Да, сэр?

— Можно я помогу ей расстегнуть лифчик, когда она выйдет?

— Давайте все вместе взглянем на манекен, — вздыхает уже порядком подуставший Шеймас. — Кто-нибудь, пожалуйста, передайте ее сюда, — просит он, указывая на куклу, которая уже стоит на коленях перед святым Блезом с лицом, повернутым в ту сторону, где у того должен быть член. Святой Блез умиленно взирает на Небеса. Мы передаем куклу с задних рядов, при этом каждый, к кому она попадает во время своего путешествия по рукам, обязательно либо хватает ее за грудь, либо задирает ей юбку. Наконец, она доходит до Шеймаса, который хмурясь поправляет на ней блузку, что твоя мамаша.

— Это форма гимназистки из католической гимназии, — торжественно объявляет он. — Эта вещь — не что иное, как искусный замысел попов и монашек, *цель* которого — спрятать от вас сокровища, скрытые внутри. — Шеймас пристально смотрит на нас. Больше никакого тупизма. Все понимают, что это, бля, серьезная проблема, требующая серьезного, бля, подхода. — Гениальность замысла заключается всего лишь в следующем: сзади одна длинная молния, вот и все. Она может быть либо застегнута, либо расстегнута. Руке неудобно шарить в области сисек, даже если вы сидите внизу, а родители наверху и заняты приготовлением коктейлей. Остается лишь раздеть полностью. Но только недоумок или псих станет это делать.

— Так в чем же секрет? — спрашивает кто-то.

— Секрет в том, что нет здесь никакого секрета, — отвечает Шеймас, которому в равной степени отвратителен как вопрос, так и сама тема обсуждения. — Форма католической гимназии непреодолима. С тем же успехом вы можете пойти и поцеловать вашу собаку. — Шеймас снимает форму с манекена. Мы свистим. Двое зрителей — меня в их числе нет — вырубаются на месте. Шеймас набрасывает снятую форму святому Блезу на лысую голову. Мы хлопаем. Он напяливает на куклу футболку и шорты — возгласы неодобрения — и пишет на доске слова ТЕРПЕНИЕ и МЯГКОСТЬ. — Есть два ключа к тому, чтобы снять лифчик. Требуется терпение. И нужно делать все мягко.

Близится время обеда, и папаши плетутся по улице с термосами и свернутыми в трубочку газетами в руках мимо видавших виды машин, припаркованных вдоль забитых народом обочин, слишком усталые, чтобы нас заметить. Фрэнсис Младший и Фрэнни без улыбки приветствуют друг друга и поднимаются по общим для них обоих ступенькам к дому Тухи. Ни единого взгляда в мою сторону. Семинар гудит так, что Шеймасу уже его не перекричать.

— Я говорил с телками из района. Их бесит, что мы лапаем их сиськи, словно какие-нибудь троглодиты. На дворе уже 1984-й. Они хотят уважения к себе, — кричит Шеймас, безуспешно пытаясь перекрыть наш общий клич *Сиськи, сиськи, сиськи.* Потом он меняется на *Шейла, просим, Шейла, просим, сиськи давай, базар кончай, сиськи давай, базар кончай.* — Сначала проведите ей рукой по спине. Слегка потрите спинку. Это ее расположит к вам и даст понять, что вы готовы поработать за награду. — *Лифчик долой или деньги назад, лифчик долой или деньги назад.* Бобби Джеймс протягивает Макафи полицейский мегафон своего отца, чтобы добавить выкрикам руководителя хора звучности. *Лифчик в два приема, лифчик в два приема.* — Скажите ей что-нибудь приятное. Мало-помалу настраивайте ее на нужный лад. — Шеймас, закрыв глаза, шепчет что-то на ухо манекену. По-моему, сунул язык кукле в ухо, или мне кажется? Он что, потеет? *Выходи и снимай, выходи и снимай.* — Когда решите, что она уже готова, перемещайте ладонь со спины вперед, — голос Шеймаса обрывается. Пот льет с него градом, как со свина в морозильнике для мяса. Он *хочет* эту куклу. *Никаких рубашек, Шейла, никаких рубашек, Шейла.* Почти все уже стоят ногами на стульях. Шеймас ничего этого не замечает, его рука уже на полпути у куклы под футболкой.

— К черту! Шейла, выйди, пожалуйста. *Шейла, сиськи покажь, Шейла, сиськи покажь,* — кричит он вместе со всеми.

Дверь открывается, появляется Шейла. Крики разом обрываются, будто игла соскочила с пластинки. Следует добрая минута нервных и восторженных, от всей души, аплодисментов. Вот, наконец, и главная изюминка (изюминки?). Публика уважительно ее приветствует.

– Йоу, парни, – говорит Шейла. Ей пятнадцать, темные волосы, майка и джинсовые шорты... конечно, немного полновата. Но это ничего; хороший загар и ее сиськи, ну, в общем, о них я уже упоминал. Мы в раю, друг мой. Добро пожаловать на Остров Фантазий.

Йоу, Шейла, как дела, покажи нам, пожалуйста, сиськи.

– Я думала, Шеймас, мы сначала будем учить их, как расстегивать застежку на лифчике, – говорит она.

– Планы изменились, – говорит Шеймас, дрожа всем телом. – Теперь мы просто хотим посмотреть на сиськи. Дай помогу тебе снять рубашку, – с этими словами он со скоростью хоккеиста, врубающегося в центр драки, через голову стягивает с нее майку. Сиськи – еще только что безмятежно покоившиеся в лифчике – высовываются подышать воздухом Филли и, словно два безупречных и бледных воздушных шара, взмывают в небо над холодным и грязным городом. *Бабах.* Аллилуйя, аллилуйя. Двое ребят у меня за спиной всхлипывают. У меня подгибаются колени, и я издаю невнятный звук, но в остальном держусь стойко и не теряю сознания. Бобби Джеймс говорит мне *Держи меня, Генри.* Так я и делаю.

Неожиданно из дома вылетает миссис О'Шоннеси (с такими же прекрасными, как и у Шейлы, сиськами). В одной руке у нее банка с пивом, в другой – лопаточка для торта, а на лице выражение под стать упившейся телке, которая, выйдя из двери своего дома, видит следующее: ее собственный сын тискает за сиськи ее собственную дочь; два десятка парней улюлюкают, стоя на стульях; святой Блез прикинул на себя форму гимназистки. Она стремглав бросается к статуе.

– Кто надел на святого Блеза эту школьную форму? – в ужасе восклицает она. – Совсем больные, что ли?

Она срывает форму со святого Блеза и целует кольцо на его руке, чтобы тот все простил. Мистер О'Шоннеси с волосами, мягкими как брилло[1], выходит следом и оглядывается по сторонам.

– Ты что, мое пиво схватила? – спрашивает он у жены. – Когда будет обед?

Ах, эта жизнь на улице Святого Патрика. *Пофиг, что у нас на газоне проходит семинар по снятию лифчиков; кто напялил на святого платье, зачем схватила мое пиво и когда будет обед?*

8

– Фрэн, сколько у тебя в кошельке осталось? – спрашивает Сесилия Реджина (Фицпатрик) Тухи, родившаяся 1 апреля 1945 года, младшая из пяти сестер в семье, где отец пил и ходил налево, а в итоге вообще ушел от ее суицидентки-матери. Семья Фицпатриков жила на улице Святого

1. Фирменное название мочалок из тонкой стальной проволоки для чистки металлической посуды производства фирмы "Джонсон уакс".

Доминика в приходе Святого Бернарда, недалеко, наверное, кварталах в десяти к югу отсюда. Сесилия была озлобленным ребенком и все детство провела, вытаскивая мамину голову из духовки, стрясая мелочь с одноклассников и покупая на это бабло, а также на те деньги, что посылал ей по почте отец, пластинки с рок-н-роллом, которые потом пускала на полную мощность за запертой дверью своей комнаты.

— Не знаю, может, баксов пять, — отвечает Фрэнсис Младший, родившийся 1 апреля 1944 года, старший из пятнадцати братьев и сестер. Его отец, отучившийся два года в семинарии, пока не выгнали, днем разносил почту, а вечерами ошивался возле приходских монашек и священников. Его мамаша была занята тем, что штамповала детишек или приходила в себя, отлеживаясь на диване дома на улице Святого Игнатия в приходе Святого Патрика, недалеко, кварталах в пятнадцати к югу отсюда. В итоге его неудачник-отец всю жизнь просидел на шее у своих детей. В жизни самого Фрэнсиса Младшего не было ни дня, когда не приходилось вкалывать, так что лучше и не спрашивать его об этом.

— Пять баксов? Ты ж только что с зарплаты, — сетует Сесилия, бросает ручку на стол и с досадой трет глаза. Она познакомилась с Фрэнсисом Младшим 25 марта 1960 года на свидании вслепую. Тогда ей было всего пятнадцать, и гулять с парнями ей запрещали, поэтому ее подруга организовала им свидание на углу в двух кварталах от дома. Сесилия стояла и ждала Фрэнсиса Младшего, который опаздывал и был порядком под кумаром. *Где шляется этот гребаный уродец? Наверное, явится, а от него спиртягой несет, рыло расквашено и лифчик на пальце болтается.*

— Сесилия, я принес пиццу, себе оставил пять баксов, а все остальное отдал тебе, — говорит Фрэнсис Младший, который тогда припарковался не у того угла и там ее и ждал. *Вечно эти бабы опаздывают*, думал он, *а я вот нет. Я всегда прихожу вовремя. На меня-то как раз можно положиться. Предполагается, что я весь день должен пахать как вол, и даже сверх того, но ведь так я и делаю на самом деле. А вот другие – те нет, ленивые ублюдки.*

– Что-то не сходится, Фрэн. Я так все счета не покрою, — говорит Сесилия, которая в тот, первый, день нарезáла по району в платье в цветочек, буквально пылая от ярости, охотясь за своим суженым, которого уже прождала битый час впустую. Она нашла его спящим в машине в рубашке с воротничком.

— Ну заплати часть на этой неделе, а часть на следующей, — говорит Фрэнсис Младший, который тогда проснулся оттого, что Сесилия принялась молотить в дверь машины, чтобы привести его в чувство. Он опустил стекло.

— Я уже так делала в прошлый раз, помнишь, Фрэн? Или ты тогда был на другом конце квартала? — говорит Сесилия, которая выбила ему передний зуб, как только он опустил стекло, в первую же секунду их первого свидания, даже до того, как они успели хоть что-нибудь сказать друг другу.

— Сесилия, оставь меня в покое, — говорит Фрэнсис Младший, не отрываясь от телика.

— Да пошел ты, — говорит она, глядя прямо на него.

Добрый вечер, как всегда в пять вечера с вами Хроника происшествий. Кратко основные темы сегодняшнего выпуска: пятнадцать полицейских открыли огонь по безоружному черному подростку, сейчас за

его жизнь борются врачи больницы "Темпл юниверсити" в Северной Филадельфии. Двое детей погибли при пожаре, вспыхнувшем в типовом доме в Западной Филадельфии. Президент Рейган счастливо избежал инцидента с бомбой в Белом Доме. Сегодня день зарплаты и вечер пиццы в доме у Тухи. У них в гостях Арчи О'Дрейн, Гарри Карран, Бобби Джеймс и несравненная Грейс Макклейн, а также Фрэнни, Стивен, Генри и Сес Тухи — поедают кусочки пиццы с бумажных тарелочек, наблюдают как всегда занимательный кипеж в исполнении Фрэнсиса Младшего и Сесилии, да и сами не забывают подпустить огоньку.

— Бобби Джеймс, — говорит Фрэнни, — это у тебя что на тарелке — жвачка?

— Ага, — отвечает Джеймси, который сидит на диване рядом со мной, между двух Фрэнсисов.

— Ты что, потом ее же собираешься жевать? — спрашивает Фрэнни.

— Ага, — отвечает Бобби, отрываясь от книги ("Пригнись, мат летит!", биография Битлз), — на сладенькое.

— Почему бы просто не выкинуть эту и не достать новую?

— Никак невозможно, — говорю я, отрываясь от своей книги ("Матперемат!", биография Джерри Ли Льюиса), — у него мало осталось.

Фрэнни, который сейчас перевернул Бобби вверх ногами и вытрясает из его карманов дюжины и дюжины "Базук", родился 25 декабря 1960 года, ровно через девять месяцев после первого свидания Фрэнсиса Младшего с Сесилией. В школе был круглым троечником, разносил воду спортсменам и ни разу и рядом с телкой не стоял, за исключением тех случаев, когда какую-нибудь из них бросал крутой бойфрэнд и ей нужна была жилетка, куда высморкаться. Два его важнейших триумфа — это успешная сдача экзамена на должность почтальона и в целом достойная роль любящего сына в семье. В остальном же он, по меткому выражению Джеймси, полное угробище.

— Угробище? Все слышали? Бобби Джеймс обозвал меня угробищем, — говорит Фрэнни.

— А ты угробище и есть, — бормочет Стивен, который сейчас сидит за столом в гостиной, а родился 25 июня 1966 года. У Стивена было все, чем природа обделила Фрэнни: красота, обаяние, чувство юмора, светлая голова и успéхи в спорте. И родители всегда уделяли ему больше внимания. Они вполне могли сидеть в гостиной и умильно хлопать трехлетнему Стивену, когда у того получался крученый удар детским футбольным мячом, пока Фрэнни пропалывал газон на улице.

— Никакое он не угробище. Он у нас просто уродская дева, — говорю я, который родился 15 августа 1971 года. Я выбрался из Сесилии с вопросом к акушеру, держит ли послед прическу так же, как гель, или нет. Пока Сесилия ждала в аптеке предписанных ей лекарств, я прямо тут же рядом пел, плясал и вообще всячески валял дурака. Я мочил коры и жалил как оса. Моя прическа внушала уважение всегда и всем, даже быкам на улице. Я был рожден для рока, а если не для рока, то для спасения заблудших душ, а если и не для рока, и не для спасения заблудших душ, то для того, чтобы смешить всех вокруг.

— Да что вы спорите, ребята? Фрэнни и то, и другое, и даже еще того хуже, — говорит Сес, которая стоит позади Арчи, вцепившись руками ему в горло. Сесилия Реджина Тухи Младшая родилась 15 августа 1976

года во время грозы. Линию электропередачи перерезало, свет погас, а у Сесилии уже отошли воды. Она сказала мне из ванной, чтобы я нашел кого-нибудь из взрослых с машиной. Первым, кто попался мне навстречу, был Фрэнсис Младший. Он был при исполнении и отказался пренебречь служебными обязанностями, так что мне пришлось притащить с собой мистера Джеймса, который был занят тем, что уговаривал миссис Магон отпереть дверь мистеру Магону. Он отвез нас в больницу на полицейской машине с включенной сиреной; нам с Бобби Джеймсом обоим было по пять лет, и мы всю дорогу орали *Помогите, помогите, у нас беременная, у нее отходят воды.* Через десять минут после того, как мы добрались до места, родилась Сес. Я был первым в семье, кто ее увидел. С того момента и по сей день я просто без ума от нее. Мы по жизни всегда вместе.

– Можешь прекратить меня душить? – полупридушенным голосом спрашивает красный как рак Арчи.

– Нет, не могу, пока ты, жопа, не скажешь мне, какая я красивая, – приказывает она.

– О'кей, – с трудом выдыхает он, – ты, жопа, красивая. Всё, довольна?

– Ладно. Все равно теперь очередь Грейс, – говорит она ему.

– Эй ты, жопа, – говорит Грейс, обращаясь к Сес, – хочешь, я придушу эту жопу?

– Да, жопа, будь так добра, – смеется Сес, глядя, как Грейс душит Арчи, – так тебе, жопа, и надо.

– Так, и какого ж черта мы все тут ругаемся? – говорит Сесилия. – Фрэн, скажи им.

– Сесилия, не видишь – я ем. Фрэнни, ты сегодня во сколько вышел?

– В десять, – говорит Фрэнни.

– Легкий день? – спрашивает его Фрэнсис Младший.

– Нет, тяжелый. Разносили рекламу кабельных каналов.

– Что, много было?

– Прилично.

– Сколько?

– Тебе точное число назвать? – переспрашивает Фрэнни.

– Нет, количество листовок на каждый дом, – говорит Фрэнсис Младший.

– Три на один.

– Да, блин. И во сколько закончил разносить?

– В двенадцать тридцать.

– Тогда где перекрывался?

– Здесь, что, не помнишь? Ты был, ммм, наверху.

– А, ну да.

– Что, укусила за ногу?

– Угу.

– Сегодня?

– Угу.

– Где?

Фрэнсис Младший указывает на входную дверь, за которой рычит Флэггарт, явно обращаясь лично к нему.

— Может, впустишь собаку, Фрэн? — спрашивает Сесилия из-за стола.

— Нет, — отрезает он. — Стивен, а ты когда сегодня заканчиваешь работу?

— Оставь Стивена в покое и впусти собаку, Фрэн, — говорит ему Сесилия.

— В гробу я видал эту собаку. Стивен, я спросил, во сколько ты заканчиваешь работу?

— Тебе обязательно к нему лезть? — говорит Сесилия со злостью в голосе.

— Как хочешь, можешь и не отвечать, — говорит Фрэнсис Младший. — Я сам знаю во сколько. В одиннадцать. Так что жду тебя домой в пять минут двенадцатого.

— Фрэн, заткнись и отвяжись от него, — набрасывается на него Сесилия.

— В пять минут двенадцатого, Стивен. Усек? — повторяет Фрэнсис Младший.

Сес бьет Арчи щеткой по голове. Грейс отбирает у нее щетку и тоже припечатывает его. Фрэнни обменивается тычками с Бобби Джеймсом. Гарри углубился в "Форбс". С улицы рычит Флэггарт. Я причесываюсь. Стивен с грохотом отодвигает свой стул от стола. Сесилия говорит ему: полегче на поворотах, а то мало, что ли, вы двое вчера ночью мебели расхерачили? Телик плюется кадрами с чужих войн, интервью с девочками в бикини, программами по домоводству, картинами пожаров, затем прогнозами погоды — такая-то сегодня и такая-то завтра, кому какая на хрен разница?

Стивен, говорит Фрэнсис Младший, когда будешь выходить, не смей шарашить дверью. *Шарах.* Черт бы тебя побрал, Стивен, говорит он. В пять минут двенадцатого, или я сменю замки.

Оставь его, Фрэн, думай, что говоришь.

Черта с два я не думаю, что говорю, Сесилия.

Что насчет платежек? Мы можем с тобой потолковать о деньгах?

О чем тут толковать, Сесилия? Ты все спускаешь начисто. У меня сверхурочные, я ничего себе не покупаю, и я же еще виноват. Почему бы тебе не устроиться на работу?

На работу? Я четверых детей вырастила. Двое все еще в школе. Нет, пятерых. Мне достался еще один в инвалидном кресле, которого я приютила потому, что его гребаные родители сами не в состоянии им заниматься.

Заткнись-ка лучше, Сесилия. Ты что несешь при ребенке?

Ой, сам прикуси язык, жопа. Он прекрасно понимает что почём. Я отлично о нем забочусь.

У тебя нет права гнать такое дерьмо, просто не имеешь права, и все.

Хрена там, не имею права. Еще как имею.

Да, Сесилия, ты, конечно, имеешь право рассекать в коротеньком платье как шлюха.

Сам ты шлюха, Фрэн, ты и твоя сучка Куни.

Не смей так ее называть.

Ах, так мы ее еще и защищать будем? Ты что, правда думаешь, она тебя любит?

Я вообще не понимаю, о чем ты. Перестала, что ли, принимать валиум?

Нет, осел, я перестала принимать литий, но сегодня брала валиум, и еще готова взять, если на то пошло. Хочешь, чтобы я им объелась, чтоб потом можно было переехать к этой сучке?

Сесилия, опять ты употребляешь это слово. Ты больная стерва, вот ты кто, и, надеюсь, сама это знаешь.

Это я больная? Ты лупишь собственного сына почитай каждый вечер.

Мы теряем его, Сесилия.

Так давай его бить поэтому?

С ним надо построже.

Правильно, так держать.

Когда мне было восемнадцать, я не шатался по улице пьяным, у меня была семья и дети, которых нужно было воспитывать, и я не спускал деньги на бухло и не стоял на помойке и не напивался и не проливал над собой слезы. Мне было некогда развлекаться.

Так ты что, бля, медаль за выдержку захотел? Твои проблемы.

Иди на хрен.

Сам иди на хрен.

Отвали.

Иди поплачься к своей сучке, ты, кусок дерьма.

Пошла на ҳер, наркоманка.

На этой ноте я в срочном порядке объявляю о начале репетиции группы "Филобудильник" наверху.

Первым делом нужно раздать по жевательной сигарете каждому, кто играет в группе. Сес достается целых две, потому что она у нас сидит на барабанах и не слишком много поет. Грейс не достается ни одной, потому что она и без того уже курит у Сес в комнате. Завершив раздачу сигарет, я захожу в комнату Сесилии. Сперва заимствую у нее несколько пластинок. Затем лезу в верхний ящик ее стола за бананообразным вибромассажером, запрятанным под кипу трусиков. Арчи — он у нас поет все главные партии — использует его вместо микрофона и губной гармоники.

Ударная установка Сес состоит из картонной коробки и двух резиновых костей для собаки. Сейчас, на разогреве, она молотит костями по коробке раза в два тише, чем когда мы начинаем играть по-настоящему. Бобби Джеймс настраивает бас, то бишь измерительную линейку, и сквозь густые клубы сигаретного дыма протягивает мне мою двенадцатиструнную акустику (тоже линейка) со словами "Держи, приятель". Арчи пробует гармонику, настраивает ее, подносит поближе к носу и, ни к кому конкретно не обращаясь, жалуется на то, что она странно пахнет. Я настраиваю свою двенадцатиструнку и от нечего делать исполняю пару мелодий "Бёрдз".

Комната теряет краски и становится вся черно-белая. Вместо обычной одежды на нас теперь одинаковые серые костюмы с белыми рубашками и узкими черными галстуками, даже на Сес. Ее комната превращается в студию шоу Эда, бля, Салливана. Эд со сцены обращается к двум сотням визжащих от восторга телок с просьбой заткнуться на фиг. Он говорит им, что сейчас на сцену выйдет группа, по сравнению с кото-

рой Битлз смотрятся будто какое-нибудь "Кингстон трио", которое, как мы все знаем, в полнейшем отстое. Их первый альбом *Забей на дебилов, слушай "Филобудильник"*. Количество продаж по всему миру на шесть штук больше, чем все население Земли. Пластинок со вторым их альбомом *Причешись-ка!* в мире продано на десять больше, чем с предыдущим. И сегодня они пришли сюда, чтобы познакомить нас с последней своей пластинкой под названием *Хрен знает че, но охренеть как горячо.* Прямо из Филадельфии, штат Пенсильвания, перед вами выступает группа "Филобудильник". Занавес поднимается. Телки визжат и срывают с себя свитера из ангорки и юбки в придачу. У меня встает.

Первая песня — "So What?" группы "Лирикс" с небольшой поправочкой на то, что сейчас это не их песня, а наша. Мы играем громко, быстро и вообще жжем так, что в аду позавидуют. Рок-н-ролл не для дружбы, Фред. Мы играем, чтобы заглушить шум, доносящийся снизу. Арчи рявкает в жужжащий банан. Бобби Джеймс надувает пузыри и неистово рвет свой бас. Сес подбрасывает и ловит в воздухе резиновые кости, а затем выбивает дух из коробок. Я улыбаюсь и подмигиваю девчонкам в партере. Парочка лифчиков приземляются мне на голову. Гарри стоит сбоку у края сцены в черном костюме и черной ковбойской шляпе. Он хлопает в ладоши и кричит *Веселей* и *Давай-давай*. Грейс смеется и курит. Тут песня заканчивается. Бобби Джеймс вышвыривает Арчи из кресла по направлению к барабанной установке. Девчонки всей толпой рвутся на сцену, опрокидывают Эда Салли и несутся к нам, чтобы сорвать с нас одежду. Но в тот момент, когда они уже вот-вот нас настигнут, мы меняем декорации.

На стадионе в Филадельфии аншлаг. Бобби Джеймс поет главную партию в песне ЭйСи-ДиСи "Have a Drink on Me", с одной только маленькой поправочкой, что сейчас это наша песня, а не их. Как только закончим — пусть хоть подавятся ею. Вместо строгих костюмов на нас теперь черная кожа. У всех (за исключением меня) волосы спереди короткие и торчком, а сзади длинные патлы. Каждые десять секунд на сцене загораются фейерверки. Пока мы играем, над сценой парит огромный надувной сатана. Хлыщи в зале держат над собой горящие зажигалки. Девчонки забрасывают меня трусиками. Песня заканчивается. Бобби Джеймс откусывает голову плюшевой кукле с полки с игрушками и добивает ее гитарой с декой в форме V. Затем он опрокидывает Арчи, и тот летит из кресла на еще не остывший труп. Это выводит копов из себя — эти свиньи забираются на сцену и начинают буйствовать.

"Грэнд оул опри"[1]. Арчи Опоссум Джонс[2] и Сес Уинетт[3] поют дуэтом песню "Two-Story House". У Арчи густые бараньи бакенбарды, на нем оранжевый смокинг и рубашка в рубчик. Сес одета в бальное платье в тон к смокингу, на лице соответствующий макияж. На басу Бобби Джеймс в спецовке. Я тоже в спецовке и играю на скрипке. В конце песни Арчи и Сес берутся за руки. В зале все как один хлещут самогон, палят

1. Знаменитая радиопрограмма музыки кантри; начиналась в 1925 г. как одна из многочисленных программ, передающих сельские кадрили; к 50-м превратилась в известное музыкальное шоу "Грэнд оул опри" в составе 120 человек.
2. Опоссум Джонс (наст. имя Джордж Гленн Джонс; р. 1931) — известный в Америке исполнитель музыки в стиле кантри, с 1956 г. участник шоу "Гранд оул опри".
3. Тэмми Уинетт (1942–1998) — исполнительница песен кантри, с 1967 г. регулярно выступала с концертами, по телевидению и в радиопрограмме "Грэнд оул опри".

в воздух из винтовок и орут *Йиихаа* до тех пор, пока не завязывается драка. Мужики ломают стулья об головы своим беззубым широкозадым подругам. Полковник Гарри просит нас сыграть что-нибудь спокойное, чтобы утихомирить толпу, но ничего не помогает, и мы мотаем оттуда.

Следующая песня: мы с Грейс поем "Solid" Эшфорда и Симпсона из альбома "Soul Train". На Сес, Арчи и Бобби Джеймсе парашютные штаны и толстовки с капюшонами и без рукавов. Они играют и по очереди фланируют в глубину сцены и обратно. Мы с Грейс тоже не стоим столбом и колбасимся взад-вперед с микрофонами, а в это время народ танцует на помостах и двое ребят соскребают краску с табло с символикой "Soul Train", обнажая скрытую под ней надпись ФРЕДДИ ДЖЕКСОН.

И последняя: группа "Пэртридж фэмили", песня "C'mon Get Happy". Мы превращаемся в мультяшных персонажей. На нас полосатые штаны на подтяжках и замшевые жилеты. Мы все вместе, синхронно, танцуем на облаке на фоне сияющей радуги и поющих птичек. Мы хлопаем в ладоши и смеемся, нам не слышно, как дерутся внизу. Песня заканчивается. Потные и довольные, мы обнимаемся, даем друг другу пять и спускаем Арчи вниз по лестнице.

В гостиной тихо. Оба Фрэнсиса смотрят телевизор: Фрэнсис Младший параллельно жует шоколадный батончик, а Фрэнни лузгает семечки. Фрэнсис Младший скачет по каналам, переключаясь то на "МЭШ", то на игровые шоу, то на "Счастливы вместе"[1], потом останавливается на игре "Филз". Сесилия шмыгает носом и плачет, сидя за обеденным столом. Сес подбегает, прыгает к ней на колени и гладит ее по волосам.

Бобби Джеймс, Гарри и я смотрим на все это не говоря ни слова, словно солдаты, проплывающие на лодке мимо сожженной вьетнамской деревни. Здесь мы ничего уже не сможем поделать. Взрослые дерутся друг с дружкой, и до детей им нет никакого дела. Мы вываливаемся из дома, чтобы веселиться, смеяться и играть в "Свободу". После заката в доме Тухи становится совсем невесело. Одни только скачки по каналам да хлюпанье носом.

9

На прошлой неделе Бобби Джеймсу пришла в голову идея украдкой попереключать пультом каналы в домах на улице Святого Патрика. Он выступил с этим предложением, когда мы с ним и с Гарри играли в "Суицид" за стеной школы Святого Игнатия. "Суицид", в просторечье "Сьюи", — игра, в которой двое или больше ребят по очереди швыряют теннисный мяч об стенку, а затем ловят его. Если мяч отлетает от стенки и его в воздухе ловит кто-то другой вместо кинувшего, то последнему нужно бежать к стене, отстучаться и крикнуть "Сьюи". Но пока он этого не сделал, всем остальным можно лупить мячиком прямо ему по жопе, по башке — куда хочешь, бля, туда и долби. То же самое, если уронил отскочивший от земли мяч, брошенный об стенку кем-то другим. Бежишь к стене, кричишь "Сьюи" и одновременно выковыриваешь из задницы двадцать теннисных мячей.

1. "МЭШ" — сериал про военно-полевой госпиталь во время войны в Корее; "Счастливы вместе" — ситком.

В тот знаменательный день мы втроем кидали мячик об стенку, с трех сторон окруженные кладбищем. Классы смотрят во двор двенадцатью большими окнами, по шесть на этаж, так что мячом стучали по кирпичной кладке между ними. Мы с Бобби Джеймсом кидали мяч и беседовали о нашей с ним любви к пультам и кабельному телевидению. А Гарри, у которого руки-крюки, был занят тем, что ронял мячи, отскочившие от земли, носился к стенке и обратно и бодался с мячом, когда Бобби Джеймс запускал им ему в голову. Так продолжалось до тех пор, пока Гарри не уронил очередной мяч и не отфутболил его ногой в траву с целью выиграть время для того, чтобы добежать до стены, что является грубейшим нарушением правил, — так поступают только последние сопляки. За это полагается свободный удар, а это, в свою очередь, значило, что Гарри должен стоять по стойке смирно лицом к стенке, хныкать и ждать, пока Бобби Джеймс запулит ему со всей дури мячом по заднице. Идея про пульты осенила Бобби Джеймса непосредственно перед броском. Пока Гарри молил о пощаде, Бобби Джеймс обвел глазами кладбище, сперва взглянув на семейство прямо у нас за спиной, пришедшее навестить покойника, а затем на Стивена, склонившегося вдалеке над могилой Мэган.

— Знаешь что, Генри, — сказал он, не обращая внимания на хныканье Гарри, — ведь у всех же одинаковые пульты к телику. Можно взять один и переключать каналы через окна и двери.

— Джеймс, — с ухмылкой ответил ему я, — тебе, бля, за такую идею Нобелевская премия полагается. Давай, отшиби мячом ему задницу и айда домой разрабатывать план.

Но вместо этого дебил Бобби Джеймс угодил мячом прямо в окно, и мы дали деру с кладбища мимо кучки заводных пингвинов в смокингах. Понятно, что Гарри тут же принялся реветь, а Бобби Джеймс — быстро-быстро читать "Аве Марию". Мы не попались и страшной клятвой поклялись забыть все, что там произошло, кроме, конечно, задумки с переключением каналов. И вот, неделю спустя, мы стоим целой бригадой с пультом наперевес, в полной готовности провоцировать спонтанные приступы гнева в гостиных.

Промежуток между шестью и семью часами как нельзя лучше подходит для выполнения нашей задачи. Солнце еще не село, но это время суток — единственное, когда на улице нет ни души, поскольку все кругом заняты тем, что заканчивают ужин, смотрят телек и ждут, когда станет попрохладнее, чтобы можно было выползти наружу и посидеть на свежем воздухе, а заодно попить пивка, перекинуться в картишки и послушать игру "Филз", пока комары не налетели. Потом все снова возвращаются в дом к своим телевизорам.

Наша бригада состоит из меня, Гарри, Марджи, Грейс и Сес. Арчи нет с нами, потому что он не может лазить через перила и прочее; ему пришлось остаться у меня дома в ожидании, когда мы подкрадемся и начнем переключать там каналы. В нашем распоряжении пульт и "Программа телепередач", благодаря которой мы можем действовать вполне продуманно. Мы полагаем, что смешнее всего будет, если переключать на передачи, максимально противоположные тем, что люди смотрят в момент нашего вмешательства.

Пульт у Грейс. Сзади нее — Бобби Джеймс с "Программой телепередач". Следом я, потом Сес — держится за мою рубашку и хихикает без остановки. Марджи и Гарри составляют наш арьергард. Гарри висит на рубашке у Марджи и умоляет нас отказаться от этой затеи. У нас нет детального плана. Мы просто считаем, что лучше начинать по маленькой, с тех домов, где ни у кого не может оказаться ствола, хотя на большинстве дверей наклеены стикеры, где изображена рука с дымящимся пистолетом и надпись гласит: ДОМ СОСТОИТ ПОД ОХРАНОЙ ГОСПОД СМИТА И ВЕССОНА.

Первая остановка — у дома Мерфи, невзирая на хныканье Марджи. Единственное оружие здесь — хлыст миссис Мерфи, и цель у него только одна — голый зад мистера Мерфи. Приближаясь к веранде, мы слышим, как миссис Мерфи подпевает пластинке с оперой. Фальшивит безбожно. Грейс на цыпочках подкрадывается к распахнутой сетчатой двери и жестом зовет нас за собой. Мистер Мерфи сидит вплотную к телевизору и смотрит ток-шоу, в котором куча девок наперебой жалуются на своих гамадрилов-мужей. Бобби Джеймс листает программу.

— Пожалуй что "Все в дом" — лучше не придумаешь, — говорит он. — Седьмой канал.

Грейс переключает канал, и мы все тихо трещим. Арчи Банкер говорит, обращаясь к Эдит: *Нет, жена всегда говорит мне, что делать.* Мистер Мерфи вскрикивает: "Что такое?", хватается за пульт и переключает обратно на девок, которые все так же вопят про своих мужей. Грейс вертит обратно на Банкера. А там Арчи говорит: *Девчонкам на кухне самое место.* Мистер Мерфи со смехом оставляет все как есть. Только он устраивается в кресле поудобнее, как Грейс снова переключает на ток-шоу, и мы, хихикая, срываемся с места.

Следующая остановка возле дома миссис Мак Ка. Она смотрит вечерние новости по государственному каналу, очередной репортаж с Уолл-стрит. Грейс переключает на спортивный канал, где накачанные парни в шортах "Спидо" несутся наперегонки вдоль по берегу моря. Миссис Мак Ка выпрыгивает из кресла и скорее виновато, нежели удивленно начинает озираться по сторонам. Потом переключает обратно на Уолл-стрит. Грейс перещелкивает на "Мир Спидо". Миссис Мак Ка очумело смотрит на бегущих в замедленной съемке мускулистых придурков. Открывает банку пива, из которой течет струйка пены. Грейс возвращается на Уолл-стрит, и мы со смехом бежим дальше.

В доме у Гарри, где взрослые сидят с четырьмя его маленькими сестренками и смотрят какую-то туфту для малышей, Грейс переключает на откровенную постельную сцену в фильме для взрослых, и все тут же сматываются, все, кроме меня, потому что у меня встает. Я догоняю остальных у дома Малленов, где супруги Маллен смотрят, как монашка, стоя за кафедрой, что-то проповедует в камеру. Перед тем как нам всем убежать, Грейс переключает канал на ролик с группой "Мотли Крю".

Затем мы подбираемся к дому Куни. На этот раз в недовольных оказываюсь я, но все же предпочитаю молчать себе в тряпочку. В гостиной мистер Куни, эдакий медвежатина с шевелюрой настолько кудрявой, что можно подумать, будто это химическая завивка, пьет пиво и смотрит игру "Филз". Ральф сидит рядом с папой. Джон Денни, питчер "Филз", выводит из игры отбивающего. Мистер Куни обзывает Денни

бездарностью, и Ральф вслух с ним соглашается. Денни упускает дубль от стенки. Мистер Куни обзывает Денни задницей, и Ральф называет его задницей тоже. Из кухни появляется миссис Куни с тарелкой еды в руках, которую она ставит перед мистером Куни.

— Как на работе? — спрашивает она вяло, с выражением полного безразличия на лице.

— Тихо, игра идет, — раздраженно бросает он ей в ответ.

Грейс переключает на балет, идущий по государственному каналу.

— Что случилось? — спрашивает он, переключаясь обратно.

— Ах да, конечно, — говорит миссис Куни. — Прости меня, Берни. И Господь да простит тебя за то, что ты пропустил этот тачдаун.

— *Тачдаун? В бейсболе?!* Донна, что у нас сегодня с почтой? Мне должны прислать чек.

— Наверное, кто-то налажал, — говорит Ральф. — Небось *почтальон*, — продолжает он, пристально глядя на мать, — сегодня совсем запутался с адресами.

При счете 3:2 Денни подает, все базы заняты — Грейс переключает на балет.

— Да что же такое творится с чертовым телевизором? — уже в голос кричит мистер Куни и переключает обратно, аккурат чтобы увидеть, как Денни дает всем пять и отправляется на скамейку запасных. — Такой страйк-аут пропустил. Что ты там бормочешь, Ральф?

— Я сказал, что наш *почтальон* читать не умеет, — говорит Ральф, по-прежнему не отводя глаз от матери. — Зато он отлично умеет кое-что другое.

— Заткнись, Ральф, — больше со злостью, нежели со страхом в голосе говорит ему миссис Куни.

— Донна, — спрашивает ее мистер Куни, — а что, Фрэн Тухи у нас по-прежнему почтальоном?

— Что-что? А, ну да. По-прежнему. Но чека он не приносил.

— Его сын, Стивен, пару лет назад был капитаном школьной сборной, да? — спрашивает мистер Куни, который, как и подавляющее большинство папаш, ровным счетом ничего не знает о жизни остальных семидесяти семи семей, протекающей в однотипных домах нашего маленького квартальчика, потому что он либо на работе, либо дома и пьет. Единственные, кто здесь в курсе всего, — это мамаши, дети да еще мой отец почтальон.

— Да, но только он потом сбрендил и все бросил, — говорит Ральф, которому приятно об этом лишний раз вспомнить. — Теперь только и делает, что пьет. И вообще он урод.

— Да как ты смеешь, Ральф, — взвивается миссис Куни. — Он очень славный парень.

— О да, Тухи они все такие славные ребята, правда, мам?

— Следи за тем, что говоришь, — искоса глядя на сына, говорит ему она. — Не забывай, что я твоя мать.

— Да уж, повезло, ничего не скажешь, правда?

Снова "Филз" на экране, но Грейс не переключает канал. Мы все стоим как вкопанные и глазеем на эту семейную сцену, которая становится еще отвратительнее, когда миссис Куни дает Ральфу пощечину. Тот сгла-

тывает слезы. Звучный шлепок заставляет мистера Куни перестать тупо пялиться на игру "Филз".

– Какого хрена ты его бьешь, Донна? – спрашивает он у жены.

– Да сука потому что, – Ральф передергивает плечами. Мистер Куни одним быстрым пугающим движением выдергивает из кресла свою жирную задницу и бьет Ральфа кулаком в рот. Ральф падает.

– Только я имею право называть твою мать сукой, – говорит он, садясь обратно в кресло. Ральф плачет на полу.

– Очень мило с твоей стороны, Берни. Что за прекрасный муж и семьянин, – говорит ему миссис Куни.

– Смотри-ка, разговаривать как научился. Почему бы вам обоим не оставить меня в покое? Хватит с меня того, что я женился на тебе и в итоге получил недотепу-сыночка, который только и знает что смеяться над капитанами футбольных команд. Донна, вали на кухню, порешай кроссворд, позвони подружкам, займись чем хочешь, только меня не трогай. – Миссис Куни топает на кухню, снимает трубку и начинает набирать номер. – Ральф, прекрати реветь. Это я еще жалеючи. Скажешь так еще раз – вообще без зубов останешься. А теперь выметайся на хрен отсюда, и, если встретишь кого-нибудь вроде Стивена Тухи, держись к нему поближе, авось чему и научишься.

Ральф бежит к двери. Мы перепрыгиваем через перила на соседнюю веранду и прячемся за мангалом для жарки барбекю. Ральф в слезах сбегает вниз по ступенькам и бежит прочь по улице Святого Патрика в сторону Ав. Когда он скрывается из виду, мы переходим на другую сторону и идем по направлению к моему дому. Сесилия сидит, откинувшись на спинку дивана, забросив свои длинные сексапильные ножки на кофейный столик. По телеику идет шоу, в котором плохо постриженные неудачники с белоснежными зубами задают дебильные вопросы дебильным кинозвездам после премьеры очередного дебильного фильма. Арчи в своем инвалидном кресле сидит рядом с Сесилией и смотрит шоу, в то время как сама Сесилия следит за Фрэнсисом Младшим, который стоит на кухне, разговаривает по телефону и, красный от смущения, накручивает на палец телефонный шнур. Дав тысяч двадцать односложных ответов, он вешает трубку, возвращается в гостиную и садится в кресло.

– Кто звонил, Фрэн? – спрашивает Сесилия.

– Да так, никто. Один парень с работы, – отвечает он ей, не отрываясь от ящика.

Грейс переключает на шоу, где несколько вроде как иностранцев танцуют под звуки дохленькой мелодии, которую им наигрывает на говенном бамбуковом казу какой-то беззубый бородатый ублюдок.

– Что такое с кабелем? – говорит Сесилия, переключаясь обратно на шоу с зубастыми американцами. – Так кто, говоришь, звонил?

– Денни Доллар с работы, – отвечает он, ерзая в кресле.

Грейс переключает опять, и вот снова перед нами наездники на верблюдах, танцующие жигу, и никаких зубов, и никакой Америки.

– Господи, да что ж такое стряслось с этим кабелем? – говорит Сесилия. Щелк. Опять шоу. – Да? И чего хотел?

– Да чего ты привязалась ко мне? – постепенно свирепея, спрашивает Фрэнсис Младший.

— Спокойно, приятель, — говорит Сесилия, заметив, что он слегка неадекватен. — Так и что же он от тебя хотел?

— Он, ммм, хотел поменяться со мной сменами на следующей неделе.

Щелк. Ход Грейс. Иностранцы откалывают коленца и бьют воображаемых мух у себя на лбу.

— На хрен этот гребаный кабельник, — Сесилия срывается на крик и швыряет пультом в телевизор. Я с трудом удерживаюсь, чтобы не вскрикнуть от ужаса. — Хрен ли тут смешного, Арчи?

— Нет ничего смешного, миссис Тухи, совершенно ничего, — смеется Арчи, а сам выглядывает нас за окном.

— Это что, Сесилия, официальное расследование, что ли? Мне пора звонить адвокату? — спрашивает Фрэнсис Младший. — Разве мне уже зачитали мои права и предъявили обвинение? Еще вопросы будут?

— Всего один, — говорит она. — Почему так получается, что, когда я вечером подхожу к телефону, кто-то все время вешает трубку, а как только подходишь ты, так сразу выясняется, что звонит кто-то с работы, у которого и мозгов-то столько нет, чтобы в кнопки на телефоне тыкать?

— Что, Сесилия, опять все по новой? — спрашивает он.

— Нет, просто хотела узнать, можешь ли ты мне ответить на этот вопрос. Спасибо, теперь вижу, что не можешь. — Грейс возвращается обратно на голливудское шоу. — Смотри-ка. Опять шоу показывает. Наш телик прямо как ты, Фрэн. Сначала шляется где ни попадя и меня заодно бесит, а потом возвращается куда надо как ни в чем не бывало.

Фрэнсис Младший встает и направляется к лестнице, ведущей наверх.

— Пойду приму душ.

— Никак на свиданку собрался? — интересуется Сесилия.

Фрэнсис Младший на ходу бормочет что-то вроде "отстань" и скрывается наверху.

— Может, хочешь посмотреть что-нибудь другое? — уже поднеся зажженную сигарету ко рту, спрашивает Сесилия у Арчи.

— Ага, — отвечает ей он, — по пятнадцатому "Лаверн и Ширли" идет.

Сесилия только еще тянется за пультом, а Грейс уже врубила нужный канал.

— Спасибо, — говорит Арчи.

— Нет проблем, он переключается сам. Похоже, у нас поселилось привидение, — смеется Сесилия.

— В смысле, спасибо, что разрешаешь мне быть тут с вами все время, — серьезно говорит ей Арчи.

В ответ она улыбается:

— Да не за что. Удивительно, как ты выдерживаешь весь этот шум.

— Я люблю, когда шумно, — отвечает он ей. — Зато здесь у вас ощущаешь, что живешь. И без всяких там привидений.

Она перебирает волосы у него на голове.

— Да, думаю, так оно и есть. Холодный чай будешь?

— Ага, буду, — отвечает он.

— Смотри пока свой сериал. А я тебе сейчас принесу.

Мы провожаем ее взглядом, а когда она скрывается в кухне, перепрыгиваем через перила на веранду к Фрэнни.

— Генри, у Фрэнни даже кабеля нет, — жалобно стонет Грейс, заглядывая к нему в окно.

— А, точно, и правда нет, — подтверждаю я.

— Ну и хрен с ним, — говорит она. — Двигаем отсюда. Вон народ собирается в "Свободу" играть.

Грейс, Марджи, Гарри и Бобби уходят играть. Я один остаюсь.

— Сес, пора домой, — зовет Сесилия уже с веранды.

— О'кей, мам, уже иду, — Сес обнимает меня. — Удачно поиграть, братишка, пока.

Перед тем как отправиться играть в "Свободу", я мельком заглядываю к Фрэнни в окно. В доме нет почти никакой мебели, если не считать большого черно-белого телевизора, дивана да висящей над теликом "Тайной вечери". Фрэнни и Стивен режутся в "Нашествие инопланетян" на приставе "Атари". Оба уставились в экран, где корабли пришельцев с нагоняющим сон звуком блип-блип-блип спускаются все ближе и ближе к их наземным пушкам. Параллельно оба пьют пиво. На Стивене его рабочая форма.

— Стивен, больше ты у меня перекрываться от работы не будешь. Сегодня последний раз, — говорит Фрэнни.

— О'кей, — вяло отвечает Стивен.

— Нельзя так дальше, ты понимаешь, о чем я?

— Да, Фрэнни, хорошо, я все понял. Если хочешь — уйду прямо сейчас.

— Да нет, я не об этом. Я рад, когда ты приходишь. Ты ведь мне брат. Я просто хочу, чтобы ты знал: я всегда готов тебя принять. Если вдруг захочешь поговорить. Я всегда выслушаю.

— Спасибо, — вяло отвечает ему Стивен, но и только. Дальше не ведется.

— Или, может, если не хочешь со мной, поговори с кем-нибудь еще.

— Это с кем же, мозговед гребаный? — говорит Стивен, и в его голосе, наконец, слышатся эмоции. — Нет уж, спасибо.

— Нельзя так и дальше, — говорит Фрэнни. — Ты должен забыть о ней.

— *Забыть* о ней? — переспрашивает Стивен с ожесточением, чуть ли не готовясь полезть с братом в драку.

— Я просто хочу помочь, — вздыхает Фрэнни.

— Тогда скажи папе, чтобы он перестал трахать миссис Куни, а заодно и от меня отвязался.

— Не твое дело, что у них там с миссис Куни.

— Это еще почему? — спрашивает Стивен. — Маме больно.

— Ты ведь даже не знаешь, может, это все чушь собачья, — говорит Фрэнни.

— Ой, не смеши, все кругом знают.

— Даже если и так, у тебя своих проблем хватает. Думаешь, если у мамы с папой все будет хорошо, и тебе лучше станет? Работа у тебя дерьмовая, да и все равно ты на нее не ходишь. Слишком много пьешь и каждый день часами торчишь на кладбище. Это ненормально.

— Да иди ты на хрен, ненормально, — говорит Стивен. — Там Мэган. Потому и хожу туда.

— Ее больше нет, Стивен, — говорит Фрэнни. — Будет и другая девушка.

— Сам-то ты чего в девушках понимаешь? У тебя их и не было никогда ни одной. Живешь через стенку от родителей и еще собираешься учить меня про девушек?

Фрэнни трет лоб кончиками пальцев:

— Прекрасно. Тогда, наверное, тебе лучше уйти.

— Нет проблем. Спасибо за пиво.

Стивен молча направляется к двери. Фрэнни уставился в экран и смотрит, как пришельцы приземляются на планете и отбирают у него все, что ему принадлежало. Я перелезаю через перила на нашу веранду. Стивен спускается по лестнице и идет в сторону Ав. Из дома Тухи слышится, как Фрэнсис Младший со второго этажа зовет Сесилию и спрашивает у нее: "Во сколько, Стивен сказал, его отпустят с работы?" И тут подошедшая сзади Грейс подбивает мне колени и бьет кулаком в грудь.

— Пойдем повеселимся, красавчик, — дымя сигаретой и улыбаясь, говорит мне она.

Я корчусь от боли. Любовь прекрасна, но и, бля, опасна тоже.

Лучше, чтобы Козюлька Джонс не ковырялся в носу. Когда играешь в "Свободу" — это правило номер один. Есть и другие. Не срезать путь через газон миссис Махаффи, а не то она чего доброго уложит нас наповал из своей воздушки. Не прятаться под машинами, если, конечно, не хочешь, чтобы тебя переехали. Не опрокидывать полные банки с пивом, стоящие на верандах. Ни в коем случае нельзя, чтобы тебя догнала и застучала телка. Есть и еще правила, менее важные. Игра в "Свободу" заключается в следующем: все делятся на две команды, члены одной догоняют, другой — убегают и прячутся. Нужно догнать и застучать, а потом отвести в тюрьму (к синему почтовому ящику на пересечении Святого Патрика и Эрдрика, прямо напротив моего дома). Те, что прячутся, должны прорваться к почтовому ящику незасаленными, дотронуться до него и громко крикнуть *Свобода*, чтобы освободить пленных. Если всех успевают поймать до этого, команды меняются местами: те, кто догонял, бегут прятаться, а те, кто прятался, начинают за ними гоняться. Нельзя забегать за дорожки, которые идут вдоль боковых и задних стен домов на улице Святого Патрика. Все эти правила очень важны, но есть одно, самое важное: Козюлька ни в коем случае не должен ковыряться в носу. Потому что, если он все же начнет это делать, на свет божий покажется нечто длинное и зеленое, при виде чего Бобби Джеймса незамедлительно стошнит и он уйдет домой. За это лето Козюлька и так уже обошелся нам в три игры в "Свободу", две в баскетбол, три в стикбол и две в уиффлбол, и это не считая пары фильмов и утренней мессы в 9.30.

Но пока все идет нормально. Я, Бобби Джеймс, Гарри, Грейс, Козюлька и Марджи, мы все в одной команде — в той, что прячется. За нас еще четверо ребят. Сегодня вечером большая игра: десять на десять. Солнце уже почти опустилось за горизонт. Я не знаю, где прячутся Бобби Джеймс, Гарри и Марджи. Хотя мне это и не важно; мы прячемся вдвоем с Грейс. Мы лежим под шезлонгами, распластавшись на полу разукрашенной веранды мистера Джеймса Т. Кларка, которому принадле-

жит дом на нашей стороне улицы, ближе всех расположенный к Фрэнкфорд-авеню. Мистеру Кларку шестьдесят, у него седые волосы (короткие, с пробором, зачесаны набок), не женат. Голос у него как у девчонки. Злобные подростки забрасывают его дом яйцами и два раза в неделю пишут ему на двери ГОМИК. Мистер Кларк всю эту хрень переносит с достоинством: каждый раз соскабливает слово с двери, смывает шлангом яичные желтки с бетона, а потом знай себе сидит в плетеном кресле, потягивает пивко из банки — никакой тоски или злости — и слушает пластинки Барри Манилоу, Бетт Мидлер и Джуди Гарленд. Музычка, конечно, так себе, но как бы там ни было, мне он все равно по душе, поэтому я с ним стараюсь помягче. В данный момент через распахнутое окно до нас доносится "Эскивеля", сам же Кларк сидит в плетеном кресле между двух шезлонгов, под которыми прячемся мы. Музыка "Эскивеля" — крезанутое дерьмо. Возьмите саундтрек из мультика "Багз Банни", прибавьте к нему птичьи голоса, туземные барабаны, рев взлетающей ракеты и привкус сиропа от кашля во рту — и вот вы уже на полпути к пониманию того, что это такое.

Вся веранда Кларка сплошь уставлена и увешана горшками с растительностью, помимо этого здесь есть еще многочисленные белые полочки, на которых стройными рядами выстроились хилые держатели для горшков и раскрашенные вручную глиняные фигурки эльфов. Непрерывно позванивают на ветру китайские колокольчики и шуршат флажки, какие устанавливают на взлетных полосах для определения направления ветра. Над креслами раскачивается из стороны в сторону огромных размеров электрическая ловушка для насекомых с клеткой под напряжением и четырьмя фиолетовыми галогеновыми трубками. Когда раздается *бззззз*, означающее, что в ловушку залетела мошка, мистер Кларк, который их терпеть не может, выражает по этому поводу бурный восторг. Вся эта байда — растения в горшках, плетеные кресла, ароматические свечи, надрывающийся "Эскивеля" и ловушка для мошек — создает атмосферу диких непролазных джунглей здесь, на веранде типового дома в центре огромного города. Я бы и глазом не моргнул, если бы мимо меня проскакала обезьяна. *Бззз.* Два жука в ловушке. *Накося выкуси, жучиное жаркое,* — говорит Кларк. В записи "Эскивеля" слышится, как две макаки сходят с ума. Грейс смеется и курит, лежа на спине под шезлонгом. Да, у меня снова здорово привстал.

— Нравится мне на этой веранде, Хэнк, — говорит она. — Чего у нас там видать, Кларки?

— Сейчас посмотрим, — заговорщицким шепотом отвечает мистер Кларк. Он подтягивается в кресле повыше и ставит банку с пивом на плетеный столик, явно из того же комплекта. — Так, я вижу, как двое мальчиков на цыпочках подкрадываются к статуе Святого Василия на газоне у Коннеров.

— Которых двое? — спрашивает Грейс, потому что нам не видно улицы.

— Точно не скажу, — говорит он. *Бзз, бзз, бзз.* — Ура! Целых три! Сдохните, засранцы! Сейчас надену очки. О нет.

— Что такое? — переспрашивает она.

— Это Джереми Финн и Джеймс Мулейни, — сообщает он ей, — какие-то несимпатичные оба.

— И злобные к тому же, — добавляю я. — Они что угодно с собой притащат, чтобы только кого-нибудь сцапать: хоть черный кожаный пояс, хоть мешочек под яйца. Уж если заметят, то лучше спокойно и без выпендрежа идти за ними, а не то с них станется — мигом запищишь как Микки-Маус.

— Хэнк, — говорит мне Грейс. — На позапрошлой неделе Джеймс Мулейни попытался меня поцеловать.

— Правда? — испуганно и раздраженно спрашиваю я. — А ты что?

— Врезала по роже, — говорит она. — Заодно, бля, пару прыщей ему выдавила. *Бззззз.*

— Вау, ну и жук, прям аэроплан какой-то. Мисс Макклейн, что за выражения? Мистер Тухи задал вполне прямой вопрос, — говорит Кларк, который ко всем детям обращается только так: мисс и мистер. Вообще он довольно старомоден, если не считать того, что целуется с мужчинами.

— Извините, — говорит Грейс. — А сейчас что они делают?

— По-прежнему крадутся к святому Василию. — *Бзз.* — Спи крепко, жукашка. Как мне нравится эта ловушка. За статуей Святого Василия прячется крепенький мальчик с пальцем в носу. Ой, фу. Крепенький мальчик смахнул на святого Василия козюльку. Это кто такой?

— Козюлька Джонс, — отвечаем мы хором и со смехом переглядываемся.

— Козюлька. За что это его так окрестили? Не забудьте мне потом сказать. Похоже, он собирается идти на прорыв.

— Йоу йоу йоу йоу йоу, — доносится до нас пронзительный возглас. — Хватай эту жирную задницу.

— Убирайтесь с моего газона, вы, мелкие ублюдки, — орет чья-то мамаша.

— Они перетоптали миссис Коннер все цветы, — сообщает Кларк. — Бегут в нашу сторону.

Слышно, как бегут, потом кто-то падает на бетон.

— Тпру! — говорит Кларк. — Крепыш упал. Ой, бедняжка, расплакался.

— Ты зачем меня сшиб? Тут тебе не футбол, — хныкает Козюлька. Отсюда мне не видно, но я и так знаю, что лицо у него пухлое, как у младенца, волосы темные, коротко стриженные, одет в черную бейсбольную майку с эмблемой "Грим рипер" — стрёмненькая группа. Он всегда эту майку носит.

— Кончай хныкать, Козюлька, — говорит ему Финн (кудрявые грязные волосы, прическа как у ботана). — Никто тебя не сшибал. А упал потому, что, когда бежишь, палец, бля, из носа вынимать надо.

— Не было у меня в носу никакого пальца, — возражает Козюлька.

— Да он у тебя до сих пор там, дебила, — говорит ему Мулейни, несчастная жертва стрижки под горшок.

— Ой, правда, — судя по всему, Козюлька извлекает палец из носа, дабы проверить, не пристало ли к нему чего. — И все равно ты меня сшиб.

— Короче, Козюлька, — говорит Финн, — давай, топай в тюрьму, ты, жирный ублюдок.

Козюлька плетется по направлению к синему почтовому ящику, куда не меньше трех раз за вечер будет бегать Фрэнсис Младший, чтобы со-

общить нам о том, что это государственная собственность и нас упекут в Холмсбург, если мы и дальше будем на нем сидеть.

— Прекрасно, господа Финн и Мулейни, — говорит Кларк. — А теперь, пожалуйста, следим за тем, что говорим, и дружно проваливаем от моего дома подальше.

— Ты это нам, что ли? — спрашивает Финн.

— Конечно, кому же еще, — подтверждает Кларк.

— Ты это серьезно?

— Абсолютно. Не хочу слушать, как вы выражаетесь.

— Ты мне не папаша и не *мамаша*, — говорит Финн и, готов поспорить, с ухмылкой косится на Мулейни, — чтобы указывать, что́ говорить и где.

— Я и не претендую. Я просто прошу вас проявить немного уважения, и идите себе дальше своей дорогой.

— Тебе бы, наверное, больше хотелось стать мне мамочкой, так ведь?

— Да не то чтобы очень, — говорит Кларк. — Тогда бы мне было стыдно, что я вообще существую на свете.

— Ха-ха, смотри, какая добрая фея, — говорит Финн.

Мистер Кларк продолжает все так же спокойно сидеть в кресле в футболке "Иглз" и выцветших желтых шортах. Закидывает левую ногу на правую и чертит пальцем по влажному налету на пивной банке. — У меня к вам всего одна простая просьба, ребята: сваливайте отсюда, и дело с концом.

— Иди подрочи, гомик вонючий, — бросает Финн ему в ответ. — У меня к тебе тоже одна простая просьба.

Грейс порывается выскочить из-под кресла, но мистер Кларк ногой преграждает ей путь.

— Прекрасный вечер, мальчики, — говорит он. — Веет теплый ветерок. Уже через две недели он станет холодным. И я не смогу вот так сидеть на свежем воздухе, пить пиво и выслушивать оскорбления от мальчишек, которые и смысла-то тех слов, которые разбрасывают, как навоз, толком не понимают. Мне будет не хватать всего этого. Еще раз прошу: не будете ли вы так любезны убраться отсюда подальше?

— Базара нет, гомик, — отвечает ему Финн, затем следует придурочный гогот, но тем не менее оба уходят. Кларк длинным глотком тянет пиво, затем вздыхает и начинает насвистывать мелодию "Эскивеля".

— Черт возьми, Кларки, — возмущается Грейс. — В следующий раз не нужно меня останавливать. Я бы легко надрала обоим их тощие задницы.

— В этом я не сомневаюсь, мисс Макклейн, но в моем доме злость и насилие не приветствуются. Никакой злости, никакого насилия, — произносит он медленно, так, будто каждое из этих слов весит не меньше тонны.

— Да хватит тебе. Сколько раз тебе дом загаживали? — спрашивает Грейс с раздражением и непониманием. По ней, если кто тебя ударил, нужно тут же дать сдачи.

— Конкретнее: на этой неделе, или в этом месяце, или за текущий год? — спрашивает он с мягкой усмешкой.

— Может, имеет смысл переехать, — вставляю я. — Здесь вокруг слишком много вредных типов.

— Никуда я отсюда не поеду. Здесь мой дом. Здесь я прожил всю жизнь. И из-за каких-то там вредных типов переезжать не собираюсь. Этого добра везде хватает. А обращаем внимание мы на них просто потому, что сами здесь живем.

— Ты вообще с какой планеты? — спрашивает Грейс. — Драться не хочешь, и бежать — тоже?

— Совершенно верно, — сообщает он ей. — Ни драться не буду, ни бегать ни от кого. Вот так-то.

— А я хочу уехать отсюда как можно дальше, — говорю я. — Купить себе ферму, где людей поменьше, а деревьев побольше.

— Людей поменьше. И как ты собираешься жить, если некому будет слушать твой бред, Хэнк? — фыркает Грейс.

Я буду читать книги в тени деревьев. Буду гулять босиком по траве. Буду целовать тебя под небом, где будет сиять жирная луна с двадцатью миллионами звезд в придачу. Я подарю тебе всю любовь, что есть во мне.

— Как-нибудь обойдусь.

— Сомневаюсь, — говорит Грейс, тушит бычок об пол, щелчком отправляет его в пепельницу в десяти футах от нас и успевает закурить следующую сигарету до того, как он приземлится.

— Должен признать, мистер Тухи, я удивлен и озадачен не меньше, чем мисс Макклейн, — говорит мне Кларк. — Мне вы кажетесь натурой чересчур деятельной для сельского уединения. Тишина вас попросту убьет.

— Возможно, — с поспешностью психа отвечаю ему я, — но попробовать все же стоит.

— Очень разумно, — говорит он. — Искренне вам желаю, чтобы ваша мечта сбылась. Не вижу в ней ничего невозможного.

Постепенно на ветру становится все прохладнее, и я начинаю чувствовать через одежду холод от цементного пола, на котором лежу. Мистер Кларк зажигает ароматическую свечку против насекомых с душным, сладким запахом. Грейс смотрит на меня из-под шезлонга. Когда она делает затяжку, ее глаза чуть-чуть сужаются.

— Эй там, на ферме, — говорит она мне, — тебе не холодно, Хэнкстер?

— Есть чуть-чуть, — отвечаю я, жалостно надувая губы.

— Может, стоит переместиться куда-нибудь, где бы мы вдвоем могли согреться? — говорит она.

Держите меня. В штанах встает, как по тревоге. Грейс смеется. Может, заметила, как у меня встал? Услышала, как он растет?

— Видел бы ты, какие у тебя глаза были, когда я это сказала. Как плошки, — улыбается Грейс. — Кларки, доложи обстановку на улице, — командует она. Тем временем мистер Кларк вскрывает следующую банку. "Эскивеля" давит на уши так, как будто нас с птичьим ревом атакует эскадрилья "летающих крепостей". Сразу четыре мошки одна за другой поджариваются в ловушке. *Бзз, бззз, бзз, бззз.*

— Спокойной ночи, жукашки. До встречи в аду, — говорит Кларк. — Похоже, все тихо, мисс Макклейн. Эти уродцы еще раз прошвырнулись по улице, а затем удалились по дорожке, что у меня за домом. — Дом

Кларка — последний в нашем квартале, поэтому дорожки идут с двух сторон. — Также должен заметить, что какой-то мальчишка, который все время надувает пузыри из жвачки, спрятался за мусорными баками магазина морепродуктов и оттуда закидывает мою веранду всякой гадостью.

Что-то большое и мокрое шмякается на пол. Кларк смеется.

— Кальмар. А вон еще летит, — почти с восторгом восклицает он.

Рядом с кальмаром приземляется пустая раковина от устрицы. Затем рыбья голова. Потом краб.

— Так-так, — говорит Кларк. — Идите и спросите, чего ему надо, а то он сейчас, того и гляди, китом в нас запустит.

Мы с Грейс выскакиваем из укрытия и засекаем Бобби Джеймса, который, согнувшись, прячется за мусоркой и, приложив руки ко рту, пытается нам что-то сказать. Рядом с ним Марджи.

— Прошу прощения за всю эту дохлятину, мистер Кларк, — говорит он и добавляет громким шепотом: — Генри, Грейс, сюда, быстро.

— Вас не затруднит потом здесь прибраться? — спрашиваю я у мистера Кларка.

— Конечно-конечно, — отвечает он. — Я сам все сделаю, я же профи. Можете идти дальше играть с ребятами. Оставьте грязную работу взрослым.

— О'кей. Ну что, не пойдем по лестнице, перемахнем прямо через перила?

— Конечно, — говорит он.

— Круто. Давай, Хэнк, — говорит Грейс, перекидывая ногу через перила.

Мы смотрим друг на друга и улыбаемся, параллельно Грейс щелчком отправляет бычок в пепельницу.

— Пожелай доброй ночи мистеру Кларку, Хэнк, — напоминает она мне.

— Доброй ночи мистеру Кларку, Хэнк, — говорю я.

Мы смеемся. Грейс спрашивает меня, готов ли я к нашей рискованной затее. Я говорю, что стопудово готов. Мы спрыгиваем с крыльца и падаем, падаем, как два влюбленных друг в друга десантника.

Господи Боже, Бобби Джеймс обжимается с Марджи прямо у ограды мусорки, и прерываются они только на секунду, чтобы нас поприветствовать.

— Мы решили, что вам двоим не помешало бы уединиться, — сообщает нам Джеймси, а затем, высунув язык, предлагает Марджи жвачку, которую она с удовольствием у него с языка сковыривает. Грейс всю аж передергивает от отвращения.

— Фу, какая гадость, — говорит она.

— Ничего, к мусорке скоро принюхаешься, — успокаивает он ее.

— Проблема не в запахе, а в том, что я вижу, — парирует Грейс. — Кстати, как вы узнали, что мы прячемся под креслами у Кларка?

— Кончик сигареты светился, — отвечает Марджи.

— Ой.

Какой-то косматый ублюдок выходит из задней двери магазина и швыряет мусор в баки. Склизкие рыбные отходы летят с верха переполненного бака прямо нам под ноги.

— Генри, — говорит Бобби Джеймс — его руки крепко, но неуклюже обвивают талию Марджи, — почему бы вам с Грейс не пристроиться с той стороны мусорки? А мы останемся здесь.

Черт, настало-таки время! Мне понравилось, когда Грейс меня оседлала, выйдя из душа, но вот целоваться — это совсем другое дело. Тут уметь надо. У тех, кто плохо целуется, на лице розовые следы от пощечин, которыми их от скуки наградили девчонки. Похоже, Грейс тоже страшновато, потому что мы с ней понурив головы плетемся на другую сторону мусорки и стоим там целую вечность, не говоря ни слова. В животе бурлит, и сердце стучит так сильно, как будто внутри у меня работает сушильный барабан и кто-то молотит в тамтамы. Дверь магазина морепродуктов распахивается и тут же с силой захлопывается. Скрип. Бум. Все тот же хлыщ швыряет в мусорку еще пакет. Бух. Все вываливается нам на ноги. Плюх. Грейс подходит ко мне ближе, бросает сигарету, наступает на мусор и так нежно на меня смотрит. Никогда еще не видел такой зелени.

— Знаешь что, Хэнк Тухи, а ты и впрямь настоящий придурок.

— Это еще почему?

— Придурок — и все тут.

— О'кей.

— Ладно, проехали, я говорила тебе, что ты за хрен?

— Нет, ты сказала придурок.

— Одно другого не исключает, — улыбается она.

Быстрый взгляд зеленых глаз скользит по моему лицу. Я отвечаю взглядом глаз голубых. Прядь волос с виска падает ей на губы. Я протягиваю руку и нежно-нежно заправляю прядь ей за ухо. Как можно ласковей. Смотри, не ткни пальцем в глаз — все дело испортишь. Теперь тыльной стороной ладони прикоснись к ее щеке. Я чувствую, как от ее дыхания пахнет сигаретным дымом, но мне на это наплевать. Вблизи кажется, что ее коричневые веснушки отдают желтизной. Мочки чуть-чуть напоминают цветную капусту. Она кладет мне руки на плечи, и я жду захвата, но никакого захвата не следует. Я притягиваю ее к себе и — бум — мы целуемся. Влажно и тепло. Вау. Перед глазами мелькают цветы, фейерверки, пакеты с отходами валятся сверху, из переполненных баков. В штанах член буквально кувыркается через голову, и какое-то странное ощущение поднимается вверх по ногам, к коленям, пока рядом кто-то не вскрикивает *Ага* и не толкает нас. Бля, замели: Джереми Финн и Джеймс Мулейни. В тот момент, когда они хлопают нас по плечу, мол, поймали по всем правилам, не отвертишься, рука Финна проходится по правой сиське Грейс. Та от души отвешивает ему пощечину.

— Руки убери, мудак, — говорит она.

— Ух, люблю, когда ты обзываешься.

— Заткни пасть, а то... — предупреждает его Грейс.

— А то что? Генри на меня натравишь? Он побьет меня своей расческой?

Грейс закуривает сигарету и дает Финну кулаком в лицо. Тот падает в слезах.

— Ну-ка, отъебался от Хэнка и от меня тоже. Пошли в тюрьму, — говорит она, стряхивая пепел на Финна.

Грейс как всегда заломила мне шею в захвате и ведет по улице Святого Патрика, но не так жестко, как обычно, поэтому мне почти не

больно. Мы идем, и я смотрю на ее веснушчатые ноги. В розовой дымке передо мной проплывают нарисованные детьми на тротуаре сердечки со словом ЛЮБЛЮ.

– Интересный тип этот мой старший брат Фрэнни, доложу я вам. Двадцать четыре года, работает на почте и переехал жить от нас через стенку. – Пауза. – В ближайшем будущем никакой девушки ему даже не светит. – Жду, пока засмеются. – Он *пользуется дезодорантом для собак.* Похоже, именно поэтому все девки от него и шарахаются. Вот чудные-то.

Я травлю байки пленным, сгрудившимся возле почтового ящика, чтобы поддержать их моральный дух. Тюрьма сильно подавляет. С людьми здесь творятся странные вещи. Но всего несколько анекдотов могут надолго поднять общее настроение. Я травлю анекдоты еще и потому, что в нашем направлении по улице крадется Гарри Карран, который намерен нас всех освободить. Чем смешнее рассказываю, тем больше на меня отвлекаются. И команда противника в том числе. Если Гарри удастся нас освободить, я смогу еще раз поцеловаться с Грейс за мусорными баками.

Однако смеются далеко не все. Бобби Джеймс обжимается с Марджи. Им бы отдельная комната не помешала. Лысый малыш Джим Джардин тоже не смеется, но это потому, что он наблюдает за тем, как они обжимаются, причем с таким видом, будто сам того и гляди чего-нибудь трахнет. Надеюсь, это будет почтовый ящик, а не кто-нибудь из детей. Трахнуть почтовый ящик – федеральное преступление. Не смеется и Джеффри Гарри со стрижкой под бобрик, ну и хрен с ним, с педрилой. За исключением вышеперечисленных, все остальные, а именно: Грейс, Холи Хэллоуэлл (никаких сисек даже в проекте), Хизер Хеннесси (средней величины, многого не пожалел бы, чтобы взглянуть) и Козюлька Джонс – смеются. Даже ребята из другой команды подтягиваются к почтовому ящику, чтобы послушать, что́ я несу, вместо того чтобы искать Гарри. Отсюда мне видно, как он летит на веранду через перила, затем вскакивает с быстротой полицейской ищейки, озирается и вновь исчезает из виду.

– А вот по поводу магазинов "все по доллару"? – вслух задаюсь я вопросом. – Куда, спрашивается, делись все центовки[1]? Все та же байда. Просто они подумали и решили, что оставшиеся девяносто пять центов им тоже не лишние. Если уж они столько дерут с меня за ракетку для настольного тенниса или за мячик на резинке, то, бля, даешь тогда ракетку из настоящего кедра, а то и из дуба. Правильно говорю?

– Нет, неправильно, Тухи-недоумок, – говорит Джеффри. – Эту шутку на прошлой неделе выдал Эдди Мерфи в "Субботнем вечере".

– Кто привел сюда этого тормоза? – спрашиваю я. – Джеффри, где твой хоккейный шлем? Ты же должен его всегда носить, а не только когда ездишь в желтом школьном автобусе.

Все смеются. У Джеффри аж пар валит из пустой башки. Грейс пышет сигаретным дымом. Бобби Джеймс тискается с Марджи. Джим Джардин на них пялится. Гарри забирается на веранду уже ближе к нам. Мой член ликует и скачет. Поздний вечер на улице Святого Патрика. Полоски света от экранов телевизоров бормочут что-то невнятное, заглу-

1. Магазин товаров повседневного спроса типа "Тысяча мелочей". В классическом виде создан Ф. У. Вулвортом в 1879 г. Любой товар в нем продавался за 5 или 10 центов, отсюда и возникло название "центовка".

шая писк вьющейся вокруг них мошкары. Родители сидят на верандах, потягивают пиво и курят. В вечерней прохладе девчонки поливают газоны из шлангов. Автомагнитолы на Ав громко плюются дурацкой музыкой вроде "Джорни" или "Стикс". Гомон мужских голосов и звон бутылок несется из открытой (все лето напролет) боковой двери бара "У Пола Донохью". На подоконнике у Тухи Сесилия красит Сес ногти. Лампочки, горящие в окнах вторых этажей, будто гаснут, когда их заслоняют черные силуэты. Оконные стекла мерцают бледно-розовым, подсвеченные экранами телевизоров. На верандах, сквозь шипение радиоприемников, Гарри Калас и Ричи Эшберн комментируют баскетбольный матч. Где-то кричат, где-то смеются. Звонит телефон. Слышно, как вскрывают пивные банки и как давят ногой уже пустые. Ветер играет прозрачными занавесками, и те, словно призраки тощих девчонок в длинных летних платьях, реют над распахнутыми окнами. Из открытой двери бара и еще из нескольких домов доносятся громкие одобрительные возгласы — значит, у "Филз" в игре случился удачный момент.

— До чего здорово, что в восьмом классе телки начинают брить ноги, — говорю я. — Жду не дождусь, когда, наконец, можно будет вернуться в школу и поглядеть на их ножки в синих гольфах и клетчатых юбках. По тому, как девчонка носит гольфы, можно сразу сказать, целуется она с языком взасос или нет. Ага. Не знали? Избегайте таких крошек, которые натягивают их себе аж на колени. От этих ничего не дождешься: они скорей розарий читать будут, чем дадут себя полапать. Девчонка, которая натягивает гольфы по самое "не хочу" уже на полпути в монастырь. Нет, нам нужны девочки, которые спускают гольфы до лодыжек. С этими есть чего ловить. Может, у них нелады с родителями, а может, просто любят повыпендриваться. Так или иначе, здесь вам зеленый свет. С такими можно сосаться хоть до второго пришествия.

Веранда забита взрослыми, среди них Гарри — в руках у него высокий бокал с холодным чаем, из которого торчит зонтик для коктейлей. Все покатываются со смеху.

— Вон он! — кричит кто-то. — Лови его!

Преследователи все вдесятером начинают охоту на Гарри, а он ставит стакан на поднос и несется к нам как угорелый, чтобы всех освободить. Это будет стремительный проход — один против десяти — по улице Святого Патрика. А теперь перейдем к прямому репортажу с места событий.

Карран обегает Иоанна Крестителя и перепрыгивает через табличку Мондейл—Ферраро. Проносится мимо Франциска Ассизского — ого, он даже успевает потрепать птичку, сидящую у того на плече. Перемахивает через другую табличку "Мондейл—Ферраро", заключает в объятья святую Деву Гваделупскую и преодолевает еще одну табличку "Мондейл—Ферраро". Карран на пути к мировому рекорду по прыжкам через щиты с лозунгами безнадежно провальной партии демократов с дополнительным препятствием в виде мертвых лысых каменных святых в длинных одеждах. Карран рвется к бреши, образовавшейся в рядах его преследователей. Но что это? Он замечает старенькую миссис Шэппел, которая с трудом поднимается по ступенькам к веранде своего дома с корзинкой, набитой покупками. Карран переходит с бега на быстрый шаг. О, нет. Он собирается помочь миссис Шэппел затащить кошачью

еду вверх по ступенькам, в гробу он видал мировой рекорд, не говоря уже о своем закадычном друге Генри Тухи, который только того и ждет, чтобы можно было опять пососаться с Грейс. Карран вырывает продукты из рук у миссис Шэппел. Она глядит на него, как черепаха после дюжины рюмок. Карран бежит вверх по ступенькам, но спотыкается. Корзинка вылетает у него из рук. Банки с кошачьей едой летят во все стороны. Он пытается их собрать. Оглядывается. Преследователи закрывают брешь. Ого, Карран опять бросается бежать. Пробегая мимо миссис Шэппел, он на ходу обещает ей, что сам потом все соберет. Но та все равно ничего не понимает. Ее ограбили? Ударило молнией? Мимо проносятся еще десять человек, и ей с трудом удается устоять на ногах. *Святой Петр, помоги мне, знать, пробил мой час?*

Двадцать пять футов до тюрьмы, пятнадцать футов. Томми Макрей идет на перехват – нет, не успел. Десять футов. Давай, Гарри, жми. Мне нужно еще попрактиковаться с поцелуями. Пять футов. Уже совсем близко. Ну, чуть-чуть! Бам! Свобода! Йиихаа! Я срываюсь с места и бегу прямо к мусорке, но не слышу, чтобы кто-то побежал вслед за мной, и останавливаюсь. Где Грейс? Что за херня?

Все по-прежнему стоят у почтового ящика. Раздраженный, я возвращаюсь на место и вижу Билли Бурка и Кристиана Крампа, двух стриженных под ежик придурков из футбольной команды старшеклассников, и с ними Ральфа Куни и Джеральда Уилсона. Бурк в толстовке "Сиксерз", Крамп – в футболке "Темпл Аулз" без рукавов. Похоже, все четверо под мухой, и действительно, подойдя к ним, я чувствую, как от них разит скотчем и шнапсом.

– Притормози, Тухи, – говорит Бурк, а на лице улыбочка как у ковбоя Мальборо. – А ничего так бегаешь. Прям хоть в следующем году в футбольную команду записывайся.

– Что, не хватает мальчика на побегушках?

Они смеются, а мы, те, что помладше, только стоим и помалкиваем.

– Грейс Макклейн, – говорит Бурк, – твое место не здесь, а в Тэкпарке, вместе с остальными. Тебе что, разве еще нет пятнадцати? – спрашивает он, оглядывая ее с ног до головы.

– Мне четырнадцать. Просто выгляжу на пятнадцать, – улыбается Грейс ему в ответ. У нее слабость ко всяким придуркам постарше, и это меня в ней бесит. – А что, там сегодня что-нибудь намечается? Что-нибудь стоящее? – интересуется она и знай себе надувает и лопает пузырь за пузырем из жвачки, которую я сам пробовал на вкус всего каких-нибудь пять минут назад. И каждый хлопок отдается во мне пощечиной.

– Да, может пригрести пара придурков из Фиштауна, – говорит Бурк. – Мы пришли узнать, собирается ли Генри со своими нам помочь. У нас там четверть кега пива. Ну, что скажешь, Генри-малыш?

– Не могу, – отвечаю я. – Сначала должен кое-какую хрень доделать. Потом домой.

Старшие смеются. Ральф чуть слышно обзывает меня *ссыкуном.*

– Генри, – Грейс раздраженно поворачивается ко мне. Она не может поверить, что я спасовал, не выдержал проверки. – Говорят же тебе, ты там нужен. Пойдешь ведь, верно?

– Нет, не пойду, – спокойно, но со злостью отвечаю ей я.

— Я понимаю тебя, Генри, — говорит Бурк, лыбясь до ушей. — Будь я в твоем возрасте, я бы тоже, глядишь, испугался. Оставайтесь, детишки, не ходите с нами. Пойдем, Грейс. Мы передадим Стивену привет от тебя, Генри.

— Да уж, непременно, Билли, — говорю я ему и добавляю *ебучая ебанашка* одними губами.

— О чем речь, дорогуша. От вас, от Тухи, нам и одного Стивена за глаза хватит. Может, кого бутылкой по башке огреть сподобится. Все равно уже почти всю вылакал. Пошли отсюда.

И они с пиратским смехом уходят по улице Святого Патрика.

Грейс, вся на нервах, скачет с одной ноги на другую.

— Идешь, Хэнк? Серьезно не пойдешь? А я хочу пойти. А, к черту все, пойду, — говорит она, отшвыривая бычок, и он приземляется мне прямо на сердце. Холи и Хизер кричат ей вслед *Подожди нас, Грейс, мы тоже.* Джеффри Гарри бормочет *Черт* и, обреченно качая головой, отправляется следом за ними. Теперь остались только любители поцелуев взасос, любитель поковыряться в носу Козюлька Джонс, любопытная варвара Джимми Джардин, добрый самаритянин Гарри и я. Козюлька вовсю орудует мизинцем у себя в ноздре. Джардин наблюдает за тем, как сосутся. Гарри гордо расхаживает с монетой в руке.

— Видал? Четвертак нашел. Повсюду валяются деньги. Стоит только поискать, — говорит он.

— Да, здóрово, — бормочу я ему в ответ.

— Что не так? — спрашивает он. — Я что-то пропустил?

— Те ребята из Фиштауна скоро объявятся в Тэк-парке, — отвечаю я. — Билли Бурк и Кристиан Крамп приходили и звали меня на игру. Грейс ушла с ними.

— А меня играть не звали? — спрашивает он.

— Представь себе, вот так прямо взяла и ушла с ними, — говорю я.

— Почему бы им меня не позвать? Я же лучший игрок во всем городе, "Сиксерз" не в счет.

— Она хочет заставить меня ревновать, — говорю я. — Не иначе.

— Ну, мы как — идем? Нам еще надо зайти к священнику и в похоронное бюро, так ведь?

— *Йоу, смотри-ка,* — громко радуется Козюлька, у которого на носу висит сопля в добрый фут длиной.

Бобби Джеймс прекращает целоваться с Марджи. Смотрит на Козюлькину соплю долгим взглядом, прямо как на любимую девушку, затем сгибается и начинает блевать. Козюлька смахивает соплю с носа. Та ударяется о почтовый ящик, словно стрела из арбалета о железный поднос. Спортивные комментаторы орут из выставленных на веранды радиоприемников. *Длинный пас в центральную зону, мяч за пределами поля. Круговая пробежка в исполнении Майкла Джека Шмидта.* Возгласы одобрения из бара и из домов по обеим сторонам улицы.

— Сначала по делам, — говорю я, — потом в парк. Пошли. Бобби Джеймс, тебя тоже касается.

Мы идем по улице Святого Патрика в сторону, где живет священник, где похоронное бюро, где спортплощадка, туда, где будем играть в баскетбол, туда, где будет драка, туда, где Стивен и Грейс. По пути я встречаюсь глазами с Сес, которая сидит у окна и двумя пальцами изображает знак ми-

ра. Я отвечаю ей тем же. Святые по обеим сторонам улицы пялятся на нас, пялятся в небо в ожидании знака свыше. Но небо безмолвствует, и не видят святые ничего, кроме черного космоса, и у каждого внутри — тысячемильная пустота, отделяющая наши места от райских.

10

— Слушайте, перестаньте вы мне голову морочить, просто заплатите и все, — говорю я отцу Томасу Альминде, OSFS, этому молодому приходскому священнику, который по отдельности общается со Стивеном и с Сесилией Тухи по поводу полнейшего расхерака, творящегося у нас в семье. Помимо того, что отец Альминде наставляет на путь истинный семейство Тухи, он также готовит церковных служек, лупцует детишек из младших классов, курит сигары, попивает "Уайлд Терки", водит телок к себе в комнату и еще любит разыгрывать из себя дурачка, когда дело доходит до денег, которые он мне должен за то, что я три дня в неделю по вечерам сижу на телефоне у него в доме приходского священника церкви Святого Игнатия. Жмот потому что.

Дом священника стоит рядом с церковью и представляет собой большое белое приземистое здание в колониальном стиле. Из парадной двери сразу попадаешь в длинный темный коридор, где стены сплошь увешаны красными коврами и портретами архиепископов. По обеим сторонам дверь в дверь идут кабинеты. Сразу за коридором — кухня, направо лестница наверх, налево дверь, ведущая в ризницу и дальше в церковь. В данный момент мы с отцом Альминде препираемся во втором справа, считая от входа, кабинете, как раз там, где я всегда сижу на телефоне. Кабинет, кстати, самый засранный из всех — и не кабинет вовсе, а попросту чулан: старый стол, железный стул, черно-белый телевизор, к нему антенна из алюминиевой фольги, три стены заставлены древними картотечными шкафами, на столе телефон на четыре линии, который не замолкает ни на секунду все то время, пока я вытрясаю из святого отца гребаную зарплату. Рядом со мной Гарри: стоит и боится. Бобби Джеймс ждет и боится на улице.

— Успокойся, — говорит мне отец Альминде. — Все я заплачу, как полагается. Сколько часов ты проработал на этой неделе? Шесть?

— Нет, десять, — поправляю его я.

— Подожди-ка, ты же у нас работаешь три дня в неделю по три часа.

— Так и есть, уже девять получается, святой отец, — я начинаю выходить из себя. — Плюс еще час сверхурочно, когда вы уединились у себя наверху с миссис Маккьюн.

— Ах да, я и забыл, — задумчиво бормочет он. — У нее ко мне был один серьезный вопрос по тексту Библии.

— Кто бы спорил, святой отец, — говорю я ему. — Давайте резче уже.

— Ладно, положим, за десять часов я тебе должен пятнадцать баксов, верно?

— Нет, двадцать. Я получаю в час по *два* бакса, — уточняю я и показываю ему два пальца, сложив их буквой V.

— Два бакса в час? Да это же грабеж чистой воды, — улыбается отец Альминде мне в ответ. Волосы у него жиденькие и темные, зачесаны на-

бок, лоб высокий и потому слегка затеняет лицо. Улыбка желтая и клыкастая, как у Гвен Флэггарт. Каждый раз, когда он разевает свое хайло, меня так и подмывает кинуть ему косточку. — Вот твои деньги, — говорит он и протягивает мне рваную, захватанную двадцатку.

— Спасибо. Что — так сложно было? — спрашиваю я у него.

— Если честно — то да. Что с вами, мистер Карран? Язык проглотили?

— Да, святой отец, — рапортует Гарри.

— А кто это там ждет снаружи — никак Бобби Джеймс?

— Да, святой отец.

— Он тоже меня боится?

— Да, святой отец.

— Ну и слабаки, значит, оба, — заключает святой отец. — Не изволите ли ответить на звонок, мистер Тухи?

— Ни за что, — отрезаю я. — Мой рабочий день кончился.

— Да бросьте вы, право, меня ждут в кабинете, — говорит он.

— Значит, еще подождут, приятель, — огрызаюсь я.

— Там твой брат Стивен, осел, — говорит святой отец.

— А.

— Так что — ответишь?

— Да, конечно.

— Спасибо. — Он уходит к себе в кабинет разговаривать с братом. Я снимаю трубку.

— Здравствуйте, церковь Святого Игнатия, дом приходского священника, чем могу помочь? — крайне профессионально отчеканиваю я в трубку.

— У меня для вас кое-что есть, — сообщает мне таинственным шепотом некто из трубки.

— Правда? И что же? — интересуюсь я.

— Большой жирный хрен, — заявляет некто.

— Прекрасно. — Щелк. Какие только чудики к нам сюда не названивают. Просто уржешься порой. Дзинь.

— Церковь Святого Игнатия, дом приходского священника, чем могу помочь? — спрашиваю я.

— Религия — для дураков и слабаков, — заявляет мне еще один скучающий придурок.

— Излейте душу, — смеюсь я в ответ. — Может быть, я смогу что-нибудь для вас сделать?

— Та же мифология, и ничего больше, как у греков — одни сплошные боги да Эзоповы басни.

— Не скажите. Что-нибудь еще?

— Если ад и впрямь существует, то попам с монашками туда прямая дорога.

— Полностью с вами согласен. Приятно провести вечер. — Щелк. Дзинь.

— Церковь Святого Игнатия, дом приходского священника, чем могу помочь?

— Стив Смит, "Дейли ньюз". Ваша реакция на обвинения касательно того, что ваш приход отказывает бомжам даже в глотке чистой воды, не говоря уже про все остальное?

— Совет рекомендовал мне не давать комментариев по данному вопросу, — выпаливаю я (все как святой отец учил).

— Так вы не отказываетесь от предъявленных обвинений? — спрашивает он.

— Думаю, нет. Спокойной ночи, приятель. — Щелк. Дзинь.

— Церковь Святого Игнатия, дом приходского священника, чем могу помочь?

— Здравствуйте, — заплаканный женский голос. — Могу я поговорить с отцом Альминде?

— Мам?

— Хэнк?

— Что-нибудь не так? — спрашиваю я.

— Да нет, все в порядке, — отвечает она. — Все та же хрень с твоим папашей.

— Почему бы тебе просто не уйти от него и все? — говорю я, хотя сам так не думаю.

— Куда идти-то?

— Тогда сама его выстави.

— А кто за все башлять будет?

— Так дело только в деньгах, ма?

— Нет, Хэнк. Все куда как сложнее. На мне Стивен и Сес. А еще Арчи. Нельзя мне их сейчас травмировать еще больше — и без того полно проблем. Мне просто хочется верить, что папаша твой рано или поздно станет держать свой член у себя в трусах, а не совать его куда попало.

— Нужно что-то с этим делать. Ведь у него *девушка* на стороне, — говорю я ей.

— Это по-другому называется, — едко замечает мне в ответ Сесилия и выдыхает дым в трубку на том конце провода. — К тому же, брак — долгая история, приятель. Поэтому в том, что он делает, нет ничего необычного.

— Ты что — серьезно? — Я совершенно ошарашен и разочарован.

— Да, серьезно, — подтверждает она.

— Да, но ведь сама ты никогда так не делала. — Пауза. — Ведь правда? Правда, мам?

— Помнишь того парнишку, с которым я общалась после Музея искусств? Он мне телефончик оставил.

— И ты с ним изменила папе? — спрашиваю я.

— Нет, Хэнк, — отвечает она, — хотя чуть было... Сес, давай-ка слезай с кресла Арчи.

— Но ведь ничего же не было, так?

— Просто я номер его тогда потеряла. А так — чем черт не шутит. Понимаешь, о чем я? Сес, если ты еще хоть раз ударишь Арчи по голове, я просто возьму и отвезу его на хрен домой отсюда.

— Нет, не понимаю, — говорю я. — Уж если женился на ком-нибудь — то любовь навеки, и точка.

— Не в этом мире, малыш, — совершенно спокойным голосом говорит она мне.

— Ну да, конечно, только не в этом мире, — с раздражением бурчу я.

— Ты у меня такой романтик, Хэнк, — говорит она, и я знаю, что она улыбается, и от этого мне становится теплее и легче на душе. — Слушай, отец Альминде у себя?

— Он, ммм, беседует с кем-то в кабинете, — отвечаю я.

— А. Кстати, а сам-то ты там что делаешь? Он что, попросил тебя поработать сегодня вечером?

— Не-а, я просто пришел за получкой. Он попросил меня пару минут посидеть на телефоне.

— Он платит за все как надо? — спрашивает она. — Ты же, по-моему, час сверху отработал?

— Да, он мне заплатил, — отвечаю я. — Правда, долго мозги пудрил.

— Как всегда. Чем занимаешься сегодня вечером? Ты же только что на улице гулял.

— Угу. Мы играли в "Свободу", а как закончили — сразу пошел к нему за деньгами. Потом, наверное, в Тэк-парк пойдем. Мяч в кольцо покидать, — осторожно объясняю я.

— Веди себя как следует. Никаких драк и все такое. Держись молодцом, как всегда, — говорит она.

— Заметано, — отвечаю я ей и знаю, что так и будет. Никаких драк, и я буду молодцом, как всегда.

— Отлично.

Входная дверь открывается и захлопывается. В кабинет с расстроенным видом входит отец Альминде.

— Тяжелый случай с этим парнем, — говорит он. — Никак не могу к нему пробиться. Меня к телефону?

— Ага, — говорю я, протягивая ему трубку.

— Кто? — спрашивает он.

— Моя мама, — почти виновато отвечаю я, хотя с чего бы мне чувствовать себя виноватым?

Отец Альминде смеется:

— И снова Тухи, ну и работенка, прелесть просто.

— Прелесть — это вы о ком, отец?

Тот снова смеется:

— О, *приношу свои извинения.* Конечно же не о тебе, голубчик.

— Отец, могу я задать вам один вопрос? С какой стати вы так печетесь о моей семье?

— А тебя это что — волнует? — интересуется он беззлобным и участливым голосом психиатра.

— Не-а, просто любопытно, — говорю я.

— Что ж, причина здесь одна — твоя мама та еще штучка, — признается он.

— Да бросьте вы, опять со своими шуточками.

— Кроме шуток. В твоем возрасте у меня тоже был старший брат вроде Стивена.

— У него погибла девушка, и он стал пить и драться с вашим отцом? — спрашиваю я.

— Нет, только два последних пункта, — говорит священник.

— Извините. И как же он выкарабкался из всего этого?

Он с грустью смотрит в пространство и оставляет мой вопрос без ответа.

— Все понял. Может быть, позже.

Мы выходим из парадной двери — сначала Гарри, прямой как палка, за ним я. Бобби Джеймс уже давно дожидается нас на крыльце. Вместе мы вываливаемся на тротуар и с удивлением обнаруживаем, что на Ав нет ни души: ни машин, ни народа, ни даже звуков нет. Видно только, как Стивен плетется на север по направлению к Тэк-парку. Из-за угла выплывает троллейбус и скользит мимо. Тоже на север. На какие-то полсекунды он загораживает нам Стивена, а когда проносится мимо — того уже не видно, он растворился где-то на спортплощадке.

"Агентство похоронных услуг Чарлза Макфаддена" стоит особняком высоко на холме на той стороне Фрэнкфорд-авеню, где все магазины. Велосипедная дорожка начинается как раз напротив. С виду здание похоже на дом приходского священника, разве что побольше будет раза эдак в два, и сам факт того, что оно возвышается над сбившимися в плотный рядок магазинчиками, придает ему такой вид, будто это никакое не агентство, а по меньшей мере мотель "Бэйтс", сошедший сюда прямиком со старых, предназначенных для показа под открытым небом кинолент 60-х годов.

Мы с Бобби Джеймсом в предвкушении предстоящей встречи. Гарри же, напротив, в полнейшем ужасе: его коленки колотятся друг о дружку, как пинг-понговые шарики в аппарате для приготовления попкорна. Мы подходим к белой резной двери из двух половинок, в каждой из которых — по овальному окошечку с золотистым стеклом. Я нажимаю на кнопку звонка. *Динь, дон, динь.* Мы с Бобби Джеймсом даем друг другу пять, а Гарри вполголоса бормочет *Только не открывайте, только не открывайте.*

Дверь резко распахивается. Перед нами в темном костюме стоит наш одноклассник Кевин Макфадден. Кев невысокого роста, четыре фута пять дюймов или около того, с хорошей прической. Он восьмой и младший сын владельца агентства Чарлза Макфаддена, тоже коротышки, — росту в нем от силы пять футов и три дюйма. Рост остальных отпрысков в семействе, тех, что в промежутке между Кевом и его папашей, колеблется в пределах от шести футов двух дюймов до шести футов шести дюймов. Но, как уже выразилась Грейс по поводу Никльбэк-парка, природу надо любить. Кев — завзятый нытик, который вечно сокрушается из-за своего роста, — данной позиции с ней не разделяет.

— Йоу, — говорит Кевин.

— Йоу.

— Йоу.

— Йоу.

— Чего надо, ребята? — спрашивает он.

— У нас дело к твоему старику, — сообщаю ему я.

— Что, убили кого-нибудь? — со смехом спрашивает Кев.

— Сегодня? Нет, пока еще не успели, — отвечает ему Бобби Джеймс. — А костюмчик для чего? На съезд коротышек собрался?

— Смешно. На себя поглядите, — говорит Кев. — Вы с Генри тоже ростом не больно-то вышли.

— Да, но мы с ним по крайней мере выше пяти футов, — заявляет ему Бобби с глубоким чувством собственного достоинства.

— Во мне почти что четыре фута и десять дюймов, — с ничуть не меньшим чувством собственного достоинства сообщает нам Кев.

— Точно, всего ничего, каких-нибудь шесть дюймов осталось, братишка, — говорит Бобби.

Кев хлопает дверью. Джеймс звонит. *Динь, дон, динь.*

Кев открывает.

— Чего еще?

— Эй, ты там, мальчик-с-пальчик, — говорит Бобби, — папаня дома?

Шварк. *Динь, дон, динь.*

Дверь открывается.

— Советую тебе поскорее засунуть язык в задницу, придурок, — предупреждает Кев.

— Ты прав, извини, — говорит Бобби Джеймс. — А теперь сходи, пожалуйста, потяни папу за портки и скажи ему, что мы здесь, хорошо?

Шварк. *Динь, дон, динь.*

Дверь — по новой: мистер Макфадден (зачес назад):

— В чем дело, ребята?

Мистер Макфадден — мужик реальный, но со странностями, хотя чего другого можно ждать от владельца похоронного бюро. Он гордится своим делом и не прочь кого-нибудь попугать. Есть неплохой шанс посмотреть на покойников, если нас вообще пустят на порог.

— Ничего, пап, ничего, — говорит Кев. — Так, просто дурью маемся.

— Ради бога, только не в похоронном бюро. Имейте уважение к мертвым, — говорит он нам, указывая на три гроба в небольшой комнатке поблизости от входа. Гарри принимается хныкать, а мы с Джеймсом обнимаемся, как две бабульки, которые только что выиграли в бинго[1].

— А в гробах что — трупы, мистер Макфадден? — интересуется Бобби Джеймс.

— Нет, но иначе вас не заткнешь. Заходите, — говорит он нам с улыбкой.

Изнутри дом напоминает мне один из тех, какие обычно показывают в старых фильмах о Гражданской войне, разве что поменьше и поневзрачней, но вообще-то он вовсе не такой уж маленький и вовсе не невзрачный. А вот чего здесь много — так это мертвых стариков: все как один в формальдегиде и во взрослых памперсах, менять которые им уже не придется. Первое, что бросается в глаза, когда заходишь, — это массивная лестница, ведущая наверх, туда, где и проживают все Макфаддены в полном составе, за исключением их покойной матери. Первый этаж целиком рабочий. От входа сразу налево — ниша под гардероб и дубовая стойка, на которой лежит книга посетителей и целая куча буклетиков, которые народ, приходящий посмотреть на покойников, все время украдкой ворует. Направо — кабинет мистера Макфаддена: темная комната, сплошь отделанная дубом, кожей и бархатом. В конце коридора справа — складское помещение, где хранятся всевозможные гробы, погребальные венки, что побольше, и все в таком духе. Напротив — комната для прощания с умершими, куда вносят скамеечку для коленопреклонения, сам гроб и складные стулья (десять рядов) для скорбящих. Специально для тех из вас, кто

1. Игра, в которой обычно разыгрываются призы; современный вариант лото.

не осенен светом истинной католической веры и тем самым обрекает себя на муки адовы, поясню вкратце, как происходит церемония прощания с усопшим. Ближайшие родственники покойника становятся непосредственно у гроба. Остальные встают в очередь на прощание, хвост которой обычно теряется где-то далеко за дверью на улице, и один за другим преклоняют колена перед гробом, в котором покоится тело усопшего, чтобы затем сказать несколько слов утешения тем членам скорбящей семьи, что еще остались в живых. В результате получаем нескончаемое столпотворение при непрерывных рыданиях. Сумасшедший дом. Лично я принимал участие в девяти подобных церемониях в "Агентстве Макфаддена": двое прабабушек с прадедушками, две тети, один дядя, один троюродный брат и Мэган О'Дрейн. Хуже всего было, когда прощались с Мэган. Очередь растянулась на три квартала. Люди бросались наземь, вопили, кричали, колотили кулаками о землю. Ее родители рыдали в голос, причем мать походила на мумию, которую только что окунули головой в лужу, — так плотно была перебинтована ее голова. Арчи там не было, потому что он был еще маленький, да к тому же стал калекой.

Стивен Тухи, стоявший у гроба вместе с семейством О'Дрейн, не уронил ни слезинки. Лицо было совершенно каменное, только в глазах безумный блеск. Он пожимал руки пришедшим почтить память и все смотрел через их головы на дверь, будто ждал, что войдет Мэган, но она лежала в гробу, и с того дня выражение его глаз больше никогда не менялось, по крайней мере если он был трезв.

— Ку-ку, Генри, ты здесь? — спрашивает мистер Макфадден.

— Что? — испуганно переспрашиваю я.

— Пошли наверх, договоримся насчет завтрашнего вечера, — говорит он мне.

— Да, насчет завтрашнего вечера, пошли, — соглашаюсь я.

Мы поднимаемся наверх в модную гостиную, где шагу ступить некуда от стульев с прямыми спинками, китайских шкафчиков и книжных полок, готовых рухнуть от веса лишней пушинки. Рассаживаемся кто куда.

— Гарри, — говорит мистер Макфадден, — что-то ты тоже неважно выглядишь. Случайно не захворал?

— А мертвецов тут нет? — спрашивает Гарри.

— Да вроде нет, если, конечно, ты сам сейчас здесь коня не двинешь, — отвечает тот. — Который час?

— Девять шестнадцать, — сообщает Гарри.

— Господи. Чуть не забыл, — говорит мистер Макфадден, а сам хватается за пульт от телевизора и включает нужный канал. — Кевин, нашу рекламу показывают. Смотрите, ребята.

Первое, что мы видим на экране, — это комната для прощания с умершими, где нет ни души, стоят только девять гробов: в середине семь больших и по одному маленькому с боков. Из маленького гроба высовывается мистер Макфадден.

— Привет, я Чарлз Макфадден.

Из большого гроба высовывается его старший сын.

Бах. — А я Чарлз Младший.

Бах. — А я Джеймс Макфадден.

Бах. — Майкл Макфадден.

Бах. — Тимоти Макфадден.

Бах. — Томас Макфадден.

Бах. — Дэвид Макфадден.

Бах. — Джон Пол Макфадден.

Бах. — Кевин Макфадден.

Макфаддены вылезают из гробов, причем все они, кроме Кевина, либо лысые, либо на пути к этому. Кев отчаянно, но безуспешно пытается выбраться из своего. Пока он там извивается, семеро старших братьев встают возле отца, который говорит в камеру:

— Я в похоронном бизнесе уже тридцать лет. Если дела хуже некуда, "Агентство похоронных услуг Макфаддена" предоставит вам лучшее в мире прибежище, облегчит бремя забот, чтобы вы без лишних хлопот могли предаваться печали.

Кев по-прежнему силится выбраться из гроба.

— "Агентство похоронных услуг Чарлза Макфаддена" предоставит Вам гробы из сосны, красного дерева, дуба и слоновой кости в широком ассортименте, а также фирменные зеленые гробы со стильными изображениями символики команды "Иглз" на боковых стенках. Мы полностью берем на себя оформление договоренностей с поставщиками ритуальных товаров и церковной администрацией, подыщем подходящий участок на кладбище, дабы вы в полной мере могли отдаться во власть скорби и сострадания.

Кев Макфадден раскачивает свой гроб из стороны в сторону, пытаясь вылезти.

— Наша цель — должное отправление ритуала: достойно, сдержанно, без спешки.

Кев Макфадден вываливается из гроба на пол.

— Просто позвоните по телефону, указанному на экране. Все остальное сделает за вас "Агентство похоронных услуг Чарлза Макфаддена" в Холмсбурге на Фрэнкфорд-авеню.

Ролик заканчивается, и мы дружно начинаем издеваться над Кевом Макфадденом по поводу его нелепого падения.

— Кевин, не слушай их, — говорит ему отец. — Ты вполне справился. Да и не переснимать же весь ролик по новой — нам бы это влетело в хорошую копеечку. Я смотрю, Гарри, ты возвращаешься к жизни.

— Да, — говорит Гарри, — мне уже намного лучше.

— Хорошо. Кто пойдет со мной в холодильную камеру? — спрашивает мистер Макфадден.

Мы с Джеймси с восторгом кричим *Мы, мы.* Гарри вжимается в кресло.

— Ну, тогда пойдемте, — говорит мистер Макфадден и ведет нас вниз по ступенькам на неосвещенный склад. Мимо гробов и гигантских стоячих венков, смахивающих на всю ту байду, что можно увидеть на гребаных скачках в Кентукки, мы идем в дальний угол помещения. Там серебристая железная дверь с ручкой как у холодильника, что само по себе, на мой взгляд, довольно логично. Мистер Макфадден с улыбкой распахивает ее, и нас обдает облаком холодного пара.

— Вон там на столах двое, — показывает он внутрь. — Готовы?

— Да, — отвечаю я.

— Да, черт возьми, — отвечает Бобби Джеймс.

— Господи, нет, — чуть слышно шепчет Гарри.

— Хочешь подождать снаружи? — спрашивает мистер Макфадден у Гарри.

— А можно?

— Дело твое, — бросает ему мистер Макфадден, в то время как мы с Бобби в один голос повторяем *Жмурики, жмурики*, словно какое-нибудь заклинание.

— Генри, Бобби, послушайте, — уже серьезно обращается к нам мистер Макфадден. — Это никакие не жмурики, а усопшие. Показать их вам мне не сложно — работа у меня интересная и важная, и я ее люблю, а потому готов с вами, чем могу, поделиться, — но вы должны ко всему здесь относиться с уважением. Идет?

Мы дружно киваем и изо всех сил тужимся, чтобы собраться и выглядеть по-взрослому серьезно.

— Вот так лучше, — говорит он нам. — Теперь пойдемте. Кевин, закрой дверь.

Не успевает дверь со щелчком за нами захлопнуться, как мы слышим стук снаружи.

— Мне тут страшно, — говорит Гарри. — Можно я тоже войду?

Холодильная камера (около пятнадцати футов в длину на десять в ширину) освещена множеством ярких желтых ламп. Нос моментально немеет от холода и начинает течь. Стены девственно белые, из обстановки только два жмурика — я имел в виду: двое усопших — под голубыми покрывалами на железных столах с колесиками, плюс еще один такой же железный стол с инструментами у стены. Пока мы жмемся к двери, через которую только что вошли, мистер Макфадден идет прямиком к трупам.

— Да не стойте вы там, — говорит он. — Поближе подойдите. Поглядите.

Мы приближаемся к столу. Медленно. *Та-дам* — мистер Макфадден откидывает покрывало, словно фокусник, только что вновь собравший свежераспиленную девушку воедино. С той лишь разницей, что девушка на столе совсем не свежая, а толстая и мертвая. Лицо у нее иссиня-белое, глаза закрыты, и рот так странно искривлен, как будто она умерла, морщась от боли в кресле у дантиста. Короткие волосы с химической завивкой похожи на сальную стружку. Сисек не видно — остались под покрывалом. Но навскидку я бы сказал, что у нее — не меньше третьего. Мне немного страшно, но не до трясучки, как Гарри, который закрывает глаза рукой и уже готов обделаться. Бобби Джеймс стоит спокойно: мысли его мне не прочесть, но в целом поза говорит о том, что он чувствует примерно то же, что и я.

— Знакомьтесь, ребята, — говорит нам мистер Макфадден, — это Марта Муни, замужняя, мать четырех детей.

— Привет, Марта, что случилось? — говорит Бобби Джеймс.

— Как дела, Марта, куколка моя? — спрашиваю я.

— Марта прибыла к нам позавчера ночью из "Назарет хоспитал", — поясняет мистер Макфадден. — Завтра ее выход.

— А как она умерла? — интересуется Бобби Джеймс.

— Выиграла в автоматах в Атлантик-Сити и рухнула замертво, — отвечает нам мистер Макфадден.

— Да ладно, — говорит Бобби.

— Бросьте вы, а если серьезно? — добавляю я.

— Куда уж серьезней, — говорит он. — Она пихала в автомат четвертаки, выиграла штуку — тут сердечный приступ: так и умерла на полу рядом с собственным выигрышем.

— Гадость какая, — говорит Бобби и дышит себе на руки. — Да, такой работе не позавидуешь.

— На самом деле все не так ужасно, как кажется, — говорит мистер Макфадден. — Мне нужно приводить в порядок только их лица. Всего-то и дел — убрать подкожную жидкость, немного формальдегида, чуть-чуть косметики, и — вперед и с песней.

— А там кто? — спрашиваю я, указывая на соседний стол.

Мистер Макфадден укрывает Марту Муни и откидывает другое покрывало. Под ним оказывается лысый придурок, вылитый Носферату, в котором весу от силы фунтов восемьдесят и кое-где на теле видны какие-то отметины, напоминающие синяки в форме банана.

— Генри, спорим, кто ближе угадает, сколько чуваку лет, — говорит Бобби Джеймс.

— Ладно, ему где-то девяносто, — говорю я.

— Я бы дал поменьше: лет восемьдесят, — говорит Бобби. — Кто из нас ближе, мистер Макфадден?

— Никто. Это Джозеф Маккалистер, умер в возрасте сорока восьми лет.

— Да хорош пиздить, — выпаливает Бобби Джеймс до того, как это успеваю сделать я.

— Я серьезно, — заявляет Макфадден. — У мистера Маккалистера был рак, а рак, как известно, пленных не берет. Рак унес от меня миссис Макфадден, когда Кевин еще и матом-то как следует ругаться не умел.

Обдавая мистера Макфаддена паром изо рта, мы говорим, что очень ему сочувствуем.

— Все в порядке. Спасибо, ребята. Я упомянул о ней для примера. Когда она только-только начала болеть, в ней было фунтов сто двадцать. А когда умерла два года спустя, то весила от силы семьдесят пять.

— Господи, — говорю я. — Это же очень трудно — возиться с мертвыми и при этом не думать о ней?

— Не так уж и трудно, — отвечает он. — Это моя работа. Я больше думаю о ней, когда кругом веселье, например, когда ем пончики, глядя на парад. Теперь к вопросу о женах: во сколько вы хотите, чтобы я вас покатал завтра вечером, Генри?

— Как насчет девяти тридцати? — говорит ему Гарри, нагло врываясь со своей расчетливостью в мои розовые мечты.

— Вполне, — отвечает ему мистер Макфадден. — Генри, кто-нибудь из вас вообще знает, как это делается?

— Не-а, — признаюсь я. — Просто я хочу, чтобы это был сюрприз.

Мистер Макфадден заливается смехом.

— Сюрприз будет еще какой, можешь мне поверить.

— А как вы сделали предложение миссис Макфадден? — спрашиваю я.

Он поднимает глаза к потолку и снова смеется. Клубы пара вырываются у него изо рта, словно он никакой не мистер Макфадден, а скользящая по стене тень от маски на карнавальном шествии.

— На рампе, после приземления на задницу.

— Что? Так и было задумано? — спрашивает Бобби Джеймс.

— Да нет, болван. Катание на роликах в план входило, но безо всяких падений. Я начал встречаться с миссис Макфадден — с Дениз, тогда она еще была Дениз Макбрайд, — когда нам обоим было по семнадцать. На углу Коттман и Бруз была рампа, где раз в неделю устраивались танцы на роликах. Когда вы, ребята, были совсем маленькие, она все еще была там. Помните? Наверное, уже нет. В общем, мы с Дениз встречались уже шесть месяцев, и я знал, что она — та самая, единственная. Просто знал и все. Я подождал, пока мы оба закончим школу, купил кольцо и принес его с собой на рампу. Она каталась очень здорово, а я, наоборот, очень плохо. Мы стали ходить туда в первую очередь именно поэтому. Она хотела научить меня кататься. Постепенно у меня тоже стало здорово получаться, за исключением того, что мне никак не давалось движение, когда медленно едешь спиной вперед с ней за руку под песню "Земной ангел", которая ей очень нравилась и вообще была тогда хитом. Она просто с ума от нее сходила.

— Мне тоже нравится эта песня, — говорю ему я.

— Верно. И мне тоже, Генри, — говорит он. — Я решил, что выложу ей все как есть, когда мы будем катиться назад под эту песню. Целых два месяца я каждый день тренировался в разрывах между домами. Заработал себе на этом сотрясение и миллион ссадин, но в итоге у меня стало получаться довольно сносно. Потом настал тот самый вечер, заиграла та самая песня, и мы покатили назад, но только я достал кольцо из кармана, как приземлился задницей на асфальт. Кольцо вылетело. И с концами. А она меня переехала и тоже упала. Битый час все искали кольцо, и в итоге она таки его нашла. Я стоял на коленях, засунув голову в урну, и плакал. Она тронула меня за плечо, протянула кольцо и сказала "да". Через месяц мы поженились.

— Вау, — все, что я мог сказать.

— Да, сработало. Гарри, может, личико-то откроешь?

— Только когда мы выйдем из этого заведения, — отвечает Гарри. — Пожалуйста, без обид.

— Без обид, — говорит мистер Макфадден, подмигивает нам с Бобби Джеймсом, тянется к выдвижному ящику стола, достает оттуда маску оборотня и надевает ее на себя.

— Я накрыл тела, Гарри. Можешь открыть глаза.

Гарри смотрит в щелочку между сложенными ладонями.

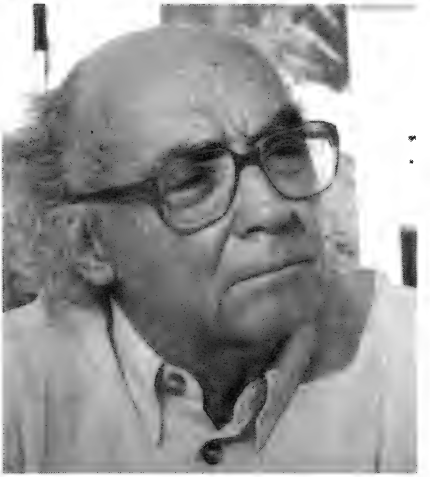
БУУ!

Гарри с визгом вылетает из холодильной камеры, а затем и из дома на улицу. Мы с Бобби Джеймсом смеемся до слез, согнувшись пополам и толкаясь плечами. Джеймси толкает меня слишком сильно, и я невольно дотрагиваюсь рукой до миссис Муни. Я издаю вопль ужаса, рядом начинает вопить Бобби Джеймс, и мы несемся прочь из дома вслед за Гарри, слыша за собой смех обоих Макфадденов.

— До завтра, Генри, — кричит мистер Макфадден нам вдогонку. — Я прихвачу с собой Марту Муни. Устроим двойное свидание.

Окончание в следующем номере

Жозе Сарамаго



Нобелевская премия 1998 года

Слепота

Фрагмент романа

Перевод с португальского А. Богдановского

Могущий смотреть, да увидит. Могущий видеть — да заметит.

Книга Наставлений

ЗАГОРЕЛСЯ желтый. Два первых автомобиля, поддав газу, успели проскочить, пока не вспыхнул красный. Человеческая фигурка на пешеходном светофоре высветилась зеленым. Те, кто стоял на тротуаре, двинулись через дорогу по широким белым стежкам, продернутым в черной асфальтовой ткани, менее всего на свете напоминают они зебру, однако называются именно так. Нетерпеливые водители, то выжимая, то отпуская педаль сцепления, не давали своим машинам покоя, и те чуть поерзывали вперед-назад, нервно подрагивали, как кони при виде хлыста. Пешеходы уже прошли, но сигнал, именуемый разрешающим, появился лишь через несколько секунд, укрепляя кого-то во мнении, что именно эта заминка, которая кажется столь незначительной, умножившись на тысячи светофоров по всему городу, постоянно чередующих свои три цвета, и есть главная причина тугой закупорки уличных артерий, пробок, проще говоря.

© José Saramago e Editorial Caminho, 1995
© А. Богдановский. Перевод, 2008
© Дмитрий Померанцев. Послесловие, 2008
Полностью роман будет опубликован в издательстве "ЭКСМО".

Наконец дали зеленый, машины резво и резко рванулись вперед, но, как тотчас выяснилось, не все. Первая в среднем ряду стоит как стояла, должно быть, какая-нибудь неприятность случилась, обычное дело: сдох акселератор, гидравлика накрылась, заело что-то в коробке передач, заклинило тормозные колодки или отошел контакт, а может, просто бензин кончился. Новое скопление пешеходов, образующееся на тротуарах, видит, как за лобовым стеклом размахивает руками водитель, слышит, как истошно сигналят ему задние. Одни уже выскочили на мостовую с намерением оттолкать застрявшую машину с проезжей части на обочину, другие стучат негодующе в поднятые стекла, а человек за рулем вертит головой туда-сюда, кричит что-то, и по шевелению его губ можно понять, что он повторяет одно и то же слово, нет, не одно, а два — два, что подтвердится, когда удастся наконец распахнуть дверцу: Я ослеп.

А так не скажешь. На вид, то есть на первый и неизбежно в таких обстоятельствах беглый взгляд, оба глаза у него целы и невредимы, радужка блестящая и светлая, склеры белые и плотные, как фарфор. А что веки широко открыты, кожа на искаженном лице собралась складками, брови вздернуты — так это, всякому понятно, от ужаса. И вот уже все, что было открыто взглядам, исчезло за стиснутыми, прижатыми ко лбу кулаками водителя, словно призванными удержать в мозгу последнее, что он видел, — красный круглый глаз светофора. Я ослеп, я ослеп, твердит он в отчаянии, покуда доброхоты помогают ему выбраться из машины, и от брызнувших слез глаза, объявленные незрячими, блестят сильнее. Это пройдет, вот увидите, скоро пройдет, так бывает, это у вас нервное, сказала какая-то женщина. Меж тем свет на светофоре поменялся, и не вовремя заглохшую машину обступили теперь еще и пешеходы, тогда как не ведавшие сути события водители в задних рядах возмущались мелким, как мнилось им издали, дорожным происшествием, повлекшим за собой последствия не серьезней разбитой фары или поцарапанного крыла и никак не заслуживающим такого столпотворения. Вызовите полицию, кричали они, уберите же этот драндулет. Отвезите меня домой, умолял слепец, а женщина, уверявшая, что это у него нервное, высказалась в том смысле, что вызвать следует скорую помощь и доставить несчастного в больницу, однако тот твердил, что нет-нет, не надо, и просил всего лишь, чтоб проводили до дверей дома. Тут рядом, в двух шагах, пожалуйста, вы окажете мне большую услугу. А машина, раздался чей-то голос. И другой ответил: Ключ в замке, надо отогнать к бордюру или поставить на тротуар. Нет, прозвучал третий голос, я сяду за руль и отвезу его домой. Послышался ропот одобрения. Слепец почувствовал, как его взяли под руку. Идемте, идемте со мной, произнес тот же голос. Усадили справа от водителя, пристегнули. Не вижу, не вижу, повторял он сквозь слезы. Адрес скажите, попросил человек за рулем. К стеклам с обжорливо-жадным любопытством липли лица зевак. Слепец поднял руки к глазам, подвигал кистями, пошевелил пальцами. Ничего не вижу, сплошной туман, как в молоке плаваю. Значит, не слепота, отозвался водитель, слепота, говорят, когда перед глазами все черно. А у меня все белое. Может, та дамочка была права, и это у вас нервное, нервы — вещь такая. Да мне ли не знать, боже, какое несчастье. Скажите, пожалуйста, где вы живете, и в тот же миг заурчал мотор. Запинаясь, сбиваясь и оговариваясь, словно потеря зрения лишила его и памяти, слепец назвал адрес, потом добавил: Не знаю, как вас благодарить, а води-

тель ответил: Да ну, какие пустяки, сегодня вы, завтра я, и кто может знать, что его ждет. Вы правы, правы, мог ли я подумать, когда выходил утром из дому, что со мной стрясется такая беда. И, удивленный тем, что машина не движется, спросил: А почему мы стоим? Красный, был ответ. А-а, протянул слепец и заплакал еще горше. Отныне и впредь он лишился способности следить за переключениями светофора.

Как и сказал слепец, дом его был неподалеку. Но вдоль тротуара вереница машин вытянулась так плотно, не приткнешься, что пришлось свернуть в переулок, поискать место там. Нашли и поставили совсем впритирку к стене, левым боком, чтобы слепец не должен был в тоске и ужасе перебираться с одного кресла на другое, причем рычаг переключения скоростей и рулевое колесо будут ему в этом всячески препятствовать. Но зато ему придется выйти первым. И вот он вышел и в растерянности замер посреди улицы, чувствуя, как земля уходит из-под ног, и силясь сдержать рвущееся из горла отчаянье. Взмахнул руками, будто и в самом деле решил пуститься в плавание по этому молочному морю, о котором недавно говорил, и открыл уже было рот, чтобы позвать на помощь, но в этот самый миг его чуть тронули за локоть: Успокойтесь, я здесь. Они двигались очень медленно, слепец, боясь упасть, волочил ноги, шаркал подошвами, почти не отрывая их от мостовой, но оттого спотыкался на самой незначительной выбоине. Потерпите немножко, мы уже почти пришли, сказал провожатый и, сделав еще несколько шагов, осведомился: А дома-то у вас есть кому за вами приглядеть, слепец же ответил: Не знаю, жена, наверно, еще не вернулась с работы, это я сегодня освободился пораньше, и надо же такому случиться. Помяните мое слово, скоро пройдет, я никогда не слышал прежде, чтоб человек слеп так вот, вдруг. А я еще гордился, что в моем возрасте не нуждаюсь в очках. Тем более. Они уже добрались до дверей, и две женщины с любопытством наблюдали за тем, как их соседа ведут под руку, но ни одной не пришло в голову спросить: Что-нибудь в глаз попало, и спрошенному не пришлось отвечать: Да не в глаз, а сам я попал в молочное море. Уже в подъезде слепец сказал: Большое вам спасибо и простите за беспокойство, дальше уж я сам как-нибудь. Нет-нет, я поднимусь с вами, удостоверюсь, что все в порядке. Втиснулись кое-как в тесную кабину лифта. Какой этаж. Третий, представить себе не можете, как я вам признателен. Совершенно не за что, сегодня вы. А завтра я. Лифт остановился, они вышли на площадку. Помочь вам отпереть дверь. Спасибо, думаю, с этим я справлюсь. И, вытащив из кармана связку ключей, принялся ощупывать одну за другой бородки у каждого, потом сказал: Вот этот, кажется, и левой рукой, кончиками пальцев, нашарив замочную скважину, правой вставил ключ. Не тот. Давайте я. Дверь отворилась с третьей попытки. Э-эй, ты дома, позвал слепец. Никто не отозвался, и, пробормотав: Так я и думал, еще не пришла, вытянул руки и ощупью двинулся по коридору, потом осторожно обернулся, повернул голову туда, где по его расчетам должен был находиться провожатый, сказал: Не знаю, как вас и благодарить. Вам не за что меня благодарить, я просто выполнил свой долг, ответствовал добрый самарянин и добавил: Может быть, помочь вам устроиться поудобней, посидеть с вами, пока жена ваша не придет. Но столь рьяная забота внезапно показалась хозяину подозрительной, и не оставлять же, в самом деле, у себя дома совершенно постороннего чело-

века, который, может быть, в этот самый миг размышляет, как бы половчей обратать беззащитного слепца, связать его, заткнуть ему рот, да и обчистить квартиру. Нет-нет, пожалуйста, не беспокойтесь, все хорошо, и, медленно закрывая дверь, повторил: Не нужно, не нужно.

И перевел дух, когда лифт с гудением пошел вниз. Совершенно безотчетно, не помня, в каком состоянии находится, откинул крышечку, приник к дверному глазку. Показалось, что взгляд уперся в глухую белую стену по ту сторону двери. Он чувствовал, как прикасается к орбите металлический ободок и щекочет ресницы маленький окуляр, но не видел ни того, ни другого — все закрывала непроницаемая белизна. Он знал, что находится у себя дома, узнавал его по запаху, по воздуху, по тишине, различал мебель и прочие предметы, когда легко, едва касаясь, проводил по ним пальцами, но в то же время чудилось, будто все это растворяется, переходит во что-то вроде нового измерения, где нет направлений и соотношений, севера и юга, верха и низа. Как и все, наверно, в отрочестве он забавлялся, представляя себе, что ослеп, и, проведя минут пять с закрытыми глазами, каждый раз убеждался, что слепота — несчастье хоть и ужасное, однако до известной степени переносимое, если, конечно, настигло жертву не при рождении, и в памяти сохранились не только цвета и краски, но и формы, очертания, рельефы. В ту пору он думал даже, что тьма, в которой обречены жить слепцы, есть не более чем простое отсутствие света и так называемая слепота всего лишь прячет наружность предметов и людей под своим черным покрывалом, сохраняя их недоступными, неприкосновенными. Теперь же, напротив, погрузившись в эту ослепительную и всеобъемлющую белизну, он чувствовал — она не поглощает, а просто-таки пожирает не только цвета, но и сами предметы, равно как и людей, делая их невидимыми вдвойне.

Хотя слепец подвигался в гостиную с благоразумной медлительностью, ведя блуждающей рукою вдоль стены, он все же смахнул на пол нежданно возникшую на пути вазу с цветами. Сам ли он позабыл о ней, жена ли оставила перед уходом, чтобы по возвращении водрузить ее на подобающее место, — неизвестно. Он наклонился, ощупью оценивая размеры ущерба. Вода лужицей стояла на вощеном полу. Слепец решил подобрать цветы, но не подумал об осколках и один, длинный и очень тонкий, тотчас засадил себе в палец, отчего, то есть от боли и потерянности, ослепленный белизной, заполонившей дом, где между тем с наступлением вечера сгущались сумерки, снова расплакался как ребенок. Не выпуская цветов, чувствуя, как сочится кровь, он, изогнувшись всем телом, запустил здоровую руку в карман, исхитрился вытащить платок, обернул им, как сумел, палец. Потом, ощупывая дорогу, спотыкаясь, огибая мебель, ступая осторожно, чтобы не запнуться ногой о ковер, добрался до дивана, где они с женой смотрели прежде телевизор. Уселся, положил цветы на колени и очень осторожно размотал платок. Встревожился, что кровь такая липкая, подумал, наверно, это оттого, что не видна, стала она чем-то бесцветным и вязким, чужеродным и посторонним, принадлежащим ему и вместе с тем — подобным угрозе, от него исходящей и на него же направленной. Медленно-медленно, едва касаясь, здоровой рукой нащупал тонкую стеклянную занозу, острую, как крошечный клинок, ухватил ее ногтями большого и указательного пальцев и, не сломав, выдернул всю целиком. Снова обмотал поврежденный палец платком, стянул потуже,

чтобы унять кровь, и в изнеможении, будто капитулировав, откинул голову на спинку дивана. Уже очень скоро из-за одного из тех сбоев, которые нередко дает наша плоть в минуты отчаянья или тоски, хотя по формальной логике именно тогда нервам полагалось бы напрячься и быть настороже, он впал в какое-то забытье, не такое глубокое, как сон, но столь же тяжелое. И тотчас же приснилось ему, что он играет в давнюю вышеупомянутую игру, что открывает и закрывает глаза и всякий раз, будто воротясь из дальних и долгих странствий, обнаруживает, что вокруг незыблемо и неколебимо ожидают его черты и краски привычного мира. Но он чувствует, как успокоительную непреложность точит и размывает глухое сомнение: быть может, все это только лживый сон, от которого он рано или поздно очнется, не зная, впрочем, что за явь будет ждать его. Затем, а, собственно говоря, за чем за тем и можно ли назвать этим словом то, что длилось всего несколько мгновений, он уже вернулся в состояние полубодрствования, которое подготавливает пробуждение, и очень основательно рассудил, что нехорошо пребывать в подобной нерешительности на грани сна и яви, яви и сна, пора делать выбор, пришел срок рискнуть и смело спросить себя: А что я тут делаю, с цветами на коленях и с закрытыми глазами, которые вроде бы опасаюсь открыть. А что ты тут делаешь с цветами на коленях, спишь, что ли, спросила жена.

И, не дожидаясь ответа, принялась подбирать осколки вазы, затирать лужу с некоторым вызовом, а приговаривать — с досадой, которую и не трудилась скрыть: Мог бы, между прочим, и сам, чем валяться на диване с таким видом, будто ты ни при чем. Он молчал, опущенными веками оберегая себя, и: А что, если сейчас открою глаза и увижу, словно разрядом тока, пробила его неожиданная мысль, жгучая надежда. Подойдя поближе, жена заметила окровавленный платок, и раздражение ее моментально угасло: Бедненький, как это ты умудрился, жалостливо приговаривала она, разматывая импровизированную повязку. Тогда он всеми силами души пожелал увидеть жену, стоящую на коленях возле дивана, а потом, уже зная, что не увидит, открыл глаза. Проснулся наконец, соня ты этакий, с улыбкой проговорила она. Я ослеп, сказал он, я не вижу тебя. Перестань, сказала она, что за глупые шутки. Дорого бы я дал, чтобы это была шутка, только я и вправду ослеп и ничего не вижу. Пожалуйста, не пугай меня, посмотри на меня, вот сюда, сюда, я здесь, и свет горит. Я знаю, что ты здесь, я слышу тебя и ощущаю, я понял, что ты зажгла свет, но ничего не вижу. Она заплакала, вцепилась в него, ухватила за плечи: Неправда, скажи, что это неправда. Цветы рассыпались по полу, из пораненного пальца вновь закапала кровь, а он тоном, каким говорят: Все не так уж скверно, пробормотал: Все сплошь какое-то белое, и улыбнулся печально. Жена села рядом, крепко обняла, осторожно поцеловала его лоб, щеки, нежно и бережно прикоснулась губами к глазам: Все пройдет, вот увидишь, все скоро пройдет, ты ведь не болел, так не бывает, чтобы вдруг, ни с того ни с сего. Да, наверно. Расскажи мне все, что ты почувствовал, как это случилось, где, когда, нет, постой, прежде всего надо посоветоваться с окулистом, у тебя есть какой-нибудь знакомый доктор. Нет, ни ты, ни я не носим очков. А если поехать в больницу. Для слепых неотложной помощи нет. Ты прав, лучше проконсультироваться с окулистом, сейчас найду в адресной книге такого, кто принимает неподалеку от нас. Поднялась, спросила: Есть

разница? Ты о чем. Я погасила свет, ты заметил какую-нибудь перемену? Нет, ничего. Что значит — ничего. Ничего, вижу все ту же белизну, для меня темноты словно вообще не существует.

Он слышал, как жена шуршит перелистываемыми страницами, дует, чтобы разлепить их, как вздыхает и наконец произносит: Вот этот должен подойти, господи, хоть бы он согласился нас принять. Набрала номер, уточнила, туда ли попала, спросила, принимает ли доктор и может ли он взять трубку, нет-нет, он меня не знает, это очень срочно, да, пожалуйста, понимаю, ну что же, могу и вам сказать, но прошу немедленно передать доктору, дело в том, что мой муж внезапно ослеп, да-да, именно так, нет-нет, он не ваш пациент, он даже очки не носит и никогда не носил, у него стопроцентное зрение, как и у меня, я тоже превосходно вижу, да-да, большое спасибо, я подожду, здравствуйте, доктор, да, внезапно, по его словам, вокруг только белое, я сама не знаю, не успела толком расспросить, я только вернулась со службы и обнаружила его в этом состоянии, может быть, вы сами спросите, ах, огромное вам спасибо, мы немедленно, немедленно будем у вас. Слепец поднялся. Погоди, остановила его жена, сначала надо обработать твой палец, она вышла и через несколько мгновений вернулась с перекисью, йодом, ватой и прочим содержимым аптечки. Смазывая и перевязывая, она спрашивала: А где ты оставил машину, и внезапно: Но как ты доехал, ведь ты вести не мог, или это случилось уже дома. Нет, на улице, когда я остановился на светофоре, какая-то добрая душа довезла меня, машину мы оставили в переулке. Ну что, сказала женщина, идем, ты постоишь в подъезде, пока я подгоню, а где ключи. Не знаю, он мне их не вернул. Кто он. Добрая душа, которая привезла меня, обитает в теле мужчины. Но они должны быть где-то здесь. В комнате не ищи, он не прошел дальше прихожей. Где же они. Наверно, машинально унес их с собой. Только этого нам не хватало. Возьми запасную пару, потом найдем. Ладно, пошли, дай мне руку. Слепец сказал: Если так все останется, я жить не буду. Ради бога, не говори глупостей, за глаза хватит и того, что уже случилось. За глаза, говоришь, это ведь я ослеп, не ты, а я, и потому не можешь знать, что случилось. Доктор тебе поможет, вот увидишь. Увижу.

Вышли. Внизу, в подъезде, жена зажгла свет, шепнула: Жди меня здесь, появится кто из соседей, держись как ни в чем не бывало, говори, что ждешь меня, глядя на тебя, никто и не подумает, что ты не видишь, нечего всех посвящать в нашу жизнь. Давай поскорей. Женщина выбежала на улицу. Никто из соседей не появился. По опыту прошлых лет слепец знал, что, когда вестибюль освещен, слышится легкое гудение автоматического счетчика, и потому, как только оно стихало, нажимал на выключатель. Свет для него превратился в звук. Почему же так долго нет жены: переулок, где они оставили машину, был метрах в восьмидесяти, от силы — в ста. Врач до ночи дожидаться не станет, подумал он. И бессознательным движением поднял на уровень глаз левое запястье, намереваясь взглянуть на часы. Сморщил, словно от внезапной боли, губы, поблагодарил бога за то, что никто из соседей не появился в эту минуту рядом, ибо первое же слово, обращенное к нему, пресеклось бы рыданием. Было слышно, как у подъезда остановился автомобиль. Наконец-то, подумал слепец и тотчас удивился непривычному звуку. Это дизель, это такси, сказал он и еще раз нажал на кнопку. Жена, вбежав-

шая в подъезд, была вне себя. Этот твой благодетель, добрая душа, угнал у нас машину. Не может быть, ты плохо смотрела. Я хорошо смотрела, слава богу, не слепая, последние слова вырвались у нее словно сами собой, ты ведь сказал, что машина в переулке за углом, там ее нет, так что либо вы оставили ее еще где-то, либо. Да нет же, я уверен, что она там. Значит, она испарилась. Так, значит, ключи, начал он и осекся. Да-да, он воспользовался тем, что ты не в себе, и ограбил нас. А я ведь даже побоялся впустить его в дом, а если бы он побыл со мной до твоего возвращения, то не сделал бы этого. Ладно, пошли, такси ждет, но, клянусь, я отдала бы год жизни, чтобы этот подонок тоже ослеп. Тише. И чтобы его тоже обобрали до нитки. Может быть, он еще появится. Ну, конечно, завтра же постучит в двери, скажет, что это он по рассеянности, извинится и справится о твоем самочувствии.

По дороге молчали. Она пыталась не думать об угнанной машине и нежно держала его руки в своих, а он, опустив голову, чтобы водитель в зеркале не видел его глаз, беспрестанно спрашивал себя, как же это так вышло, что с ним стряслось подобное несчастье. За что это мне. Проникавший в машину шум с улицы становился громче, когда такси останавливалось: так бывает, когда мы еще во сне, но уже воспринимаем внешние шумы сквозь пелену бессознательного, окутывающую нас, словно саван. Он замотал головой, судорожно вздохнул, и женщина нежно прикоснулась к его щеке, будто говоря: Успокойся, я здесь, я с тобой, и тогда он уронил голову ей на плечо, уже не заботясь о том, что подумает водитель. Тебя б на мое место, с какой-то детской злостью подумал он, посмотрел бы я на тебя, и, сам не замечая нелепости своей мысли, поздравил себя, что, пребывая в таком беспросветном отчаянье, все же не утратил способности мыслить логически. Незаметно поддерживаемый женой, он вылез из машины и казался вполне спокоен, но у самых дверей консультации, где должна была решиться его судьба, вдруг спросил дрожащим шепотом: Каково мне будет, когда выйду отсюда, и покачал головой, ни на что уже не надеясь.

Жена сообщила регистраторше, что это она звонила полчаса назад по поводу мужа, и та провела их в небольшую комнату, где сидели в ожидании приема несколько пациентов. Старик с черной повязкой на глазу, косоглазый мальчик и женщина, по всей видимости приходившаяся ему матерью, девушка в темных очках и еще двое без особых примет, но ни одного слепого, ибо слепые к окулистам не ходят. Жена провела его к свободному стулу и, чтобы не занимать другой, осталась стоять рядом, шепнула на ухо: Придется подождать, и он понял, почему придется, ибо слышал голоса ожидающих, и тотчас затомился новой тоской, подумав, что чем позже попадет он к доктору, тем глубже провалится в свою слепоту и, следовательно, тем меньше будет надежд на исцеление. Беспокойно заерзал на стуле, хотел было поделиться своей мыслью с женой, но в этот миг открылась дверь, и сестра произнесла, обращаясь к ним: Проходите, пожалуйста, и — к другим пациентам: Доктор примет их без очереди, случай безотлагательный. Мать косоглазого мальчика возразила, что порядок есть порядок, идти должны они с сыном, и так уже больше часа ждут. Прочие больные вполголоса поддержали ее, но все они, да и она сама, настаивать на своем сочли неблагоразумным из опасений, как бы доктор, рассердившись, не заставил их в отместку ждать

еще дольше. Старик с повязкой на глазу проявил великодушие: Да чего уж там, пусть идет, бедняга, ему, как видно, хуже, чем любому из нас. Слепец не слышал этих слов, супруги уже входили в двери кабинета, и жена, проговорив: Мы так вам признательны, доктор, дело в том, что у моего мужа, осеклась, потому что не знала, что́ именно у ее мужа, кроме того, что он ослеп и что у них украли машину. Садитесь, пожалуйста, сказал врач и сам помог слепцу устроиться на стуле, а потом, дотронувшись до его руки, обратился теперь прямо к нему: Ну, рассказывайте, что стряслось. И слепец рассказал, как сидел в машине и ждал, когда красный свет сменится зеленым, и вдруг перестал видеть, и как вокруг собрались люди, чтобы помочь, и какая-то немолодая, судя по голосу, дама предположила, что, скорей всего, это нервное, и как потом какой-то господин довез его до дому, потому что сам он никак бы не смог: Все вокруг белое, доктор. Похищенный автомобиль упомянут не был.

Никогда прежде не случалось с вами такого, ну, или чего-то подобного, спросил врач. Никогда, доктор, я и очки-то не ношу. Значит, говорите, это случилось внезапно. Именно так, доктор. Как будто вдруг взяли и выключили свет. Да нет, скорее не взяли, а дали, то есть зажгли. В последние дни не замечали, что стали хуже видеть. Нет. Скажите, незрячие в семье у вас есть или, может быть, были. Да нет, ни у кого из родни, сколько я знаю или слышал, ничего такого не было. Диабетом не страдаете. Нет, доктор. Сифилисом не болели. Нет, доктор. К подъемам давления, артериального или внутричерепного, не склонны. Насчет внутричерепного не в курсе, а так все в норме, в моей компании регулярно проводят диспансеризацию. Сегодня или вчера головой не ударялись. Нет, доктор. Сколько вам лет. Тридцать восемь. Ну, хорошо, давайте-ка посмотрим. Слепец широко раскрыл глаза, как бы облегчая к ним доступ, однако врач за руку подвел его к некоему устройству, которое человек с живым воображением принял бы за новую модель исповедальни, такой, где вместо слов глаза, и духовник проникает взглядом в самую глубь душевного нутра. Подбородок вот сюда, упритесь, глаза не закрывайте, не шевелитесь. Жена подошла сзади, положила руку на плечо слепца, сказала: Вот увидишь, сейчас все выяснится. Врач поднял и опустил сдвоенные окуляры, подкрутил чуть заметно регулятор настройки и начал обследование. Ни в роговице, ни в склерах, ни в радужке, ни в сетчатке, ни в хрусталике, ни в зрительном нерве, короче говоря, нигде никакой патологии не обнаружилось. Он отодвинулся от аппарата, потер глаза и, не сказав ни слова, начал все с самого начала, а когда завершил вторичный осмотр, лицо у него было озадаченное. Знаете, я ничего не нахожу, глаза у вас в полном, просто идеальном порядке. Жена, счастливо всплеснув руками, воскликнула: А что я тебе говорила, вот все и выяснилось. Не обращая на нее внимания, слепец спросил: Мне уже можно поднять голову. Да, конечно, извините. Доктор, но если глаза у меня в полном порядке, отчего же я не вижу. Пока не могу сказать, надо будет провести еще кое-какие исследования, анализы сдать, сделать энцефалограмму, эхографию. Вы думаете, это что-то мозговое. Исключать такую возможность нельзя, но мне так не кажется. Но ведь вы сказали, что не нашли никакой болезни у меня в глазах. Не нашел. Тогда я не понимаю. Я хочу сказать, что если вы фактически слепы, то слепота ваша в данную минуту для меня необъяснима. Вы сомневаетесь,

что я слеп. Ну что вы, просто это очень редкий случай, я, например, за всю свою практику ни с чем подобным не сталкивался, да что я, возьму на себя смелость сказать, история мировой офтальмологии не знает такого. Но как вы считаете, буду я видеть. Ну, в принципе, поскольку я не обнаружил никаких поражений и повреждений, ни врожденных, ни благоприобретенных, мой ответ должен быть положительным. Должен быть, но не будет. Исключительно из предосторожности, только ради того, чтобы не подавать надежду, которая может оказаться беспочвенной. Понятно. Вот и хорошо. Может, мне пройти курс какого-нибудь лечения или там начать лекарство принимать. Видите ли, назначать вам сейчас какой-нибудь препарат значило бы действовать вслепую. Вижу, сказал слепец, вы очень метко выразились. Врач притворился, что не услышал эту реплику, поднялся со своего вертящегося табурета и, не присаживаясь к столу, выписал направления на анализы и исследования, которые счел нужным провести. Протянул бумажки жене пациента: Возьмите, придете с мужем, когда получите результаты, а будут какие-либо изменения в состоянии, звоните. Сколько мы вам обязаны, доктор. В регистратуре вам скажут. Он проводил супругов до дверей, пробормотал нечто утешительно-банальное вроде того, что не следует унывать и тем более отчаиваться, все наладится, а оставшись один, прошел в маленькую туалетную комнату, примыкавшую к кабинету, и долго, не менее минуты, смотрел на себя в зеркало. Что же это такое, а. Вернулся в кабинет, позвал сестру: Пригласите следующего.

А слепцу в ту ночь приснилось, что он ослеп.

Человек, угнавший у слепца машину, а сначала вызвавшийся помочь ему, действовал не с заранее обдуманным намерением и не руководствовался в ту минуту дурными побуждениями, но, напротив, совсем даже наоборот — движим был великодушием и альтруизмом, которые, как всем известно, являют собой две лучшие черты рода человеческого, встречающиеся даже и у куда более закоренелых преступников, нежели этот рядовой и заурядный угонщик, не имеющий ни малейших шансов возвыситься в иерархии, безжалостно эксплуатируемый истинными заправилами этого бизнеса, ибо они-то на полную катушку используют надобности и потребности тех, кто беден. И так ли уж, спросим себя, велика в конце концов разница между тем, чтобы помочь слепцу, а потом его же ограбить, и тем, например, чтобы ухаживать за дряхлой и немощной старушкой и в чаянии получить наследство ждать, когда она окочурится. Так вот, лишь у самого дома слепца сложился преступный замысел во всей своей безыскусной простоте в голове угонщика, который, можно сказать, решил приобрести лотерейный билетик, только заметив продавца, решил и, не осененный никаким предчувствием, приобрел, желая знать, что из этого выйдет, и заранее соглашаясь с тем, что ни — или вообще ничего не — преподнесет ему переменчивая фортуна, хотя кто-то, быть может, скажет, что действовал он чисто рефлекторно, рефлексы же определяет сама его личность. Те, кто скептически взирает на человеческую природу, а они многочисленны и упорны, заявят, пожалуй, что, если верен постулат насчет того, что не всегда случай делает вора, верно, без сомнения, и то, что случай ему сильно помогает. Мы же позволим себе высказать следующую мысль: если бы слепец принял второе предложение лжесамаряни-

на — речь, как вы помните, о предложении составить ему компанию до прихода жены, — сделанное в тот последний миг, когда доброе начало еще могло пересилить, то, как знать, не поборола бы в сем случае моральная ответственность, порожденная доверием, преступное искушение и не возобладало бы над ним светлое, благородное чувство, которое всегда отыщется даже в самых дремучих душах. Закругляя наш мудреный период на простонародный манер, скажем, что слепец переусердствовал в бдительности и в полном соответствии со старинной поговоркой про дурака, которого заставили богу молиться, поплатился за это.

Понятие совести, столькими безумцами порицаемое и еще большим их числом отвергаемое, тем не менее существует и всегда существовало, это вовсе не измышление философов четвертичного периода, когда душа чуть только успела выйти из стадии смутного замысла. С течением времени, обогатясь опытом совместного проживания и плодами генетического обмена, мы в конце концов поместили совесть в состав крови, в соль наших слез и, мало того, превратили глаза в подобие зеркал, обращенных внутрь, в результате чего они беззастенчиво опровергают то, что тщатся утверждать уста. Прибавьте к этому такое весьма распространенное, особенно у простых душ, свойство нашей натуры, как способность смешивать раскаянье с первобытными страхами разного рода, от какового смешения злоумышленник получает кару несоразмерную своему неблаговидному проступку, по крайней мере вдвое более тяжкую, и кара эта, фигурально выражаясь, без ножа его режет. И, следовательно, нет ни малейшей возможности определить, в какой степени муки, взявшиеся терзать угонщика, чуть только отъехал он от дома, порождены были страхом, а в какой — угрызениями совести. И очень, очень мало способствовало душевному спокойствию, что он оказался на месте человека, который держал этот же руль в тот самый миг, когда вдруг ослеп, который глядел через лобовое стекло и внезапно перестал что-либо видеть, и потому даже без помощи чересчур пылкого воображения мысли эти пробудили и заставили поднять голову мерзкое пресмыкающееся под названием страх. А заодно с ним и раскаянье, сгущенное выражение совестливости, как уже было сказано несколько выше, или когтистый, по выражению классиков, и, от себя добавим, весьма зубастый зверь, явило пред мысленным взором угонщика образ беспомощного и растерянного слепца таким, каков был он в тот миг, когда закрывал дверь своей квартиры. Не нужно, не нужно, я справлюсь сам, повторял тогда бедняга, которому отныне и впредь шагу не ступить без посторонней помощи.

Вор удвоил внимание, чтобы не дать этим пугающим мыслям полностью завладеть собой, ибо знал, что нельзя допустить даже самой ничтожной ошибки и отвлечься хоть на миг. Стоит лишь полицейскому, которых на улицах полно, остановить его и сказать: Ваши права, пожалуйста, и документы на машину, как все будет кончено: опять тюрьма и все связанные с нею прелести и тягости. И потому он беспрекословно подчинялся светофорам: не проскакивал на красный, уважительно относился к желтому, терпеливо ждал зеленый. Через какое-то время заметил, однако, что начинает следить за чередованием цветов уже почти как одержимый. И сменил тактику — стал подгадывать так, чтобы попасть под зеленую волну, даже если для этого приходилось превышать скорость или, наоборот, сбрасывать ее до предела, сильно раздражая этим едущих следом. Нако-

нец, вконец сбитый с толку, сам не свой от напряжения, взвинченный донельзя, свернул на поперечную второстепенную улицу, где светофоров, как он знал, не было, и помчался по ней куда глаза глядят, уповая на свое водительское мастерство. Он чувствовал себя на грани нервного срыва и примерно этими же словами характеризовал свое состояние: Нервы прямо на пределе. Стало вдруг нестерпимо душно. Он опустил стекла слева и справа, но воздух, если и проникал в салон, прохлады не приносил, атмосферу не разряжал. Что ж это я делаю, спросил он себя. Гаражи, куда следовало доставить автомобиль, далеко, в загородном поселке, в таком состоянии ему нипочем туда не добраться. Либо сцапают, либо вмажусь в кого-нибудь, что еще хуже, пробормотал он и решил, что надо ненадолго выйти из машины, остыть, привести мысли в порядок. Может, дурь из мозгов выдует, если тот малый ослеп, это не значит, что и со мной случится то же самое, это же не грипп, пройдусь немного и пройдет. Он вылез, даже не стал запирать машину, ибо вокруг не было ни души, и пошел. Однако не сделал и тридцати шагов, как ослеп.

Последним в очереди к окулисту был добрый старик с черной повязкой на глазу, пожалевший бедолагу, который так вот вдруг на ровном месте лишился зрения. Он пришел всего-то лишь узнать, когда ему удалят катаракту на единственном глазу: пустую орбиту второго прикрывала повязка, и старику, по его словам, видеть теперь было совсем нечем. Да, это у вас возрастное помутнение хрусталика, катаракта называется, сказал ему доктор, удалим, как созреет, и прозреете. Когда старик с черной повязкой ушел и сестра сказала, что приема никто больше не ждет, доктор достал медицинскую карту слепца, прочел ее раз и другой, на несколько минут задумался, а потом позвонил одному своему коллеге и имел с ним следующий разговор. Знаешь, я смотрел сегодня очень странного пациента, можешь себе представить, человек полностью ослеп, причем — сразу, в один миг, так вот, я его смотрел и ничего не нашел, никаких нарушений и врожденной патологии тоже никакой, он уверяет, что не видит ничего, кроме сплошного белого поля, как будто постоянно перед глазами — густое молоко, ну да, это я пытаюсь пересказать его ощущения, да понимаю, что субъективно, да нет, молодой еще, тридцать восемь лет, ты ничего о подобном не слышал, может быть, в литературе встречал, потому что я не знаю, как ему помочь, послал его пока делать анализы, может быть, вместе его посмотрим как-нибудь на днях, сегодня вечером пороюсь в книгах, посмотрю литературу, глядишь, какой-нибудь след найду, да, конечно, агнозия, психическая слепота, да, это вероятно, но тогда — это первый случай с такой клиникой, потому что тут полная потеря зрения, агнозия же, как мы с тобой знаем, есть невозможность идентифицировать увиденное, ну да, я тоже подумал об этом, церебральный амавроз, так о чем я начал говорить, ах да, но здесь-то нечто совершенно противоположное амаврозу, он-то ведь характеризуется полнейшей черной тьмой, а здесь мы имеем дело с белизной, разве что существует белый амавроз, белая, так сказать, тьма, ну да, и я тоже никогда ничего, ладно, завтра позвоню, скажу, что хочу вместе с коллегой еще раз посмотреть его. Завершив разговор, врач откинулся в кресле, посидел неподвижно несколько минут, потом усталыми медленными движениями стянул с себя белый халат. Пошел в ванную вымыть руки, но на этот раз не задавал своему отражению в зеркале

метафизических вопросов вроде: Что же это такое, а, вновь укрепился в научном мировоззрении, а что агнозия и амавроз подробнейшим образом изучены и описаны, вовсе не означает, будто в один прекрасный день не может появиться разновидностей, вариантов, мутаций, так сказать, и день этот, судя по всему, настал. Может существовать миллион причин для того, чтобы в мозгу заблокировалась зона, отвечающая за зрение, это просто мозг закрылся, мозг — и больше ничего[1]. Как видим, наш офтальмолог питал слабость к литературе и любил иногда ввернуть уместную цитату.

Вечером, после ужина, он сказал жене: Такой странный пациент был у меня сегодня, его случай можно было бы отнести к варианту агнозии или амавроза, но подобное пока нигде не описывалось. А что такое амавроз и эта, как ее, спросила жена. Доктор удовлетворил ее любопытство, дав объяснения, доступные разуму непрофессионала, а потом подошел к стеллажу, где стояли книги по специальности — и старые, еще студенческой поры, и новые, и совсем недавно вышедшие, пока даже не читанные. Поискал по оглавлению, по предметному указателю и методично принялся за чтение, намереваясь изучить все, что обнаружил по поводу амавроза и агнозии, но чем дальше, тем отчетливей испытывая какое-то неудобство, оттого что вторгался в чужие владения, на заповедные земли, в таинственные области нейрохирургии, о которой имел лишь самые общие представления. Глубокой ночью он отодвинул в сторону стопку книг, потер утомленные глаза и откинулся в кресле. С полнейшей ясностью обрисовалась ему альтернатива. Будь это агнозия, пациент видел бы то же и так же, что и как всегда, то есть ни в малейшей степени не утратил бы остроты зрения, но мозг его отказывался бы узнавать в стуле, например, стул, то есть продолжал бы правильно реагировать на световые стимулы, передаваемые зрительным нервом, но, если избегать специальных терминов и говорить на языке людей, далеких от медицины, утратил бы способность знать, что́ видит, и вдобавок — говорить об этом. Ну, а с амавро-зом дело обстояло еще того проще. В таком случае пациент видел бы, если позволительно употребить здесь этот глагол, только черную непроницаемую тьму, а вернее — ничего бы не видел. Слепец же категорически заявлял, что видит — опять же с поправкой на неуместность здесь такого слова — густую и плотную однородную белую массу, как если бы нырнул с открытыми глазами в молочное море. Белый амавроз[2], не говоря уж о том, что это словосочетание немыслимо с точки зрения этимологии, невозможен и неврологически, поскольку мозг, который не в состоянии различать реальность, не в силах и замазать белой краской, выкрасить в белый цвет без полутонов и оттенков те предметы, формы и цвета, которые являет эта самая реальность нормальному зрению, сколь бы ни были сомнительны рассуждения о самом существовании такового. С необыкновенной отчетливостью осознав, что зашел в тупик, откуда вроде бы нет выхода, и уперся лбом в стену, врач уныло покачал головой, огляделся вокруг. Жена уже ушла к себе — ему смутно припоминалось, что она подходила к нему и поцеловала в затылок: Пойду спать, в квартире было тихо, на столе громоздились книги. Что же это такое, а, подумал он и

1. Аллюзия на стихотворение Эдгара По "Ворон". (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Слово амавроз происходит от *греч.* amauros — темный.

вдруг испугался, как будто сам должен был в следующий миг ослепнуть и знал об этом. Он затаил дыхание, выждал. Ничего не случилось. Случилось через минуту, когда он собирал книги, чтобы поставить их на полку. Сначала понял, что не видит свои руки, а затем — что ослеп.

Болезнь, приключившаяся с девушкой в темных очках, не относилась к числу серьезных: у нее был самый обычный конъюнктивит, с которым прописанное доктором средство должно было справиться за несколько дней. Ну, а пока не подействует, очки, сами понимаете, будете снимать только на ночь, прибавил он. Можно предположить, что шутка эта бытует с незапамятных времен, передается офтальмологами из поколения в поколение, но с неизменным успехом, улыбнулся, произнеся ее, доктор, улыбнулась, выслушав ее, пациентка, что, в сущности, имело особый смысл, ибо девушка в темных очках пользовалась любой возможностью показать, какие у нее красивые зубы. Знакомый с ее образом жизни скептик, сделавшийся таким по природной мизантропии или из-за слишком частых разочарований, намекнул бы, что прелесть этой улыбки — не более чем профессиональный прием, но злобную инсинуацию следует отмести с негодованием, ибо она, то бишь улыбка, была такой и в те времена, не столь уж давние, когда носительница ее пребывала еще в девичестве, хоть это слово теперь не в ходу, когда будущее представало письмецом в конверте, а любопытство, побуждавшее распечатать его, только-только зарождалось. Несколько упрощая, можно было бы причислить ее к сословию проституток, однако многообразие и причудливое переплетение социальных отношений — дневных и ночных, вертикальных и горизонтальных, — действовавших в описываемую нами эпоху, советует нам если не унять, так хоть умерить неодолимую склонность к суждениям скоропалительным и чересчур определенным, но, похоже, нам от этой слабости не избавиться никогда. И пусть вполне очевидно, как много в Юноне от облака, неразумно все же упорствовать и смешивать античную богиню со скоплением водяных капель, парящих в атмосфере. Ну да, эта женщина отдается за деньги, что позволяет без долгих умствований отнести ее к разряду женщин продажных, но, если принять в расчет, что отдается она лишь тем, кому хочет и когда хочет, не следует исключать возможность того, что подобная разборчивость как-то вроде бы не вполне совместима с членством в почтенной гильдии. Как и у всех нормальных людей, есть у нее профессия, но точно так же, как и все нормальные люди, употребляет она свободное время на то, чтобы доставлять себе удовольствие и удовлетворять потребности, присущие всем вообще и ей одной в частности. Так что, если избегать однозначно-примитивных определений, следует наконец охарактеризовать ее как женщину, которая живет сообразно со своими вкусами и, кроме того, извлекает из этого максимум приятных ощущений.

От окулиста она вышла, когда уже сильно смеркалось. Очки не сняла, потому что уличное освещение, и в особенности неоновые огни рекламы резали глаза. Завернула в аптеку за лекарством, которое выписал ей доктор, и сделала вид, будто не слышит реплику провизора, сказавшего, что грешно, мол, скрывать такие глазки под темными очками, реплику дерзкую и саму по себе, тем более что позволил ее себе какой-то аптекарь, и противоречащую вдобавок ее глубокой убежденности в том, что темные очки придают ей обольстительно-загадочный вид и

пробуждают в прохожих мужского пола интерес, который она, может быть, и позволила бы утолить, если бы на сегодняшний вечер не было у нее назначено свидание, внятно сулившее много добра — как в плане материальном, так и во всяком ином-прочем. С мужчиной этим она уже встречалась раньше, его нимало не смутило предупреждение о том, что очки, повинуясь воле офтальмолога, тогда, впрочем, еще не высказанной, она снимать не будет, не только не смутило, но и позабавило как некое пикантное новшество. Выйдя из аптеки, взяла такси и назвала отель. Откинувшись на сиденье, она предвкушала разнородные и многообразные ощущения — от первого и умелого соприкосновения губ до волнообразной череды бурных оргазмов, которые, закрутив ее на головокружительном и умопомрачительном огненном колесе, оставят, будто распятую, типун нам на язык, в блаженном изнеможении. Стало быть, есть у нас основания полагать, что если партнер девицы в темных очках не подкачал в смысле техники, не оказался слишком, извините, скоропалителен, то она платит ему, во-первых, первой, а во-вторых, вдвое против того, что получает потом в денежном исчислении. Посреди этих размышлений и, без сомнения, потому, что давешний визит к офтальмологу обошелся ей недешево, она спросила себя, не пора ли, ни на день не откладывая, поднять то, что усмешливым иносказанием привыкла назначать за это свое более чем щедрое возмещение.

Попросила остановиться за квартал до отеля, смешалась с толпой, двигавшейся в том же направлении, плавно поплыла в этом людском потоке, никому не ведомая и ни перед кем не виноватая. Очень непринужденно вошла в отель, пересекла вестибюль и подсела к стойке бара. До условленного и очень точно оговоренного срока оставалось еще несколько минут, а потому надо было подождать. Заказала себе коктейль и принялась не спеша потягивать его, ни на кого не глядя, потому что не хотела, чтобы ее приняли за вульгарную охотницу на мужчин. Чуть погодя, с видом туристки, что после целого дня хождения по музеям поднимается к себе в номер, направилась к лифту. Неведомая ей пока добродетель неизменно встречает препятствия на тернистом пути к совершенству, а вот грех и порок пользуются благосклонностью фортуны, так что она добралась благополучно, и раздвижные двери отверзлись ей. Престарелая супружеская чета высадилась, а она вошла, нажала кнопку третьего этажа, ее ожидали в триста двенадцатом номере, вот он, негромко постучала в дверь, через десять минут была уже раздета, через пятнадцать — стонала, через восемнадцать — шептала, не имея надобности притворяться, слова любви, через двадцать — начала терять голову, через двадцать одну — почувствовала, что тело ее словно бы плавится от наслаждения, через двадцать две — закричала: Да, да, да, а когда пришла в себя, произнесла в пресловутом блаженном изнеможении: До сих пор все вокруг белое.

Угонщика домой доставил полицейский. Степенный и сочувственный правоохранитель представить себе не мог, что ведет матерого преступника, и наложил на него руку не ради торжества законности, но исключительно, чтобы бедняга не споткнулся. Зато нам нетрудно представить, как перепугалась жена вора, когда, отворив дверь, увидела на пороге полицейского в форме, конвоирующего, как ей показалось, аре-

станта, который вконец пал духом и с которым, судя по виду его, случилось кое-что гораздо похуже ареста. В первую минуту подумала она, будто мужа сцапали in flagranti delicto, то есть взяли с поличным и в доме сейчас произведен будет обыск, и эта мысль, как ни странно, внесла в смятенную душу женщины некоторое успокоение, ибо супруг похищал только автомобили, а такую вещь, сами понимаете, под кроватью не спрячешь. Впрочем, уже в следующую минуту все разъяснилось: Он ослеп, позаботьтесь о нем, и первоначальное облегчение женщины, увидевшей, что полицейский выступает в роли не конвоира, а поводыря, сменилось осознанием масштабов нагрянувшего в дом несчастья, когда супруг в слезах пал ей на грудь и поведал то, что мы уже знаем.

Девицу в темных очках в родительский дом тоже доставила полиция, однако пикантность обстоятельств, при которых обнаружилась слепота, — совершенно голая женщина, истошными воплями тревожащая покой других постояльцев отеля, ее кавалер, лихорадочно натягивающий штаны и не попадающий ногой в брючину — умеряла до известной опять же степени драматизм ситуации. Слепая, сгорая со стыда, а чувство это, что бы там ни твердили добропорядочные лицемеры, не вовсе улетучилось от сдачи любовной страсти в аренду и прокат, и осознав после серии пронзительно-режущих криков, что потеря зрения есть нечто иное, нежели непредусмотренное и завораживающе-непривычное последствие испытанного наслаждения, едва осмеливалась тихо плакать и причитать, когда ее, бесцеремонно и грубо вертя, одели и чуть ли не взашей вытолкали вон из отеля. Полицейский тоном, который можно было бы счесть исполненным сарказма, не будь он просто грубым, осведомился, узнав предварительно, где она живет, есть ли у нее деньги на такси, ибо: В таких случаях на казенный счет не прокатишься, что, заметим мимоходом, было вполне резонно, поскольку данная категория граждан не платит налогов со своего аморального оборота. В ответ она кивнула, но, став слепой, решила, будто полицейский мог не увидеть этого движения, и пролепетала: Есть, добавив уже про себя: Пропади они пропадом, что прозвучало бы бессмыслицей, однако, если вспомнить, что дух человеческий, неизменно избирает окольные пути, уклоняясь от прямых и кратчайших, непреложно свидетельствовало о том, что бедняжка сочла все случившееся карой за распутство и разврат, но тут они и доехали. Матери сказала, чтобы к ужину ее не ждали, а, гляди-ка, вернулась как раз вовремя, поспела даже раньше отца.

С окулистом все вышло несколько иначе и не только потому, что он находился у себя дома в тот миг, когда ослеп: в отличие от обычных людей, которые, лишь когда заболит какой-нибудь из органов и членов, узнают о самом существовании их, врач не будет сложа руки предаваться отчаянью. Даже попав в такой, с позволения сказать, переплет, в тоске и печали ожидая мучительную ночь, доктор наш сумел вспомнить строку гомеровской Илиады, поэмы, повествующей прежде всего о смерти и страдании: Стоит многих воителей один врачеватель искусный, причем так следует понимать, что речь там идет не о количественных, но исключительно о качественных показателях, и в этом у читателя очень скоро появится возможность удостовериться. Ибо у доктора хватило отваги лечь в постель к жене и не разбудить ее, даже когда она, что-то пробормотав во сне, придвинулась, чтобы чувствовать его рядом. Тянулись

бессонные часы, если удавалось задремать, то лишь на миг. Он хотел бы, чтобы утро не наступало никогда и чтобы не пришлось ему, человеку, избравшему себе ремеслом исцеление больных глаз, объявлять: Я ослеп, а с другой стороны — хотел, чтобы поскорее рассвело, и выразил свое пожелание в этих самых словах: Поскорее бы рассвело, хоть и знал, что света дня не увидит. По совести говоря, проку от незрячего окулиста мало, разве что толково и профессионально информировать органы здравоохранения об угрозе общенациональной катастрофы, поскольку появился новый, доселе невиданный и неизученный вид слепоты, распространяющейся с очень высокой интенсивностью, передающейся от человека к человеку, то есть, попросту говоря, заразной и, насколько можно судить, не дающей никаких предварительных клинических проявлений вроде, например, воспаления или иных симптомов дегенерации или инфекции, в чем доктор мог убедиться на примере того слепца, которого осматривал накануне, или на своем собственном — ничтожная близорукость, легкий астигматизм, то и другое выражено так слабо, что он пока не считал нужным пользоваться корректирующими линзами. Глаза, переставшие видеть, глаза, ставшие незрячими, пребывают меж тем в полнейшем порядке и без малейших признаков врожденной или благоприобретенной, застарелой или свежей патологии. Он вспомнил, сколь тщательному осмотру подверг слепца, как одна за другой все доступные офтальмоскопу части глаза оказывались в идеальном состоянии, без намека на болезненные изменения, что само по себе редкость, когда больному, по его же словам, тридцать восемь лет, да и в более молодом возрасте — тоже. Он не может быть слеп, пробормотал доктор, позабыв на миг, что и сам слеп: вот как далеко может человек зайти в своем самоотречении, и это случается не только здесь и сейчас, вспомним, о чем толковал нам Гомер, пусть и совсем другими словами. Впрочем, это только кажется, что другими.

Когда поднялась жена, он притворился спящим. Почувствовал, как она чуть прикоснулась к его лбу губами — поцеловала так нежно и осторожно, словно боялась нарушить то, что представлялось ей глубоким и крепким сном, и, быть может, думала при этом: Бедный, он так поздно вчера лег, все ломал голову над редким случаем, думал, как помочь тому слепенькому. Оставшись один, доктор, чувствуя, как густое и плотное облако, наползая с груди к лицу, медленно душит его, через ноздри проникая внутрь и ослепляя, коротко простонал, ощутил навернувшиеся на глаза, скатившиеся к вискам две слезы, подумал: Наверно, белые, и понял теперь, как страшно было его пациентам, когда они говорили: Доктор, что-то мне кажется, я стал хуже видеть. В спальню с кухни доносились милые домашние звуки, скоро заглянет жена посмотреть, встал ли он, потому что пора отправляться в клинику. Осторожно поднялся с постели, нащупал и надел халат, побрел в ванную, помочился. Потом повернулся туда, где всегда висело зеркало, и на этот раз не спросил: Что же это такое, а, не сказал: Есть миллион причин для того, чтобы в мозгу заблокировалась зона, отвечающая за зрение, а лишь простер руки, пока не уперся пальцами в стекло. Он знал, что отражение — там, в зеркале, что образ смотрит на него, видит его, а он его — нет. Услышал голос жены из спальни: А-а, встал уже, сказала она, и он ответил: Да. И тотчас ощутил, что она рядом: Доброе утро, любовь моя, ну, как ты, по-

сле стольких лет брака они все еще обменивались такими вот нежностями, а потом так, словно игралась пьеса и настал его черед подать реплику, он сказал: Да, знаешь, неважно, с глазами что-то. Жена восприняла только вторую часть фразы: Ну-ка, покажи, попросила она, очень внимательно осмотрела и сказала: Ничего не вижу, то есть совершенно явно перепутала и произнесла его текст, ибо произнести эти слова надлежало ему, что он и сделал, только немного небрежней, вот так примерно: Ничего не вижу, и добавил: Думаю, что меня заразил вчерашний пациент.

Жены врачей, живя с ними бок о бок, с течением времени сами начинают немного разбираться в медицине, а жена этого окулиста во всех смыслах была ему близким человеком и не могла, следовательно, не знать, что слепота — болезнь незаразная, инфекцией не передается, это не холера какая-нибудь, и никто пока еще не ослеп от того, что поглядел на него слепец, ибо это вопрос личных взаимоотношений человека и глаз, данных ему при рождении. Но, во всяком случае, медик обязан знать, что́ говорит, для того он и в университете обучался, а если этот доктор мало того, что объявил себя слепым, но еще и уверяет, будто заразился, то, как бы хорошо ни разбиралась в медицине его жена, сомневаться ей не приходится. Самой собой разумеется, что бедная женщина, оказавшись перед лицом непреложной очевидности, повела себя точно так же, как и любая на ее месте, где, как мы знаем, побывали уже две ее товарки по несчастью, то есть, обняв мужа, выказала все признаки живейшего и совершенно естественного огорчения: Что же делать, повторяла она сквозь слезы, что же нам теперь делать. Прежде всего сообщить санитарным властям, в министерство здравоохранения: если это и вправду эпидемия, необходимо принять безотлагательные меры. Но эпидемия слепоты — вещь небывалая и невиданная, слабо возразила женщина, цепляясь за соломинку последней надежды. Слепца с абсолютно здоровыми глазами тоже никто никогда не видел, однако же таких обнаружилось по крайней мере двое. И едва лишь он произнес последнее слово, как, изменившись в лице, почти грубо оттолкнул от себя жену и сам отшатнулся от нее: Отойди, не приближайся, ты тоже можешь заразиться, и сейчас же ударил себя кулаками по голове: Ох, какой же я идиот, идиот, безмозглая тварь, доктор, называется, как я мог не подумать об этом, всю ночь рядом, в одной постели, мне надо было остаться в кабинете, закрыть двери, да и то. Ради бога, не говори так, чему быть, того не миновать, пойдем, я приготовлю завтрак. Оставь меня, уйди отсюда. Не оставлю и не уйду, ты что же, будешь спотыкаться, падать, натыкаться на стулья в поисках телефона, искать в справочнике номера телефонов, не видя их, а я, по-твоему, — спокойно смотреть на все это, сидя под стеклянным колпаком во избежание заразы. Потом она крепко взяла его за руку и сказала: Пойдем, милый.

Было еще слишком рано, когда врач — и сами можете представить, с какой охотой — выпил чашку кофе и съел тостик с маслом, приготовленные упрямой женой, слишком рано, чтобы застать на рабочем месте должностных лиц, которых он счел нужным известить. Для пользы дела и сбережения времени он, рассуждая логически, собрался обратиться прямо к кому-нибудь из самого высокого начальства в министерстве здравоохранения, однако намерение пришлось переменить, как

только стало очевидно: совершенно недостаточно представиться доктором таким-то, располагающим важнейшей и срочнейшей информацией, чтобы убедить чиновника помельче, с которым нашего окулиста, снизойдя к его долгим просьбам и уговорам, наконец соединили, доложить вышестоящему. Тот желал знать, о чем речь, хотя малым детям понятно — ни один врач, мало-мальски сознающий свою ответственность, не станет сообщать о возникновении эпидемии первому попавшемуся клерку, ибо возникнет паника. На это было сказано: Вы назвались доктором таким-то, готов, если вам угодно, в это поверить, но порядок есть порядок, и пока вы мне не скажете, в чем дело, я никому докладывать не стану. Дело это строго конфиденциальное. Строго конфиденциальные дела по телефону не обсуждают, так что лучше бы вам явиться лично. Я не могу выйти из дому. Вы что же — больны. Да, болен, после некоторого колебания промолвил слепец. В этом случае я бы на вашем месте вызвал врача, только настоящего врача, и, довольный собственным остроумием, дал отбой.

Это было подобно пощечине. Лишь спустя несколько минут доктор пришел в себя и смог пересказать жене, как с ним обошлись. А потом, словно только сейчас осознав то, что должен был бы уразуметь давным-давно, печально пробормотал: Вот из какого вещества все мы и состоим — из равнодушия пополам с подлостью. И что, спрашивается, теперь делать. Тут он понял, что попусту теряет время и что передать информацию, минуя чиновников, можно единственным способом — поговорить с директором своей клиники, поговорить как врачу с врачом, а уж потом тот пусть приводит в действие громоздкие бюрократические маховики и шестеренки. Жена набрала номер, который помнила наизусть. Когда ответили, доктор назвался и торопливо произнес: Спасибо, хорошо, без сомнения отвечая на вопрос секретарши: Как поживаете, доктор, мы, когда не хотим выказать слабость, всегда говорим: Спасибо, хорошо, хоть бы даже и при смерти лежали, железными обручами стягиваем сердце, производя единственную в своем роде кузнечно-кардиологическую процедуру. Когда директор взял трубку и осведомился, как дела, доктор спросил, один ли тот в кабинете, не может ли кто-нибудь подслушать их разговор, секретарша не в счет, очень ей нужно слушать про офтальмопатии, вот женские болезни — это дело другое. Доклад вышел сжатым, деловитым, исчерпывающе полным, лишенным иносказаний, недомолвок, лишних слов и до такой степени клинически бесстрастным, что директор удивился: Вы в самом деле ничего не видите. Абсолютно ничего. Во всяком случае, нельзя исключить, что это совпадение, и вы не заразились. Согласен, однако же мы с ним ослепли не так, чтобы он там, а я тут, не встречаясь друг с другом, слепец пришел ко мне на прием, а спустя несколько часов ослеп я сам. Как бы нам разыскать его. Фамилия и адрес имеются в регистратуре. Немедленно пошлю туда кого-нибудь. Врача. Ну, не курьера же. Вам не кажется, что следует сообщить в министерство о том, что случилось. Я это считаю преждевременным, подумайте, какая поднимется паника, да и, черт побери, слепотой нельзя заразиться. Смертью тоже, однако все мы умрем. Ладно, вы пока оставайтесь дома, потом я пришлю за вами машину, приедете ко мне, я сам хочу вас посмотреть. Не забудьте, что я ослеп после того, как осматривал слепца. После, как известно, не значит вследст-

вие. Если я что-нибудь и вижу, то лишь четкую причинно-следственную связь. Хорошо, хорошо, рано еще делать выводы, два отдельных случая не показательны. Если их и в самом деле только два. Понимаю, в каком состоянии вы находитесь, но все же не нужно предаваться мрачным мыслям, для которых может не оказаться никаких оснований. Спасибо. Мы еще поговорим. До свиданья.

Через полчаса, когда доктор с помощью жены неуклюже добривал щеку, зазвонил телефон. Это был директор клиники, и говорил он на этот раз совсем иначе: К нам доставили мальчика, внезапная потеря зрения, уверяет, что перед глазами сплошная белая пелена, мать утверждает, что вчера водила его к вам на прием. Расходящийся левосторонний страбизм. Именно так. Значит, тот самый. Я начинаю беспокоиться, ситуация очень серьезная. Министерство. Да-да, разумеется, я немедленно переговорю с. Через три часа, когда в полном молчании доктор с женой обедали, и он нашаривал вилкой заботливо нарезанные кусочки мяса, снова раздался звонок. Подошла жена и тотчас вернулась: Тебя, из министерства. Помогла подняться, проводила в кабинет, вложила в руку трубку. Разговор был краток, и когда, услышав: Нам необходимо установить личности всех, кто вчера был у вас на приеме, доктор сказал, что в историях болезни, иначе называемых карточками, содержится все требуемое, то есть имя, возраст, семейное положение, место работы, домашний адрес, и вызвался сопровождать того или тех, кого отправят за ними. Не надо, отрезали в ответ. Затем трубку передали кому-то еще, и голос в ней зазвучал другой и по-другому: Здравствуйте, говорит министр, от имени правительства я благодарю вас за ревностное отношение к своему профессиональному долгу, уверен, что оперативность ваших действий поможет нам взять ситуацию под контроль, а до тех пор убедительно прошу вас оставаться дома. Последние слова, хоть и были сказаны очень вежливо, не оставляли и тени сомнения в том, что это приказ. Хорошо, господин министр, ответил доктор, но на другом конце уже положили трубку.

Через несколько минут последовал новый звонок. Директор клиники заплетающимся от волнения языком сказал: Только что узнал, из полиции сообщили о двух случаях внезапной слепоты. Это их сотрудники. Нет, обычные люди, мужчина и женщина: его подобрали на улице, кричал, что ослеп, а с ней это случилось в постели, в отеле, ну, в общем, вы понимаете. Нужно сейчас же выяснить, не мои ли это пациенты, известно, как их зовут. Пока нет. Мне звонили из министерства, они заберут истории болезни из регистратуры. Вот ведь дело-то как повернулось, а. Это вы мне говорите. Доктор положил трубку, поднял руки к глазам, прикрыл их, словно хотел защитить от худших напастей, а потом глухо произнес: Как же я устал. Поспи немного, пойдем, я тебя уложу, сказала жена. Не стоит, все равно не смогу заснуть, да и потом это не конец, будет что-нибудь еще.

Было без чего-то шесть, когда телефон зазвонил в последний раз. Доктор, сидевший рядом с аппаратом, сам снял трубку: Да, это я, сказал он и стал слушать, что ему говорят, а перед тем, как дать отбой, слегка кивнул. Кто это, спросила жена. Из министерства, за мной через полчаса приедет санитарная машина. Ты ждал этого. Чего-то в этом роде. И куда тебя отвезут. Не знаю, в больницу, наверно. Сейчас я соберу тебе

чемодан, уложу вещи, костюм. Я ведь не в круиз отправляюсь. Мы не знаем куда. Она бережно отвела его в спальню, усадила на кровать: Посиди, я сама все сделаю. Доктор слышал, как жена ходит по комнате, открывает и закрывает ящики и дверцы, достает одежду и белье и складывает все это в стоящий на полу чемодан, но не догадывался, что, кроме его вещей, легли в чемодан несколько блузок и юбок, пара брюк, платье и туфли, которые могли быть только женскими. Он рассеянно подумал: Куда мне столько, но промолчал, потому что не время было говорить о пустяках. Щелкнули замки, и голос жены произнес: Готово, теперь пусть приезжают. Сама вынесла чемодан в прихожую, поставила у двери, не слушая доктора, который порывался помочь и твердил, что это ему по силам, он еще не инвалид. Потом на диване в гостиной стали ждать. Взялись за руки. Он сказал: Не знаю, надолго ли расстаемся, а она ответила: Не тревожься.

Прождали они почти час. Когда брякнул звонок у двери, она поднялась, пошла открывать, но на площадке никого не было. Сняла трубку домофона: Хорошо, он сейчас спустится. Повернулась и сказала: Ждут внизу, им приказано не подниматься. Похоже, там в министерстве сильно перепугались. Идем. Спустились на лифте, она помогла мужу преодолеть последние ступеньки, потом залезть в санитарный фургон, потом вернулась за чемоданом, подняла его, швырнула внутрь, потом забралась сама, села рядом с мужем. Водитель, обернувшись к ней, возразил: Мне велено только доктора доставить, так что вы не поедете. Нет, придется вам и меня тоже отвезти, спокойно возразила женщина, я только что ослепла.

Мысль пришла в голову самому министру. И, с какой стороны ни поглядеть, мысль счастливая, поразительно удачная как в чисто медицинском аспекте, так и в плане социальных последствий и политических их производных. Хотя покуда невыясненными остались причины или, употребляя профессиональный термин, этиология белой болезни, как, благодаря вдохновенному наитию некоего не обиженного воображением ассистента, перекрестили жуткое слово слепота, хотя не найдены были пути лечения, не создана вакцина, могущая воспрепятствовать возникновению в будущем новых случаев, однако решили всех, кто ослеп, а равно и всех, кто находился с ними в непосредственном контакте, собрать в одном месте и изолировать, дабы пресечь распространение инфекции, число жертв которой в противном случае увеличивалось бы в прогрессии, в математике именуемой геометрической. Quod erat demonstrandum[1], заключил министр. Если перевести все это на общедоступный язык, речь о том, что всех этих людей посадят в карантин, следуя старинному обычаю, возникшему в те времена, когда корабли прибывшие из тех мест, где свирепствовали эпидемии чумы и желтой лихорадки, не входя в порт, отстаивались на рейде сорок дней, а там видно будет. Именно эти слова: А там видно будет, произнес министр, и непохоже было, что он обмолвился случайно или что других слов у него не нашлось, тем более что чуть позже он уточнил: Хочу сказать, что карантин может продлиться как сорок дней, так и сорок недель, и сорок меся-

1. Что и требовалось доказать (*лат.*).

цев, и сорок лет, что в данном случае не важно, важно, чтобы они оттуда не выходили. Осталось только решить, куда мы их поместим, сказал председатель специального комитета, только что созданного и призванного заниматься сбором, доставкой, охраной и обеспечением слепцов. Чем мы располагаем, осведомился министр. В наличии имеются пустующее помещение психиатрической больницы, ожидающее перепрофилирования, казармы, которые после недавней армейской реформы по назначению не используются, недостроенные павильоны промышленной ярмарки и еще есть гипермаркет на грани банкротства, причем мне так никто не объяснил, почему он есть и откуда взялся. Ну и какое из этих сооружений, по вашему мнению, лучше других отвечает стоящим перед нами целям. Казарма хороша с точки зрения безопасности. Естественно. Но она чересчур велика, затруднительно будет осуществлять надзор, и обойдется он слишком дорого. Понятно. Что касается гипермаркета, тут возникает множество всяких юридических сложностей и тонкостей, создается почва для имущественных тяжб, так что. Ну, хорошо, а что скажете про ярмарку. А про ярмарку лучше, господин министр, вообще сразу забыть. Это почему. Промышленникам совершенно точно не понравится, они туда вбухали миллионы. Что же, остается клиника. Точно так, господин министр, клиника. Ну, клиника так клиника. Да, по всем параметрам лучше места не найти: помимо того, что строение по всему периметру обнесено стеной, там есть и такое преимущество как два крыла или, если угодно, флигеля, из которых один можно предназначить для настоящих, так сказать, слепцов, другой — для проходящих обсервацию, ну и центральный вестибюль, ничейная, так сказать, земля, по которой новоослепшие будут перебираться к давно слепым. Предвижу одну сложность. В чем, господин министр. Но кому-то же придется следить за этими перемещениями, надо же будет где-то подобрать персонал, а я не уверен, что мы сможем рассчитывать на волонтеров. Вряд ли это потребуется. Поясните. В том случае, если кто-то из инфицированных ослепнет, а это естественным порядком рано или поздно произойдет, мы можем быть совершенно уверены, что его покуда еще зрячие товарищи в тот же миг выставят его вон. Вы правы. Точно так же они не впустят к себе слепца, если тому вдруг вздумается сменить место. Да, я вижу, вы глубоко проработали вопрос. Благодарю, господин министр, значит, можно приступать. Действуйте, даю вам полный карт-бланш.

Комитет взялся за дело рьяно и ретиво. Еще до вечера собраны были все жертвы белой болезни, о коих имелись сведения, а также и известное количество лиц, находившихся с ними в контакте, по крайней мере тех, кого удалось выявить и задержать в ходе стремительно проведенного розыска, в первую очередь среди родственников и сослуживцев людей, изолированных по причине потери зрения. Первыми в здание пустующей психушки доставили доктора с женой. У ворот, которые приоткрылись ровно настолько, чтобы можно было пройти, и тотчас задвинулись, стояли часовые. Перилами или поручнями служила толстая веревка, натянутая от ворот до главного входа. Примите чуть вправо, там будет веревка, возьмитесь за нее и следуйте вперед, там будут ступеньки, числом шесть, объявил сержант, поднимитесь по ним, войдете, внутри веревка раздваивается налево-направо, так вот вам, внимание, направо. Жена несла чемодан и вела доктора в ближайшую

ко входу палату, длинную как старинный лазарет, с двумя рядами железных коек, некогда крашенных пепельно-серой краской, ныне во многих местах облупившейся. Такого же цвета были простыни, одеяла, наволочки. Жена прошла вглубь, посадила доктора на кровать, сказала: Никуда не уходи, пойду посмотрю, куда мы попали. Палаты, длинные, узкие, извилистые коридоры, кабинеты, в прежние времена предназначавшиеся, должно быть, для врачей, убогие и грязные уборные, кухня, откуда еще не выветрился запах скверной казенной еды, просторная столовая с цинковыми столами, три клетушки, где стены метра на два в высоту были обиты толстым слоем войлока, а выше – пробкой. За домом – задний двор, чахлая рощица неухоженных, с ободранной корой, деревьев. Повсюду валялся мусор. Жена доктора вернулась в дом. В полуоткрытом шкафу обнаружила смирительные рубашки. Когда подошла к мужу, тот спросил: Ты поняла, куда нас привезли, и она, ответив: Нет, хотела было добавить: В сумасшедший дом, но доктор опередил ее: Ты не ослепла, я не допущу, чтобы ты оставалась здесь. Да, ты прав, я не слепая. Я потребую, чтобы тебя отпустили домой, объясню, что ты обманула их, чтобы не разлучаться со мной. Не трудись, отсюда тебя не услышат, а и услышат – не послушают. Но ведь ты зрячая. Это пока, скорей всего я тоже ослепну через несколько дней или через минуту. Прошу тебя, уходи. Не настаивай, тем более что солдаты, вероятней всего, не дадут мне даже ногу поставить на ступеньку. Я же не могу тебя принудить. Ну конечно же, милый мой, конечно не можешь, я останусь и буду помогать тебе и тем, кого еще привезут сюда, только не говори им, что я вижу. Кого привезут. Но ты ведь не думаешь, что мы здесь будем единственными. Это безумие. Вот мы с тобой и сидим в сумасшедшем доме.

Остальных слепцов доставили всех вместе. Взяли их дома, одного за другим: и автомобилиста, ставшего самой первой жертвой, и вора, угнавшего у него машину, и девицу в темных очках, и косоглазого мальчика, ах, впрочем, нет, мальчика забрали из больницы, куда отвезла его мать. А саму ее не взяли: хитроумия, которым наделена была жена доктора, не хватило, чтобы заявить, будто она тоже слепая, была она существом простодушным, не способным лгать даже ради собственного блага. Они вошли в палату, спотыкаясь, ощупывая воздух перед собой, ибо путеводной веревки здесь не было и учиться приходилось на собственных ошибках, то есть ушибах, косоглазый мальчуган хныкал, звал мать, и девушка в темных очках, взявшаяся утешать его: Не плачь, не плачь, идет, идет твоя мама, благодаря этим самым очкам могла бы с одинаковым успехом о- или по- казаться как слепой, так и зрячей, потому что остальные впустую водили невидящими очами из стороны в сторону, а она, повторяя: Идет, идет твоя мама, словно бы и вправду прозревала в дверях мать, по которой так отчаянно тосковал мальчик. Жена доктора шепнула ему на ухо: Их четверо, двое мужчин, девушка и ребенок. Как выглядят мужчины, вполголоса спросил доктор. Жена описала, и: Этого не знаю, а второй, судя по всему, тот самый, что был у меня на приеме. У мальчика левый глаз косит, а девушка в темных очках очень хорошенькая. Обоих я смотрел накануне. Слепцы, отыскивая место, где могли бы чувствовать себя в безопасности, производили много шума и потому не слышали этого краткого разговора и думали, наверно, что

все здесь — такие же как они, а зрение они утратили слишком недавно, чтобы изощрилась у них сверх нормы способность различать звуки. Наконец, словно разом придя к выводу, что от добра добра не ищут, сел каждый из них на ту кровать, на которую наткнулся, причем мужчины оказались ближайшими соседями, хоть и не подозревали об этом. Девушка продолжала тихонько утешать мальчика: Не плачь, вот увидишь, скоро придет твоя мама. В наступившей после этого тишине неожиданно донесшийся из глубины палаты голос жены доктора: Нас здесь двое, а вас сколько, перепугал новоприбывших, но мужчины промолчали, а ответила только девушка: Значит, теперь четверо, со мной и этим мальчуганом. Кто еще здесь есть, почему не откликаетесь, настаивала жена доктора, и: Еще я тут есть, прозвучал голос мужчины, которому каждое слово давалось словно с большим трудом. И я, сдавленно отозвался еще один. Жена доктора сказала как бы про себя: Пришипились, будто боятся познакомиться друг с другом. Она видела, как вытянули они, словно принюхиваясь, шеи, как сморщили от напряжения лица, причем любопытно, что застыло на них одинаковое выражение смешанного с угрозой страха, вот только боялись они разного и разным угрожали. Чего-то они не поделили, подумала жена доктора.

В этот миг ожил укрепленный над дверью громкоговоритель, и строгий, привычный к командам голос отчетливо, раздельно и громко произнес: Внимание, повторив это слово трижды, а затем: Правительство страны, выражая глубокое сожаление по поводу того, что во исполнение своего долга и в соответствии со своими полномочиями вынуждено принять ряд безотлагательных и жестких мер по защите всеми имеющимися в его распоряжении средствами населения страны, оказавшейся перед лицом кризиса, вызванного внезапной вспышкой эпидемии слепоты, временно именуемой белой болезнью, рассчитывает, что все граждане проявят сознательность и присущие им, гражданам, гражданские чувства, всемерно препятствуя распространению эпидемии в том, разумеется, случае, если мы имеем дело с нею, а не с необъяснимым в данное время совпадением ряда единичных случаев. Решение о помещении в карантин лиц, пораженных этим недугом, равно как и лиц, имевших с ними какие бы то ни было контакты, а потому подлежащих обсервации, является глубоко и всесторонне продуманным. Правительство полностью сознает свой долг перед народом и надеется, что те, кому адресовано это обращение, как законопослушные граждане также осознáют лежащую на них ответственность и поймут, что изоляция, которой их подвергли, ознаменует их неразрывную связь и нерушимое единство со всем национальным сообществом. Прослушайте правила поведения в карантине: первое, свет должен гореть постоянно, всякая попытка погасить его бессмысленна, выключатели заблокированы, второе, запрещается под страхом немедленной смерти покидать помещение без специального разрешения, третье, по телефону, имеющемуся в каждой палате, разрешается передавать только просьбы о пополнении запаса гигиенических и моющих средств, четвертое, изолированные обязаны ежедневно производить ручную стирку своей одежды, пятое, не предписывается, однако настоятельно рекомендуется избрать в каждой палате старосту, шестое, трижды в день к дверям левого и правого крыльев будут доставляться коробки с продовольствием,

предназначенным соответственно для обеих групп, седьмое, все отходы, под которыми следует понимать не только остатки пищи, но также тару и посуду, как то: тарелки и ложки, изготовленные для этой цели из горючих и легковоспламеняющихся материалов, подлежат сожжению, восьмое, сожжение производится на заднем дворе, девятое, изолированные несут ответственность за возможные негативные последствия неосторожного обращения с огнем, десятое, возгорание, случайное или произведенное умышленно, ликвидируется силами и средствами самих изолированных, без вызова пожарной охраны, одиннадцатое, изолированные не вправе рассчитывать на медицинскую помощь в случае заболевания кого-либо из них, равно как и на вмешательство извне для наведения порядка в случае возникновения конфликтов или актов агрессии, двенадцатое, в случае смерти кого-либо из числа изолированных, каковы бы ни были ее причины, тело силами самих изолированных должно быть без соблюдения каких бы то ни было формальностей захоронено у ограды, тринадцатое, все контакты между двумя группами пациентов, размещенными в двух крыльях здания, могут производиться только в центральном вестибюле, через который вами был осуществлен вход в клинику, четырнадцатое, ослепшие незамедлительно переходят во флигель, где содержатся слепые, пятнадцатое, эти инструкции будут передаваться ежедневно, в одни и те же часы, для сведения вновь прибывших. Правительство и Народ надеются, что каждый исполнит свой долг. Спокойной ночи.

В последовавшей за этим тишине прозвенел голос мальчика: Я хочу к маме, но слова эти произнесены были безо всякого выражения, словно бы не живым человеком, а каким-то механическим устройством, которое записало фразу и теперь вдруг не ко времени ее воспроизвело. Доктор сказал: Инструкции, которые нам прочли, ясно дают понять, что нас попросту замуровали заживо, и, похоже, выйдем мы отсюда не раньше, чем наука придумает, как лечить эту болезнь. Голос знакомый, сказала девушка в темных очках. Я — доктор, окулист. Теперь узнала: я вчера была у вас на приеме. Напомните, на что жаловались. У меня был конъюнктивит, был и есть, только теперь, когда я ослепла, это уже не страшно. А ребенок с вами. Нет, это не мой, у меня нет детей. А это уж не тот ли косенький мальчик, которого я смотрел вчера. Тот самый, ответил мальчик с ноткой обиды, ему не понравилось упоминание о его физическом недостатке, да и кому бы понравилось, ибо есть у них, у недостатков, этих и всех прочих, такое свойство — чуть только упомяни о них, как из едва заметных делаются они более чем очевидными. Есть здесь еще кто-нибудь, кого я знаю, спросил доктор, может быть, среди нас тот, кто приходил вчера вместе с женой, он ослеп внезапно, за рулем. Да, я здесь, ответил первый слепец. Ну и кто-то же еще, назовитесь, пожалуйста, нам ведь жить вместе бог знает сколько времени, и потому просто необходимо знать друг друга. Ну, я, процедил сквозь зубы угонщик, полагая, что этого будет достаточно, чтобы обозначить его присутствие, однако доктор настаивал: Судя по голосу, вы человек довольно молодой, стало быть, это не вы обращались по поводу катаракты. Не я. Как вы потеряли зрение. Шел по улице. И. И все, шел и потерял. Доктор открыл было рот, чтобы осведомиться, тонет ли у того все в белизне или во тьме, но прикусил язык, вовремя рассудив, что каков

бы ни был ответ и, значит, цвет слепоты, это ничего не изменит. Он протянул неуверенную руку к жене и на полдороге встретил ее руку. Она придвинулась, чтобы поцеловать его в щеку, никто, кроме нее, не видел это отуманенное печалью чело, горькую складку губ, неживые, будто стеклянные глаза, внушавшие страх, потому что казались зрячими, но ничего не видели. Придет и мой черед, подумала она, быть может, это произойдет вот сейчас, в этот самый миг, не дав мне додумать, или в любую другую минуту, ведь у каждого из этих людей случалось такое, или проснусь слепой, или ослепну, когда закрою глаза, чтобы заснуть, и тогда подумаю, что сплю, только и всего.

Она обвела взглядом четверых слепцов, рассевшихся по койкам, в ногах державших скудные пожитки, которые им разрешили взять с собой: у косоглазого мальчика был школьный ранец, у остальных — маленькие чемоданчики, с какими на уик-энды ездят. Девушка в темных очках тихонько разговаривала с мальчиком, в другом ряду, совсем рядом, разделенные пустой кроватью, сидели, повернувшись друг к другу, но не зная этого, первый слепец и вор. Доктор сказал: Все мы слышали приказы, что бы там ни было, теперь знаем одно — никто нам не поможет, так что нужно самим как-то наладить жизнь не откладывая, потому что очень скоро и эта палата, и все прочие будут битком набиты. Откуда вы знаете, что тут есть другие палаты, спросила девушка в темных очках. Мы прошлись тут немного, прежде чем зайти в эту, наша — первая от входа, сказала жена доктора, стиснув ему руку, чтобы не сболтнул лишнего. Сказала девушка: Вам и быть старшим, доктор как-никак. Скорей — никак, что толку, что доктор — ни глаз, ни лекарств. Тем не менее. Жена доктора улыбнулась: Принимай должность, если, конечно, остальные не возражают. Не думаю, что это удачная мысль. Почему. Пока нас здесь только шестеро, но завтра наверняка станет больше, каждый день сюда будут привозить новых и новых, и следует с уверенностью предположить, что едва ли они признают не ими выбранную власть, которой, помимо всего прочего, нечего им дать за признание и соблюдение правил, если, конечно, они вообще склонны признавать над собой какую-либо власть и какие-либо правила. Тогда здесь будет трудно жить. Это счастье, если всего лишь трудно. Девушка в темных очках сказала: Я хотела как лучше, но вообще-то доктор прав — каждый начнет тащить одеяло на себя.

В этот миг, то ли взбешенный этими словами, то ли не в силах больше сдерживать клокотавшую в нем ярость, вскочил на ноги один из мужчин. Вот кто во всем виноват, будь у меня глаза, прикончил бы на месте, завопил он, тыча пальцем туда, где, по его представлениям, должен был находиться виновник всех несчастий. Направление было угадано почти верно, но драматический жест возымел неожиданно комический эффект, поскольку обвиняюще уставленный перст указывал на ни в чем неповинную прикроватную тумбочку. Успокойтесь, заметил доктор, при эпидемии виноватых нет, все жертвы. За доброту свою расплачиваюсь, за сострадание, если б я не вызвался довезти этого болвана до дому, сохранил бы зрение. Кто вы, спросил доктор, но обвинитель не отвечал, почувствовав всю несообразность того, что наговорил. Тут послышался голос другого: Довезти-то довез, это правда, а потом воспользовался моим беспомощным состоянием и украл у меня машину. Врешь, ничего я

не крал. Украл, украл. Если кто-то увел твой драндулет, нечего валить на меня, вознаградили меня за милосердие, нечего сказать, и потом, где у тебя свидетели, а, предъяви. О чем вы спорите, сказала жена доктора, машина там, вы оба здесь, лучше бы вам помириться, нам ведь жить вместе. Не буду я с ним жить, сказал первый слепец, что хотите со мной делайте, я перейду в другую палату, не останусь рядом с негодяем, которому хватило совести обобрать слепого, еще жалуется, что из-за меня ослеп, так ему и надо, есть, значит, справедливость на свете. Он подхватил свой чемодан и, волоча ноги, чтобы не споткнуться, водя свободной рукой перед собой, вышел в проход между двумя рядами коек. Где тут выход, спросил он, но ответа, если кто и собирался его дать, не дождался, потому что угонщик выполнил по мере силы-возможности угрозу рассчитаться с виновником всех своих бед и кинулся на него. Началась свалка: понять, кто сверху, кто снизу, было нельзя, противники, сцепясь, катались по полу, ушибались о ножки кроватей, а испуганный мальчик снова заплакал и стал звать маму. Жена доктора, зная, что в одиночку не справится, схватила мужа за руку подтащила его туда, где, сопя и отдуваясь, колотили друг друга остервенившиеся слепцы. Помогла мужу ухватиться за одного, сама вцепилась в другого, с огромным усилием растащили. Очень глупо вы себя ведете, заметил доктор, если непременно желаете устроить здесь ад кромешный, продолжайте в том же духе, вы идете верной дорогой, но только помните, что мы предоставлены самим себе, помощи ни от кого не дождемся, сами слышали. Он украл у меня машину, проскулил первый слепец, которому досталось сильней, чем второму. Да забудьте вы про нее, воскликнула жена доктора, какая теперь разница, вы ведь и тогда уже не могли ею пользоваться. Ну да, но ведь это моя собственность, а теперь она неизвестно где. По всей видимости, сказал доктор, она осталась на том самом месте, где он ослеп. Соображаете, доктор, одобрительно воскликнул вор, варит котелок. Первый сделал было попытку — или вид, что хочет — высвободиться и начать второй раунд, но сник, словно уразумев наконец, что гнев, пусть даже самый праведный, не вернет ему машину, а машина, в свою очередь, — зрения. Зря считаешь, что все сойдет тебе с рук, крикнул ему его обидчик, да, это я тебя тачки лишил, а ты меня — глаз, так что еще неизвестно, кто из нас вор. Уймитесь, а, попросил доктор, все мы здесь слепцы, винить в этом некого и жаловаться некому, а хотите перейти в другую палату, жена вас проводит, она ориентируется лучше, чем я. Нет, я передумал, лучше здесь останусь. Деточка одна спать боится, вдруг бука придет, сказал вор. Ну, хватит, прикрикнул на него доктор, потеряв терпение. Слышь, доктор, чего это ты так раскомандовался, а, мы тут все равны. Я не командую, а просто говорю, чтоб оставили его в покое. Ладно-ладно, только полегче на поворотах, договорились, не люблю, когда против шерсти, со мной по-хорошему надо, таких врагов, как я, лучше себе не заводить. Размахивая руками, двигаясь напористо и задиристо, вор нашел свою койку, задвинул под нее чемодан и таким тоном объявил: Я ложусь спать, словно требовал: Отвернитесь, дайте раздеться. Девушка в темных очках сказала мальчику: И ты ложись, вот сюда, сюда, если что понадобится — позовешь, я буду рядышком. Мне надо по-маленькому, сказал мальчик. При этих словах и все вдруг почувствовали настоятельное желание облегчиться и разом подумали об одном и том

же: И как же это все будет, хоть, может быть, и сформулировали эту мысль по-разному, а первый слепец пошарил под кроватью в поисках горшка, желая в то же время, чтобы его там не оказалось, потому что стеснялся справлять нужду на людях, они, конечно, не могут его видеть, но журчание мочи не скроешь, не спрячешь, хотя мужчины способны применить некий фокус, недоступный женщинам, которым в этом смысле повезло меньше. Вор, сидевший на кровати, сказал: Ох, мать твою, куда ж сходить отлить. Нельзя ли не выражаться, одернула его девушка в темных очках, тут ребенок. Верно говоришь, золотце мое, однако учти, что, если сейчас же не найдешь сортир, этот твой ребенок напрудит прямо в штанишки. Сказала жена доктора: Я, наверно, смогу найти туалет, когда шла по коридору, чувствовала запах. Я с вами, сказала девушка в темных очках, беря мальчика за руку. Лучше бы всем вместе пойти, заметил доктор, так по крайней мере будем знать дорогу. Отлично тебя понимаю, эти слова вор вслух произнести не решился, однако подумал именно так, тебе вовсе не хочется, чтоб баба твоя водила меня писать каждый раз, как приспичит. Эта мысль, вернее второй, подспудный ее смысл, оказала на него хоть и не сильное, но возбуждающее действие, чему он удивился, как будто вместе со зрением непременно должен был лишиться и сексуального желания. Ладно, подумал он, не все еще потеряно, живы будем — не помрем, устроимся как-нибудь, и, отвлекшись от разговора, погрузился или, наоборот, воспарил в мечты. Помечтать ему, впрочем, не дали, потому что доктор уже говорил: Двигаемся гуськом, моя жена идет впереди, каждый берет переднего за плечо, тогда не потеряемся. Сказал первый слепец: С этим, явно имея в виду похитителя своего автомобиля, я не пойду.

Потому, что одни хотели сблизиться, а другие — отдалиться, какое-то время они неуклюже топтались в узком проходе между кроватями, тем более что жене доктора приходилось вести себя так, словно и она не видит. Наконец выстроились цепочкой: за женой доктора — девушка в темных очках, державшая за руку косоглазого мальчика, за ними — вор в одних трусах и майке, за ним — доктор, а замыкающим, во избежание новой потасовки, шел первый слепец. Двинулись, причем очень медленно, словно не доверяя своей вожатой, водя свободной рукой по воздуху, пытаясь найти что-нибудь прочное и основательное вроде стены, например, или дверного косяка. Вор, шагавший, как было сказано, позади девушки в темных очках, от запаха ее духов испытал, не успев еще остыть от предыдущего, прилив нового возбуждения и решил найти рукам более приятное применение: левой погладил ей шею под волосами, правой — прямо и без церемоний ухватил за грудь. Девушка передернула плечами, попыталась стряхнуть нахальную лапу, но вор держал крепко. Тогда она резко согнула в колене и с силой выбросила назад ногу — лягнулась, иначе говоря. Высокий каблук, именуемый шпилькой, но тонкий и острый как стилет, вонзился в бедро, и вор взревел от неожиданности и боли. Что такое, спросила, обернувшись, жена доктора. Да это я споткнулась, был ответ, и, похоже, задела того, кто шел сзади. Вор, перемежая брань стонами, обеими руками держался за ногу, пострадавшую в результате собственной его несдержанности, и меж пальцами уже проступала кровь: Поранила меня, гадина, не видишь, куда ноги ставишь. Зато, кажется, ты знаешь, куда руки тянешь, сухо отвечала де-

вушка в темных очках. Жена доктора поняла, что произошло, и сначала только улыбнулась, но вскоре поняла: дело серьезное, рана обильно кровоточит, обработать ее нечем, под рукой ни перекиси, ни йода, ни ваты, ни бинта, и вообще ничего. Цепочка распалась, и доктор спросил: Куда она вам попала. Да вот сюда. Куда сюда. Да в ногу же, не видишь, что ли, ногу мне пропорола каблучищем своим. Ничего подобного, я не нарочно, просто оступилась, возразила девушка в темных очках, однако тотчас взорвалась праведным гневом: Нечего было лапать, за кого ты меня принимаешь. Надо промыть и перевязать, вмешалась жена доктора. Чем ты ее промоешь. Водой. А где вода. На кухне, на кухне есть вода, но всем вместе идти не надо, мы с мужем отведем вас туда, а все остальные обождут здесь, мы скоро. Хочу пи-пи, заявил мальчик. Потерпи еще немножко, сейчас вернемся. Жена доктора отлично знала, что надо повернуть направо, потом налево и пройти в конец длинного, изгибавшегося под прямым углом коридора, но уже через минуту, сделав вид, что ошиблась, остановилась, вернулась, воскликнула: Ах, нет, не туда, я вспомнила, и уже прямиком направилась к цели, поскольку кровь текла обильно, и времени больше терять было нельзя. Пришлось подождать, пока из крана сойдет ржавая, грязная вода. Она по-прежнему оставалась мутно-тепловатой, застоявшейся в трубах, словно протухшей, однако раненый принял ее со вздохом облегчения. Надо чем-то перетянуть, а чем. Под столом нашлись грязные половые тряпки, но было бы чистейшим безрассудством использовать их в качестве перевязочного материала. Нету, нету, ничего нету, приговаривала жена доктора, делая вид, что шарит по кухне. Но не могу же я оставаться так, доктор, кровища хлещет, сделайте что-нибудь, жалобно взывал вор, помогите мне, а что нахамил, простите великодушно. Поможем, поможем, сейчас-сейчас, отвечал доктор, ну, вот что, снимайте-ка что на вас есть, ничего другого не остается. Раненый пробурчал было, что майка совсем новая, но повиновался. Жена доктора быстрыми движениями скатала ее в жгут, обхватила и крепко стянула им бедро, тугим узлом связала лямки с подолом. Едва ли незрячий человек смог бы действовать так споро и точно, но разыгрывать спектакли было некогда, хватит и того, что она притворилась, будто не знает, в какую сторону идти. Вору и в самом деле почудилось неладное: по логике вещей все эти манипуляции должен был бы проводить врач, пусть даже и глазной, однако утешительное сознание того, что за ним появился должный уход, вытеснило смутные подозрения, которые, впрочем, и так лишь самым краешком чиркнули по душе. Припадающий на ногу вор и доктор с женой присоединились к остальным, и тут обнаружилось, что косоглазый мальчуган все-таки не дотерпел. Первый слепец и девушка в темных очках этого происшествия, естественно, заметить не могли. Под ногами у него расплывалась лужица, с испода штанишек еще подкапывало. Но жена доктора как ни в чем не бывало провозгласила: Ну, идемте, идемте скорей уборную искать. Слепцы простерли руки, отыскивая друг друга, однако девушка в темных очках заявила, что не пойдет перед нахалом, который ее щупал и тискал, так что вора и первого слепца поменяли местами, а между ними стал доктор. Вор сильно хромал, подволакивал ногу. Рана болела и от давящей повязки пульсировала так, словно с левой стороны груди сердце переместилось туда. Девушка в темных очках снова взяла мальчика за

руку, но он, насколько хватало этой самой руки, старался держаться как можно дальше, опасаясь, что кто-нибудь обнаружит его оплошность, как доктор, например, который потянул носом и сказал: Впечатление такое, что мочой пахнет, и жене пришлось впечатление это подтвердить: Да, в самом деле, не могла же она сказать, что это несет из сортиров, ибо до них было еще далеко, и, притворяясь слепой, в равной мере не могла объявить, что запах исходит от мокрых штанишек.

По дороге единогласно решили, что первым надо будет пустить мальчика. Но когда наконец добрались до места, мужчины, не соблюдая старшинство и без учета того, насколько остра потребность, зашли все вместе, тем более что индивидуальных писсуаров здесь, как и следовало ожидать, не было. Женщины остались у двери, говорят, они терпеливей, однако всякому же терпению есть предел, и через минуту жена доктора сказала: Может быть, тут есть еще туалеты, на что девушка в темных очках отвечала: Я пока могу подождать, а жена доктора сообщила: Я — тоже, после чего пошел такой разговор: Как с вами это случилось. Как со всеми, перестала вдруг видеть. Дома. Нет. Когда побывали на приеме у моего мужа. Ну, более или менее. Что значит — более или менее. Значит, что не сразу после этого. Больно было. Нет, открыла глаза и ослепла. А я нет. Что нет. Я не закрывала глаза, ослепла, когда муж сел в санитарную машину. Повезло. Кому. Мужу вашему, вы же вместе с ним. Ну, значит, и мне тоже. Значит, и вам. А вы замужем. Нет, и думаю, отныне никто не будет жениться и выходить замуж. Знаете, что я вам скажу: этот вид слепоты настолько необычен, до такой степени противоречит всей науке, что вечно продолжаться не может. А если мы останемся такими на всю жизнь. Кто мы. Ну, мы все. Это будет ужасно, подумать только — мир, состоящий из одних слепцов. Даже думать об этом не желаю.

Первым из дверей сортира вышел косоглазый мальчуган, которому туда, впрочем, и заходить-то было незачем. Штаны у него были закатаны до середины икр, носки сняты. Я здесь, произнес он, и девушка в темных очках двинулась на звук его голоса, но не с первой и не со второй, а только с третьей попытки руке ее удалось нащупать его вытянутую навстречу блуждающую ручку. Вскоре появился доктор, следом за ним первый слепец, и один из них спросил: Где вы, и жена доктора уже сжимала руку мужа, а за другую ее руку цеплялась девушка в темных очках. Первому слепцу несколько секунд не за кого было взяться, но вот и ему кто-то положил руку на плечо. Все в сборе, спросила жена доктора. Нет, наш раненый справляет другую нужду, ответил ей муж. Тогда сказала девушка в темных очках: Может быть, все-таки есть тут еще туалеты, а то мне как-то не по себе, простите. Пойдем поищем, сказала жена доктора, и, взявшись за руки, обе удалились. Назад пришли через десять минут: нашли врачебный кабинет с примыкавшим к нему туалетом. Вор уже вышел наружу, жалуясь, что зябнет и что нога болит. Выстроились вереницей в том же порядке, что и раньше, и без приключений почти уже привычной дорогой вернулись в палату. Жена доктора еще в коридоре и так, словно это само собой разумелось, объяснила, как узнать, где чье место: проще всего будет отсчитывать кровати, начиная от двери. Наши, сказала она, будут последние в правом ряду, девятнадцатая и двадцатая. Первым по проходу двинулся вор. Он был почти гол, его бил

озноб, он хотел пристроить поудобнее поврежденную ногу, и остальные сочли это достаточным основанием для того, чтобы уступить приоритет ему. Пошел, отсчитывая койки и шаря под каждой в поисках своего чемодана, а когда обнаружил его, объявил вслух: Вот он, и добавил: Четырнадцатая. Слева или справа, спросила жена доктора. Слева, ответил тот с легким недоумением: чего, мол, спрашиваешь, сама, что ли, не знаешь. Следующим был первый слепец. Он знал, что его кровать — через одну от кровати вора, в том же ряду, и теперь уже не боялся ночевать рядом: судя по вздохам и постаныванием, тот опасности не представлял, еле шевелился. Шестнадцатая слева, сказал слепец и улегся не раздеваясь. Тогда девушка в темных очках попросила еле слышно: Можно, мы где-нибудь рядом с вами, в другом ряду и чуть подальше, там будет хорошо. Четверо прошли вперед и очень скоро расположились. Через несколько минут подал голос косоглазый мальчик: Я кушать хочу, и девушка в темных очках отозвалась: Завтра, завтра нас покормят, а сейчас спи. Потом открыла сумку, достала купленный в аптеке пузырек. Сняла очки, запрокинула голову, широко открыла глаза и, направляя одну руку другой, пустила капли. Не все попали куда надо, но можно не сомневаться, что с конъюнктивитом, если взяться за лечение всерьез, скоро будет покончено.

Надо открыть глаза, подумала жена доктора. Ночью она несколько раз просыпалась и сквозь опущенные веки различала мертвенное свечение ламп, скудно озарявших палату, но сейчас показалось, что свет изменился: то ли это первый проблеск зари, предутренние сумерки за окном, то ли уже подступает к самым глазам белесая молочная муть. Досчитаю до десяти, сказала она себе, и на счет десять открою глаза, два раза сказала она это, два раза досчитала до десяти, но глаза так и не открыла. Она слышала глубокое дыхание мужа, доносящееся с соседней кровати, чье-то похрапывание: Интересно, как нога у бедняги, подумала она, зная, что сочувствует неискренне, а притворяется, заслоняясь другой заботой, на самом же деле просто не хочет открывать глаза. Они открылись сами, в следующий миг, просто открылись — не потому что она приняла такое решение. В окна, начинавшиеся на середине стены и кончавшиеся под самым потолком, тускло сочился голубоватый рассвет. Я не ослепла, пробормотала она и тотчас в испуге привстала: не услышала бы девушка в темных очках, спавшая ближе к окну. Но та и вправду спала. Спал и мальчик на койке у стены. Вроде меня, подумала о девушке жена доктора, тоже думает, что за ней он — как за каменной стеной, какие там стены, какие камни, один камешек на дороге, и одна надежда — споткнется о него враг, что еще за враг, никто на нас не собирается нападать, вот если бы не приехали и не забрали нас, тогда вполне могли бы и ограбить, и убить, и ведь никогда еще тот, кто угнал автомобиль, не был так уверен в своей безнаказанности, и как же далеко мы от мира, в котором люди скоро перестанут узнавать, кто они, и не вспомнят даже, как кого зовут, да и зачем, для чего нужны нам имена, одна собака узнает другую не по кличке, нами данной, а по запаху, и мы здесь — словно какая-то особая порода собак, узнаем друг друга по лаю, по голосу, а все прочее — черты лица, цвет глаз и волос — не в счет, как бы и не существует, я покуда вижу, но как долго это еще продлится. Свет изменился, но

ведь не может так быть, чтобы ночь возвращалась, должно быть, тучи заволокли небо, оттого и отсрочился приход утра. С койки, на которой лежал вор, донесся стон. Если рана нагноится, подумала жена доктора, нам нечем его лечить, у нас ничего нет, малейшая, самая ничтожная неприятность обернется в этих условиях настоящей бедой, может, они того только и ждут, только и хотят, чтобы перемерли мы здесь один за другим, недаром же говорится, не бойся яда от дохлого гада. Жена доктора поднялась с кровати, нагнулась к мужу, чтобы разбудить его, но не хватило духу вырвать его из сна, чтобы убедился, что по-прежнему слеп. Босиком, осторожно подошла к койке вора. Глаза его были открыты и неподвижны. Как вы себя чувствуете, спросила она шепотом. Вор повернул голову на звук и сказал: Плохо, болит очень. Дайте-ка я взгляну, хотела было сказать жена доктора и вовремя прикусила язык — какая неосторожность, как можно забыть, что здесь никто глядеть не может, она чуть не произнесла эти слова бездумно, как поступила бы всего несколько часов назад там, за стенами, если бы врач сказал: Покажите-ка, и приподняла одеяло. Даже в этом полумраке имеющий глаза увидел бы набрякший кровью матрас и черную, с воспаленными краями, дырку раны. Повязка ослабела. Жена доктора осторожно опустила одеяло, потом легко и быстро коснулась ладонью лба. Кожа была суха и горяча. Снова изменился свет: это отодвинулись застившие его облака. Она подошла к своей койке, но больше уже не ложилась. Поглядела на мужа, что-то бормочущего во сне, на очертания фигур под серыми одеялами, на грязные стены, на пустые, ожидающие кровати и бестрепетно пожелала себе тоже ослепнуть, чтобы сквозь зримую оболочку вещей проникать внутрь, в сердцевину, в их блистательную и непоправимую слепоту.

Внезапно откуда-то снаружи, скорей всего из вестибюля, разделяющего два крыла здания, донесся яростный гул голосов, выкрикивавших: Пошли вон, пошли вон. Убирайтесь. Выметайтесь. Вам здесь нельзя. Выполняйте приказ. Гул нарастал и вдруг ослабел, с грохотом захлопнулась дверь, и теперь слышались только горестные рыдания и тот характерный звук, какой бывает, когда кто-нибудь споткнется и рухнет со всего маху. В палате все уже проснулись. Повернули головы к дверям, и совершенно необязательно быть зрячим, чтобы понять — шум этот производят, входя в карантин, новоприбывшие слепцы. Жена доктора поднялась, собираясь по своей воле и охоте подойти к ним, встретить, сказать доброе слово, провести их до коек, растолковывая: Вот эта — седьмая слева, эта — четвертая справа, не перепутайте, да, нас здесь шестеро, да, вчера, да, первыми, да какая разница, кого как зовут, один ограбленный, другой грабитель, еще таинственная девушка в темных очках, которая глазными капельками лечит конъюнктивит, откуда я знаю, что она в темных очках, ну, как откуда, мой муж — глазной врач, она была у него на приеме, да, он тоже здесь, ваша правда, это никого не минует, и еще косоглазый мальчик. Но не двинулась с места, только сказала мужу: Прибыли. Доктор слез с кровати, жена помогла ему натянуть брюки, хотя можно было бы и не делать этого, все равно никто не видит, и в эту минуту стали входить слепые, пятеро — трое мужчин и две женщины. Доктор сказал громко: Не волнуйтесь, не спешите, места всем хватит, нас здесь шестеро, а вас сколько. Они не знали, сколько их: разумеется, когда их выволакивали из левого крыла в вестибюль, они

соприкасались, а иногда и сталкивались друг с другом, но сколько их, не знали. И вещей у них с собой не было. Когда утром они проснулись слепыми и принялись плакать и жаловаться, соседи тут же безжалостно прогнали их прочь, не дав даже попрощаться с теми друзьями или родными, кто был с ними. Сказала жена доктора: Лучше всего будет, если вы, как в армии, рассчитаетесь по порядку номеров. Оторопелые слепцы замялись, но кому-то ведь надо было начать, и двое мужчин, откликнувшись, как это бывает, разом, тотчас осеклись, и тогда произнес третий: Первый, и помолчал, словно хотел назвать свое имя, но вместо этого сказал: Я сотрудник полиции, а жена доктора подумала: Он не сказал, как его зовут, значит, тоже понял, что это теперь неважно. Второй, представился второй и по примеру первого добавил: Таксист. Третий, сказал третий, в аптеке работаю. Потом женский голос произнес: Четвертая, горничная в отеле. И наконец: Пятая, служу в конторе. Это моя жена, моя жена, вскричал самый первый слепец, где ты, скажи мне, где ты, откликнись. Я здесь, здесь, заплакала та и шаткой поступью двинулась по проходу, обеими руками выгребая в молочной пучине, заполнявшей ее выпученные глаза. Муж куда уверенней, чем она, пошел навстречу, шепча как молитву: Где ты, где ты. Руки их встретились, в следующую секунду они уже обнялись, прильнули друг к другу, став и в самом деле плотью единой, тянулись с поцелуями, иногда промахиваясь, ибо не знали, где щеки, где глаза, где рот. Жена доктора вцепилась в него, зарыдала, словно тоже истосковалась в разлуке, но сказала так: Какое несчастье обрушилось на нас на всех. Тут раздался голос косоглазого мальчика, спрашивавшего: Моя мама тоже здесь. Присев к нему на кровать, прошептала девушка в темных очках: Она скоро придет, не волнуйся, придет обязательно.

Истинный дом — это место, где человек ночует, и потому не следует удивляться, что перво-наперво озаботились новоприбывшие выбором койки, как поступали бы они, впрочем, и в иных палатах или, скажем, чертогах, в те времена, когда еще были зрячими. Насчет жены первого, самого первого слепца сомнений не возникало: ее законное и естественное место — рядом с мужем, на семнадцатой койке, которую пустующая восемнадцатая отделяла, как пробел, от девушки в темных очках. Ничего нет удивительного и в том, что все жмутся друг к другу как можно плотнее, руководствуясь давним ли родством, неожиданно ли обнаружившейся близостью, как, например, у помощника провизора, который отпустил девушке в темных очках глазные капли, или у таксиста, который доставил первого слепца к врачу, или у того, кто представился полицейским, а в свое время обнаружил на улице слепого вора, плакавшего навзрыд, как потерявшийся ребенок, что же касается горничной в отеле, то это именно она первой вбежала в номер, где исходила криком девушка в темных очках. Тем не менее не все эти вдруг выявившиеся узы близости и родства будут оглашены, явлены, зримы и ведомы — то ли потому, что не всегда представится для этого случай, то ли в силу слабости, извините за неуклюжий оборот, воображения, отказывающегося признать само их существование, то ли из соображений простого такта. Горничной и во сне бы не приснилось, что она может встретить здесь девицу, которая в номере отеля предстала перед нею в самом непотребном виде, об аптекаре известно, что отпускал он глазные капли

и другим людям, носившим темные очки, полицейскому никто опрометчиво не выболтает, что здесь угонщик автомобилей, таксист поклялся бы, что в последние дни не возил ни одного слепца. Естественно, первый, самый первый слепец успел шепнуть жене, что среди них находится тот прохвост, что украл у них машину: Нет, ну ты представь, какое совпадение, но поскольку уже знал, что рана в скверном виде, великодушно добавил: Получил по заслугам, и хватит с него. Поскольку горе и радость в отличие от воды и масла прекраснейшим образом перемешиваются, жена, одновременно и убитая горем оттого, что ослепла, и вне себя от радости, что вновь обрела мужа, даже не вспомнила, как два дня назад готова была отдать год жизни, чтобы этот подонок — именно так она его назвала — тоже ослеп. И если даже еще гнездились где-то в глубине ее души последние остатки злобы, то и они улетучились, когда раздался жалобный стон: Доктор, пожалуйста, помогите мне. Доктор, направляемый женой, осторожно ощупал края раны, больше он ничего сделать не мог: даже промывать не стоило, потому что неизвестно, острый ли каблук туфельки, топтавшей уличные мостовые и здешний больничный пол, усугубил инфекцией нанесенную им же колотую рану или же виною тому были патогенные бактерии, без сомнения, кишевшие в затхлой, полупротухшей воде, которая текла по старым, проржавелым трубам, сто лет не знавшим замены. Девушка в очках поднялась, услышав стон, медленно, отсчитывая койки, направилась в ту сторону. Наклонилась, вытянула руку, задев щеку жены доктора, и потом, сама не зная как, нащупала обжигающе горячую руку раненого, горестно сказала: Вы простите меня, это я во всем виновата, не надо мне было делать то, что сделала. Да бросьте, отвечал он, в жизни всякое бывает, я тоже не по делу выступил.

Почти заглушив его последние слова, грянул громкоговоритель над дверью: Внимание, внимание, настоящим объявляется, что продовольствие, а также предметы гигиены и моющие средства, доставленные к дверям, первыми получают пациенты правого крыла, инфицированные будут оповещены особо, внимание, внимание, продовольствие доставлено, первыми идут слепые, повторяю, первыми выходят слепые. Раненый, у которого от жара мутилось в голове, не разобрал толком смысл сообщения, решил, что его вызывают наружу, что срок заключения истек, и сделал попытку привстать, но жена доктора удержала его: Вы куда. Не слышали разве, объявили же: первыми идут слепые. Паек идут получать. А-а, разочарованно протянул раненый и в очередной раз скривился от боли, вгрызавшейся ему в бедро. Сказал доктор: Оставайтесь здесь, я схожу. Я с тобой, сказала жена. Когда они шли к дверям палаты, кто-то из новичков спросил: Это кто, и первый слепец ответил: Врач, глазной врач. Вот уж точно, заметил таксист, бедному жениться — ночь коротка: если и попадется доктор, то уж такой, от кого никакого проку, не вылечит он нас. Нам и таксист попался, саркастически отозвалась девушка в темных очках, да только никуда он нас не отвезет.

Ящик с продуктами стоял в вестибюле. Доктор попросил жену: Подведи меня к дверям. Зачем. Я скажу, что у нас тяжелый больной, а лекарств никаких нет. Ты разве не помнишь, о чем предупреждали. Помню, но, быть может, узнав о конкретном случае, они. Сомневаюсь. Я тоже, но попытаться надо. Вступив на крыльцо, жена доктора почувст-

вовала, что от света у нее закружилась голова, хотя день был скорее пасмурный, по небу плыли тучи, и собирался дождь. Как быстро я отвыкла, подумала она. В тот же миг часовой у ворот крикнул им: Эй, назад, стрелять буду, и, уже вскидывая карабин, позвал: Сержант, тут двое выйти хотят. Да не хотим мы выйти, ответил доктор. Это хорошо, что не хотите, сказал сержант, подходя к внешней стороне ворот, и через прутья ограды спросил: Ну, а чего надо. Один из наших повредил ногу, рана сильно воспалилась, не исключена вероятность сепсиса, срочно нужны антибиотики и другие препараты. Мне было ясно сказано: никого не выпускать, а впускать — только если провиант несут. Если начнется заражение, а оно наверняка начнется, больной погибнет, и в самом скором времени. Меня это не касается. Тогда доложите своему начальству. Слушай-ка, ты, чурбан безглазый, я не доложу, а положу сейчас вас обоих на месте, а ну назад, живо. Пойдем, сказала жена доктора, с ними ничего не поделаешь, они не виноваты — перепуганы и выполняют приказ. Не хочу верить, что происходит такое бесчеловечное попрание всех законов. А лучше поверь, потому что никогда еще не предъявляли тебе такой очевидной истины. Вы еще здесь, гаркнул сержант, чтоб на счет три исчезли оба, иначе, как бог свят, тут навсегда и останетесь, ну, ра-а-аз, два-а-а, три-и-и-и, вот и ладно, самое действенное средство, и, обращаясь к солдатам, добавил: Да будь он мне хоть брат родной, не объясняя, имеет ли он в виду того, кто вышел попросить медикаментов, или у которого рана нарывает. И этот второй спросил, когда они вернулись в палату, дадут ли лекарств. Откуда вы знаете, что я ходил просить лекарства. Ну, раскинул умом, ведь вы же врач. К сожалению. Значит, не дадут. Нет. Ну и ладно.

Еда, то есть молоко и галеты, была рассчитана строго на пятерых, но тот, кто рассчитывал, позабыл про чашки и тарелок не предусмотрел, как, впрочем, и ложек, все это, вероятно, должны были привезти к обеду. Жена доктора напоила молоком раненого, но его вырвало. Таксист заявил, что молоко не любит, спросил, нет ли кофе. Одни после завтрака снова улеглись на кровати, первый слепец повел жену показывать, где тут что, и они были единственными, кто покинул палату. Аптекарь, спросив разрешения, подсел к доктору и осведомился, какого тот мнения относительно постигшей их всех болезни. Не уверен, что мы имеем дело с болезнью в полном смысле слова, для начала уточнил доктор и в сильно упрощенном и сокращенном виде пересказал все, что успел вычитать в книгах до того, как ослеп. Таксист, отделенный от беседующих несколькими койками, с интересом прислушивался к беседе, и когда доклад был окончен, сказал: А я так думаю, вся штука в том, что забились каналы, ведущие от глаз к мозгам. Болван, негодующе буркнул себе под нос фармацевт. Не исключено, невольно улыбнулся доктор, может, так оно и есть, ведь глаза это не более чем линзы, объективы, видит-то на самом деле мозг, образ появляется, как на киноленте, и если перекрыть доступ, то и в самом деле. Ну да, это же вроде карбюратора: не поступит туда бензин, значит, мотор не заведется, и машина не поедет. Видите, как все просто, сказал доктор фармацевту. А сколько, по-вашему, доктор, мы тут еще пробудем, спросила горничная. По крайней мере, пока не прозреем. А когда это будет. Честно говоря, не думаю, что у кого-нибудь есть ответ на ваш вопрос. Но все-таки это временно или

навсегда. Дорого бы я дал, чтобы узнать это. Горничная вздохнула и, помолчав минуту, сказала: А еще мне хотелось бы понять, что все же стряслось с той девушкой. С какой девушкой, спросил аптекарь. Да из отеля, ох, ну я и перепугалась, вхожу, а она стоит посреди номера в чем мать родила, из всей одежды только темные очки на носу, и орет как резаная, что ослепла, я так полагаю, она меня и заразила. Жена доктора взглянула и увидела, как вышеупомянутая девушка медленно и словно бы невзначай сняла темные очки и спрятала их под подушку, при этом спрашивая косоглазого мальчика: Хочешь еще галету. И впервые за все время, проведенное тут, жена доктора, испытав такое чувство, как будто наблюдает в микроскоп за шевелением каких-то существ, которые даже не подозревают о ее присутствии, сочла это непристойным, недостойным: Я не имею права смотреть на тех, кто не может посмотреть на меня, подумала она. Дрожащей рукой девушка закапала свои капли. Всегда можно сказать, что это вовсе и не слезы текут у нее из глаз.

Когда спустя несколько часов громкоговоритель объявил, что можно забрать привезенный обед, первый слепец и таксист вызвались идти добровольцами на дело, для которого, в сущности говоря, зрение не очень-то и нужно, достаточно осязания. Коробки стояли довольно далеко от двери из коридора в вестибюль, и чтобы отыскать их, пришлось опуститься на четвереньки, да при этом левой, вытянутой вперед рукой шарить по полу, а правой отвести роль и функцию третьей лапы, вернуться же без особых затруднений в палату удалось потому лишь, что жена доктора осуществила давно пришедшую ей в голову идею и, разорвав простыню на полосы, смастерила из них нечто вроде веревки, один конец которой намертво крепится к ручке двери в палату, другой же будет обвязываться вокруг лодыжки того, кто снаряжается в поход за пропитанием. Посланные ушли, а пришли с тарелками и ложками, хотя продовольствия по-прежнему было на пятерых, что, по всей вероятности, объясняется тем, что начальник караула о появлении в левом крыле еще шестерых слепцов не знал по той простой причине, что когда стоишь за воротами, то, как ни всматривайся, едва ли разглядишь издали и в полутемном вестибюле какие-то перемещения. Таксист предложил сходить да объяснить, что, мол, еды не хватает, причем отправился один, отказавшись от спутников, и: Эй, нас не пятеро, а одиннадцать, крикнул солдатам, а тот же самый сержант ответил ему из-за ворот: Гуляй пока на просторе, скоро тесновато будет, тоном, который таксисту, судя по словам, сказанным по возвращении в палату: Похоже, он издевался надо мной, показался оскорбительным. Раздали порции поровну, поделив каждую пополам, так что вышло десять, ибо раненый по-прежнему отказывался от еды и только просил: Пить, ради бога, во рту пересохло. Кожа на лице у него чуть не трескалась от жара. Время от времени, словно не в силах больше терпеть прикосновение и тяжесть одеяла, он выпрастывал из-под него ногу, но тотчас снова прятал, потому что в палате было холодно, и продолжались эти его эволюции на протяжении многих часов. Через правильные промежутки времени он постанывал и вдруг издавал задавленный всхлип, как если бы постоянная, ровно пульсирующая боль усиливалась до такой степени, что он не успевал приготовиться к ней, ухватить ее и удержать в пределах терпимого.

Ближе к вечеру пришли еще трое изгнанных из левого крыла. Жена доктора тотчас узнала регистраторшу, записывавшую пациентов у офтальмолога, а с нею были мужчина, с которым девушка в темных очках имела свидание в отеле, и тот грубый полицейский, который доставил ее домой. Только они успели добраться до коек и рассесться, причем регистраторша заливалась слезами, а двое других хранили оторопелое молчание и словно бы не вполне сознавали, что же с ним случилось, как внезапно с улицы донесся многоголосый заполошный крик, прорезаемый ревом команд. Слепые выжидательно повернули головы к двери. Они ничего не могли видеть, но знали, что должно произойти. Жена доктора, сидя рядом с мужем на кровати, шепнула ему: Вот и начинается обещанный тобой кромешный ад. В ответ он сжал ее руку: Не ходи, отныне и впредь ты ничего не сможешь сделать. Крики стихли, сменившись топотом в вестибюле: это, давя и отпихивая друг друга, целой толпой лезли в проем дверей слепцы, кто-то лишился чувств и остался валяться в коридоре, но основная масса, сцепясь в причудливые грозди или поодиночке, отчаянно, наподобие утопающих, простирая руки, хлынула в палату с таким напором, как если бы ее судорожными толчками извергала туда какая-то неодолимая внешняя сила. Топтали упавших. Сгрудившись поначалу в узком проходе, растеклись затем по тесным прогалинам между кроватями и, подобно кораблям, успевшим юркнуть в гавань до того, как шторм разыгрался всерьез, ошвартовались у причальной стенки, роль которой в данном случае исполняла койка, закричали, что место занято, ищите себе другое. Напрасно надрывался доктор, силясь объяснить, что есть и другие палаты — те, кому койки не хватило, боялись затеряться в представавшем их воспаленному воображению лабиринте комнат, коридоров, закрытых дверей, крутых и лишь в самый последний момент обнаруживающихся, обрывающихся под ногой лестниц. Но поняли наконец, что вечно тут торчать нельзя, с мучительными усилиями вернулись к двери, дерзнули все же пуститься на поиски неизведанного. Те пятеро, которых доставили во вторую очередь, сумели, словно найдя последнее, покуда еще надежное убежище, переместиться поближе к первой шестерке. Только раненый одиноко и беззащитно лежал на четырнадцатой койке в левом ряду.

Через четверть часа в палате вновь установилось, за вычетом всхлипываний, причитаний, неясных шорохов и шумов обустройства, спокойствие, весьма, впрочем, далекое от безмятежного. Теперь все кровати были заняты. День кончался, мертвенно-тусклые лампы разгорелись, казалось, ярче. Тут раздался строгий голос громкоговорителя: В соответствии со сделанным в первый день предупреждением мы повторяем правила внутреннего распорядка и поведения в карантине, требующие неукоснительного соблюдения со стороны помещенных в него лиц. Правительство страны, выражая глубокое сожаление по поводу того, что во исполнение своего долга и в соответствии со своими полномочиями вынуждено принять ряд безотлагательных и жестких мер по защите всеми имеющимися в его распоряжении средствами населения страны, оказавшейся перед лицом кризиса, вызванного и так далее, и тому подобное. Когда голос смолк, грянул протестующий хор: Сидим взаперти, Все тут сдохнем, Права не имеют, А где врачи, которых нам обещали, это, кстати, было что-то новенькое, Говорили, врачи будут, медицин-

скую помощь обещали и даже полный курс лечения. Доктор не сказал, что если кому-нибудь нужен врач, то он перед ними. И никогда больше не скажет так. Ибо врач наложением рук не лечит, ему нужны лекарства, препараты, снадобья и зелья, растворы и таблетки, сочетания того и сего, здесь же нет и намека ни на что подобное, равно как и надежды что-либо получить. Да что лекарств — нет даже глаз, чтобы отметить синюшность, скажем, или, наоборот, покраснение кожных покровов, проистекающее от нарушения периферического кровообращения, и сколько раз эти внешние признаки, избавляя от необходимости проводить более детальные исследования, давали ясное и полное представление о клинической картине, или вот, например, состояние слизистых оболочек в сочетании с особенностями пигментации позволяет с высокой вероятностью судить о. Теперь, когда все соседние койки были заняты, жена не могла рассказывать доктору о том, что происходит, однако он нутром, что называется, чуял, какое напряжение, ощутимое почти физически, уже поцарапывающее предвестием скорого взрыва, склубилось в палате после прихода последней партии слепых. Да и самый воздух тут сделался тяжким, плотным, насытился и пропитался медленно перекатывающимися волнами дурных запахов и внезапно выходящими на поверхность течениями чего-то совсем уж тошнотворного. Что же тут будет через неделю, спросил он себя и побоялся представить, что через неделю все они по-прежнему будут скучены и заперты здесь. Если даже предположить, продолжал размышлять он, что едой нас худо-бедно обеспечат, в чем я, кстати, совсем не уверен, то еще меньше у меня уверенности, что люди снаружи будут точно знать, сколько нас тут, и я не представляю себе, как осуществлять, скажем, простейшие гигиенические процедуры, не говорю уж о том, как мыться без посторонней помощи людям, совсем недавно потерявшим зрение, и потом, неизвестно, есть ли тут душевые, работают ли они, об этом, значит, я не говорю, а говорю обо всем прочем, стоит лишь раз забиться стокам, и мы захлебнемся в нечистотах. Он потер лицо ладонями и ощутил шероховатость трехдневной щетины: Да уж лучше так, надеюсь им не взбредет в голову раздать нам лезвия или ножницы. У доктора в чемодане было припасено все необходимое для того, чтобы побриться, но сделать это он счел ошибкой: Да и потом, где это делать, не здесь же, при всех, побриться, разумеется, можно, но ведь остальные очень скоро поймут, что происходит, и сильно удивятся, что нашелся такой чистюля, а в душевой какое столпотворение начнется, и, о господи, как нужны нам глаза, видеть, видеть, различать хотя бы смутные тени, стоять перед зеркалом, глядеть на расплывающееся темное пятно и иметь право сказать себе: Вот мое лицо, а свет не мне принадлежит.

Но вот стихли мало-помалу протестующие голоса, и некто из соседней палаты возник в дверях с вопросом, не осталось ли какой еды, и ответивший ему таксист выразился так: Ни крошки, а помощник провизора, которого мы в дальнейшем для краткости будем звать просто аптекарем, решил доброжелательным участием сгладить лаконический негатив ответа и добавил: Может быть, еще привезут. Не привезли. Настала ночь. Извне не поступало ни еды, ни звуков. За стеной сначала раздавались крики, потом все стихло, если кто там и плакал, то — тихонько, неслышно. Жена доктора пошла проведать раненого: Это я,

сказала она и осторожно приподняла одеяло. Нога, равномерно вздутая отеком от колена до паха, выглядела пугающе, а сама рана, черный кружок в полиловевшей корке засохшей крови по краям, сильно увеличилась в размерах, как будто ткани распирало изнутри. От нее исходило сладковатое зловоние. Как вы, спросила жена доктора. Спасибо, что пришли. Как вы чувствуете себя. Плохо. Болит. И да, и нет. То есть. Ну, не знаю, как сказать, больно, однако нога как чужая, как будто уже отделилась от меня, говорю же, это трудно объяснить, странное такое ощущение, словно лежу здесь и смотрю, как она болит. Это потому что жар у вас. Может, и так. Постарайтесь уснуть. Она положила ему руку на лоб, потом повела было ее обратно, но не успела даже вымолвить: Покойной ночи, как раненый, перехватив, дернул на себя, так что лица оказались вровень. Я знаю, вы видите, сказал он чуть слышно. Вздрогнув от неожиданности, она забормотала в ответ: Вы ошибаетесь, с чего вы взяли, что это вам в голову пришло, я вижу ровно столько же, сколько и все, кто здесь есть. Не старайтесь меня обмануть, я знаю, что вы видите, но не бойтесь, никому не скажу. Спите, спите. Не верите мне. Верю. Потому что я жулик. Сказала же, верю. Тогда почему не хотите сказать правду. Завтра поговорим, а сейчас спите. Ну да, а будет оно, завтра. Мы не должны думать о плохом. Я должен думать, иначе за меня будет думать лихорадка. Жена доктора вернулась к себе, прошептала мужу на ухо: На рану смотреть страшно, наверно, это гангрена. Едва ли, слишком уж быстро. Так или иначе, ему очень плохо. А нам, спросил доктор, намеренно повысив голос, мы мало того что слепые, так еще и связаны по рукам и ногам. С четырнадцатой в левом ряду койки донесся ответ: Меня, доктор, никто не свяжет.

Шло время, один за другим слепые засыпали. Кое-кто натягивал на голову одеяло, словно хотел, чтобы тьма, настоящая, черная тьма решительно покончила с белесой мутью, плавающей перед глазами. Три лампы, подвешенные высоко, не достанешь, лили с потолка грязновато-желтый свет, не дающий теней. Сорок человек спали или пытались заснуть, вздыхали, бормотали спросонок и, быть может, видели во сне то, что хотели увидеть, и, быть может, говорили: Если это сон, не хочу просыпаться. Часы у всех остановились: кто забыл завести, а кто решил, что ни к чему это теперь, и только на запястье у жены доктора еще двигались по циферблату стрелки. Было начало четвертого. Вор очень медленно приподнялся, присел в кровати, опираясь на локти. Ногу он не чувствовал, там оставалась одна только боль, все прочее ему уже не принадлежало. Колено почти не сгибалось. Он свесил здоровую ногу вниз, перенес на нее тяжесть тела, потом взявшись обеими руками за бедро больной, попытался спустить и ее. В тот же миг волчья стая боли пронизала тело по всем направлениям, чтобы сразу же вслед за тем убраться в свое логово, где ей было еще чем подкормиться. Опираясь на руки, подтягиваясь, он пядь за пядью передвигал свое тело по кровати от изголовья к ногам. Когда добрался до спинки, пришлось передохнуть. Дышалось трудно, как в приступе астмы, бессильно падала на грудь голова. Через несколько минут, когда выровнялось дыхание, он начал медленно подниматься, становясь на одну ногу. Он знал, что от второй толку никакого не будет, куда ни пойдешь, ее ненужным балластом придется тащить за собой. Все плыло перед глазами, и неудержимая

дрожь, в медицине именуемая потрясающим ознобом, колотила его так, что лязгали зубы. Хватаясь за железные спинки кроватей, переползая от одной к другой, продвигался он меж спящими. Волоком, как неподъемную кладь, перетаскивал больную ногу. Никто не проснулся, никто не спросил его: Куда собрался в такой час, а и спросили бы, он знал, что ответит: Отлить, лишь бы только жена доктора не окликнула, потому что ей врать не хотелось и обманывать ее — тоже, а раз так, пришлось бы сказать, что он задумал: Гнить здесь больше не собираюсь, муж ваш, конечно, сделал все, что было в его силах, но, знаете, когда я, бывало, на дело шел, машину угонять, я же не просил кого-то угнать ее для меня, ну, вот и здесь самому надо, когда они увидят, на что я похож, сообразят, что мне очень плохо, вызовут карету да свезут в больницу, наверняка есть больницы только для слепых, одним пациентом больше, одним меньше — разницы никакой, там займутся моей ногой, полечат ее, я слыхал, что даже приговоренным к смерти оказывают медицинскую помощь, операцию делают, если аппендицит или там еще что, а уж потом только казнят, чтоб, как говорится, здоровеньким на тот свет пошел, вот и со мной так будет, потом, если надо, пусть опять сюда сажают, мне это все равно. Он проковылял еще немного, стиснув зубы, чтобы не стонать, но все же не сумел сдержаться и придушенно взвыл, когда, уже у самых дверей, потерял равновесие и ступил на больную ногу. Это вышло из-за того, что сбился со счета: думал, что будет еще пара кроватей, а шагнул в пустоту. Рухнул на пол и затих, замер, пока не убедился, что никого не разбудил. Потом его осенило, что лежачее положение слепцу пристало больше: если ползти на четвереньках, легче найти дорогу. Так он выбрался в вестибюль и остановился, чтобы обдумать, как теперь поступить: подать ли голос с крыльца или подобраться к самой ограде, держась за натянутую веревку, ее еще наверняка не убрали. Он отчетливо сознавал, что, если попросит помощи издали, могут сейчас же завернуть назад, но смущало, что после всех этих мучений, испытанных, несмотря на мощную поддержку железных кроватей, единственной опорой ему теперь будет всего лишь тонкая, свободно провисающая веревка. Через несколько минут ему показалось, что решение найдено: Поползу на четвереньках, подумал он, под веревкой, а время от времени буду поднимать руку, проверять, не сбился ли с пути, это ведь то же самое, что машины угонять — на каждый случай найдется свой способ. Внезапно и без зова проснулась в нем совесть и с суровым упреком вопросила, как это у него рука поднялась на машину несчастного слепца. Я сейчас так влип не потому, попытался возразить он, что машину угнал, а потому, что довез его до дому, вот тут я, конечно, маху дал. Но дешевой софистикой совесть не проймешь, и доводы ее были ясны и просты: Слепец есть лицо неприкосновенное, слепцов грабить нельзя. Да я, строго говоря, его и не грабил, машину он в кармане не носит, и в темном переулке пушку я ему ко лбу не приставлял, отбрехивался обвиняемый. Кончай демагогию разводить, огрызнулась совесть, ползи, куда полз.

Холодный ночной воздух освежил лицо. Как хорошо здесь дышится, подумал вор. Показалось даже, что и нога меньше болит, но это его не удивило: так бывало раньше, и не раз. Он уже стоял на крыльце, скоро должны быть ступеньки. Это самое трудное — спускаться головой

вперед. Поднял руку, проверяя веревку, и двинулся. Как он и предвидел, переползать со ступеньки на ступеньку было нелегко, особенно если нога не помощь, а помеха, что и подтвердилось в следующий миг, уже на середине лестницы, когда рука соскользнула с каменной ступени, и все тело, увлекаемое балластом проклятой ноги, завалилось набок. Моментально ударила кувалдами, вонзилась сверлами, вгрызлась пилами боль, он и сам не знал, как сумел сдержать крик. Несколько долгих минут лежал ничком, лицом в землю. От скользнувшего по коже быстрого ветерка вновь затрясло. Он был в рубашке и в трусах. Вся поверхность раны соприкасалась с землей, и пришедшая в голову мысль: Как бы столбняка не было, на самом деле была глупой мыслью, потому что полз он от самых дверей палаты. Ладно, плевать, успеют вылечить, подумал он, успокаивая себя, и посунулся в сторону, чтобы дотянуться до веревки. Обнаружилась она не сразу. Вор забыл, что перед тем, как покатился со ступеней, натянута она была строго перпендикулярно, а инстинкт заставил его остаться на месте. Теперь включился здравый смысл, медленно повел его назад, пока он поясницей не ощутил каменную грань ступеньки, душой — ликование победителя, а поднятой рукой — шершавое прикосновение веревки. Это же торжествующее чувство, наверно, вразумило его, как двигаться, чтобы рана не терлась о землю: сел, повернулся спиной к воротам и начал перемещаться короткими рывками, отталкиваясь от земли кулаками взамен тех утюжков, которыми в старину пользовались безногие на тележках. Да, спиной вперед, потому что в этом случае, как и в любом другом, толкать лучше, нежели тянуть. Так и ноге легче, да и дорога, к счастью, под уклон. Веревку он потерять не боялся: она постоянно задевала его голову. Спросил себя, далеко ли еще до ворот, но понял, что так вот, по-крабьи, ползти задом наперед, каждый раз перенося тело на полпяди или того меньше, — совсем не то что на своих двоих, да хоть бы и на одной. Позабыв на миг о своей слепоте, оглянулся на ворота, чтобы понять, долго ли еще корячиться, но увидел лишь все ту же бездонную белизну. Сейчас день или ночь, спросил он себя и сообразил: Если бы день, меня бы давно засекли, а, кроме того, завтраком кормили только раз, и было это много часов назад. Сам удивился, откуда это вдруг взялась в нем способность к логическому мышлению, порадовался тому, как стремительно и точно он соображает и делает выводы, почувствовал, что сильно переменился, просто другой человек стал, и, если бы не эта напасть с ногой, поклялся бы, что еще никогда в жизни не чувствовал себя так хорошо. Ткнулся спиной в нижнюю, окованную железом часть ворот. Добрался, значит. Часовому, от холода забравшемуся в караульную будку, почудился какой-то странный шорох, природу коего он объяснить не мог, но уж во всяком случае не допускал, что кто-то может идти от здания клиники, должно быть, ветер коротко шевельнул листву, легко провел ветвями дерева по ограде. Но тут в уши часовому ударил новый, другой звук, именно что это был звук удара, и ветру бы так не врезать. Обеспокоенный солдат вышел из будки, снял автомат с предохранителя, взглянул в сторону ворот. И ничего не увидел. Но звук повторился и усилился: казалось, кто-то скребет когтями по неровной поверхности. По воротам, подумал солдат. Сделал было шаг к палатке, где спал сержант, но остановился, подумав, что за ложную тревогу взгреют по полной, караульные начальники не любят,

когда их будят, даже если есть на то веские основания. Снова взглянул на ворота, замер в напряженном ожидании. И увидел призрачно-медленно возникающее между прутьями ограды белое лицо. Лицо слепого. Солдат помертвел от страха и от страха же, вскинув автомат к плечу, в упор дал очередь.

На слитный грохот выстрелов почти немедленно из палаток повыскакивали полуодетые солдаты, несшие охрану психиатрической больницы и тех, кого туда поместили. Что такое, чего стрелял, уже орал сержант. Слепец, слепец, бормотал часовой. Где. Вон, и стволом автомата показал на ворота. Ничего не вижу. Он был там, я видел. Караульные тем временем застегнулись, заправились, приладили свою сбрую, стали в шеренгу, взяв оружие к ноге. Давай прожектор, приказал сержант. Один из солдат вскарабкался в кузов. Через несколько секунд ослепительный луч полоснул по воротам, по фасаду клиники. Нет никого, видел он его, во сне ты его увидел, урод, сказал сержант и только собрался добавить еще несколько армейских любезностей в том же роде, как вдруг заметил: под воротами в неистовом свете прожектора расползается черная лужа. Вроде бы ты его убил, сказал сержант и, вспомнив строжайшие приказы начальства, крикнул: А ну, всем пять шагов назад, это заразно. Солдаты попятились в страхе, но не сводили глаз с кровавой лужи, растекавшейся по зазорам между камнями, которыми была вымощена дорожка. Думаешь, убил, осведомился сержант. Скорей всего, я выпустил весь магазин прямо ему в лицо, отвечал часовой, теперь уже гордясь столь явным доказательством своей меткости. В этот миг кто-то из солдат крикнул: Сержант, сержант, гляньте-ка туда. На крыльце в белом сиянии мощного прожектора стояло еще больше десятка слепых. Ни с места, гаркнул сержант, вот только дернись кто, сито сделаю. В нескольких окнах соседних домов уже вспыхнул свет, замелькали испуганные лица разбуженных выстрелами жильцов. Эй, четверо сюда, забрали труп, крикнул сержант. Поскольку слепые не могут видеть, а, значит, считать, на зов двинулись шесть человек. Четверо, я сказал, истерически завопил сержант. Слепцы ощупали друг друга раз и другой, двое остановились. Четверо, держась за веревку, побрели к воротам.

Надо найти лопату, что ли, какую-нибудь или, не знаю, заступ, яму выкопать, сказал доктор. Было утро, они уже с большим трудом перенесли убитого за дом, положили на заваленную мусором, засыпанную опавшей листвой землю. Теперь надо было предать ей тело. Только жена доктора знала, в каком оно состоянии: лицо и череп разворочены пулями, три дырки в шее и в груди. Знала она и то, что во всем доме нет ничего пригодного для рытья могил. Она обошла всю территорию, предоставленную им для проживания, но ничего, кроме железного прута, не обнаружила. Пригодится, только этого мало. А в закрытых окнах левого крыла, где размещались обсервационные палаты, виднелись помертвевшие лица людей, ожидавших, когда пробьет их час, вернее, придет та неминуемая минута, когда надо будет сказать другим: Я ослеп, или когда их, пытающихся скрыть это, выдаст неловкое движение, поворот головы вслед за мелькнувшей тенью, странная для зрячего спотыкливость на ровном месте. О том, что инструментов нет, знал и доктор, и произнес он эту фразу, подыгрывая жене, которая теперь могла осведо-

миться: А что, если попросить солдат перебросить нам лопату. Удачная мысль, надо попробовать, и все признали, что мысль и вправду удачная, и одна лишь девушка в темных очках словечка не вымолвила по вопросу обеспечения шанцевым инструментом, она вообще только плакала и бормотала: Это я виновата, и отрицать ее вину было бы глупо, но, с другой стороны, пусть послужит ей утешением то обстоятельство, что вздумай мы предварять каждое наше деяние размышлением о последствиях оного, вначале неизбежных, затем вероятных, затем возможных, затем предполагаемых, то, право слово, не сдвинулись бы с того места, на котором застигла нас первоначальная мысль. Добрые и злые плоды наших поступков и слов будут распределяться, надо полагать, более или менее поровну, с соблюдением известного равновесия, на все дни, отпущенные нам в будущем, включая даже и те, что, кроясь в неразличимой дымке времен, освободятся от нашего присутствия, мы же, в свою очередь — от возможности похвалить себя или осудить, причем иные утверждают, что это вот оно самое и есть — бессмертие, о котором идет столько разговоров. Может быть, и так, но этот человек мертв и должен быть погребен. И потому доктор с женой вызвались идти парламентерами, а безутешная девушка в темных очках сказала, что пойдет с ними, чтобы совесть не так мучила. Едва лишь показались в дверях, как часовой крикнул: Стой, ни с места, и, опасаясь, вероятно, что устный приказ, даже столь энергично отданный, не возымеет должного действия, выстрелил в воздух. Оробелая троица скрылась под сень полутемного вестибюля, за толстую створку полуоткрытой двери. Тогда жена доктора, рассудив, что может видеть и предвидеть действия часового и, значит, в случае надобности спрятаться, решила идти одна. Не можем похоронить покойника, сказала она, лопата нужна. У ворот, но не там, где застрелили вчера вора, а с внешней стороны, появился еще один военный. Тоже сержант, но другой. Чего надо, крикнул он. Лопату или заступ. Нет здесь ничего, проваливай отсюда. Но мы не можем похоронить убитого. Не можете, и не надо, пускай себе гниет. Но если оставить труп без погребения, он начнет разлагаться и отравлять воздух. Ну и пускай себе отравляет. Воздух, знаете ли, на одном месте не стоит, вам тоже несладко придется. Основательность приведенного довода заставила воина призадуматься. Его прислали на замену караульного начальника, который ночью ослеп и был немедленно отправлен туда, где собирали больных, относящихся к сухопутным войскам. Излишне говорить, что авиация и флот располагают собственными лечебными учреждениями, только помельче и поплоше, поскольку и личного состава в этих видах вооруженных сил поменьше. Она дело говорит, вынужден был признать сержант убедительность аргументации, в таких случаях лучше перебдеть. В качестве превентивной меры двое солдат, надев противогазы, уже давно вылили в кровавую лужу две здоровенные бутыли аммония, от последних испарений которого до сих пор режет глаза, першит в горле, свербит в носу у всего караула. Сейчас что-нибудь придумаем, объявил наконец сержант. И еды бы хорошо, воспользовалась случаем жена доктора. Еды еще не привозили. Только в нашем крыле уже больше пятидесяти больных, мы голодаем, того, что даете, не хватает. Армия снабжением не занимается. Но кто-то же должен решить этот вопрос, правительство взяло на себя обязательства кормить нас.

Вот что, идите-ка внутрь, здесь стоять нечего. Лопату дайте, крикнула жена доктора, но сержант уже ушел. Незадолго до полудня зазвучал громкоговоритель: Внимание, внимание, и слепые оживились, думая, что поесть дадут, однако речь зашла о: Вам выделена лопата, отправьте одного человека забрать. Я пойду, сказала жена доктора. Вышла и сразу, с крыльца, увидела лопату. Судя по тому, как и где она лежала, а лежала она ближе к воротам, можно было понять, что ее швырнули издали. Не забывай, что ты слепая, сказала себе жена доктора и спросила: Где она. Спускайся с крыльца, буду направлять, ответил сержант, ага, вот так, так и иди, прямо, прямо, стой, правей возьми, то есть, тьфу, левей, чуть назад, еще, вот теперь, что называется, не доходя упрешься, тепло-тепло, да нет же, холодно, ага, теплей, теплей, совсем тепло, есть, горячо, теперь налево кругом и давай назад, не торчать же тебе здесь, развернулась и пошла, я буду говорить куда. Не трудись, думала она, сама как-нибудь дойду по прямой до дверей, если и не поверишь, что я слепая, в палату за мной не придешь. Взвалив лопату на плечо, как отправляющийся на работу землекоп, она двинулась прямо к крыльцу. Видал, сержант, воскликнул один из солдат, идет как по ниточке, будто зрячая. Слепцы очень быстро учатся ориентироваться в пространстве, веско изрек тот.

Выкопать могилу оказалось нелегко. Земля была твердая, каменистая, сплошь перевитая длинными корнями деревьев. Рыли по очереди — таксист, оба полицейских и первый слепец. Перед лицом смерти ждешь, что былые обиды утратят ядовитую свою силу, хоть и принято говорить, будто давняя ненависть не остывает, чему не счесть примеров в книгах и в жизни, однако здесь, в сущности, о ненависти, тем более давней, речь не шла, ибо что значит кража машины по сравнению со смертью человека, когда-то эту кражу совершившим, да еще если он находится в столь бедственном состоянии, и даже глаз не нужно, чтобы понять, что лицо его лишено рта и носа. Глубже, чем на три пяди, выкопать не смогли. Будь у покойника брюхо, оно бы выпирало из могилы, но вор, и от природы-то поджарый, за последние дни высох до последней крайности, так что в вырытую яму поместился бы еще один такой, как он. Молитвы не читали. Угрызения совести побудили девушку в темных очках спросить: Может, крест поставить, но кто там знает, что при жизни думал покойник про все эти дела с богом и верой, лучше, как велит обычай, просто помолчим над свежей могилой, а кроме того, примите в расчет, что смастерить крест совсем не так легко, как кажется, не говоря уж о том, сколько времени займет работа, за которую, тычась наобум, возьмутся слепцы. Вернулись в палату. Слепцы уже более или менее уверенно передвигаются там, где часто бывают, ну, разумеется, не на открытом пространстве вроде заднего двора, где только что произошло погребение, уже не теряются, а выставят вперед руку, пошевеливая растопыренными пальцами, вроде того, как насекомые водят своими усиками-антеннами, да и ходят себе повсюду, где им надо, и очень даже возможно, что у самых одаренных скоро разовьется так называемое фронтальное зрение. Вот взять, к примеру, хоть жену доктора: это же просто уму непостижимо, как она не заплутает в хитросплетении коридоров, палат, переходов, закоулков, как узнает, куда и когда следует свернуть, как безошибочно останавливается перед нужной ей дверью и без

колебаний открывает ее, как, не отсчитывая по спинкам, добирается до своей кровати. Сейчас она присела к мужу, разговаривает с ним, тихонько по обыкновению, сразу видно людей воспитанных и культурных, и им всегда есть что сказать друг другу, не то что другой чете: первый слепец и его жена после бурных излияний первой встречи почти и не разговаривают, и у них, сдается нам, нынешняя печаль возобладала над прежней любовью, что делать, привычка для любви губительна. И неустанно, беспрестанно ноет косоглазый мальчик, что, мол, кушать хочет, и это при том, что девушка в темных очках в буквальном смысле куска не доедает, чтобы накормить его. Уже несколько часов не спрашивает мальчик про маму, но почувствует, без сомнения, как ее не хватает, затоскует по ней, когда насытится, и дух его воспарит над плоским плотским себялюбием, не ведающим ничего, кроме простой и необоримой тяги к самосохранению. Из-за того ли, что произошло на рассвете, по другим ли, независящим от нашей воли обстоятельствам, однако коробки с продовольствием к утреннему столу доставлены не были. Время к обеду, часы, на которые украдкой взглядывает жена доктора, показывают уже почти ровно час, и немудрено поэтому, что, подгоняемые бурным выделением желудочного сока несколько слепцов, старожилов и новеньких, решив выйти в вестибюль и там подождать, когда привезут провиант, руководствуются двумя великолепными доводами, причем один высказан вслух и сформулирован в том смысле, что за разговором время пролетит незаметно, второй же, потаенный, зиждется на постулате, гласящем, что кто первее, тот и правее. Так или иначе не менее десяти слепцов чутко прислушиваются, не открывается ли наружная дверь, не слышны ли шаги солдат, несущих вожделенные коробки. Обитатели же левого, обсервационного флигеля, убоясь внезапной слепоты, которая может последовать за близким соседством со слепцами, ожидающими в вестибюле, выйти не осмеливались и только подсматривали в щелку, чтоб не пропустить свой черед. А время шло. Кое-кто из утомившихся и истомленных ожиданием слепцов сел на пол, двое или трое вернулись в палату. И вскоре раздался ни с чем не сравнимый скрип и лязг ворот. Воодушевленные слепцы, натыкаясь друг на друга, устремились было туда, где, по их расчетам, находилась дверь, однако, забеспокоившись, что ничего не успеют объяснить, тотчас остановились и в смятении отступили, поскольку шаги солдат, несших коробки, и тех, кто их сопровождал с оружием, слышались уже совершенно явственно.

Все еще пребывая под впечатлением трагических ночных событий, солдаты решили не разносить коробки к дверям, ведущим из вестибюля в оба флигеля, как поступали они прежде, а оставить, то есть на пол поставить, посреди оного вестибюля — и сами свои харчи забирайте, кушайте на здоровье. Резкий переход с яркого света в царящую внутри полумглу помешал солдатам сразу же разглядеть кучку слепцов. Но через миг они их заметили. И, взвыв от ужаса, побросали коробки и кинулись к выходу, как безумные. Двое автоматчиков, ожидавших на крыльце, повели себя при отражении угрозы нападения просто образцово. Один бог знает, как и почему они, сумев преодолеть вполне понятный страх, с порога открыли огонь, который на военном языке называется сосредоточенным. Слепые стали валиться друг на друга и, уже падая, полу-

чать пули, что нельзя расценить иначе, как нерациональное расходование боеприпасов, причем все это происходило страшно медленно, и казалось, они никогда не перестанут падать, громоздя тело на тело, как это показывают иногда в кино и по телевизору. Если в описываемые нами времена солдат еще обязан отчитываться за каждый истраченный патрон, то эти двое смогут поклясться на знамени, что действовали в рамках допустимой самообороны, равно как и в целях защиты своих безоружных сослуживцев, при выполнении гуманитарной миссии подвергшихся нападению численно превосходящей группы слепцов. Впрочем, эти солдаты уже опрометью ринулись к воротам, тогда как остальные прикрывают их отход, чтобы не сказать — беспорядочное бегство, сквозь прутья ограды наведя дрожащие стволы на дверь клиники, как если бы кто-то из оставшихся в живых слепцов намеревался предпринять вылазку и отплатить кровью за кровь. Один из тех, кто стрелял, говорит, побелев от испуга: Что хотите со мной делайте, я туда больше не пойду. И ведь в самом деле не пошел. В тот же день, во второй его половине, даже скорей ближе к вечеру, после смены караула, стал он всего лишь еще одним слепцом среди слепцов, и его счастье, что военнослужащий, не то остался бы в психушке, составил бы компанию штатским слепцам, товарищам тех, кого покрошил он из своего автомата, а уж что бы они с ним сделали, один бог знает. Сержант сказал еще: Честное слово, лучше бы оставить их подыхать с голоду, не бойся яда от дохлого гада. Мы-то с вами знаем, что многие именно так думали и часто говорили, но, к счастью, бесценный остаточек человечности побудил сержанта переменить мнение: С этой минуты провиант будет на полпути, пусть сами забирают, а мы будем держать их на мушке и чуть что — огонь. Он направился к штабной машине, включил микрофон и, припоминая слышанное в более или менее схожих обстоятельствах, чтобы сцепить слова в наилучшем порядке, сказал: Как представитель вооруженных сил выражаю сожаление в связи с тем, что караул был вынужден применить оружие для недопущения перемещения интернированных, создававшего непосредственную угрозу безопасности, за что на нем не лежит ни прямой, ни косвенной вины, и интернированные, отныне подлежащие получению продовольствия за пределами здания, предупреждаются, что любая попытка нарушения установленных правил будет пресекаться по всей строгости закона, как это было сегодня, а также вчера ночью. Потом помолчал, не зная, чем завершить свою речь, все подходящие слова вдруг как-то позабылись, хотя наверняка имелись в наличии, и смог только выговорить дважды: А мы не виноваты, не виноваты.

А в палатах грохот очередей, многократно усиленный гулким эхом, загремевшим в замкнутом пространстве вестибюля, вызвал настоящую панику. Одни пациенты, решив сначала, что солдаты сейчас ворвутся внутрь, кося из автоматов все живое, ибо правительство, наверно, передумало и приняло решение физически ликвидировать слепцов всех скопом, полезли под кровати, другие от страха застыли на месте, а некоторые подумали, должно быть, что оно и к лучшему, да на кой она сдалась, такая жизнь, и лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Первыми спохватились обитатели обсервационных палат. Когда загремели выстрелы, они шарахнулись прочь от двери, но потом наступившая тишина по-

будила их вернуться, взглянуть в щелочку, что там творится в вестибюле. Они увидели груду трупов, лужу крови, которая извивающимися ручьями, как живая, ползла по гладким каменным плитам, и коробки с продовольствием. Голод заставил их выбраться наружу, вот она, вожделенная еда, и что с того, что она предназначена слепцам, а зрячим их порции доставят во вторую очередь в соответствии с установленными правилами, но уж какие тут правила, тем более что нас никто не видит, недаром же древняя мудрость, бытовавшая во все времена и у всех народов, гласит, что кто смел, тот и съел, а древние мудрецы съели в таких делах собаку. Впрочем, подхлестнутой голодом отваги хватило лишь на три шага, вовремя проснувшийся разум же предупредил дальнейшее продвижение, напомнив, что основную опасность для неосторожных представляют эти вот безжизненные тела и, главное, эта вот кровь, и кто знает, каких только тлетворных испарений и ядовитых миазмов не исходит, не изошло уже от безжизненной плоти слепцов. Они же мертвые, ничего не могут нам сделать, сказал кто-то с явным намерением успокоить себя и других, однако напрасно он это сказал, только напортил, ибо, хоть слепцы и вправду мертвы, не шевелятся, глядите, не дышат, кто поручится, что эта белая слепота не есть на самом деле болезнь душевная, а если принять эту гипотезу, то никогда еще дух убитых не был так свободен от телесной своей оболочки и, значит, волен веять, где ему заблагорассудится, веять и сеять, что захочет, и прежде всего зло, ибо всякий скажет, что это легче всего прочего. Но коробки с продуктами с неодолимой силой манили, магнитом притягивали к себе взоры, а желудок всегда приводит доводы такого калибра, что устоять нет возможности. Из одной коробки медленно вытекала, подползая к луже крови, белая жидкость, по всем приметам — не иначе как молоко, этот цвет не обманет. Двое, отличавшиеся особой отвагой или склонные к фатализму, благо четкую грань между этими понятиями провести возможно не всегда, выдвинулись вперед и уже почти коснулись загребущими руками вожделенных коробок, как вдруг в дверях, ведущих в левый флигель, показалось сколько-то слепцов. Известно, что у страха глаза велики, а уж в данных обстоятельствах да при таком освещении и антураже у двух смельчаков, решившихся на вылазку, они просто на лоб полезли, когда почудилось, будто это восстали из мертвых убитые слепцы, которые нимало не прозрели, зато, без сомнения, сделались гораздо более опасны, ибо их, старинным слогом говоря, воспламеняла жажда мести. Смельчаки благоразумно и бесшумно отступили в глубь вестибюля, надеясь, что слепцы, быть может, как требуют того милосердие и обычай, займутся убитыми, а уж если нет, то по слепоте своей оставят незамеченной какую-нибудь коробку, хоть одну, пусть самую маленькую, тем паче, что пациентов в обсервационном флигеле не так уж много, и вообще наилучшим выходом из положения было бы попросить: Пожалейте нас, пожалуйста, явите божескую милость, оставьте нам одну коробочку, вроде бы так получается, что после этаких дел еды мы сегодня не получим. Слепые, как слепцам и положено, двигались ощупью, волоча ноги и все-таки спотыкаясь, однако с задачей своей справились на удивление успешно и проявили поразительную опять же организованность, применив принцип разделения труда, и покуда одни, оскальзываясь в липком месиве из крови и молока, подбирали и выносили трупы, дру-

гие занялись коробками, которые побросали солдаты, и одну за другой отыскали все восемь. Была среди слепцов одна женщина, поспевавшая, казалось, везде и всюду, то есть и мертвых помогала выносить, как бы указывая своим сотоварищам путь, что заведомо невозможно для слепой, и, уж не знаем, случайно ли или намеренно, не раз поворачивала голову в сторону жильцов обсервационного флигеля, словно видела их или по крайней мере чувствовала их присутствие. Очень скоро вестибюль стал пуст, и о недавних событиях напоминало только большое кровяное пятно и впритык к нему — другое, поменьше, оставшееся от пролитого молока, да бесчисленные, пересекающиеся отпечатки подошв, опять же кровавые и просто влажные. Зрячие смиренно прикрыли дверь и пошли на поиски хоть каких-нибудь крох, а о том, сколь сильно пали они духом и близки были к отчаянью, судить можно по словам, совсем уж было готовым сорваться с уст одного из них: Раз все равно нам суждено ослепнуть, и от судьбы не уйдешь, не перейти ли прямо сейчас в тот флигель, по крайней мере хоть поесть дадут. Может быть, солдаты принесут что-нибудь и на нашу долю, сказал кто-то. Ты сам-то служил, спросил другой. Нет. Оно и видно.

В числе погибших были слепцы из обеих палат, и бывшие их соседи стали держать совет, как поступить — сначала поесть, а потом заняться погребением, или наоборот. Никого, похоже, не интересовало, кто именно погиб. Пятеро из девяти убитых были обитателями второй палаты, и осталось неизвестно, знали они друг друга раньше или нет, и если нет, хватило ли им времени и душевной раскованности познакомиться, поговорить по душам. Жена доктора их не запомнила. Другое дело — те четверо, что спали с ней, можно сказать, бок о бок, хоть про одного из них она также никакими сведениями не располагала, да и не могла располагать, потому что уважающий себя мужчина не станет с первым встречным делиться, например, интимными подробностями того, как именно в номере отеля развлекался он с девушкой в темных очках, которая в свою очередь, если, конечно, это она самая и есть, даже не подозревала, что здесь же и вдобавок так близко находится тот, кто заставил мир вокруг нее вспыхнуть ослепительной белизной. В числе убитых были также таксист и оба полицейских, и вот эти трое, все крепкие, здоровые мужики, способные и за себя постоять, и, в силу профессиональных обязанностей, позаботиться, пусть каждый и на свой манер, о других, оказались скошены во цвете лет серпом безжалостной судьбины и ждут теперь решения своей участи. А ждать им придется, пока покушают уцелевшие от пуль, и дело тут не в неизбывном эгоизме живых, нет, просто кто-то сообразил, что если копать единственной лопатой девять могил, то дай бог управиться до ужина. А поскольку нельзя допустить, чтобы одни, движимые добрыми чувствами, рыли землю, пока другие брюхо себе набивают, то и было решено оставить покойников на потом. Провиант теперь доставляют уже разделенным на порции, и распределять легко, тебе, тебе, тебе, пока не опустеет картонный короб. Но то, что в обычных обстоятельствах облегчило бы жизнь, теперь сводится на нет мнительной жадностью кое-кого из наименее просвещенных слепцов, хотя, рассуждая здраво и непредвзято, придется согласиться, что имеющие место недоразумения или, иначе говоря, эксцессы отнюдь не безосновательны, если принимать в расчет, что никог-

да не знаешь, уходя, хватит ли тебе еды по возвращении. И, конечно, всякому ясно, что очень трудно пересчитать слепцов и каждому раздать его порцию, когда не видишь ни едоков, ни еды. Следует добавить еще, что обитатели второй палаты совершают более чем непорядочные и предосудительные поступки, а именно — пытаются представить себя в большем количестве, чем на самом деле. Положение, как всегда, спасает жена доктора, для того, в общем-то, она здесь и есть. Несколько вовремя сказанных слов способны устранить трудности, которые пространными увещеваниями можно только еще больше осложнить. Дурные наклонности и дурной нрав обнаруживали также и те, кто не только пытался получить свою порцию дважды, но и преуспел в этом намерении. Жена доктора заметила обман, но сочла, что лучше не предавать вскрывшиеся злоупотребления огласке, потому что боялась даже представить, что только будет в случае разоблачения: в лучшем случае ее превратят во всеобщую служанку, в худшем — сделают рабыней немногих избранных. Высказанная еще в самом начале рекомендация выбрать в каждой палате старосту, глядишь, и помогла бы сгладить эти шероховатости, а то и устранить куда более серьезные трения, но при непременном соблюдении одного условия, заключающегося в том, чтобы власть, которой был бы облечен этот человек, власть, без сомнения, непрочная, без сомнения, шаткая, без сомнения, ежеминутно оспариваемая, применялась бы ко всеобщему благу и в качестве таковой признавалась бы большинством. А иначе, подумала жена доктора, мы в конце концов друг друга просто перебьем. Она пообещала себе непременно обсудить эту щепетильную тему с мужем и продолжала раздавать пайки.

Одних после еды разморило, у других оказался чересчур чувствительный желудок, но так или иначе никого не прельщало исполнять должность землекопа. И когда доктор, просто в силу профессии относящийся ко всему на свете ответственней, чем другие, сказал: Ну, пошли, что ли, хоронить, призыв его никем поддержан не был. Слепцы, разлегшись по койкам, хотели без помех предаваться процессу пищеварения, кое-кто из них сразу же задремал, что и неудивительно, ибо после пережитых страхов и треволнений накормленная, пусть и весьма скудно, плоть склонна к биохимической неге. Лишь позже, незадолго до наступления сумерек, когда стало казаться, что из-за естественной убыли дня тусклые лампы разгорелись ярче, освещая по природной слабости своей то немногое, что могли осветить, доктору с женой удалось уговорить двоих соседей по палате отправиться на задний двор, дабы выполнить свою долю предстоящей работы и разобрать уже окоченевшие тела по принадлежности, благо было решено, что каждая палата хоронит своих. Неоспоримое преимущество слепцов как могильщиков заключалось в том, что можно было бы назвать иллюзией света. Им и в самом деле совершенно безразлично, день на дворе или ночь, безмолвная ли заря или шумный полдень, уже смеркается или еще не рассвело, потому что их постоянно окружает матово-белое свечение, подобное тому, что производит бьющее из-за облаков солнце. И для них потерять зрение значит не погрузиться в обыденную тьму, но пребывать во славе. Когда же доктор опрометчиво упомянул о том, что они будут отбирать своих, первый слепец, оказавшийся одним из тех двоих, кто согласился помочь, попросил объяснить ему, как именно узна́ют они своих, и логика

этого вопроса, тем более разящая, что прозвучал он из уст слепого, привела доктора в замешательство. А жена подумала, что выручать его не станет, иначе выдаст себя. Доктор сумел выпутаться из трудного положения сам, причем не без грации применил радикальный метод наступления, то есть признал свою ошибку: Мы, молвил он тоном, подразумевающим усмешку по адресу себя самого, настолько привыкли к своим глазам, что и поныне считаем, будто можем ими пользоваться, хоть они уже ни на что не годны, а мы всего лишь знаем, что наших там лежит четверо — таксист, оба полицейских и еще один, так что надо будет взять четыре первых попавшихся тела, предать их земле и тем исполнить наш долг. Первый слепец согласился, другой тоже, и снова, чередуясь, принялись они копать могилы. Так никогда и не суждено было им по слепоте своей узнать, что все четверо погребенных относились именно к числу тех, о возможности идентификации коих недавно высказывались сомнения, и совершенно лишним будет упоминать, как, будто случайно и наугад, дотрагивался доктор рукою, ведомой рукою жены, до руки или ноги мертвеца, после чего оставалось сказать лишь: Этот. Когда двоих уже закопали, вышли из палаты еще трое пациентов, решившие оказать содействие, но наверняка отказавшиеся бы от своего намерения, скажи им кто-нибудь, что уже поздний вечер. Ибо с точки зрения психологии, и слепому совсем даже не все равно, при свете дня роет он могилу или после захода солнца. В тот момент, когда новоявленные могильщики, взмокшие от пота, перепачканные землей, все еще ощущая будто застрявший в ноздрях сладковатый смрад первого тлена, вернулись в палату, громкоговоритель начал повторять всем известные инструкции. Не было упоминаний о произошедшем, о стрельбе и о застреленных в упор. Предупреждения вроде: Покидать здание без предварительного разрешения запрещается под страхом смерти, или: Труп силами самих изолированных должен быть без соблюдения каких бы то ни было формальностей захоронен у ограды, благодаря обретенному за минувший день жестокому опыту, который в школе жизни ведет все основные предметы, зазвучали с непреложной внятностью, тогда как обещание доставлять трижды в день коробки с продовольствием воспринималось издевательским сарказмом или вовсе уж неуместной иронией. Когда громкоговоритель замолчал, доктор в одиночку, потому что уже довольно прилично ориентировался вокруг, отправился к дверям соседней палаты и объявил: Наших мы уже схоронили. Могли бы и наших тоже, небось не надорвались бы, ответил мужской голос. Договаривались же, что каждая палата хоронит своих, мы отсчитали четыре тела и предали их земле. Ладно, сказал другой голос, завтра зароем, и совсем другим тоном: А чего, жратвы-то больше не привозили. Нет, ответил доктор. А грозились три раза в день кормить. Думаю, не все свои угрозы они приводят в исполнение. Тогда надо будет урезать пайки, раздался женский голос. Это правильно, если хотите, завтра обсудим. Хочу, сказала женщина. Доктор уже был в коридоре, когда мужчина, первым подавший голос, осведомился: Ты откуда такая выискалась, чтоб за нас решать. Доктор остановился в ожидании ответа, и дал его женский голос: Если мы не организуемся как следует, то будем страдать от голода и от страха, и очень стыдно, что мы не пошли с ними хоронить убитых. Вот и пошла бы, чем морали читать, раз такая совестливая

и все наперед знаешь. Одна я не справлюсь, но готова помогать. Ладно, чего там спорить, опять вмешался второй мужчина, завтра утром займемся этим. Доктор вздохнул, предвидя, что ладить с новыми соседями будет трудно. Он уже шел к дверям своей палаты, когда вдруг ощутил настоятельные позывы. Он сомневался, что отсюда, с того места, где находится, сумеет отыскать отхожее, однако иного выхода не было. Хоть бы кто-нибудь по крайней мере догадался повесить там рулон туалетной бумаги, доставленной вместе с продуктами. Он дважды сворачивал не туда, возвращался, подгоняемый все более и более обострявшейся нуждой, и уже совсем на пределе терпежа вскочив наконец в искомую дверь, успел едва ли не в самую последнюю секунду спустить брюки и присесть на корточки над проделанным в полу круглым отверстием, иначе именуемым очком. И едва не задохнулся от зловония. Показалось, а потом и подтвердилось, что он вступил во что-то мягкое, податливо-липкое, причем можно было с уверенностью сказать, что это что-то есть экскременты, оставленные тем, кто, вероятно, промахнулся мимо отверстия или, не утруждая себя поисками оного, махнул рукой на условности и приличия, навалил кучу, где пришлось. Доктор попытался представить себе, где находится, но для него все оставалось ослепительно, сияюще белым, белым от пола до невидимого ему потолка, и тут обнаружилось, что сияние это и белизна еще и наделены очень скверным запахом. Мы здесь все рехнемся от ужаса, подумал он. Потом, когда возникла необходимость подтереться, выяснилось, что сделать это нечем. Он ощупал позади себя стену, где должен был находиться держатель для рулона или, по крайней мере, гвоздь, на который за неимением лучшего накалывают обрывки газеты. Ничего. Он почувствовал себя до того несчастным и был себе так омерзителен и жалок — раскоряченный над сортирной дырой, поддерживающий спущенные штаны, чтобы не касались загаженного пола, слепой, слепой, слепой, — что, не сумев сдержаться, беззвучно заплакал. Ощупью сделал несколько шагов, наткнулся на стену. Протянул руку, потом вторую и наконец нашел дверь. Услышал шаркающие, спотыкающиеся шаги, кто-то, наверно, тоже искал сортир и: Где же он, черт бы его, пробормотанное до того бесстрастно, словно в глубине души спрашивавшему было это решительно безразлично. Он прошел в полуметре от доктора, не почувствовав присутствия еще одного человека, но это не имело значения, ситуация не успела стать непристойной, хоть и несомненно могла бы, еще бы, мужчина в столь жалком виде, если бы в последний момент доктор в порыве стыдливости не подтянул штаны. Потом, сочтя, что остался один, снова спустил, не ко времени и не к месту оказалась эта его стыдливость, он знал, что грязен, грязен, в жизни еще не бывал так грязен. Существует много способов превратиться в животное, подумал он, это всего лишь первый. Впрочем, особенно плакаться не стоит — у него хоть есть кому подмыть его, не придавая этому никакого значения.

Улегшись на койки, слепцы ожидали, когда сон сжалится над их скорбями. Жена доктора еще некоторое время назад незаметно для других, хотя жалкое зрелище было недоступно их незрячим взорам, помогла мужу привести себя в относительный порядок. Теперь в палате стояла та особенная больничная тишина, какая бывает только там, где люди спят и страдают во сне. Бессонно и зряче оглядывала жена доктора ря-

ды коек, бесформенные очертания фигур под одеялами, бледное лицо, шевельнувшуюся во сне руку. И спрашивала себя, неужели и она когда-нибудь ослепнет, и по каким непостижимым причинам не случилось этого до сих пор. Устало поднесла руки к лицу, чтобы отбросить назад волосы, и подумала: Скоро от всех нас будет скверно пахнуть. В этот миг стали слышаться вздохи, постаныванья, приглушенные поначалу вскрики, какой-то невнятный лепет и бормотанье, которые казались да, наверно, и были словами, только смысл их терялся в бурном крещендо, обращавшем их в крик, в рев, в хрип, подобный предсмертному. Вот ведь свиньи, негодующе сказал кто-то из глубины палаты. Но это были не свиньи, а всего лишь люди: слепой мужчина и слепая женщина, которые, кроме этих двух обстоятельств, вероятней всего никогда ничего друг о друге не узнают.

Известное дело, не доешь, так и не доспишь. Иные из слепцов открыли глаза, когда до утра было еще далеко, и в данном случае даже не голод был виноват, а просто из-за сбившихся биоритмов или как там их еще принято называть, они вообразили, что за окном уже белый день, вот и подумали: Хватит спать, и тут же осознали свою ошибку, услышав, как, не допуская двоякого толкования, сонно дышат их соседи по койкам. Да ну, это из книжек, а вот и нет, скорей уж из опыта прожитой жизни известно, что тот, кто просыпается на заре по своей воле или же по необходимости должен вставать спозаранку, плохо переносит, если другие в его присутствии продолжают, что называется, дрыхнуть без задних ног, и вдвойне справедливо это наше наблюдение в данном конкретном случае, ибо огромна разница между слепым, который спит, и слепым, которому совершенно незачем держать глаза открытыми. Все эти психологистические рассуждения, несуразно изысканные рядом с чудовищным масштабом бедствия, которое тщимся мы и силимся представить в нашем повествовании, имеют целью всего лишь объяснить, почему так рано и все разом проснулись слепцы: и если одних, как было сказано в самом начале, пробудили требования желудка, то других вырвало из объятий сна нервное нетерпение ранних пташек, не посчитавших нужным вести себя тише, чем это неизбежно и терпимо среди обитателей казармы или больницы. Ведь здесь оказались не только приличные, воспитанные люди, имеются и вполне неотесанные мужланы, которые, не глядя, есть ли кто рядом, отхаркиванием и пусканием ветров освобождаются поутру от ночных тягостей, хоть справедливости ради заметим, что схожим образом поступают они и во все остальное время суток, отчего дух в помещении стоит тяжелый, впору топор вешать, и ничего с этим не поделаешь, проветрить можно, разве что дверь открыв, потому что окна, как уже было сказано, высоко, не дотянешься.

Лежа рядом с мужем, приникнув к нему тесней некуда, что объясняется не только тем, что койка узка, но и простой тягой друг к другу, так что один бог знает, какого труда стоило им ночью сохранить приличия, не уподобиться тем, кого обозвали свиньями, жена доктора взглянула на часы. Два двадцать три. Сфокусировала взгляд и увидела, что секундная стрелка не движется. Забыла завести часы, будь они прокляты, они или она, то есть я, даже такую малость не смогла выполнить всего-то через три дня после того, как оказалась взаперти. Не в силах сдержаться,

вдруг разрыдалась так, словно только что стряслась горчайшая из бед. Доктор, подумав, что жена ослепла и случилось то, чего он так боялся, чуть было не спросил вслух: Не видишь, и лишь в самый последний момент услышал, как она прошептала ему на ухо: Нет-нет, это не то, а потом, с головою укрывшись и мужа укрыв одеялом, произнесла медленно и едва слышно: Я такая дура, забыла завести часы, и вновь заплакала горько и безутешно. Девушка в темных очках поднялась со своей койки, стоявшей напротив, через проход, вытянув руки, двинулась на звук рыданий. Что случилось, что с вами, повторяла она на ходу, пока не наткнулась обеими руками на два прильнувших друг к другу тела. Скромность потребовала немедленно отдернуть руки, и мозг, без сомнения, отдал этот приказ, однако руки не послушались, разве что прикосновения их стали нежнее, легче, мимолетней, и самые-самые кончики пальцев водят теперь по колючему, сыровато-теплому одеялу. Может, я могу чем-нибудь, спросила девушка, и вот теперь только руки отстранились, поднялись, сгинули в бесплодной белизне. Жена доктора, все еще плача, поднялась с кровати, обняла девушку: Ничего, это я так, вдруг грустно стало. Если уж вы, такая сильная, пали духом, то, значит, и вправду нет нам спасения, жалобно сказала та. Успокойся, подумала жена доктора, разглядывая ее лицо, конъюнктивит прошел бесследно, как жаль, что нельзя сказать тебе об этом, ты бы обрадовалась. Да уж, наверно, обрадовалась, хоть это и глупо, и не потому глупо, что слепая, а потому, что все вокруг такие же, и зачем нужны здоровые, красивые глаза, если некому в них смотреть. Жена доктора сказала: У каждого случаются минуты слабости, хорошо еще, что мы способны лить слезы, порой это просто спасение, иногда если не поплачешь, умереть можно. Нет нам спасения, повторила девушка в темных очках. Эта болезнь ни на что не похожа, может быть, как возникла, так и исчезнет. Мертвых не вернешь. Все мы когда-нибудь умрем. Но я-то убила человека. Не вините себя, обстоятельства так сложились, все мы здесь и виновны, и невиноваты, солдаты, которые нас сторожат, натворили куда больших бед, но ведь и они могут найти себе оправдание, самое сильное из всех, какие есть на свете, — сказать, что ими двигал страх. И из-за чего только я взбеленилась тогда, подумаешь, облапил меня этот несчастный, ну и пусть, велика важность, неужели убудет от меня, а он зато был бы жив. Не думайте больше об этом, приляжте, постарайтесь заснуть. Она довела ее до кровати. Вот, ложитесь. Вы такая добрая, сказала девушка в темных очках и потом, понизив голос, добавила: Не знаю, как быть, кажется, месячные начинаются, а тампонов нет. Я дам, у меня есть. Девушка в темных очках ищуще растопырила пальцы, потянулась к ней, и жена доктора, перехватив, сжала ее руки в своих. Успокойся, успокойся. Девушка закрыла глаза, полежала так около минуты и, наверно, заснула бы, не случись тут ссоры, внезапно вспыхнувшей из-за того, что один из слепцов отправился в уборную, а когда вернулся, обнаружил, что кровать его занял другой, но, надо признать, безо всякого злого умысла, просто встал по такой же надобности, и в проходе они даже столкнулись, и, разумеется, никто из них не сказал: Смотри не ошибись коечкой, когда вернешься. Жена доктора, поднявшись, смотрела, как спорят эти двое, и замечала, что они не жестикулируют да и вообще почти неподвижны, и как же быстро они поняли, что прок и толк есть теперь

только от речи и слуха, да, конечно, вполне могло бы до рук, как говорится, дойти, благо у обоих они на месте, так что есть чем садануть, врезать, треснуть, но ошибкой занятая койка того не стоила, дай нам бог бóльших бед не знать, и вот они уже пришли к согласию: Значит, моя вторая, твоя третья, так тому отныне и быть, уразумел. Этого бы не случилось, не будь мы с тобой слепы. Твоя правда, очень плохо быть слепым. Жена доктора сказала мужу: Здесь, внутри — весь мир.

Не весь. Еда, к примеру, поступает извне, да еще и с опозданием. По нескольку человек из каждой палаты отправляются в вестибюль, занимают там позицию, ждут. Переминаются в нетерпении с ноги на ногу. Знают, что, когда громкоговоритель прокрякает, надо будет спуститься во двор и забрать коробки, которые солдаты во исполнение обещанного оставят на полдороге от ворот до крыльца, знают, но опасаются какого-нибудь пакостного трюка, засады, ловушки. Откуда известно, что они не перестреляют нас. После того, что уже натворили, с них станется. Им доверять нельзя. Не пойду я никуда. И я тоже. Но кто-то же должен идти, есть-пить надо. А, может, лучше уж сразу помереть от пули, чем дохнуть с голоду. Я пойду. И я. Всем вместе нельзя, не надо. Солдатам это может не понравиться. А то еще испугаются, подумают, что мы собрались бежать, из-за этого-то вроде бы и застрелили того, с больной ногой. Ну так надо решать. Осторожность никогда не помешает, вспомните-ка, что вчера было, девять трупов, ни больше, ни меньше. Солдаты нас боятся. А я их боюсь. А вот хотелось бы знать, они тоже должны ослепнуть. Кто они. Ну, солдаты. По моему разумению, самыми первыми. Все согласились с этим и даже не спросили почему, не нашлось среди них такого, кто указал бы причину: Потому что тогда они не смогут стрелять. Время шло да шло, а громкоговоритель молчал. Ну что, вы-то своих похоронили, так, для разговора, спросил слепец из первой палаты. Нет пока. Они уж смердеть начинают, заразят тут все кругом. По мне так пусть смердят, пусть заражают, пальцем о палец не ударю, покуда поесть не дадут, недаром же сказал один мудрец, что кашку слопал — миску об пол, именно в таком порядке. Не знаю, кто это сказал, да только неверно это, едят и пьют на поминках, а их прежде похорон не устраивают. Значит, у меня вот как раз наоборот. По прошествии еще нескольких минут сказал один из слепцов: Я тут вот о чем подумал. Ну. Как мы будем делить еду. Да как и раньше, мы знаем, сколько нас, подсчитаем порции, каждый получает свою, самый простой и честный способ. Да вот не работает он, твой способ, одним ни крошки не достается. А другие жрут за двоих. Значит, неправильно поделили. Так всегда будет, пока не научимся порядок уважать и соблюдать. Эх, нам бы сюда такого, кто хоть чуточку бы видел. Сейчас сбегаю, приведу тебе иностраночку какую-нибудь, она так раздаст, что все тебе достанется. Недаром опять же сказал мудрец, что в стране слепых одноглазый — король. Даром, недаром, надоел ты мне с этим своим мудрецом. Это уже другой. Нет, тут бы и одноглазый не потянул. Насколько я понимаю, наилучшим решением было бы выделить продовольствие в равной пропорции всем палатам, с тем, чтобы потом каждая из них распределяла полученное между своими пациентами. Это кто сказал. Я. Кто я. Ну, я, я. Я, я, трели соловья, тебя спрашивают, из какой ты палаты. Из второй. Оно и видно, здорово придумал, у вас там народу меньше, значит, еды на каждого

выйдет больше, чем у нас, а у нас все койки заняты. Недаром же сказал мудрец, что, кто делит, не оставляя лучшей доли себе, либо дурак, либо делить не умеет. Ох, мать, допек уже мудрецами, просили же тебя по-хорошему, заткнись, не доводи. А я так смекаю, надо бы всю жратву снести в столовую, каждая палата выделяет троих, они и будут считать-делить и друг за другом следить, чтобы никто не мухлевал. А как узнать, правда ли это, когда скажут, что нас, мол, в этой палате столько-то. А мы честных подберем. А на это мудрец опять же сказал. Нет уж, позволь, я скажу: Многоуважаемый, не знаю, сколько здесь честных, но все хотят жрать.

И в ту же минуту, словно дождавшись, когда прозвучит наконец кодовое слово, ударная, под занавес, реплика и прочий сезам, откройся, раздался наконец голос в громкоговорителе: Внимание, внимание, проходящим карантин разрешается выйти и забрать доставленное продовольствие, в случае приближения к воротам будет дано устное предупреждение, в случае неповиновения — открыт огонь. Слепцы медленно двинулись в путь, причем наиболее самонадеянные избрали тот, который, по их расчетам, должен был прямиком привести к выходу, а другие, не столь уверенные в своих новообретенных способностях ориентироваться, пошли вдоль стеночки, что уменьшало риск забрести не туда, ибо стоит лишь дойти до угла, а потом свернуть под прямым углом, и вот она, дверь. Громкоговоритель повторил призыв требовательно и нетерпеливо. И эта настойчивость, показавшаяся бы странноватой даже тем, кому нечего было опасаться, испугала слепых. Один заявил: Не пойду никуда, выманят наружу да и кокнут всех. И я не пойду, подхватил другой. И я, поддержал третий. И они замерли в нерешительности, и страх передался всем. Снова загремел голос: Если через три минуты не выйдете, унесем коробки. Угроза не то чтобы одолела страх, но оттеснила его в какие-то дальние логовища сознания, где он притаился загнанным зверем, чтобы улучить момент и напасть. Слепцы боязливо, стараясь спрятаться друг за друга, вышли на площадку. Они не могли видеть, что коробки стоят вовсе не там, где они рассчитывали их найти, то есть у нижней ступени крыльца, и не могли знать, что солдаты, боясь заразиться, отказались донести их даже до того места, где начиналась веревка, а сложили примерно там, где жена доктора вчера подобрала лопату. Шевелись, шевелись, прикрикнул сержант. Слепцы, неуклюже тычась друг в друга, попытались было выстроиться цепочкой, чтобы двигаться не вразброд, но сержант не дал: Там коробок нет, отпустили веревку, отпустили, я сказал, и пошли правей, да не туда, направо же, от вас направо, олухи, неужто без глаз не знаете, где у вас правая рука, где левая. Приказ прозвучал своевременно, ибо те из слепцов, кто отличался наиболее косным умом, поняли слова сержанта буквально, раз направо, то, значит, направо от говорящего, и потому могли, отойдя от веревки, удалиться в поисках коробок бог знает куда. Уморительное зрелище являли они собой, и в иных обстоятельствах самый неулыбчивый наблюдатель обхохотался бы до колик, животики, как говорится, надорвал при виде того, как одни слепцы ползают на карачках, почти бороздя носом землю и напоминая опять же свиней, причем каждый выставленной вперед рукой водит по воздуху, а другие, опасаясь, должно быть, затеряться в открытом, не ограниченном потолком простран-

стве, отчаянно, мертвой хваткой цепляются за веревку, навостряют уши, ожидая, когда первое восклицание возвестит, что коробки обнаружены. Но солдатам хотелось лишь прицелиться и перебить хладнокровно и методично это сборище убогих уродов, что колченогими крабами, припадая на оторванную переднюю клешню, ковыляли мимо. Они слышали, как сегодня на построении командир полка уверял, что вопрос решить можно только физической ликвидацией их всех, всех до единого и без исключения, и тех, кто уже, и тех, кто еще не, и действовать следует, отринув ложно понятую гуманность, но уподобясь хирургу, отсекающему пораженную гангреной часть тела ради выживания целого: Бешенство дохлой собаки, привел он доходчивый пример, исцелено самой природой. Кое-кто из солдат, менее других восприимчивый к красотам образной речи, не сразу уловил связь между бешеной собакой и слепыми, однако у командира полка, если выражаться в его же стиле, каждое слово на вес, ну, не золота, так свинца, ибо никто не взберется так высоко по лестнице чинов, не доказав, что все и всегда правильно думал, говорил и делал. Передний слепец наткнулся наконец на коробки, обхватил их и закричал: Здесь они, здесь, и если когда-нибудь суждено этому человеку вновь обрести зрение, то и об этой ошеломительной новости не сумеет он возвестить с бóльшим ликованием. В считанные мгновения вокруг ящиков сгрудились тела, началась свалка, форменная куча мала, перепутались руки и ноги, так что непонятно было, где чьи, и вышел спор о приоритетах: Я понесу. Нет я. Предпочетших путь вдоль веревки обуял теперь страх иного рода, они боялись, что будут в воздаяние своей лености или трусости исключены из процесса дележа: Ах, не хотели на карачках, задницей кверху ползать, побоялись пулю схлопотать, так вот и поголодайте теперь, и вспомним, как сказал мудрец, что жизнь без риска — баланды миска. Побуждаемый этим решающим соображением, один из них выпустил веревку и, водя руками по воздуху, направился туда, где происходила вся эта кутерьма: Я в сторонке стоять не буду, но голоса вдруг стихли, сменились лишь придушенными нечленораздельными восклицаниями, бесформенным смешением звуков, доносившихся отовсюду и ниоткуда. Слепой в нерешительности остановился, хотел было вернуться к надежной веревке, но совсем потерял способность ориентироваться, ибо на белом небосводе звезд не различить, и слышал теперь только сержанта, приказывавшего оттащить коробки к ступеням крыльца, но слова эти имели смысл только для тех, кто дополз до них, а ему, чтобы добраться куда нужно, нужно сперва понять, где он. А слепых, цеплявшихся за веревку, уже не было, им обратный путь оказался легок, и теперь они на крыльце поджидали возвращения остальных. Отцепившийся же не решался сдвинуться с места. В тоске он завопил протяжно: Помогите, того не зная, что солдаты взяли его на прицел и ждут, когда он пересечет невидимую черту, за которой жизнь переходит в смерть. Ну что, пень-слепень, застрял, здесь решил обосноваться, спросил сержант, несколько, впрочем, нервозно, ибо он не разделял мнения своего командира: Кто поручится, что завтра эта беда не постучит ко мне в дверь, что же касается солдат, то им, дело известное, скажут убить — убьют, скажут умереть — умрут. Без команды не стрелять, крикнул сержант. Тут слепец понял, какой опасности подвергается. Рухнул на колени, взмолился: Да помогите же, ради бога,

скажите, в какую сторону идти. Сюда, слепыш, сюда, и попадешь, куда надо, с фальшивым дружелюбием отозвался один из солдат, и слепец поднялся, сделал три шага, но вновь застыл, потому что интонация отчего-то насторожила его, и понял, что, если откликнется на зов, не он попадет, а в него пуля попадет и заменит ему одну слепоту на другую. Но самоуправное решение солдата, известного своим злобным нравом, сержант не замедлил отменить зычными: Стой, Кругом, и вслед за этим энергично призвал к порядку строптивца, принадлежавшего, по всему судя, к той категории людей, которым оружие в руки давать нельзя ни в коем случае. Воодушевленные благодетельным вмешательством сержанта слепцы, к этому времени уже достигшие нижних ступеней, не только сами поднялись на крыльцо, но и подняли на нем оглушительный гомон, который и послужил чем-то вроде магнитного полюса для утерявшего правый путь. Уверовав в себя, он двинулся по прямой. Давайте, давайте, повторял он, пока слепцы рукоплескали ему как бегуну, в упорной борьбе выигравшему изнурительный марафон, и принимали его в свои объятия. А как же иначе, ведь именно что в беде, как истинной, так и измышленной, познаются друзья.

Братание, впрочем, было недолгим. Воспользовавшись суматохой, иные из слепцов ускользнули, прихватив сколько-то, а вернее, сколько смогли унести, коробок, что явно не вяжется с недавно высказанным и очень благим намерением стать стеной на пути неправедного распределения продуктов. Их порядочные сотоварищи, которых, кстати, неизменно оказывается больше, нежели принято считать, возвысили возмущенные голоса в том смысле, что так жить нельзя: Если уж друг другу мы не можем доверять, то куда ж это мы катимся и где остановимся, риторически вопрошали одни, тогда как совершенно справедливо: Ох, напросятся они, ох, допрыгаются, с негодованием уверяли другие, и не то чтобы те в самом деле просили или прыгали, всем понятно, что значит это выражение, чью вульгарность может извинить лишь исключительная его уместность. Уже собравшись в вестибюле, слепцы пришли к соглашению, ибо это был наилучший способ выйти из создавшейся ситуации, о том, что оставшиеся коробки следует разделить поровну между обеими палатами, причем кому какая достанется, решать будет жребий, а также и о том, чтобы создать комиссию, опять же смешанно-двухпалатную, призванную расследовать хищение, а проще говоря, кражу, части коробок и принять энергичные меры по их розыску и возвращению. Какое-то время ушло на дебаты по ставшему уже привычным вопросу очередности действий, а именно: следует ли сперва поесть, а расследовать — потом, или же наоборот, и возобладало мнение, что начать надо с того, чтобы именно сначала заморить червячка, осатаневшего от многочасового вынужденного поста, а уж потом приниматься за все остальное. Да не забудьте, что вам еще надо похоронить соседей, напомнил кто-то из первой палаты. Мы их еще не убили, а ты уж хочешь, чтоб похоронили, ответил какой-то остроумец из второй, и все засмеялись. Вскоре, впрочем, стало не до смеха, ибо выяснилось, что похитителей в палатах нет. У обеих дверей в ожидании кормежки давно уже стояли слепцы, которые якобы слышали, как по коридору торопливо прошло несколько, по шагам судя, человек, но в палаты никто не заходил и уж подавно продукты не приносил, в этом они могут по-

клясться. Кого-то осенило, что самый верный способ опознать негодяев — это каждому занять свою койку, а какие окажутся пустыми, те и принадлежат, ясное дело, ворам, после чего останется только дождаться, когда они, облизываясь, вернутся из своего укрывища, и тогда уж наброситься на них и воздать по заслугам, чтобы впредь неповадно было покушаться на священный принцип общественной собственности. Принять к исполнению этот план, удачно придуманный и проникнутый истинно правовым духом, мешал один его существенный недостаток, в том состоящий, что для реализации его пришлось бы отложить, да еще неизвестно, как надолго, вожделенный и уже простывший к этому времени завтрак. Надо сначала покушать, предложил кто-то, и большинство согласилось, сказав, что да, лучше будет сначала покушать. К великому сожалению, кушать-то после подлого хищения было почти что и нечего. И подумать только, что, пока сейчас, затаясь где-то в глухих и ветшающих закоулках больницы, кучка бессовестных негодяев сидит и жрет по две, по три порции завтрака, ставшего, кстати, гораздо вкуснее и разнообразней и состоящего теперь из кофе с молоком, уже, разумеется, холодным, галет и хлеба с маргарином, честным, достойным людям ничего не остается, да нет, вы не дослушали, кое-что все же есть, ничего, мы хотим сказать, не остается, как довольствоваться малым, совсем то есть малым, ибо в тарелки положено раза в два-три меньше, чем положено. Снаружи послышался и услышан был насельниками правого флигеля, меланхолично занятыми жалкой своей трапезой, глас громкоговорителя, призвавший обитателей левого явиться за получением причитающейся им еды. И тут, безусловно, под воздействием нездоровой атмосферы, установившейся после совершения мерзкой кражи, одного из слепцов, что называется, осенило: А давайте их подкараулим в вестибюле, они перепугаются, увидав нас, глядишь, и уронят коробку-другую, однако доктор сказал, что это нельзя, нехорошо, несправедливо наказывать тех, кто ни в чем не виноват. По окончании трапезы жена доктора с помощью девушки в темных очках вынесла в сад картонные коробки, пустые емкости из-под молока и кофе, бумажные тарелки, стаканы, короче, все, что нельзя было употребить в пищу. Надо сжечь мусор, сказала она, мух развелось просто гибель.

Рассевшись каждый на свою койку, слепые принялись ждать, когда вернутся заблудшие овцы. Козлы они, и больше ничего, произнес грубым голосом некто, не догадывавшийся, что отвечает на пасторальную реминисценцию того, кто не виноват, что не умеет излагать свои мысли иначе. Злоумышленники меж тем не возвращались, не без оснований предполагая, ибо наверняка нашелся среди них такой, кто остротой ума не уступал слепцу, высказавшему идею о необходимости физического воздействия, что ждет их кара. Минуты шли, и вот один за другим слепые стали укладываться, а иные уже и заснули. Что же это такое, господа, всех занятий у вас — пожрать да поспать. А вообще-то говоря, это совсем не так уж плохо. С тех пор как еды, без которой долго не протянешь, а если и протянешь, то ноги, стало вдоволь, чем тут вам не отель. Да уж, страшно представить, какая крестная мука ожидала бы слепца там, за оградой, в городе, сущая голгофа. Бродит, то и дело падая, по улицам, все от него бегут, семейство в ужасе, боится приблизиться, материнская любовь, сыновняя ли — все чушь собачья, бредни и вымыс-

лы, в лучшем случае поступили бы родственнички так же, как власти, посадили бы под замок да ставили бы в виде особой милости миску к дверям. Оценив ситуацию хладнокровно и трезво, отбросив предубеждение и обиды, неизменно застилающие умственный взор, признаем поневоле, что власти зрели в корень, когда принимали решение собрать слепых со слепыми, чтоб каждый был с подобным себе, ибо таков непреложный закон добрососедства, ну, вот как прокаженных собирают всех вместе, в одном то есть месте, и прав, прав доктор, самую суть ухватил он, сказав, что нам надо сорганизоваться, ведь и в самом деле все дело — в организации, сперва, конечно, еда, а потом — организация, без того и без другого жизнь немыслима, надо выбрать скольких-то людей порядочных и умеющих наводить порядок, и вот пусть они руководят, выработаем, придя к консенсусу, простые, простейшие правила общежития, вроде того, кто когда будет подметать, прибирать, мыть и стирать, нам ведь, грех жаловаться, даже мыло выдают и всякие там очищающие средства, постели надо стелить, в смысле койки заправлять, ведь самое главное — не опуститься, не потерять самоуважения, избегать столкновений с военными, памятуя, что они, охраняя нас, исполняют свой долг, убитых и так предостаточно, больше нам не надо, еще бы следовало узнать, кто помнит какие-нибудь занятные истории, чтоб рассказывать по вечерам, истории, всякие забавные случаи, анекдоты, не важно, представьте, какая была бы удача, если бы кто-нибудь из нас знал Библию наизусть, мы бы тогда освежили в памяти все, начиная с сотворения мира, очень важно слушать друг друга, как жаль, что нету радио, музыка ведь так отвлекает, и новости бы слушали, были бы в курсе происходящего, знали бы, например, не изобретено ли уже лекарство от нашей болезни, то-то радости было бы, но не будет.

Затем случилось то, что и должно было случиться. На улице затрещали выстрелы. Нас убьют, крикнул кто-то. Спокойно, сказал доктор, будем рассуждать логически, захотели бы убить, пришли бы сюда. И он оказался прав, приказ стрелять, притом в воздух, отдал сержант, а не то что какой-то внезапно ослепший солдат нажал на спусковой крючок, и надо ведь понимать, что не было другого способа удержать, как-то построить и привести к повиновению слепцов, которые вываливались из дверей четырех автобусов в полном соответствии с тем, как министерство здравоохранения уведомило министерство обороны: Готовьтесь принять четыре больших автобуса. Это сколько же народу получится. Да человек двести. Ну, и куда, интересно бы знать, их рассовывать, в правом флигеле три палаты, по нашим сведениям, на сто двадцать коек, а сейчас там уже шестьдесят-семьдесят больных, минус те десять, которых нам пришлось ликвидировать. Значит, надо будет распределять по всему зданию. Но тогда пациенты из обсервационных палат войдут в прямой контакт со слепыми. Но ведь они все равно рано или поздно ослепнут, и по тому судя, как идут дела, мы все заражены, ручаюсь, что нет никого, кто не попал бы в поле зрения слепого. Но если слепой не видит, как, я вас спрашиваю, как может он передать свою слепоту взглядом. Генерал, болезнь эта, видимо, проста и логична, как никакая другая, слепой глаз посылает слепоту зрячему, все проще простого. Вот полковник считает, что решил бы проблему, истребляя слепых по мере их появления. Если вместо слепых будут мертвые, это не слишком силь-

но изменит картину. Не всякий, кто слеп, мертв. Да, но кто мертв, тот и слеп. Ну, хорошо, стало быть, вы сказали, двести. Двести. А с водителями автобусов как быть. Изолировать вместе со всеми. В этот же день, только попозже, к вечеру ближе, министерство обороны сообщило министерству здравоохранения: Слыхали новость, тот полковник, о котором я вам говорил, ослеп. Интересно, что он теперь скажет. Ничего не скажет, он застрелился. Что ж, по крайней мере последовательно. Армия всегда готова подать пример.

Ворота были уже распахнуты во всю ширь. Сержант по строевой привычке скомандовал становиться в колонну по пять, но ничего из этого не вышло, ибо слепцов, не способных считать, а значит, и разбиться на пятерки, получалось в каждой шеренге то больше, то меньше, и в конце концов всей своей беспорядочной оравой сгрудились они у ворот в глубоко штатской, но, впрочем, органически присущей им манере, даже не подумав пропустить вперед женщин и детей, как оно истари ведется при бедствиях на сухопутье и особенно при кораблекрушениях. Да, еще скажем, чтобы не забыть, что стреляли не только в воздух, один из водителей отказался идти со слепцами, отговариваясь своим прекрасным зрением, и в результате уже через три секунды собственным примером подтвердил мнение министерства здравоохранения насчет того, что кто мертв, тот и слеп. Сержант отдавал уже привычные приказы: Шагом марш, впереди будет крыльцо о шести ступенях, как дойдете, сбавьте рыси, не хочу даже думать, что будет, если кто-нибудь споткнется, и лишь позабыл напомнить о веревке, но это и понятно, если все будут за нее держаться, шествие вряд ли когда-нибудь кончится. Внимание, провозгласил сержант уже немного поспокойней, потому что толпа втянулась за ворота, направо и налево по три палаты, в каждой по сорок коек, просьба к семейным, если хотите быть вместе, держаться покучнее, при входе отсчитывайтесь, попросите ранее прибывших помочь, ничего, привыкнете, освоитесь, главное — сохраняйте спокойствие, продовольствие вам доставят попозже, все будет хорошо.

Еще бы не хорошо, если такая неимоверная толпа слепцов влечется покорно, стадом баранов на бойню, разве что не блея, да, конечно, в тесноте и скученности, не без того, но разве не так жили они всю жизнь, трясь шкурами друг о друга, смешивая дыхание, обдавая друг друга разными ароматами. Одни плачут, другие вопят от страха или гнева, третьи ругаются, а этот вот выкрикнул угрозу, ужасную и бессмысленную: Ну, попадетесь мне когда-нибудь, — относящуюся, надо полагать, к солдатам, — своими руками глаза вырву. Как и следовало ожидать, когда передние, дойдя до крыльца, должны были остановиться, чтобы пощупать ногой высоту и глубину ступеней, задние поднажали, и двое-трое свалились, коленки расшибли, но, к счастью, только тем и обошлось, так что напутствие сержанта впору счесть благословением. Часть уже проникла в вестибюль, который просто не рассчитан на двести душ, тем более слепых и без поводыря, и к этому обстоятельству, создающему трудности и само по себе, следует прибавить особенности здания, построенного в старину, когда мало заботились о функциональности, и хорошо сержанту, знающему только свои обязанности, говорить: Направо и налево по три палаты, посмотрел бы он, как выглядит это на самом де-

ле, если дверные проемы узкие, как бутылочное горлышко, переходы-коридоры безумием своим подстать прежним обитателям этого дома, начинаются невесть где, ведут незнамо куда, и, короче, сами не понимают, какого рожна им надо. Маневр передовой группы слепых, словно по наитию, разделившейся надвое и в поисках входной двери растекающейся в обе стороны вдоль стен, можно с уверенностью признать удачным при том условии, что на пути не встретится мебель. Рано или поздно, проявив терпение и сметку, новые жильцы в конце концов обвыкнут и устроятся, но произойдет это не раньше, чем определится победитель в битве, завязавшейся между авангардом левой колонны и зараженными, размещенными во флигеле именно этой стороны. Так что подождем. С самого начала, впрочем, было определено и подтверждено соответствующим циркуляром министерства здравоохранения, что левое крыло отводится под обсервационные палаты, и если можно с весьма высокой степенью вероятности предполагать, что находящихся там в конце концов постигнет слепота, то все же, повинуясь формальной логике, нельзя, пока этого не случилось, утверждать и уж тем более ручаться, что случится это неминуемо. И представьте, что вот спокойно сидит человек у себя дома, в уверенности, что при всем обилии примеров обратного в его-то случае все обойдется, и вдруг видит, как с воем накатывает на него лавина тех, кого он и боится пуще всего. В первое мгновение зараженные решили, что это прибыли такие же, как они, только в большем числе, но ошибка разъяснилась очень скоро. Сюда нельзя, это наш флигель, он не для слепых, вам в другое, правое крыло надо, прокричали дежурившие у дверей. Шедшие в первых рядах попытались было развернуться и отправиться на поиски другого входа, благо им было решительно все равно, что право, что лево, но густая толпа тех, кто продолжал втекать внутрь со двора, неумолимо теснила их вперед. Зрячие обороняли двери руками и ногами, слепцы отвечали тем же, поскольку, хоть и не видели своих противников, очень даже чувствовали, откуда сыплются на них удары. Двести человек в вестибюле поместиться не могут, даже и думать нечего, и потому уже очень скоро центральный вход, хоть и довольно широкий, оказался закупорен намертво, ни вперед, ни назад, ни туда, ни сюда, а зажатые и стиснутые со всех сторон люди пытались, чтоб не задавили, отбиваться от соседей локтями и коленями, слышались крики, плакали слепые дети, и слепые женщины падали в обморок, хоть падать-то было и некуда, а снаружи, с крыльца, понукаемые злобными криками солдат, не понимавших, почему эти придурки все еще во дворе, все сильней напирали те, кто не мог войти. Самый ужас начался, когда отхлынула назад мощная волна людей, которые перед неминуемой угрозой того, что их просто раздавят, начали яростно выдираться из этой свалки, и давайте поставим себя на место солдат, увидевших, как вдруг выдавливается из дверей наружу плотное месиво тех, кто только что зашел внутрь, и сразу же предположивших худшее, а именно что слепцы решили прорваться назад, и вполне могла бы начаться самая настоящая бойня. К счастью, сержант в очередной раз оказавшийся на высоте положения, сам выстрелил из пистолета в воздух, чтобы привлечь внимание, и закричал в громкоговоритель: Соблюдайте спокойствие, эй, на ступеньках, сдайте назад, задние, не напирайте, полегче, полегче, помогайте друг другу. Пожалуй,

он хотел слишком многого, и свалка внутри продолжалась до тех пор, пока вестибюль все же не разгрузился немного, благодаря тому, что многочисленная толпа слепых устремилась в двери правого флигеля, а там уж их встретили старожилы, которые принялись направлять новичков в третью, до сей поры пустовавшую, палату и на свободные койки в первой и во второй. Какое-то время казалось, что военное счастье перешло на зрячих и не столько потому даже, что те были сильны, а главное — зрячи, а просто слепцы, обнаружив, что противоположный вход свободен, вышли из соприкосновения с противником, как сказал бы сержант на занятиях по основам тактики. Впрочем, недолги были радости защитников. Из правого флигеля стали кричать, что мест больше нет и все палаты переполнены, и в это же время снаружи поднаперли снова, да с такой силой, что выбили пробку, которая закупоривала главный вход, и слепцы, во множестве заполнявшие двор, прорвались в вестибюль, оказавшись наконец в стенах и под кровом учреждения, где им, как бы там ни грозились солдаты, предстояло жить. В результате этих двух практически одновременных перемещений снова вскипела схватка у дверей в левый флигель, снова посыпались удары, раздались бранные клики, и, как будто этого мало, несколько слепцов, с боем пробившихся к выходу во внутренний двор, шарахнулись назад, крича, что там мертвецы лежат. Сами понимаете, какая началась паника. Итак, они устремились обратно, вопя: Там мертвецы лежат, там мертвецы лежат, беспрестанно и так отчаянно, словно им самим в ближайшие же минуты предстояло лечь бездыханными с ними рядом, и в тот же миг закрутился в вестибюле яростный человеческий смерч, а потом вся эта плотно утрамбованная масса неожиданно, словно по какому-то внезапному наитию, изменила направление, ринулась в левое крыло, сметая все на своем пути, и прорвала оборону зрячих, из которых одни, кстати сказать, перешли уже в иной разряд, а другие в ужасе бросились врассыпную, все еще пытаясь убежать от злой своей участи. Напрасно. Один за другим слепли они, одному за другим в глаза вливалась молочно-белая мерзость, заполняя сиянием своим коридоры, палаты и весь мир. Снаружи, равно как и в вестибюле и во дворе, бродили в растерянности избитые, истоптанные слепцы, и большую их часть составляли старики, женщины и дети, существа, которые уже или еще не способны защищаться, и просто чудо, что не прибавилось многих других мертвецов к тем, что ожидали погребения во внутреннем дворе. На земле, помимо разнообразной обувки, утерявшей ноги своих хозяев, разбросаны были чемоданы, баулы, корзинки, последнее достояние каждого, ныне уже безвозвратно утраченное, ибо поди-ка скажи-ка нашедшему, что, мол, это не твое.

С заднего двора вернулся в вестибюль старик с черной повязкой на глазу. Вещей у него при себе то ли вообще не было, то ли они потерялись в толкотне и давке. Это он первым обнаружил мертвецов, однако крик поднимать не стал. Приткнулся рядом с ними, возле них, в ожидании, когда восторжествуют мир и спокойствие. Продлилось его ожидание не менее часа. Теперь пришел его черед искать себе прибежище. Медленно, выставив вперед руки, следует он своим путем. Вот нащупал дверь в первую палату правого крыла, услышал доносящиеся оттуда голоса и спросил: Коечки свободной у вас не найдется ли.

В появлении такого множества слепцов было по крайней мере одно преимущество. Нет, даже два, и первое относилось, так сказать, к области психологии, ибо, согласитесь, есть разница между тем, чтобы ежеминутно ждать появления новых жильцов, и тем, чтобы, увидев наконец, что помещение заполнилось до отказа, обрести возможность установить с соседями отношения прочные, длительные, не прерываемые, не в пример тому, как случалось до сих пор, прибытиями новых партий, заставлявшими нас постоянно восстанавливать каналы коммуникаций. Второе же преимущество лежит в сфере практической, оно прямо, просто и существенно, потому что власти, как военные, так и гражданские, поняли, что одно дело кормить-поить два-три десятка человек, более или менее покладистых, более или менее склонных уже в силу своей малочисленности смиренно, кротко и покорно терпеть регулярные задержки или сбои в доставке продуктов, и совсем-совсем другое — внезапно взвалить на себя бремя многообразной ответственности по прокорму двухсот сорока особей разного пола, вида, рода, нрава, происхождения, фасона и покроя. Двухсот сорока, прошу заметить, но это ведь только так говорится, что двухсот сорока, ибо еще человек двадцать слепцов остались без места и спят на полу. Во всяком случае, накормить тридцать ртов тем, что и десяти бы в обрез хватило, и распределить между двумястами сорока едоками продовольствие, предназначенное для двухсот сорока едоков, — совсем не одно и то же. Разница, казалось бы, чисто количественная. Ан нет, возросшее ли чувство ответственности или — и не надо, ох, не надо сбрасывать это со счетов — страх перед возможными беспорядками предопределил перемену поведения и заставил власти доставлять еду вовремя и в должном количестве. Само собой разумеется, после во всех отношениях плачевных и прискорбных событий, свидетелями коих нам пришлось стать, обустройство стольких слепцов не пройдет гладко, будут и сучки, и задоринки, ибо достаточно вспомнить, что среди них много бывших насельников левого крыла, прежде зрячих, а ныне нет, разлученных семей, матерей, потерявших своих детей, достаточно послушать, как стонут и кряхтят пострадавшие в свалке, да не один раз пострадавшие, а дважды или трижды, достаточно посмотреть, как ищут они милые сердцу вещички, ищут и не находят, и, короче говоря, тумбой каменной надо быть, чтобы позабыть, словно ничего и не было, все эти совсем недавние горести и тягости. При всем при том известие, что кушать, так сказать, подано, всем пролилось бальзамом на душу. И хотя смешно было бы отрицать, что получение и распределение такого огромного количества провизии при отсутствии даже намека на организованность, необходимую для исполнения этой задачи, равно как и власти, способной установить столь нужную дисциплину, приводило к новым разногласиям и сварам, признаем все же, что, когда во всем здании бывшей психушки слышится лишь, как жуют двести шестьдесят ртов, атмосфера заметно меняется к лучшему. Кто потом убирать за ними будет, это вопрос другой, пока остающийся без ответа, лишь ближе к вечеру громкоговоритель снова начнет повторять правила поведения, которые следует соблюдать для всеобщего блага, вот тогда и увидим, встретят ли они, предписания эти, хоть малую крупицу сочувствия у новеньких. Уже и то хорошо, что вторая палата правого флигеля соизволила наконец погре-

сти своих покойников, так что от этого смрада мы по крайней мере избавлены, а к запаху живых, хоть и он совсем нехорош, привыкнуть все-таки легче.

Что же касается первой палаты, где собрались самые первые обитатели больницы, которые хотя бы уж потому, что дольше других находятся в больнице, лучше освоились со статусом слепых, то и четверти часа после окончания трапезы не прошло, а на полу уже ни соринки, ни крошки, ни использованной одноразовой тарелки или опорожненной емкости. Все собрано и прибрано, мелкие предметы помещены внутрь больших, самые грязные спрятаны в относительно чистые в полном соответствии с правилами рационализированной гигиены, столь рьяно заботящейся, чтобы отходы собирались с максимальной эффективностью и при минимальных затратах труда. Надо сказать, что склад ума и образ мыслей, ну, короче, ментальность, предписывающая вести себя в обществе именно так, а не иначе, на пустом месте не вырастает, из ничего не рождается. В рассматриваемом нами случае решающую роль, судя по всему, играет просветительская деятельность обосновавшейся на самой последней койке слепой, знаете, той, что замужем за глазным врачом, так вот у нее, наверно, уже мозоли на языке, столь часто и неустанно твердит она: Если не можем жить совсем как люди, постараемся жить не совсем как животные, и столько раз повторяла она эти слова, что при всей их простоте и обыденности они сделались в первой палате чем-то вроде максимы, заповеди, доктрины или даже кредо. Очень может быть, что побочным действием такого вот состояния духа, настроенного на понимание разных житейских нужд и надобностей, стал благожелательный и радушный прием, оказанный старику с черной повязкой на глазу, когда тот, ну, не глаз же, разумеется, тем более, что его давно нет, а этот самый старик, появился в дверях и осведомился: Коечки свободной у вас не найдется ли. По счастливому и, несомненно, многообещающему стечению обстоятельств коечка нашлась, одна-единственная и неведомо как сумевшая пережить, с позволения сказать, нашествие, коечка, которую прежде занимал угонщик автомобилей, претерпевший на ней несказанные муки, и, быть может, это аура страдания, окутывающая ее, отгоняла претендентов. Так распоряжается судьба, таинственно сплетая свои замысловато вычерченные арабески, и ведь это уже не первое, далеко не первое совпадение, достаточно вспомнить лишь, что в этой палате сошлись все, кто сидел и ждал приема у окулиста в тот день и час, когда появился там первый слепец, до сих пор пребывающий в этом статусе. Жена доктора, по обыкновению, тихонько, чтобы не выдать секрет своего пребывания здесь, прошептала мужу на ухо: Наверно, это тоже твой пациент, пожилой такой, лысый, седенький, на глазу у него черная повязка, я помню, ты упоминал о нем. На каком глазу. На левом. Похоже, он и есть. Доктор вышел в проход и сказал, несколько повысив голос: Мне бы хотелось дотронуться до нашего нового сотоварища, только что присоединившегося к нам, прошу вас двигаться в этом направлении, а я иду к вам навстречу. На полдороге они сошлись, и пальцы их соприкоснулись, как усики-антенны у муравьев, которые опознают ими своих, впрочем, в данном случае это было не совсем так, потому что доктор, извинившись, ощупал лицо старика и обнаружил черную повязку: Сомнений нет, вас-то нам и не хвата-

ло, теперь все в сборе, а пациент с черной повязкой на глазу спросил: Что это значит, кто вы такой. Глазной врач, верней, был глазным врачом, смотрел вас, не помните, мы еще хотели назначить дату операции, катаракту надо было удалить. Как же вы меня узнали. По голосу, голос — это зрение незрячих. Да-да, теперь и я вас узнал, вот ведь как все обернулось, доктор, теперь вам уж не надо будет меня оперировать. Если существует лекарство от этой болезни, мы оба нуждаемся в нем. А ведь я помню, доктор, как вы мне сказали, что после операции не узна́ю мир вокруг себя, и вот теперь только стало понятно, до какой же степени вы оказались правы. Когда же это с вами случилось? Вчера вечером. И сегодня вас уже привезли сюда. Там все до того перепуганы, что ослепших скоро начнут отстреливать. Там только еще начнут, а у нас уже десять убитых, отозвался мужской голос. Я обнаружил их, просто сказал старик с черной повязкой. Они были из другой палаты, мы своих сразу похоронили, произнес тот же голос, словно завершая доклад. Подошла девушка в темных очках: Помните меня, я была в темных очках. Как же не помнить, никакая катаракта не помешает разглядеть вашу красоту, и девушка улыбнулась: Спасибо, и вернулась на свое место. И уже оттуда сказала: И мальчик тоже здесь. Я к маме хочу, сказал детский голос, будто надтреснутый от непролитых и бесполезных слез. А я тот, кто самым первым ослеп, сказал первый слепец, и жена моя здесь. А я регистраторша, сказала регистраторша. Ну, кажется, и мне пора представиться, сказала жена доктора и представилась. Тогда старик, словно бы в благодарность за радушие, объявил: У меня радио есть. Радио, вскричала, захлопав в ладоши, девушка в темных очках, музыку послушаем, какая прелесть. Да, только это транзистор, на батарейках, а они скоро сядут, напомнил старик. Только не говорите, что мы здесь навечно, попросил первый слепец. Да нет, не навечно, навечно — это слишком долгий срок. Будем новости слушать, сказал доктор. И музыку, ну хоть немножко, настаивала девушка в темных очках. Музыка каждому нравится разная, а вот что там делается в мире, интересно всем, и потому побережем батарейки. Присоединяюсь, сказал старик с черной повязкой. Из бокового кармана он извлек приемничек и включил его. Стал шарить по частотам и диапазонам, но его еще не очень уверенная рука сбила настройку, так что поначалу не слышалось ничего, кроме треска статических разрядов, обрывков музыки и бессвязных слов, но вот рука обрела твердость, нащупала станцию, и музыка сделалась узнаваемой. Оставьте, пусть поиграет капельку, взмолилась девушка в темных очках, уже и слова можно разобрать. Но это не новости, сказала жена доктора и потом, словно ее вдруг осенило, спросила: Который час, хоть и знала, что ответа ни от кого не получит. Стрелка еще поползала по шкале, извлекая из ящичка звуки, потом замерла, и зазвучала песня, ничего в ней не было особенного, однако слепцы начали медленно, не толкаясь придвигаться поближе, пока не ощутили присутствие стоявших впереди, и остановились слушая, устремив широко раскрытые глаза туда, откуда исходил голос певца, причем некоторые плакали, как, наверно, умеют плакать только слепые, когда слезы просто льются как бы сами собой и, что называется, ручьем. Песня отзвучала, и голос диктора произнес: Внимание, передаем сигналы точного времени, начало третьего сигнала означает четыре часа. Одна из слепых осведомилась со смехом: Утра

или дня, и смех этот словно причинял ей боль. Жена доктора незаметно переставила стрелки, покрутила головку завода, скорей всего было четыре пополудни, хотя на самом деле часам это совершенно все равно, они идут от одного до двенадцати, а все прочее люди выдумали. Что это за звук, спросила девушка в темных очках. Да это я, когда услышала, сколько времени, часики свои завела, знаете, просто машинально, каждый из нас ведь совершает эти неосознанные действия, нашлась жена доктора. И подумала, что зря она так рисковала, надо было просто посмотреть на запястье кого-нибудь из тех, кто прибыл сегодня, наверняка у кого-то часы еще идут. Часы обнаружились на руке у старика с черной повязкой, и время они показывали верное. Тогда доктор попросил: Рассказали бы, что там, на воле. Старик с черной повязкой ответил так: Охотно, только позвольте, я присяду, ноги не держат. Слепцы, по троечетверо разместившись, уж как пришлось, в тесноте, как говорится, да и так далее, на соседних койках, смолкли, и старик начал рассказывать обо всем, что видел, пока еще видел, обо всем, что слышал за несколько дней, протекших от начала эпидемии до того момента, когда он ослеп.

В первые сутки, начал он, если не врут распространившиеся слухи, было несколько сот совершенно одинаковых случаев, когда вдруг, в одно мгновение, при полном и обескураживающем отсутствии повреждений и какой бы то ни было симптоматики, не сопровождаясь болями ни до, ни после, закрывала все поле зрения сверкающая белизна. На вторые сутки количество заболевших пошло на убыль и исчислялось уже не сотнями, а десятками, так что правительство разлетелось с заявлением, что ситуация очень скоро будет взята под контроль. С этого места начиная, изустное повествование старика с черной повязкой будет, за исключением нескольких комментариев, которые опустить невозможно, передаваться не дословно, но в несколько реструктурированном виде, призванном повысить его информативную компоненту путем более корректного и адекватного словоупотребления. Именно это, то есть необходимость отказаться от просторечных и обыденных выражений, использованных рассказчиком, чья роль, таким образом, постепенно сводится к изложению ряда дополнительных подробностей, отчего вовсе не становится менее важной, поскольку иначе мы бы просто не узнали, что же творится за стенами больницы, да, так вот, дополнительных подробностей относительно тех чрезвычайных происшествий, описание которых только выиграет от лексической строгости, от терминологической точности, и есть основной побудительный мотив для смены стиля. Итак, сделав это предуведомление, скажем, что правительство после предварительного обсуждения решительно отклонило версию того, что в стране якобы началась не имеющая прецедентов, не знающая аналогов эпидемия, вызываемая неким не поддающимся идентификации возбудителем и получающая ураганное развитие при полном отсутствии видимых признаков латентной фазы, или инкубационного периода. Напротив, происходящие события в полном соответствии с мнением передовой научной общественности, последовательно и мощно подпертой административно, следует трактовать исключительно и не иначе как прискорбное, но при этом случайное и временное совпадение целого ряда факторов неясного генезиса и этиологии, однако в их патогенной активности, как можно судить на основании обработки

имеющихся в нашем распоряжении данных, указывающих на приближение спада, прослеживается, как особо подчеркивалось в правительственном меморандуме, явная тенденция к ослаблению. Один телевизионный обозреватель весьма удачно и метко сравнил эту напасть, как ее там ни называй, с пущенной в небо стрелой, которая, достигнув высшей точки, на мгновение, как подвешенная, замирает в зените, после чего обязательно начинает описывать нисходящую кривую, и дай бог, продолжал он, этим упоминанием всуе возвращая зрителей к обыденности земных забот и к собственно эпидемии, чтобы сила земного тяготения постоянно увеличивалась до тех пор, пока вовсе не исчезнет мучающий нас кошмар. Примерно этот же набор слов постоянно повторялся во всех средствах массовой информации, непременно выражавших жалостливое пожелание, чтобы все, кто потерял зрение, в самом скором времени обрел его вновь, а в ожидании этого суливших несчастным поддержку и братскую солидарность всего общества как со стороны его официальных представителей, так и простых граждан. В далеком прошлом неизбывный оптимизм простонародья облекал подобные перспективы в такие, например, речения: Счастье с бессчастьем — вёдро с ненастьем или: Как веревочка ни вейся, а конец будет, как и на нашей улице праздник, являвшие собой квинтэссенцию житейской мудрости тех, кто успел за отпущенный ему земной срок привыкнуть к переменчивости фортуны и каверзам судьбы, а в стране слепых долженствовавшие, вероятно, звучать так: Вчера видели, нынче нет, завтра увидим, причем последнюю треть фразы произносить, вероятно, следовало бы с неназойливо-вопросительной интонацией, как если бы благоразумная осторожность в самый последний миг решила бы добавить к радужной концовке легчайший обертон сомнения.

Но, к величайшему сожалению, не замедлило обнаружиться, что и заклинания эти, и обещания правительства, и благоприятные прогнозы ученых — все звук пустой. Слепота распространялась неудержимо и неуклонно, но мы бы уподобили ее не грозной приливной волне, которая все затопляет и гонит перед собой, а скорей коварному просачиванию наружу неисчислимого множества проворных ручейков, медленно, исподволь пропитывающих землю, пока однажды вдруг вся она не окажется под водой. Перед лицом общенационального смятения, уже грозящего закусить, что называется, удила, власти стали собирать медиков, в первую очередь, конечно, офтальмологов и невропатологов, и хотя до созыва съезда за недостатком времени дело не дошло, но зато не было недостатка в разного рода симпозиумах, коллоквиумах, конференциях, всяческих круглых столах, которые проводились либо публично, либо за закрытыми дверями. Двойной эффект, вызванный, во-первых, полнейшим отсутствием результата от всех этих дебатов и научных дискуссий и, во-вторых, несколькими случаями внезапной слепоты, имевшими место прямо посреди заседания, когда докладчик вдруг кричал: Я ослеп, я ослеп, привел к тому, что эти мероприятия перестали интересовать средства массовой информации, разве что несколько изданий, весьма достойных и заслуживающих всяческих похвал, но живущих исключительно за счет разного рода сенсаций, чужих несчастий и триумфов, не пожелали упускать ни малейшей возможности преподнести с пылу с жару, с приличествующим случаю драматизмом известие, напри-

мер, о том, как прямо посреди доклада лишился зрения заведующий кафедрой глазных болезней профессор такой-то.

Убедившись, что морально-политическое состояние общества ухудшается с каждым днем, правительство было вынуждено уже во второй раз за шесть дней изменить свою стратегию. Прежде всего сочли возможным и необходимым пресечь распространение болезни путем изоляции слепых и зараженных в скольких-то закрытых помещениях, вот вроде нашей с вами психушки. Затем неуклонный рост заболеваемости побудил нескольких влиятельных членов кабинета, опасавшихся, что инициатива властей, дойдя до низовых исполнителей, будет извращена так, что вызовет политические осложнения, выступить со встречной идеей, суть которой состояла в том, что надзор за слепыми следует поручить их родственникам, а те должны будут держать их дома, не выпуская на улицу, чтобы, во-первых, не создавать помех и без того уж затрудненному уличному движению, а во-вторых, не оскорблять чувств временно зрячих, которые, не внемля более или менее успокоительным заверениям, свято верили, что белая болезнь передается при визуальном контакте, на манер сглаза. И в самом деле, стоит ли ожидать иной, более благостной, реакции от человека, который идет, погруженный в свои печальные, нейтральные, а то даже и радостные, если еще у кого таковые остались, думы, и вдруг видит, как искажается лицо встречного прохожего, как проявляются на лице этом все признаки полнейшего ужаса, а затем раздается неизбежный вопль: Я ослеп, я ослеп. Какие нервы это выдержат. Однако самое скверное заключалось в том, что семьи слепых, особенно малочисленные, мгновенно становились слепыми семьями, и кому, спрашивается, их водить и за ними ходить, как не соседям, разумеется, покуда еще зрячим, и ясно, что такая семья, где членов раз, два, ну, три — и обчелся, не может сама о себе позаботиться и станет, значит, живой репродукцией с известной картины, на которой слепцы вместе ходят, вместе падают и вместе умирают.

Увидев перед собой такую перспективу правительство вынуждено было дать самый полный назад, то есть расширить установленные им же критерии пригодности мест, отведенных под карантин, в результате чего началось немедленное и на самую скорую руку производимое переустройство закрытых фабрик, заброшенных церквей, спортивных залов, пустующих складов и: Уже два дня идут разговоры, что, мол, за городом будут разбиты палаточные городки, добавил старик с черной повязкой на глазу. Поначалу, причем по самому по началу, кое-какие благотворительные организации еще посылали волонтеров ухаживать за слепыми, стелить им постели, мыть унитазы, стирать белье, стряпать, то есть проявлять тот минимум заботы, без которого жизнь очень скоро делается невыносимой даже для тех, кто видит. Бедные, милые эти люди, то бишь добровольцы, немедленно слепли, но по крайней мере остался в истории их благородный почин. Из них тут есть кто, спросил старик с черной повязкой на глазу. Нет, отвечала жена доктора. А может, вообще все это басни. Ну, а город-то как, машины-то ходят, осведомился первый слепец, вспомнив свой автомобиль и таксиста, который вез его на консультацию и которого он потом своими руками опустил в могилу. Хаос полнейший, отвечал старик, и пустился в подробности аварий и катастроф. Когда в первый раз случилось так, что на полном ходу

и на оживленной магистрали ослеп водитель автобуса, на это никто, кроме, разумеется, погибших и покалеченных, не обратил особенного внимания, и все та же причина, то есть сила привычки, побудила пресс-секретаря транспортной компании заявить, ни больше ни меньше, что несчастье произошло по вине водителя, то есть пресловутый человеческий фактор подвел, и что происшествие прискорбное, спору нет, но, если вдуматься, предвидеть его было бы так же трудно, как заподозрить инфаркт у человека, ни разу в жизни не жаловавшегося на сердце. Все сотрудники нашего предприятия, продолжал он, так же как и все выходящие на линию автобусы, регулярно проходят строжайший осмотр, соответственно медицинский и технический, прямым следствием чего является чрезвычайно низкий процент аварийности, которым до самого последнего времени наша компания выгодно отличалась от всех остальных. Пространное это объяснение попало на страницы газет, но гражданам было над чем подумать и кроме как над заурядным транспортным происшествием, ведь в конце концов едва ли было бы хуже, если бы просто отказали тормоза. Именно это через два дня привело к еще одной аварии, но так уж создан мир, что правде нужно многократно прикидываться ложью, чтоб добиться своего, отчего и разнесся слух, что на этот раз ослеп кондуктор. Не было решительно никакой возможности переубедить публику и втолковать ей, как все было на самом деле, и в результате, не замедлившем сказаться, люди перестали пользоваться автобусами, твердя, что лучше самому ослепнуть, нежели погибнуть из-за чужой слепоты. В третью аварию, последовавшую почти сразу же за второй и по той же причине, попал автобус без пассажиров, что сейчас же дало повод для таких примерно негодующих комментариев: Глаза бы мои не видели это безобразие. Даже и вообразить себе не могли говорившие так, что очень скоро сбудется это их пожелание. Не заставила себя ждать и авиакатастрофа: из-за мгновенной слепоты, одновременно постигшей командира корабля и второго пилота, рухнул на землю, развалился на куски и вспыхнул лайнер, причем погибли все пассажиры и члены экипажа несмотря на то, что на этот раз все системы находились в идеальном состоянии, если верить показаниям черного ящика, который один только и уцелел. Ни в какое сравнение с банальной аварией автобуса не шла трагедия такого масштаба, лишившая последних иллюзий тех, кто их еще питал, так что вскоре повсюду стих рокот моторов, и ни одно колесо, большое ли, маленькое, скорое или медленное, больше не вращалось. И тот, кто привык жаловаться, что из-за пробок час едешь, два стоишь, и тот, кто сетовал, что припаркованные где попало или мчащие автомобили не дают ему следовать избранной стезей, и тот, кто, до одури поколесив по окрестным улицам, чтобы где-нибудь приткнуть машину, и отыскав наконец прогалину на обочине, превращался в пешехода и принимался ругать водителей, к ним обращая ту же хулу и пени, что прежде адресовались ему самому, — словом, все теперь должны были бы испытать чувство законного удовлетворения, если бы не одно обстоятельство, заключавшееся в том, что, поскольку никто больше не решался сесть за руль и проехать хоть два шага, легковушки, грузовики, мотоциклы и даже смиренные велосипеды, оставленные владельцами, в душе которых страх возобладал над чувством собственника, хаотически заполняли весь город, и зримым симво-

лом этой чудовищной очевидности мог бы послужить эвакуатор, стрелой автокрана подцепивший, вздернувший, но так и оставивший болтаться в воздухе аварийную машину, ибо, надо полагать, первым ослеп его водитель. Всем было плохо, но хуже всех — слепцам, ибо не видели они, куда идут, не ведали, куда ногу ставят. И жалко было смотреть, как натыкаются они на брошенные тут и там машины, валятся один за другим на манер костяшек домино, разбивают колени, и одни, упав, плачут: Да помогите же кто-нибудь, ради бога, подняться, а другие с бранью и проклятиями отталкивают протянутую им благонамеренную руку помощи: Да пошел ты, погоди, скоро и твой черед придет, отчего жалостливый прохожий, осознав внезапно, какому риску подвергался из-за своей доброты, в ужасе шарахался, бежал, скрывался в молочно-белой мгле и, быть может, уже через несколько метров тоже слеп.

Вот как обстоят дела на воле, завершил свой рассказ старик с черной повязкой, и это еще при том, что я всего не знаю, а говорю о том лишь, что видел собственными глазами, тут он осекся и поправился: Хочу сказать, не глазами, а глазом, потому что он у меня был один, а теперь ни одного, ну, то есть один есть да толку от него никакого. Я вас все хочу спросить, почему не вставите себе искусственный, а носите повязку. Объясните, пожалуйста, на кой мне сдался стеклянный глаз. Ну, как-то это принято, смотрится красивей и потом — гораздо гигиеничней, вынул, вымыл, вставил, вроде как зубной протез. Да уж, представляете, какая была бы красота, если бы все, кто потерял не только зрение, а и глаза тоже, вставил себе по паре стеклянных, сильно бы они им пригодились. Едва ли. Поскольку все мы слепы, а к тому вроде все идет, то до красоты ли тут, а насчет гигиены, извините, вот вы мне скажите, как доктор, ну, какая тут может быть гигиена. Вероятно, только в мире слепых все становится таким, как оно есть на самом деле, ответил на это доктор. А люди, спросила девушка в темных очках. И люди тоже, никто ведь их не увидит. Вот что мне в голову пришло, молвил старик с черной повязкой на глазу, давайте-ка для препровождения времени сыграем в одну игру. Как же играть, когда не видишь, чем, возразила жена первого слепца. Ну, это не совсем игра, а просто пусть каждый из нас подробно расскажет, что он видел в тот миг, когда ослеп. Неудобно может получиться, усомнился кто-то. Кто не захочет играть, посидит в сторонке, а остальные расскажут, только как было, выдумывать ничего не надо. Вот вы и начните, сказал доктор. Ладно, могу и я начать, сказал старик с черной повязкой на глазу, я ослеп, когда хотел понять, что там с моим отсутствующим глазом. То есть. Да очень просто, почувствовал как бы жжение в пустой глазнице, словно она воспалилась, снял повязку, чтобы понять, что там такое, и в этот миг ослеп. Это прямо какая-то притча, произнес тут неизвестно чей голос, притча про глаз, отказавшийся признать свое отсутствие. А я, сказал доктор, рылся в книгах, искал в медицинской литературе что-нибудь как раз по этому поводу и последнее, что видел, были мои руки на странице. А я, сказала жена доктора, видела салон санитарного фургона, куда подсаживала мужа. А у меня так получилось, я уж доктору рассказывал, подъезжаю к перекрестку, как раз красный, и люди пошли через дорогу, вот тут я и ослеп, и тот малый, которого потом застрелили, отвез меня домой, и лица его я уже, ясное дело, не увидел. А я, сказала жена первого слепца, дома сиде-

ла, плакала и только поднесла к глазам платок, как в тот же миг и ослепла. А я, сказала регистраторша, вошла в лифт, протянула руку кнопку нажать и вдруг перестала что-либо видеть, представляете, до чего перепугалась, одна, в закрытой кабине, не знаю, вверх ехать или вниз, на что нажать, чтобы двери открылись. Нет, сказал аптекарь, со мной все проще было, я уже слышал, что люди слепнут, подумал, как это будет, если и я тоже, закрыл глаза, захотел попробовать, на что это похоже, а когда открыл, уже ничего не видел. И это похоже на притчу, вновь отозвался неведомый голос, захочешь ослепнуть — ослепнешь. Воцарилось молчание. Кое-кто из слепцов вернулся на свое место, что, кстати, далось им совсем нелегко, потому что они, хоть и знали, кто где лежит, найти свою койку могли, только произведя отсчет от одной или от другой стены, от первого номера к окну, от двадцатого к дверям, и только так удостовериться, что добрались куда надо. Когда стихло их монотонное, как молитва, бормотание, девушка в темных очках рассказала о том, что случилось с ней: Я была в номере отеля, ну, с мужчиной, и замолчала, стесняясь рассказать, чем она с ним занималась и отчего все вокруг внезапно стало белым, но старик с черной повязкой на глазу пришел ей на выручку, спросив: И все вокруг внезапно стало белым. Да, ответила она. Может быть, ваша слепота не такая, как у нас у всех, молвил старик. Оставалась теперь только горничная. Я постель стелила в номере, там до этого кто-то ослеп, сняла простыню, взяла ее, как обычно, за два угла, растянула и только собралась соединить руки, как перестала видеть, помню еще, что все-таки сумела потихоньку сложить простыню, и прибавила неизвестно зачем, словно это имело какое-то особое значение: Это нижняя была. Ну, что же, все рассказали, кто что видел последним, спросил старик с черной повязкой. Если больше никого, давайте тогда, я расскажу, произнес неизвестный голос. Если даже кто и остался, он расскажет в свой черед, говорите. Последнее, что я видел, была картина. Картину, уточнил старик, а где. В музее, я в музей пошел, ну, и вот, на картине, значит, поле, вороны на нем, кипарисы и солнце, причем впечатление такое, будто оно состоит из кусочков других солнц. По описанию скорей всего голландец. Да, очень возможно, и там еще пес был, и он, бедняга, вроде бы наполовину уже провалился в яму. А-а, тогда это один испанец, до него никто так не писал собак, а уж после тем более никто не решался. Весьма вероятно, и еще там был воз сена, лошади везут его по берегу реки. Слева еще домик, да. Да. Стало быть, это английский живописец. Не исключено, однако маловероятно, потому что была там еще и женщина с младенцем на руках. Младенцев на руках у матери чаще всего и видишь на картинах. В самом деле, я и сам замечал. Я только вот чего не пойму, как это на одном холсте уместилось столько разных картин разных художников. И еще какие-то люди за столом. В мировой живописи такое множество обедов, застолий, ужинов, что по одной этой примете не определишь, что за люди. Тринадцать человек, все мужчины. А, это облегчает дело, продолжайте. И еще какая-то обнаженная белокурая женщина в раковине, а раковина плывет по морю, а вокруг цветы, цветы. Итальянец, ясное дело. И еще битва. Это как в случае с младенцами на руках у матерей и с трапезами, так не узнать. Убитые, раненые. Это естественно, все младенцы рано или поздно умирают, да и солдаты тоже. И испуганный конь. Глаза будто вот-вот выско-

чат из орбит, да. Точно. Да, за конями подобное водится, а какие еще картины были на той картине. Не успел рассмотреть, я ослеп, чуть только увидел этого коня. Страх ослепляет, заметила девушка в темных очках. Верные ваши слова, мы уже были слепыми в тот миг, когда ослепли, страх нас ослепил, страх не дает нам прозреть. Кто это сейчас говорил, спросил доктор. Слепой, был ответ, всего лишь слепой, других тут нет. Тогда осведомился старик с черной повязкой: Сколько потребуется слепых, чтобы создать слепоту. Никто не смог ответить ему. Девушка в темных очках попросила включить радио, может быть, новости передают. Передавать их начали чуть погодя, а пока послушали немного музыку. Через какое-то время появились в дверях палаты несколько слепцов, и один сказал: Жаль, гитару с собой не прихватил. Новости были не очень-то обнадеживающие, по неподтвержденным пока сведениям планируется создание правительства национального единства и спасения.

Когда слепцов было наперечет, хватало обмена двумя-тремя словами, чтобы незнакомые стали товарищами по несчастью, и еще тремя-четырьмя — чтобы простить друг другу все промахи и ошибки, иногда весьма серьезные, и если прощение это выйдет неполным, подожди несколько дней и поймешь тогда, какая, в сущности и вообще-то говоря, чепуха томила прежде души несчастных, поймешь и будешь снова и снова убеждаться в этом всякий раз, как плоть потребует срочно и безотлагательно удовлетворить те надобности, которые принято называть естественными. Несмотря на это и на то, что безупречное воспитание встречается крайне редко и что, как ни старайся, не всегда возможно соблюсти приличия, отдадим должное тем слепцам первого призыва, кто оказался способен с достоинством нести крест сугубо скатологической природы человека. Однако теперь, когда заняты все двести сорок кроватей, да еще и не всем хватило, так что сколько-то слепых спит на полу, самое богатое, живое и даже разнузданное воображение не подыщет сравнений, эпитетов и метафор, чтобы должным образом описать вопиющее, напоказ выставленное свинство, воцарившееся в стенах бывшей психушки. И дело даже не только в том, что уборные в кратчайшие сроки уподобились тем нестерпимо зловонным пещерам в преисподней, в которых, надо полагать, удовлетворяют свои естественные потребности обреченные на вечное проклятие грешники, но еще и в том, что благодаря бесцеремонной простоте нравов одних или острейшей нужде других, в места общего пользования, иначе называемые отхожими, стремительно превратились коридоры и всякое прочее межпалатное пространство, причем если сначала в этом качестве использовали их лишь изредка, от случая, извините, к случаю, то затем это вошло в обычай, и не сказать, чтоб добрый, ну, а как вошло в обычай, сделалось не до приличий. И те, кто не заботился о стыдливости или подгоняем был спешной надобностью отдать долг природе, думали, наверно, так: А-а, ничего, не страшно, все равно никто не видит, и далеко не ходили. Когда же в туалеты стало в полном смысле слова не зайти, отправлялись слепцы на задний двор и оправлялись там. Чересчур деликатные по натуре или по воспитанию целый божий день терпели и сдерживались, ожидая ночи, причем понималось под нею время, когда большая часть обитателей палат засыпала, и лишь тогда, держась за жи-

вот или скрещивая ноги, шли искать проплешинку чистой земли, если таковую вообще можно было найти на сплошном и постоянно обновляемом ковре экскрементов, непрестанно месимых, с места на места носимых бесчисленными подошвами, тем более что поиски эти сопряжены с опасностью заблудиться на просторе заднего двора, где нет иных ориентиров, кроме редких и чахлых деревьев, сумевших пережить естествоиспытательский зуд прежних, безумных обитателей клиники, да маленьких, почти уже сровнявшихся с землей холмиков над могилами погибших. Раз в день, вернее к концу дня, с неизменностью будильника, заведенного на одно и то же время, голос из громкоговорителя повторял предписания и запреты, настоятельно доказывал преимущества использования моющих и чистящих средств, напоминал, что в каждой палате имеется телефон, чтобы сообщить, что, мол, запас их истощается, хотя нужны были на самом деле всего лишь пожарный шланг, чтобы мощной струей смыть все дерьмо, бригада сантехников, чтобы привести в порядок смыв и слив, ну, и еще вода, вода в изобилии, чтобы уносила в канализацию все, что нужно, вернее не нужно, и, наконец, хорошо бы нам еще пару глаз, самых обыкновенных, но только зрячих, да руку, чтоб вела нас и направляла, да голос, который скажет: Сюда. Если не вмешаться, они очень быстро станут просто скотами, да не просто скотами, а слепыми. Нет, не тот неведомо чей голос, который рассказывал о картинах и образах мира, произнес эти слова, их, может быть, в ином порядке расставив, однажды глубокой ночью выговорила жена доктора, лежа рядом с ним. Надо как-то противостоять этому ужасу, не выдержу больше, не могу притворяться, будто не вижу. Подумай о последствиях, вероятней всего, тебя захотят превратить в рабыню, во всеобщую прислугу, будешь ходить за всеми, а они будут требовать, чтобы ты их кормила, мыла, укладывала и поднимала, водила оттуда сюда и отсюда туда, чтоб вытирала им сопли и осушала им слезы, а они будут будить тебя посреди ночи и ругать, если замешкаешься. А ты хочешь, чтобы я по-прежнему смотрела на все это скотство и свинство, смотрела, видела и сидела сложа руки. Ты и так делаешь очень много. Да что там я делаю, если главная моя забота — как бы кто не заметил, что я зрячая. Не боишься, что тебя возненавидят, от слепоты мы лучше не делаемся. Но и хуже тоже. Мы стремительно идем по этой дорожке, достаточно лишь вспомнить, что творится, когда надо раздавать еду. Но ведь о том и речь, зрячий человек должен взять на себя распределение продуктов, чтобы всем хватило и каждому доставалось поровну, тогда прекратятся эти свары, эти ссоры, от которых можно спятить, ты ведь не знаешь, что это такое, когда дерутся двое слепцов. Драка — всегда в той или иной степени форма слепоты. Нет, здесь все по-другому. Делай, как считаешь нужным, как тебе кажется лучше, только помни, что все мы здесь — слепцы, просто слепцы, без красивых слов, без сострадания, нет больше уютного и ласкового мира забавных и милых слепышат, пришло царствие жестоких, неумолимых и суровых слепцов. Если бы ты видел то, что вынуждена видеть я, то захотел бы ослепнуть. Верю, но в этом нет необходимости, я и так слеп. Прости, мой милый, но если бы ты только знал. А я и знаю, знаю, я всю жизнь заглядывал людям в глаза, а ведь это единственная часть тела, где, быть может, еще пребывает душа, и если их тоже не станет, то. Завтра я объявлю, что вижу. Дай бог,

чтобы ты в этом не раскаялась. Завтра всем скажу, потом помолчала и добавила: Если только сама не войду наконец в этот мир.

Но еще не сейчас. Когда жена доктора проснулась утром, как всегда, очень рано, глаза ее видели так же ясно, как и прежде. Все слепцы в палате спали. Она стала думать, как бы сообщить им, собрать ли, что ли, всех и огорошить новостью или, может быть, лучше обставить это потише, поскромней, сказать, например, будто не придавая особенного значения этим словам: Кто бы мог подумать, что сохраню зрение среди стольких ослепших, а еще лучше, может быть, притвориться, что была слепой, а теперь прозрела, это бы и им подало надежду: Если она прозрела, скажут они друг другу, то, глядишь, и мы тоже, но не исключено, что выйдет как раз наоборот: Ну, если так, уходи отсюда, скажут они ей, а она ответит тогда, что мужа оставить не может, а раз армия не выпустит из карантина ни одного слепца, значит, придется им согласиться, чтобы она осталась. Как всегда, под утро кое-кто из спящих заворочался на койке, пустил ветры, и нельзя даже сказать испортил воздух, ибо это уже невозможно, должно быть, уровень предельного насыщения достигнут. Позывающий на рвоту смрад шел волна за волною не только из уборных, его испускали пропитанные собственным пóтом, протушенные в нем тела двухсот сорока человек, которые не мылись и мыться не смогли бы, не меняли белья и одежды, спали в грязи и собственных нечистотах. И кому нужны забытые здесь мыло, щелок, стиральный порошок, если почти все души, да нет же, не те, о которых вы подумали, засорены либо бездействуют, если из забитых водопроводных труб грязная вода идет обратно, заливая ванные комнаты, пропитывая деревянные полы в коридорах, проступая между швами облицовки. Куда я лезу, с ума, что ли, сошла, засомневалась вдруг жена доктора, если даже они не потребуют, чтобы я их обслуживала, а это более чем сомнительно, я сама немедленно начну тут все мыть да чистить, и надолго ли меня хватит, ведь в одиночку такую гору не сдвинешь. И прежняя ее решимость, казавшаяся совсем недавно тверже гранита, теперь, когда пришла пора от слов переходить к делу, вдруг стала трескаться, крошиться, осыпаться и рушиться от столкновения с гнусной действительностью, бившей в ноздри и оскорблявшей глаза. Мне страшно, вот и все, прошептала она почти в изнеможении, и потому лучше бы я ослепла и не корчила из себя миссионерку. Трое слепцов, и среди них — аптекарь, уже поднялись и отправлялись занимать позиции в вестибюле, чтобы получить причитающийся первой палате паек. Никак нельзя было утверждать, что распределение и дележка производятся на глазок, поскольку именно его-то и не было, то есть порцией меньше, порцией больше, нет, совсем наоборот, жалко смотреть, как, сбившись со счета, начинают они заново, и всегда найдется человек особо скверного и недоверчивого нрава, кому во что бы то ни стало надо удостовериться, что другим не досталось лишнего, и потому непременно возникали разногласия, а затем начинались отпихивания, слышались и две-три оплеухи, нанесенные, как и положено, вслепую. В первой палате все уже проснулись и готовы были получить корм, благо здесь уже установился относительно удобный порядок распределения: всю провизию сначала оттаскивали в самый конец палаты, где обосновались доктор с женой и девушка в темных очках с мальчуганом, звавшим мать, а потом слепцы

отправлялись за своей долей по двое, начиная от ближайших ко входу коек, один слева, другой справа, вторая слева, вторая справа, и так вот по очереди, без ругани и толкотни, получали свое, и хоть времени на это уходило больше, но неужели ради мирного сосуществования нельзя немного подождать. И первые, то есть те, перед кем вся еда лежала на расстоянии вытянутой руки, съедали ее последними, если не считать, конечно, косенького мальчика, уж он-то со своей порцией всегда расправлялся еще прежде, чем девушка в темных очках принималась за свою, и в результате большая часть причитающегося ей неизменно оказывалась в желудке у него. Слепцы давно уже повернули головы к двери, ожидая, когда же раздадутся шаги товарищей, несущих еду, шаги, хоть и нетвердые, но безошибочно возвещающие, что кто-то идет с кладью, однако внезапно послышались иные звуки, показалось даже, будто по коридору трусят рысцой, если такой подвиг по плечу или, вернее, по ноге слепцам, не видящим, куда эту ногу ставить. И тем не менее ничего иного как: Что у вас там стряслось, что вы бегом бежите, сказать не пришлось, когда все трое, запыхавшись и пытаясь протиснуться в двери разом, сообщили неожиданную новость: Нам не отдали еду, сказал один, и двое других подтвердили: Не дали. Кто, солдаты, спросил чей-то голос. Нет, слепые. Какие, мы все тут слепые. Мы не знаем, кто они, сказал аптекарь, но, кажется, из последней партии, из тех, кого доставили всех скопом. Ну, и почему же они вам не позволили забрать продукты, спросил доктор, до сих пор вроде бы хоть с этим сложностей не было. Они сказали, что как раньше было, больше не будет, отныне кто хочет есть, должен платить. Стены палаты содрогнулись от возмущенных криков: Да быть такого не может. Отняли нашу еду. Ворье проклятое. Какой позор, обирать таких же слепцов, как они сами, не думал, что доживу до такого. Надо пожаловаться сержанту. Кто-то из самых решительных предложил всем вместе идти выручать свое законное достояние. Не так-то это будет просто, высказался аптекарь, их много, мне показалось, целая орава, и, что самое скверное, они вооружены. Как, чем. Ну, палки у них по крайней мере точно есть, по руке мне так саданули, до сих пор болит, сказал еще один из троицы. Надо попробовать уладить дело миром, сказал доктор, я пойду с вами, поговорю, думаю, это недоразумение. Пойдемте, провожу, сказал аптекарь, только судя по тому, как они настроены, очень сомневаюсь, что они вас послушаются. Как бы то ни было, надо идти, не сидеть же здесь. Я с тобой, сказала жена доктора. Она заменила пострадавшего слепца, который считал, что уже выполнил свой долг, и потому остался в палате рассказывать остальным про это рискованное предприятие, еда — вот она, в двух шагах, а попробуйка взять, стоят стеной: Да еще с палками, особо подчеркивал он.

Двигаясь плечом к плечу, они прокладывали себе дорогу среди слепых из других палат, и в вестибюле жена доктора с первого взгляда поняла, что никакие дипломатические переговоры сейчас невозможны и, скорей всего, возможны не будут никогда. Посреди вестибюля, плотным кольцом окружив коробки с продовольствием, выставив на манер штыков или копий палки и выломанные из спинок кроватей железные прутья, одни слепцы держали круговую оборону, противостояли отчаянному натиску других, которые беспорядочными наскоками, не заслуживающими звания атаки, силились прорвать строй, пытались нащу-

Сигнальный экземпляр

пать в ней брешь, оставленную случайно или по беспечности, и получали палками по воздетым и вытянутым рукам, иные же ползли на четвереньках, пока не утыкались в ноги неприятелю, встречавшему их ударами по спине или пинками. Не хочется даже и добавлять, что происходило это все вслепую, ибо как иначе могло бы это происходить. Картину боя дополняли негодующие вопли, яростные крики: Отдайте нашу еду. Требуем права на хлеб. Сволочи. Да что же это за паскудство такое. Да быть этого не может, и нашелся даже человек, столь наивный или по рассеянности забывший, где он, что крикнул: Вызовите полицию, хотя не исключено, что и полиция уже здесь, слепота, как известно, на профессии не смотрит, и двое известных нам блюстителей закона давно убиты и, хоть и с большим трудом, в землю зарыты. Влекомая абсурдной надеждой на то, что власть вмешается и вернет в сумасшедший дом порушенный мир, восстановит справедливость, порядок, спокойствие, одна слепая сумела подобраться к центральному входу и в буквальном смысле на ветер бросить отчаянный призыв: Помогите, у нас отнимают еду. Но солдаты если что и сделали, то лишь вид, будто ничего не слышат, ибо от капитана, побывавшего тут с инспекцией, сержант получил приказ предельно ясный: Ни во что не вмешивайтесь, пусть хоть поубивают друг друга. Слепая между тем исходила криком, похожим на те, которыми оглашались стены психушки в прежние времена, хоть и не была безумной, а всего лишь обезумела от чистого отчаянья. Осознав наконец всю тщету своих призывов, она, рыдая, повернула назад, не сознавая, куда идет, и тотчас подвернулась под удар, и дубинка, угодив ей по голове, свалила замертво. Жена доктора хотела было броситься, поднять ее, но в толчее не смогла сделать и двух шагов. Те слепцы, которые считали, что у них есть право есть, дрогнули и, теперь уже напрочь утратив способность ориентироваться, начали в беспорядке отступать, спотыкаться и натыкаться друг на друга, падать, подниматься, снова падать, а кое-кто, измученный, избитый, скорченный от боли, больше и не пытаясь вставать, сдавался, оставался лежать лицом в пол, в каменные его плиты. Тут жена доктора, к ужасу своему, увидела, как один из грабителей достал из кармана пистолет, резко поднял его дулом кверху. Пуля сковырнула с потолка изрядный кусок штукатурки, обрушившийся на головы и усиливший общее смятение. Стрелявший крикнул: А ну, тихо, заткнулись все, если кто пикнет, буду стрелять, на кого бог пошлет, потом не жалуйтесь. Слепцы замерли. Сказано ведь уже было раз и навсегда, продолжал человек с пистолетом, жратвой отныне распоряжаемся мы, все слышали, и чтоб никому больше даже в лоб не влетало ходить за ней, в дверях поставим своих, кто попробует нарушить наш закон, пусть на себя пеняет, еда отныне будет продаваться, хочешь кушать, плати. Чем платить, спросила жена доктора. Я сказал, молчать всем, взревел тот, водя стволом пистолета из стороны в сторону. Но ведь мы же должны понять, как все это будет происходить, как мы будем получать еду, все вместе или каждый сам по себе. До чего ж деловая, заметил кто-то из бандитов, кокни ты ее, чтоб не выступала, одним ртом меньше будет. Давно бы кокнул, кабы глаза при мне были, ответил главарь, и потом, обращаясь ко всем: Разойдись по палатам, давай-давай, пошевеливайся, двигай копытами, когда занесем жратву внутрь, скажем, что дальше делать. Но как же все-таки будет с платой, во что

нам обойдется кофе с молоком и галета, не унималась жена доктора. Нет, ну она прямо нарывается, сказал тот же голос. Ладно, с ней потом разберусь, сказал главарь, и уже другим тоном добавил: Значит, так, выделяете двоих с каждой палаты, сдаете им все что есть ценного, все равно что, лишь бы денег стоило, все принимаем, деньги, кольца-перстни, цепочки-брелочки, серьги-бусы, часы, браслеты, у кого что есть, и они несут это все в третью палату левого крыла, мы там будем, и мой вам дружеский совет, не дай вам бог смухлевать, наперед знаю, что кое-кто постарается прикопать ценности, но я так скажу, этот номер не пройдет, мало соберете — жрать не получите, жуйте тогда свои банкноты, грызите брильянты. Слепец из второй палаты правого крыла осведомился: А скажите, как все же это будет организовано, мы отдадим все сразу или же будем вносить плату за каждый прием пищи. Я, видать, непонятно объяснил, рассмеялся главарь, сначала пла́тите, потом кушаете, а дальше платить будете соответственно тому, на сколько наедите, бухгалтерия, конечно, та́ еще, мозги вывихнешь, так что лучше собрать да принести все одним разом, а мы посмотрим, сколько еды вы заслужили, только еще раз честно предупреждаю, не вздумайте что-нибудь припрятать, потому что вам это очень дорого станет, а чтоб не говорили, что, мол, нечестно, поступаем, учтите, что как все будет отдано, мы проверим, все ли, ну, и, если найдем хоть одну монетку, не обижайтесь, а теперь пошли отсюда, живо. Он вновь поднял пистолет и выстрелил. Отвалился еще один пласт штукатурки. А твой голос, деловая, я запомнил. И я твое лицо не забуду, ответила жена доктора.

Никто, похоже, не обратил внимания на эту нелепость: как можно не забыть лицо, если ты его не видишь. Слепцы уже поспешали по мере сил к дверям, и вскоре первой палате были уже предоставлены объяснения. Судя по тому, что мы слышали, сказал доктор, нам остается только подчиниться, пока по крайней мере их много, и они вооружены. Мы тоже можем раздобыть себе чего-нибудь, заметил аптекарь. Ну да, ветки деревьев, если дотянемся, какие-нибудь оторванные от кроватей железяки, с которыми едва ли управимся, а у них имеется один по крайней мере, пистолет. Я этим слепачам свое кровное отдавать не собираюсь, сказал чей-то голос. Я тоже, отозвался еще один. Ну, вот что, возразил доктор, либо все, либо никто. Выбора у нас нет, сказала его жена, и потом, здесь действует тот же самый закон, что навязали нам снаружи, на воле, кто не хочет платить, не платит, это его право, но в этом случае он и не ест, ибо нельзя питаться за счет других. Отдавать будем все, отдавать будем всё, сказал доктор. А кому нечего, спросил аптекарь. Кому нечего, тот будет есть, что другие дадут, кто-то ведь верно рассудил, что от каждого по способностям, каждому по потребностям. После недолгого молчания раздался голос старика с черной повязкой: Кому же мы поручим это. Доктору, сказала девушка в темных очках. Голосовать не пришлось, вся палата оказалась единодушна. Двоих надо, напомнил новоизбранный, есть желающие. Я могу, если больше никто не претендует, сказал первый слепец. Ну и прекрасно, давайте начнем, нам потребуется мешок, сумка, чемоданчик, что-нибудь в этом роде. Вот, и с этими словами жена доктора стала выкладывать из сумочки свою косметику и прочие дамские мелочи, положенные туда в ту пору, когда она и вообразить не могла, в каких условиях доведется жить. Среди тюбиков, фла-

кончиков, коробочек, попавших сюда из другого мира, обнаружились и довольно длинные, с острыми концами, ножницы. Она и не помнила, как сунула их в сумочку, однако они там были. Жена доктора подняла голову. Слепцы ждали, доктор, отойдя к кровати первого слепца, переговаривался с ним, девушка в темных очках сказала мальчику, что скоро можно будет поесть, и, сунутый с детской и бесполезной стыдливостью под прикроватную тумбочку, словно его все еще нужно было скрывать от посторонних взглядов, лежал на полу выпачканный кровью тампон. Жена доктора разглядывала ножницы, пытаясь понять, почему она это делает, почему смотрит так, как так, ну, так, и не находила этому никакому объяснения, а какое могло бы найтись объяснение в лежавших у нее на ладони обыкновенных длинных ножницах, в их никелированных лезвиях и тонких, блестящих остриях. Нашла, спросил муж. Нашла, сказала она и одной рукой протянула сумочку, а другую, с зажатыми в кулаке ножницами, спрятала за спину. Ты что, спросил доктор, и она ответила: Ничего, а могла бы ответить: Ничего, что ты мог бы увидеть, наверно, тебя удивил мой голос, только и всего. Доктор вместе с первым слепцом приблизился, неуверенными руками принял сумочку и сказал: Ну, начинаем собирать, давайте у кого что есть. Жена расстегнула ремешок своих часов и браслет на запястье у доктора, вынула из ушей серьги, сдернула с шеи золотую цепочку, потянула с пальцев колечко с темно-красным рубином, потом обручальные кольца, свое и мужа, и снялись они неожиданно легко: Пальцы у нас похудели, подумала она, аккуратно уложила все в сумку, добавила взятые из дому деньги, несколько купюр разного достоинства и пригоршню монет. Все, сказала она. Ты уверена, спросил доктор, ничего больше нет, посмотри хорошенько. Ценного больше ничего. Девушка в темных очках прибавила свои сокровища, примерно все то же самое, плюс два браслета, минус обручальное кольцо. Жена доктора подождала, когда повернутся спиной муж и первый слепец, когда девушка в темных очках склонится над косеньким мальчуганом со словами: Представь, что я твоя мама, плачу́ за тебя и за себя, и отступила к стене. Вдоль нее, как и вдоль других стен, были там и сям вбиты длинные гвозди, предназначавшиеся для того, наверно, чтобы умалишенные вешали на них свои, бог знает какие, сокровища и мании. Она выбрала самый верхний и, с трудом дотянувшись, повесила на него ножницы. Потом села на кровать. Ее муж и первый слепец медленно подвигались к дверям по проходу между койками, останавливаясь у каждой, чтобы забрать то, что протягивали им слева и справа, одни повторяли, что это бессовестный грабеж, и были совершенно правы, другие избавлялись от своего достояния почти безразлично, словно считали, что, если поразмыслить, нет в мире ничего такого, что в абсолютном смысле принадлежало бы им безраздельно, и это тоже, в сущности, была истина неоспоримая. Все собрав, доктор уже от самых дверей спросил: Все отдали, и несколько голосов с явной покорностью судьбе откликнулись: Да, а кто-то промолчал, и мы в свое время узнаем, не для того ли, чтобы не солгать. Жена доктора подняла глаза, увидела ножницы. Удивилась, что, повешенные за одно из колец на гвоздь, они оказались так высоко, словно и не она сама поместила их туда, а потом похвалила себя, что додумалась прихватить их из дому, теперь сможет подровнять бороду мужу, придать ему более приличный

вид, раз уж попали они в такие условия, где мужчина не может нормально побриться. Когда она перевела взгляд на дверь, двое уже исчезли в коридорной полутьме, направляясь в третью палату левого флигеля, куда было им велено явиться за покупкой еды. Еды на сегодня, на завтра и, может быть, на всю неделю. Ну, а потом что, и вопрос этот остался без ответа, ведь мы же отдали все, что было.

Против обыкновения, коридоры были пусты, хотя обычно, только выйдешь из палаты, сейчас же и непременно зацепишься ногой, споткнешься, упадешь и будешь, пострадав, материть и проклинать без вины виноватых в твоем падении, а те ответят тем же, но близко к сердцу никто эту брань не принимает, всякий человек, а тем более слепой, имеет право облегчить душу. Впереди слышались шаги и голоса, и это наверняка были эмиссары второй палаты, исполнявшие такую же повинность. Что же это такое, доктор, вопросил первый слепец, мало того, что сами ослепли, так еще и угодили в лапы слепому ворью, видно, судьба у меня такая, сначала машину угнали, теперь вот еду отнимают, да еще и пистолетом грозят. Пистолет создает существенную разницу. Да, но патроны-то кончатся рано или поздно. Как и все на свете, но в данном случае лучше, чтобы этого не произошло. Почему же. Потому, что патроны кончаются, когда их расстреливают, их, а значит, кого-то еще, а у нас и так убитых слишком много. Но мы попали в невыносимые обстоятельства. Причем уже давно, с той минуты, как оказались здесь, однако же ничего, выносим как-то. Вы оптимист, как я погляжу. Да нет, просто хуже, чем сейчас, быть не может. На сей счет у меня большие сомнения, пределов этому нет. Вероятно, вы правы, сказал доктор, а потом, словно обращаясь к самому себе, добавил: Здесь скоро что-нибудь случится, и это высказывание содержало известное противоречие, либо и в самом деле есть кое-что и похуже теперешней нашей жизни, либо с какой-то минуты станет лучше, хотя никаких признаков этого пока нет. Судя по пройденному расстоянию, по количеству поворотов направо и налево, они приближались к третьей палате. Ни доктор, ни первый слепец прежде здесь не бывали, однако архитектурное решение предполагает некоторую логику, то есть симметричное расположение двух крыльев, или флигелей, или корпусов, и кто освоился в правом, тот и в левом не заблудится, и наоборот, стоит лишь здесь свернуть налево, если там сворачивал направо. Слышались голоса тех, кто шел впереди. Придется подождать, прошептал доктор. Почему. Эти, из третьей, захотят точно узнать, что и сколько им принесли, а они уже поели, так что торопиться не станут. Но вроде бы скоро обед. Если бы даже наши соседи по флигелю были зрячими, им это ничем бы не помогло, тем паче что и часов у них уже нет. Примерно через четверть часа, минутой больше, минутой меньше, обмен состоялся. Двое прошли мимо доктора и первого слепца, и по речам их было ясно, что не с пустыми руками: Осторожно, не урони, сказал один, а второй пробурчал: Этого на всех не хватит. Придется, стало быть, подтянуть ремешочек. Ведя рукой вдоль стены, доктор, на шаг впереди своего спутника, почувствовал наконец под пальцами дверной косяк. Мы из первой палаты правого крыла, сообщил он. Хотел было шагнуть через порог, но наткнулся на какое-то препятствие. Понял, что это кровать, призванная исполнять роль прилавка или стойки: Все обдумали заранее, не с бухты-барахты действуют,

подумал он. Услышал голоса, шаги: Сколько же их, жена успела шепнуть, что человек десять, но скорей всего намного больше, не все же явились в вестибюль отбивать хлеб наш насущный. Тот, с пистолетом, наверняка главный, и это его подлый голос произнес сейчас: Ну, первая палата правого крыла, давай показывай, чего притаранил, а потом, потише, явно обращаясь к кому-то рядом: Оприходуй. Доктор растерялся. Что же может значить это слово, если не то, что кто-то здесь может писать, а следовательно, сохранил зрение, неужели в больнице уже двое зрячих. Следует быть поосторожней, завтра этот второй может незаметно оказаться с нами рядом, и эта мысль не слишком сильно отличалась от той, что пронеслась в голове у первого слепца: Если к пистолету прибавить соглядатая, мы пропали, они нам головы поднять не дадут. Главарь между тем уже открыл сумочку и проворно извлекал и сортировал ее содержимое, на ощупь отделяя золотые вещицы от прочих, на ощупь же раскладывая купюры по достоинству, монеты по номиналу, что, наверно, нетрудно при длительном навыке, и лишь через несколько минут доктор смятенным слухом уловил характерный, одновременно и глуховатый, и звонкий звук, по которому сведущий человек мгновенно и безошибочно определит, что рядом кто-то иголкой прокалывает толстую бумагу насквозь, до какой-то железки, служащей пюпитром, то есть пишет по системе Брайля или, иначе говоря, владеет навыками анаглифии. И это значит, что среди слепых бандитов есть обычный слепой, такой же точно, как все, кто носил это имя прежде, до начала эпидемии, и что мелкоячеистая сеть подцепила его и загребла вместе со всеми, ибо не такое нынче время, чтобы разбираться, из прежних ты слепцов или из нынешних, и это ты бабушке своей будешь рассказывать, давно ли и как именно не видишь. Но как же несказанно повезло бандитам, мало того, что счетовод к ним затесался, так еще и слепец старой школы, слепец, который прошел специальное обучение, годен в поводыри и навыками своими и умениями, как небо от земли, отличается от теперешних, золото, а не слепец. Опись продолжалась, и голос главаря время от времени справлялся у счетовода: Что скажешь, и тот, прерывая на миг труды, ощупывал предложенную на экспертизу вещь, выносил авторитетное суждение, например: Фальшак, и тогда главарь отвечал: Стало быть, попостятся, или, напротив: Годится, на что следовала реплика: С честными людьми одно удовольствие дело иметь. Наконец на прилавок были поставлены три коробки: Тащи в норку. Этого мало, поочередно потыкав пальцем в каждую, нам давали по четыре еще в самом начале, когда нас было шестеро, возразил доктор и, почувствовав на шее стальной холодок дула, в тот же миг оценил редкостные для слепого проворство и точность движений. В следующий раз как рот раскроешь, так одну коробку долой, а сейчас забирай, что дают, и пошел отсюда, скажи спасибо, что тебя вообще кормят. Ладно, пробормотал доктор, сгреб две коробки, третью взял первый слепец, и они, медленней, чем прежде, ибо шли с грузом, пустились в обратный путь. В вестибюле, по всем приметам — пустом, доктор сказал: Больше такого случая не представится. Вы о чем, спросил его спутник. Он приставил мне пистолет вот сюда, к шее, можно было попытаться вырвать его. Рискованно. Да не очень, я ведь знал, где ствол, а он мои руки видеть не мог. Ну, и. Ну, и вот, я уверен, что в ту секунду из нас двоих он был слепее, чем я,

жаль, не подумал об этом или подумал, но не решился. А потом, спросил первый слепец. Что потом. Ну, предположим, вы и в самом деле вырвали бы у него пистолет, не думаю, что вы сумели бы пустить его в ход. Сумел бы, будь я уверен, что это решит вопрос. А вы не уверены. Пожалуй, нет. Тогда лучше, чтобы оружие было у них, по крайней мере пока они на нас не нападают. Угроза оружием — это уже нападение. Если бы вы завладели его пистолетом, началась бы настоящая война, и мы едва ли унесли оттуда ноги. Вы правы, сказал доктор, я притворюсь, что принял в расчет все эти соображения. И еще, доктор, вы должны помнить о том, что сказали мне совсем недавно. И что же я сказал. Сказали — что-то должно случиться. Уже случилось, да я этим не воспользовался. Нет, не это, будет другое.

Когда же, войдя в палату, они должны были предъявить, сколь мало припасено для общего стола, нашлись такие, кто их стал винить в этой скудости, спрашивать, почему, мол, не потребовали больше, ибо для того их обоих и выбрали представителями всего сообщества. Доктору пришлось объяснять, как было дело, упоминать о незрячем счетоводе, о грубой несдержанности человека с пистолетом и, естественно, о самом пистолете. Тогда недовольные несколько снизили тон, а потом и вовсе признали, что защита интересов палаты передана в надежные руки. Раздали пайки, причем кое-кто не преминул, разумеется, заметить, что мало все же лучше, чем ничего, а кроме того, по времени судя, уже скоро и обед. Плохо только, если мы разделим судьбу той коняги, которую хозяин приучал не есть и совсем уж было приучил, но тут она и околела, заметил кто-то. Остальные бледно улыбнулись в ответ, а еще кто-то сказал: Кстати, неглупо придумано, если только коняга эта, околевая, не знала, что околеет.

Послесловие

Роман "Слепота" можно условно отнести к "зрелому" периоду в творчестве португальца Жозе Сарамаго, если только этот термин вообще применим к писателю, чей первый по настоящему значительный роман увидел свет только на шестом десятке жизни его создателя. После "Евангелия от Иисуса"[1] — книги, наделавшей много шума, доставившей автору массу неприятностей, но и, несомненно, ничуть не меньше удовольствия (в том числе и от неадекватной реакции не особо им чтимых представителей церкви), прошло целых четыре года, прежде чем Сарамаго разразился новым романом. "Слепота" — не то, чтобы резко отличалась от своих предшественниц, нет, писатель не отказался от своей тягучей манеры письма: длинных предложений, сложного синтаксического построения фразы (порой требуется немало внимания, чтобы не потерять мысль, пока от заглавной буквы доберешься до точки). Прежним остался и язык — образный, метафоричный и в то же время исключительно точный. И все же эта книга была другой. И другими были романы, за "Слепотой" последовавшие.

До "Слепоты" проза Сарамаго напоминала океан с его равномерным — прилив-отлив — дыханием и периодическими всплесками-штормами. "Слепота" же,

1. Русский перевод – "ИЛ", 1998, № 5, 6.

если продолжать водные аналогии, больше походит на реку — с истоком и устьем, с четко очерченным сюжетным руслом, — реку, что несет свои воды, ускоряясь на перекатах и замирая на плесах, однако рано или поздно непременно их куда-нибудь приносит (здесь Сарамаго, конечно же, добавил бы, что не плесы с перекатами приносит, разумеется, а воды). Иначе говоря, проза его стала более целенаправленной. Словно автору показалось недостаточным просто погружать читателя в пучину мыслей и чувств, побуждая к активизации высшей нервной деятельности.

С формальной точки зрения "Слепоту", равно как другие, последовавшие за ней книги, можно отнести к жанру социальной антиутопии. Ибо механизмы, движущие их сюжетами, по большей части схожи с теми, которые составляют привычный арсенал всякого уважающего себя писателя-фантаста. Берется некое общество — конкретное или вымышленное, но при этом всегда узнаваемое, этакое среднеевропейское государство. Люди, его населяющие, живут своей обычной повседневной жизнью (они тоже узнаваемы, среди героев Сарамаго вообще очень легко обнаружить самого себя). А потом, в один прекрасный момент происходит *нечто*. В будничную рутину вклинивается некий посторонний (если не сказать — потусторонний) элемент, переворачивающий повседневность с ног на голову, выворачивающий ее наизнанку. Люди вдруг перестают умирать. Или, наоборот, дружно заболевают неслыханным доселе недугом. Или в одночасье остаются без горячо любимых властей — сами себе господа. Или же привычная земная твердь под их ногами приходит в движение, откалывается от континента и устремляется в плаванье к далеким берегам.

И с этого момента мир уже не будет прежним и вместе с ним изменятся населяющие его люди. Нет, они не будут подобно героям экзистенциальной литературы демонстрировать в чрезвычайной ситуации поразительные, неожиданные свойства своей души. Внутренняя логика их характеров не пострадает в угоду желанию автора ошеломить, озадачить читателя. Напротив, герои Сарамаго будут действовать именно так, как действовали бы на их месте живые реальные люди. Но самая любопытная метаморфоза происходит не с обществом и даже не с его обитателями, а с самим повествованием — оно переходит на другой уровень, из хроники превращаясь в притчу. Прием тоже не нов, однако фокус заключается в том, что и в иносказательном ключе история не утрачивает связи с реальностью. Множество мелких деталей и подробностей, прочно удерживают читателя на земле, не дают воспарить к чистой абстракции — в причудливо исказившемся мире мы продолжаем видеть знакомые черты.

О том, какая именно из вышеперечисленных катастроф ожидает описанный в "Слепоте" мир, нетрудно догадаться уже по названию романа. Героям откровенно не позавидуешь. Что может быть хуже, чем лишиться зрения, остаться без самого, пожалуй, главного способа постижения мира, без ориентации в нем? И зачем понадобилось автору подвергать героев столь суровому испытанию? Не переусердствовал ли он, сгустив краски до того, что бедным персонажам пришлось передвигаться по страницам книги, спотыкаясь и на ощупь? Ответ прост: случившееся с ними — это "жестокий опыт, который в школе жизни ведет все основные предметы".

Не будем также забывать, что перед нами — притча, и слепота в данном случае имеет второе, иносказательное значение. Недаром одна из героинь, чудом сохранившая зрение, приходит к крамольному выводу, что стоит "ослепнуть, чтобы сквозь зримую оболочку вещей проникнуть внутрь, в сердцевину, в их блистательную и непоправимую слепоту". "Только в мире слепых все становится та-

ким, как оно есть на самом деле", — вторит ей другой персонаж — ее супруг, имея в виду отсутствие необходимости в показухе и прочих проявлениях мирской суеты. Сделавшись невидимым, мир начинает открываться героям в своей изначальной сути. Ясна становится и причина их несчастья — точнее, одна из причин: "Мы уже были слепыми в тот миг, когда ослепли, страх нас ослепил, страх не дает нам прозреть".

Еще одно важное отличие "Слепоты" от предыдущего творчества Сарамаго заключается в том, что автор не спешит давать своим героям однозначные оценки, прилаживать ярлычки, вроде: "злодей" или "добрый малый". И если жандармы из "Поднявшегося с земли" или "Года смерти Рикардо Рейса" были всего лишь олицетворением безжалостной государственной машины, перемалывающей жизни и судьбы, то полицейские из "Слепоты" оказываются вполне симпатичными людьми, готовыми прийти на выручку ближнему своему. Да что там говорить — даже для солдат, в упор расстреливающих людей, находятся некие оправдания: мол, ослеп человек от страха — вот и нажал на спуск. Хотя тут же автор замечает, что случаются такие люди, которым оружие в руки давать просто нельзя. И с этим трудно не согласиться.

Вручая писателю премию в 1998 году, Нобелевский комитет сопроводил свое решение такой формулировкой: "Он своими притчами, пронизанными воображением, состраданием и иронией, дает нам возможность вновь и вновь постигать ускользающую от нас действительность". А некий отечественный рецензент назвал один из романов Сарамаго "сборником житейских анекдотов". Книгу он, судя по всему, не читал, целил в белый свет как в копейку, однако угодил, как это нередко случается (вспомним Паганеля, закрывавшего при стрельбе оба глаза), в самое яблочко. Притча, побасенка, анекдот — нечто, пришедшее к нам прямиком из устного народного творчества, из произведений, у которых не было строго определенного автора — именно они приходят на ум, когда пытаешься охарактеризовать прозу Жозе Сарамаго.

Не могу умолчать и еще об одном отрадном для читателя моменте: Сарамаго прекрасен своими концовками. Его романы завершаются ярко, эффектно и, главное, неожиданно. Что бы мы ни предположили, сколь ни были бы проницательны, убийцей все равно окажется не дворецкий. И еще: Сарамаго не стоит читать по диагонали — обязательно упустите что-нибудь важное.

Дмитрий Померанцев

Стихи английских поэтов-кавалеров и "Краткие жизнеописания" Джона Обри

Перевод с английского и вступление Марины Бородицкой

В 2008 году в серии "Библиотека зарубежного поэта", выпускаемой издательством "Наука", выйдет книга "Английские поэты-кавалеры XVII века". К поэтам-кавалерам принято относить определенный круг авторов, державших в гражданскую войну сторону короля, а не парламента, в своем творчестве следовавших скорее за Беном Джонсоном, чем за Донном и прославлявших жизнь со всеми ее радостями. Разумеется, эти признаки во многом условны: например, в стихах Томаса Кэрью явственно слышны отголоски Донна; уличенный в роялистском заговоре Эдмунд Уоллер предал своих сподвижников и позже написал оду Кромвелю; а кавалер из кавалеров Ричард Лавлейс (давший имя ричардсоновскому Ловеласу) наряду с любовной лирикой писал порой и философские стихотворения, сближавшие его с поэтами-метафизиками. Как бы то ни было, в книгу вошли подборки стихов пятнадцати поэтов, от Роберта Геррика до Томаса Стэнли, многие из которых мало известны или совсем неизвестны российскому читателю, а также главы из "Кратких жизнеописаний" Джона Обри, вступительная статья И. Шайтанова и подробные комментарии переводчика.

К сожалению, журнальная площадь ограничена, и мы можем познакомить читателя лишь с небольшими фрагментами будущей книги. С выбором помог определиться Джон Обри. Нам очень хотелось включить в подборку хотя бы отрывки из "Кратких жизнеописаний", этого на редкость колоритного документа эпохи. Поступив так, мы естественным образом предоставили слово тем из участников книги, чьи биографии он написал. "За бортом" настоящей публикации остались и отчасти уже знакомые российскому читателю Геррик и Кэрью, и целый ряд малоизвестных имен: Майлдмей Фейн, Томас Рандольф, Вильям Хабингтон, Сидней Годольфин и др. Но и по приводимым здесь стихотворениям внимательный читатель сможет судить об этой интереснейшей "грибнице" поэтов: о диапазоне жанров и тем, о дружеских перекличках и перепалках, даже о поэтической "моде" (*против взаимности в любви*, например, выступают сразу двое: Джон Саклинг и Абрахам Каули).

Несколько слов о Джоне Обри (1626—1697). Этот мемуарист, историк и краевед, а главное, собутыльник и сотрапезник многих знаменитостей XVII века, оставил перед смертью в оксфордском музее около пятидесяти томов архива, наибольший интерес из которого представляют так называемые *Brief Lives* — наброски биографий, которыми он занимался всю жизнь и которые в конце концов отчаялся систематизировать.

Занятия эти происходили примерно так: загоревшись мыслью написать о каком-нибудь замечательном человеке, с которым он недавно свел знакомство — или о котором только слышал, — Обри отыскивал чистую страницу в одной из своих бесчисленных тетрадей и торопливо набрасывал все, что только мог о нем

© Марина Бородицкая. Перевод, вступление, 2008

припомнить: внешность, манеры, перечень друзей, интересные высказывания, поступки, сплетни (с добросовестной ссылкой на источник) и т. д. и т. п. Вместо позабытых или вовсе ему не известных фактов и дат он оставлял пробелы или делал специальные пометки (поля его черновиков пестрят латинским *quaere* — "пойти и выяснить"). Затем его что-нибудь отвлекало — чаще всего застолье в кругу друзей, — а следовавшее за этим похмелье не способствовало прояснению памяти, и все, что позже (иногда спустя годы) приходило ему на ум и имело хоть какое-то отношение к избранному им персонажу, записывалось уже как попало и где попало: на полях, на других страницах, посреди "чужой" биографии или частного письма... Отчаявшись наконец привести главный труд своей жизни хотя бы в относительный порядок, на склоне лет он писал, что уповает "на какого-нибудь одаренного юношу, который ради общественного блага закончит и отполирует мои грубые заготовки".

Разбирать и публиковать "Жизнеописания" английские исследователи начали в XIX веке, и работа эта продолжается до сих пор. Сегодня эти "времен минувших анекдоты" оценены по достоинству — как хорошо выдержанное вино. Кто-то из современников, по собственному свидетельству Обри, советовал ему убрать из его записок "всяческую чепуху и странности". Какое счастье, что он не послушался и эти бесценные заметки дошли до нас "живьем", с их фактическими неточностями, ошибками в датах, забавно-наивным стилем и местами запутанным синтаксисом, с их редкостной для тех времен манерой описывать людские слабости *без осуждения*.

Джон Обри – о Вильяме Давенанте

Сэр Вильям Давенант, рыцарь, поэт-лауреат, родился в городе Оксфорде, в таверне "Корона". Учился он в школе мистера Сильвестра, но, сдается мне, его оттуда забрали раньше срока.

Отца его звали Джон Давенант, он торговал вином и был хозяином того заведения. Человек он был почтенный и благомыслящий. Мать его была очень красива, а также на редкость умна и слыла необычайно приятной собеседницею.

Мистер Вильям Шекспир имел обыкновение единожды в году ездить в Уорикшир и по пути всякий раз останавливался на ночь у них в доме, где его чрезвычайно уважали (я сам слыхал, как хвалился пастор Роберт, что мистер Вильям Шекспир целовал его не менее ста раз). И вот сэр Вильям порою за стаканом вина и в кругу ближайших друзей, таких, как Сэм Батлер, автор "Гудибраса", и др., говаривал, словно бы в шутку, что самый дух его сочинений тот же, мол, что и у Шекспира, и доволен был, что слывет его сыном. Пересказывалась при сем и та история, что поведал я ранее, хотя оттого и страдало доброе имя его матушки, и даже прямо называлась она шлюхою.

...Он подхватил скверную болезнь от красивой чернокожей девки, что жила в Экс-ярде, в Вестминстере, и выведена им под именем Дальги в "Гондибере", и чрез то лишился носа, каковое несчастие побудило иных шутников к жестоким и дерзким насмешкам: например, сэра Джона Мениса, сэра Джона Денема и др.

...В ту войну случилось ему взять в плен двух олдерменов из Йорка, которые из упрямства отказались платить выкуп, назначенный военным советом. Сэр Вильям обращался с ними учтиво, поместил их у себя в палатке и обедать усаживал с собою

во главе стола, à la mode de France[1], и, содержав их долгое время на свой счет, шепнул им раз по-дружески: ему, дескать, не по карману долее принимать у себя столь дорогих гостей, и он советует им воспользоваться случаем и сбежать, что они и сделали. Но, едва отойдя от лагеря, они посовещались и решили воротиться, чтобы непременно высказать сэру Вильяму свою признательность. И они сделали это, хоть и были в большой опасности, ведь их могли схватить солдаты, но им посчастливилось добраться до Йорка невредимыми.

...Спас же сэра Вильяма на одном из заседаний палаты не кто иной, как Гарри Мартин. Когда речь зашла о том, чтобы кем-то пожертвовать, Гарри вмешался и сказал: жертва, мол, должна быть чиста и безупречна, так издревле ведется, а вы хотите принести в жертву старого, полусгнившего негодяя.

...Я был на его похоронах. Гроб был из орехового дерева: сэр Джон Денем сказал, что никогда не видывал такого прекрасного гроба. Тело везли на катафалке от театра до Вестминстерского аббатства, а там у западного входа его уже встречали хористы с церковным пением ("Я есмь воскресение..." и т. д.) и так проводили до самой могилы, а похоронен он в южном приделе, и на мраморной плите написано, в точности как и у Бена Джонсона, "O rare[2] Sir Will. Davenant".

Но я, помнится, подумал, что следовало бы положить к нему на гроб лавровый венок, — жаль, что этого не сделали.

Сэр Вильям Давенант
(1606–1668)

Утренняя серенада

Встряхнулся жаворонок среди трав,
И пробуя росистый голосок,
Он к твоему окну летит стремглав,
Как пилигрим, спешащий на восток.
"О, пробудись! — поет он с высоты, —
Ведь утро ждет, пока проснешься ты!"

По звездам путь находит мореход,
По солнцу пахарь направляет плуг,

1. На французский манер (*франц.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. О несравненный... (*лат.*)

А я влюблен, и брезжит мне восход
С твоим лишь пробужденьем, нежный друг.
Сбрось покрывало, ставни раствори —
И выпусти на волю свет зари!

Песня

Воспрянь от сна, моя краса!
Воспрянь и приоткрой
Свои прекрасные глаза:
Один, потом второй.

Встречай зевотой новый день,
Умыться не забудь,
Сорочку чистую надень
И сверху что-нибудь.

Ты ночь спала, моя любовь,
Зачем же спать и днем?
Уже воспел свою морковь
Разносчик под окном,

Судачат девы у ворот,
Торгует хлебопек,
Малец хозяину несет
Начищенный сапог...

Воспрянь! Уж завтрак на столе:
Лепешки ждут, мой свет,
Овсянка жидкая в котле —
Ее полезней нет.

А коли портит аппетит
Тебе вчерашний хмель,
Отлично силы подкрепит
С утра целебный эль.

Джон Обри – об Эдмунде Уоллере

Мне рассказывал мистер Томас Бигг из Уикема (который с ним учился в одном классе), будто он в те годы нипочем бы не подумал, что из Эдмунда выйдет столь превосходный поэт: в школе он частенько делал за него письменные упражнения.

...Он одним из первых облагородил наш язык и поэзию. "Еще юнцом, — говорил он, — едва начавши изучать поэзию, я не мог сыскать ни единой книжки хороших английских стихов: им всем не хватало плавности; и вот я начал свои опыты".

Я не раз от него слыхал, что он не может слагать стихи, когда пожелает, но, когда на него находит особый род припадка, он делает это с легкостью.

...При дворе очень многие им восхищались, и так было до самой войны. В 1643-м, будучи членом палаты общин, он был заключен в Тауэр за участие в заговоре вместе с Томкинсом (что доводился ему двоюродным братом) и Чалонером, которые умышляли поджечь Сити, а парламент отдать в руки сторонников короля. Тогда ему туго пришлось, и, чтобы спасти свою жизнь, он принужден был продать имение в Бедфордшире, дававшее в год 1300 фунтов, которое купил у него доктор Райт за 10 000 (что намного ниже настоящей цены), и всю сделку провернули в 24 часа, не то он угодил бы на виселицу. Этими деньгами он подкупил всю палату общин: то был первый случай, когда была она подкуплена. Свою великолепную речь перед парламентом в защиту собственной жизни, как и свой панегирик в честь Оливера, лорда-протектора, после реставрации короля Карла II он в книги своих стихотворений включать не позволял...

Эдмунд Уоллер

(1606–1687)

К *Филлис*

Свет мой Филлис, не тяни:
Сочтены блаженства дни.
Если мы продлим с тобою
Срок, отпущенный судьбою,
В гроб сойдет в недобрый час
Юность наша прежде нас.
Если ж молодость продлится,
То любовь от нас как птица
Унесется вдаль стремглав:
У любви неверный нрав,
И богов, чья плоть нетленна,
Ждет остуда, ждет измена.
Оттого-то и сладка
Нам любовь, что коротка.
Так давай забудем, Филлис,

Всех, с кем прежде мы резвились:
Что́ твои мне пастушки?
Что́ тебе мои грешки?
А о том, что дальше будет,
Пусть за нас планеты судят.
Ты да я, теперь и здесь —
Вот и всё, что в мире есть.

Об английской поэзии

Пусть хвалится поэт беспечно,
Что стих его пребудет вечно:
Иль пощадит его судьба —
Иль со стихом умрет хвальба.

Но кто из нас от разоренья
Убережет свои творенья,
Коль неокрепший наш язык
Изменчив, как природы лик?

Так дом не всякий выйдет прочен,
Хоть зодчий был в расчетах точен:
Ведь если камень нехорош,
Цена всему строенью грош.

Как мрамор Греции и Рима,
Стоят их строфы нерушимо,
А наши строчки смоет вмиг
Растущий, как волна, язык.

О Чосер, твой ли труд напрасен?
Увы! Твой стих лежит безгласен,
Лишь пищу разуму даря.
И все же ты творил не зря.

Красавицы и недотроги,
К придворным волокитам строги,
Твой утоляли страстный пыл,
Чтоб ты бессмертье им добыл.

Какой еще награды в мире
Желать, скажи, английской лире?
И лаской девы будет сыт
Тот, кто в стихах ей жизнь продлит.

Стихи для дев слагать не худо,
Хранятся же они, покуда
Желанье не сошло на нет
И не увял его предмет.

Детьми, не зная чтенья и письма,
Мы сочинять горазды, и весьма.
Когда же старимся — душа умело
Нам возмещает все изъяны тела,
Самой же, чтобы спеть хвалу Творцу,
Ей плоть не надобна и не к лицу.

Стихают страсти в нас, и после бури
Сиянье разливается в лазури,
И совестно, что жалкой пестротой
Нас привлекал добычи блеск пустой,
И ясно различимо в океане
Всё, что скрывал от глаз туман желаний.

В своем жилище ветхом в час ночной
Душа сквозь щели видит свет иной,
И в немощи сильнее став и зорче,
Мы в новый дом свой, что не знает порчи,
Торопимся и, ставши на порог,
Вдруг оба мира зрим у наших ног.

Джон Обри — о Дж. Саклинге

Я слыхал от миссис Бонд, будто отец сэра Джона был туповат (ее муж, мистер Томас Бонд, водил с ним знакомство), а вся живость ума у него — от матери.

...В шары он играл как немногие в Англии. И в карты играл на редкость искусно и даже упражнялся дома в постели, изучая различные тонкости и совершенствуя свое мастерство. А его сестры приходили, бывало, к лужайке для игры в шары на Пиккадилли, плача от страха, что он проиграет их приданое.

...Когда был поход против шотландцев, сэр Джон Саклинг на свои собственные средства собрал и снарядил 100 красивых и рослых юношей, одел их в белые колеты, алые бриджи, алые камзолы и шляпы с перьями и снабдил хорошими лошадьми и оружием. Зрелище, говорят, было великолепное...

...Он устроил однажды в Лондоне роскошный пир для молодых и красивых дам из высшего общества, коих собралось великое множество, и потратил на то несколько сотен фунтов. Там подавались всевозможные диковинки, какие только можно раздобыть в этой части света, а последней переменою гостьям поднесли шелковые чулки с подвязками и еще, насколько я помню, перчатки.

...Леди Сауткотт, чей муж повесился, приходилась сэру Джону сестрою. У ней в доме, в Лондоне, на Бишопсгейт-стрит, есть портрет ее брата работы самого сэра Антония ван Дейка: сэр Джон стоит во весь рост, прислонившись к скале, с задумчивым видом и книжкою театральных пьес. Это очень ценная картина.

...Он уехал во Францию и там через некоторое время, исчерпав до конца все свои средства и понимая, сколь жалкое и презренное существование предстоит ему влачить, он (имея к тому способ, так как нанимал квартиру в доме у аптекаря) принял яд, от коего и умер, измучась прежде от рвоты. Его похоронили на протестантском кладбище...

Сэр Джон Саклинг
(1609–1641/1642)

Песня

Уймись, крылатый сорванец,
Ищи себе других сердец
И забавляйся от души,
Мое же зря не тормоши:
Оно вздремнуть устроилось в тиши.

Да, у него угрюмый нрав:
В любви все хитрости познав,
Как старый ястреб, из гнезда
Оно слетает, лишь когда
Схватить добычу может без труда.

В пиру любви юнцы пусть ждут
Смиренно перемены блюд,
А я, насытясь без затей,
Невежею среди гостей
Кричу, чтоб сладкое несли скорей.

А там, едва доешь пирог –
Глядишь, и пиру вышел срок:
За окнами чернеет ночь,
Зевают гости во всю мочь
И не благодаря уходят прочь.

Против взаимности в любви

Соединенье любящих сердец –
Вот глупости чистейшей образец!
Я б грешников казнил таким проклятьем,
Чтоб от любви взаимной век страдать им.
Любовь капризна, как хамелеон:
Сыт воздухом, от пищи дохнет он.

Обиды, страхи, ссор минутных грозы,
Улыбка, просиявшая сквозь слезы, —
Вот корм любви, вот истинная сласть,
А насыщенье только губит страсть:
Так мы, во сне изведав наслажденье,
С утра досадуем на пробужденье.
О, я умру от ужаса, когда
Мне милая однажды скажет: "Да!"
Ведь женщина, хотя бы и царица,
В любви, уж верно, с тою не сравнится,
Кого мы, в дерзких уносясь мечтах,
Не на перине зрим, но в облаках.
Согласна — значит, шлюха, если даже
Она чиста как снег иль пух лебяжий,
И холоден дружок с ней неспроста:
Молитвы горячей в разгар поста.
Так будь тверда, любовь моя, не надо
Мне уступать: желанье — нам награда
И сладостных видений череда,
Каким не воплотиться никогда.

Я любил ее три дня

Что за черт меня втравил
В этакое дело?
Я любил ее три дня —
И не надоело.

Обойди хоть целый мир,
Этот и загробный —
Вряд ли сыщется пример
Верности подобной.

Кто ж такие чудеса
Сотворил со мною?
Лишь одна ее краса
Тут всему виною.

А другая, не она,
Будь на этом месте —
Я бы ей давным-давно
Изменил раз двести!

По случаю дурной болезни Т. К.

Дружище Том! Я слышал, бедолага,
Что сквозь огонь твоя проходит влага:
Так две стихии в вечной их борьбе
Опять сошлись благодаря тебе.

С огнем же сим не заключить союза,
Ведь гонор у него, как у француза;
Его противник, тонкий ручеек,
Не промах тоже, коль пробиться смог.
Ему желаю силы и напора
И верю, злой огонь погаснет скоро:
Хоть нынче жжется он — что за нужда!
Всё вынесет текучая вода.

Джон Обри — о Вильяме Картрайте

...Отец его был дворянин с доходом 300 фунтов годовых. Он держал постоялый двор в Сайренсестере, с год или около того, а после разорился. От жены он в приданое получил поместье в Уилтшире, из бывших церковных владений, что давало в год 100 фунтов, теперь оно отошло к его сыну (но у того много детей и потому он живет в бедности и все науки позабыл; это сын от второй жены, чье было имение).

Он написал трактат о метафизике, а также проповеди, в частности ту, что по просьбе короля произнес по возвращении его после битвы под Эджхиллом.

Вильям Картрайт похоронен в южном приделе церкви Крайст-Чёрч, что в Оксфорде. Какая жалость, что столь прославленный поэт покоится без надписи.

Не забудем также, что его величество Карл I, будучи извещен о его смерти, пролил слезу.

Вильям Картрайт

(1611—1643)

Красота и упрямство

Зачем твой сад, как грозный бастион,
Стенами крепостными обнесен?
Где видано, чтоб розы на припеке
От поцелуя воротили щеки?
Чтоб две лилеи, упираясь в грудь,
Садовника пытались оттолкнуть?
Чтоб грешника полдневное светило
От своего сиянья отлучило?
Чтоб воздух, ароматом напоен,
Не дал себя вдохнуть? Пускай дракон
Плоды хранит златые от покражи —

Двум яблокам твоим не нужно стражи.
Ужели остановишь ты родник,
Чтоб я к нему, возжаждав, не приник?
Природа к нам щедра: ее ли чадам
К запретам прибегать или преградам?
Хоть, правда, мало ценим мы подчас,
Что отдано без боя, без гримас
И губ надутых. Всех лобзаний слаще
Нам кажется тот поцелуй дрожащий,
Что вырван, выкраден в конце концов
Настырнейшим из молодых глупцов
У робкой девы, некогда надменной, —
Силком, сквозь слезы, как трофей военный.
Но это вздор! Быть может, в старину,
Чтоб амазонку обратить в жену
На брачном ложе, должен был заране
Муж одолеть ее на поле брани
И сам же в плен к ней сдаться, дабы впредь
На жен прельстительных уж не смотреть.
Твоя же красота столь безупречна —
Сам Купидон, что жертвы ищет вечно,
Тебя избрал: ступай же на алтарь
И покорись жрецу, как было встарь,
А коль со мной желаешь ты бороться —
Знай: нет без поражений полководца.
И кстати, по обычьям старины
На схватку шли борцы обнажены,
Натерты маслом, — так при чем тут платье?
Противник мой, приди в мои объятья!

Хлое, которая сокрушалась, что недостаточно молода для меня

Ты хочешь, Хлоя, чтобы годы
Твои вдруг побежали вспять,
Моим навстречу, точно воды,
Спеша сроднить нас и сравнять?
Зачем? Я в том не вижу смысла:
Как братья, схожи наши числа[1].

Мы рождены бываем дважды:
Когда впервые видим свет —
И в час, когда, исполнясь жажды,
Душа душе дает обет.
Мы полюбили: этот день я
Для нас считаю днем рожденья.

1. Судя по всему, это 23 и 32.

Любовь нам души обновила,
Иную жизнь вдохнула в нас:
Ее магическая сила
И старца молодит подчас,
А кто, как мы с тобою, молод —
Тех старческий не тронет холод.

Любовь архангельской трубою
Нас подняла из немоты:
Пред нею равные судьбою
Равны летами я и ты.
Не схожи, нет — единым целым
Мы сделались, душой и телом.

Где ты, где я, теперь едва ли
Поймешь в хитросплетеньях уз:
И слух, и взгляд — мы всё смешали!
Где чье касанье, запах, вкус?
Коль мы с тобой одно и то же —
Не я, но ты себя моложе.

Отказ от платонической любви

Ни слова больше о союзе душ,
О том бесплотном мире,
Где две идеи, как жена и муж,
Сливаются в эфире,
Где с духом дух, как с ветром ветерок,
Целуются и в том находят прок.

Любовь сию проверил на себе я —
Над плотью воспаря,
Я суть постиг, приблизился к идее
И рвался ввысь — но зря:
От сути съехал к плоти, а оттуда,
Сорвавшись, докатился я до блуда.

А те, что о союзе душ твердят
И чистоте желаний,
Как будто бы постятся, но едят
Скоромное в чулане:
Любовь, бесспорно, души их свела,
Но души те облечены в тела!

И вправду жалок ищущий в эфире
Слиянья двух сердец,
Алхимику иль юному транжире
Подобен сей глупец:
Алхимик злата ждет, юнец наследства,
Получат оба — от чесотки средство.

Джон Обри – о Дж. Денеме

...Пил он обыкновенно в меру, но однажды, будучи студентом в Линкольнз-Инн и хорошенько повеселившись с приятелями в кабачке, затеял среди ночи такую проделку. Взяли они малярную кисть и большую склянку чернил и замазали все таблички и вывески от Темпльских ворот до Черинг-Кросс, и чрез то сделалась наутро большая путаница, а дело было во время судебной сессии. Но случилось так, что виновников поймали, и шалость сия стоила им денег. Я же сведал о ней от Р. Эсткотта, эсквайра, – того самого, что нес чернила.

...Во время гражданской войны Джордж Уидерз, поэт, бывший капитаном конницы на стороне парламента, выпросил для себя поместье сэра Джона в Эгеме. Случилось так, что этот Дж. У. был взят в плен и оказался в большой опасности, так как в своих писаниях весьма дерзко выступал против короля. Тогда сэр Джон Денем пошел к королю и просил его величество не вешать Уидерза, но подарить ему жизнь, дабы он, сэр Джон, "не остался бы самым скверным поэтом в Англии".

...На второй своей жене, молодой и очень красивой леди по имени Маргарет Брукс, сэр Джон женился, когда был уже стар и хром. В нее страстно влюбился герцог Йоркский (хотя меня совершенно уверили в том, что он ни разу не познал ее телесно). Сэр Джон чрез то помрачился умом и впал в безумие. <...> Его 2-я жена была бездетна; ее отравила графиня Рочестерская, подсыпав яду ей в шоколад.

Сэр Джон Денем
(1615–1669)

Сэру Ричарду Фэншо, на его перевод пьесы "Pastor Fido"[1]

У нас за переводы, как на грех,
Берутся те, кто пишет хуже всех.

1. Сэр Ричард Фэншо (1608–1666) – английский поэт, переводчик, дипломат. "Pastor Fido" ("Верный пастух") – драматическая пастораль Баттисты Гварини (1538–1612), итальянского поэта и драматурга.

Ты не таков, и труд сей благородный
Ты выбрал сам, по скромности природной.
Когда б не ты, был автор обречен
От неумелых рук терпеть урон.
Ты воскресил его, и тем по праву
Ты равную с творцом стяжаешь славу.
Коль меньше переводчик одарен,
Чем автор, не добьется толку он:
Ростки ума, что за́ морем сорвали,
На скудной почве примутся едва ли,
Их, чтоб они плодоносили впредь,
Живым дыханьем надобно согреть.
Ты не из тех, кто с голоса чужого
Твердит за строчкой строчку, слово в слово:
Вот рабский труд! От сих напрасных мук
Не мысль крылатая, не звонкий звук —
Одни слова, товар пустой и мелкий,
Плодятся, как базарные поделки.
Иной открыл ты в переводе путь:
Ты не слова передаешь, но суть,
Хранишь не мощи в опустевшем храме,
Но гения немеркнущее пламя.
Где обмелел стихов его поток —
Ты глубины ему добавить смог
И возместил с избытком все утраты,
В каких язык и время виноваты.
Оковы мнимой точности презрев,
Ты возродил ритмический напев,
И вновь исполнились упругой силы
Стихов оживших мускулы и жилы,
И собственный свой дух средь этих строк
Ты заточил, взыскателен и строг.
Будь имена другими и пейзажи,
На новый лад одеты персонажи —
Ты волен был сей труд назвать своим
И, как иные, похваляться им.
В портрете мастер повторит умело
Все черточки лица, изгибы тела,
Но позу, платье, жест иль поворот
Он написать по-своему дерзнет:
Художник не бездушное зерцало,
Ему правдивость высшая пристала.

Джон Обри – о Ричарде Лавлейсе[1]

(жизнеописание приводится полностью)

Ричард Лавлейс, эсквайр, был очень красивый джентльмен.

Obiit[2] в подвале на улице Лонг-Эйкр незадолго до возвращения его величества. Мистер Эдмунд Уайлд и др. собирали деньги и передавали ему. Джордж Петти, бакалейщик с Флит-стрит, каждый понедельник с утра приносил ему двадцать шиллингов от сэра Джона Мэни и Чарльза Коттона, эсквайра, и делал это много месяцев, ничего не получая за труды.

Один из красивейших мужчин в Англии. Он был необыкновенно красив, но гордец. Написал стихотворение "Луказта".

Ричард Лавлейс
(1618–1657/1658)

Заздравная песнь в остроге

О братья, будем веселы!
Печали – те же кандалы,
А радость из тюремной мглы
    На волю нас уносит.
        Пусть души сбросят
Унынья непосильный груз,
Иль мало нам железных уз?

Давайте петь и плеском чаш
Счастливый славить жребий наш:
Рассудок усыплен, как страж,
    Зато не дремлют глотки, –
        Что нам колодки?
Мы в пляс пойдем средь бела дня,
Цепями весело звеня!

1. Жизнеописание приводится полностью.
2. Он скончался (*лат.*).

La bella bona Roba[1]

Я не любитель маленьких худышек:
Пускай они проворнее мартышек,
Не радует меня костей излишек.

Уж коли есть внутри у ней скелет,
Пусть будет он в тугую плоть одет
И в бархат кожи, нежной, как рассвет.

И тощая девица недурна ведь:
С ней можно собственный скелет подправить —
Изъятое ребро на место вставить,

Но жаль мне ловчего, что по меже
Гнал псов, добычу предвкушал уже,
А получил мослы при дележе.

Когда займешься вновь стрельбой своей,
Амур, в оленей тощих зря не бей:
Мне подстрели косулю пожирней!

Распутная сарабанда

Поближе, дорогая,
Придвинься — и вдвоем,
Двойным огнем пылая,
Свой танец мы начнем.
Один огонь текучий,
Другой — сухой и жгучий:
Так херес и любовь
Нам зажигают кровь.

А коль меж двух огней нам
Вдруг станет горячо,
Пожар зальем рейнвейном
И кое-чем еще.
Горячку ведь недаром
Молочным лечат взваром —
Мы молоком любви
Потушим жар в крови.

Любовь не привечала
Меня с моим дружком:
Не рейнским угощала —
Похлебкой да пивком.

1. Красивая потаскушка (*итал.*).

Но славен тот, кто щедро
Своих подвалов недра,
Как истый доброхот,
Пред гостем распахнет!

Взгляни-ка: мир, как спьяну,
Кренясь, валится с ног —
Иль получил он рану
В ночи кинжалом в бок?
А мы свою мадеру
Пьем, соблюдая меру,
И греет нам постель
Любви сладчайший хмель.

Но в чарках не водица,
И ты пьяна, мой свет:
В глазах твоих двоится,
В ногах опоры нет...
Вот рай, могу сказать я, —
Вино, твои объятья,
И сняты гроздья с лоз,
И дурень, кто тверез!

Честь, исполин суровый,
Не страшен нам теперь:
К чему стеречь засовы,
Когда открыта дверь?
Другим — казна и слава
Иль ратная забава,
А мне любовь нужна
И вдоволь к ней вина!

Муравей

Трудяга муравей, повремени!
Ты сам — погонщик свой и конь с тележкой:
Здесь, под листком, в густой его тени
Передохни хоть малость и помешкай.
Сбрось это зернышко с усталых плеч —
Легко ль в амбар двойную ношу влечь?

Оставь свою суровость, что повсюду
У нас теперь возведена в закон:
Хоть сам Катон не предавался блуду,
На пляски дев нагих взирал и он.
Смени и ты гримасу на улыбку
И нищего сверчка послушай скрипку.

На желтый лес, на жухлые поля
Лукаста взор свой обратила ныне,
Листве и травам зеленеть веля,
А нам — плясать! Лишь ты в своей гордыне
Один не празднуешь конца страды
И час потехи тратишь на труды.

Угрюмыи стоик! Век брести за плугом,
Возы влачить по тропам чуть дыша,
Копить усердно, жертвовать досугом —
И не спустить на прихоть ни гроша?
Не сбросить бремя, не ослабить путы,
Из жизни целой — не прожить минуты?

Взгляни туда — вон два твоих врага
На жалкого уставились воришку:
Мадам Сорока и ее слуга,
Сердитый Грач, спешат к тебе вприпрыжку,
И сам ты, и добытое зерно —
Всё в закрома чужие сметено.

Так все мы в установленные сроки
Сойдем во тьму — и мот, и скопидом:
Зерно в тебе, мураш, а ты в сороке,
Та в ястребе, и в чреве всё земном.
Мы тратим силы, пашню засевая,
Но всем ветрам открыта кладовая.

Джон Обри — об Абрахаме Каули

Мистер Абрахам Каули родился на Флит-стрит, в Лондоне, близ Чансери-лейн; отец его был бакалейщик.

Он писал еще мальчиком в Вестминстере стихи и сочинил комедию "Загадка любви", посвященную сэру Кенелму Дигби.

...Он был секретарем у графа Сент-Олбанского (тогда еще лорда Джермина) в Париже. По возвращении его величества Джордж, герцог Бакингемский, прослышав, что в Чертси есть хорошая усадьба, принадлежащая королеве-матери, пришел к графу Сент-Олбанскому, желая взять ее в аренду. Говорит ему граф: "Не пристало вашей светлости брать землю внаем". А герцог ему на это: "Мне все равно. Я готов, с вашего позволения, тотчас же ее купить". И он заплатил деньги, и купил ее, и по собственной воле и щедрости подарил своему дорогому и даровитому другу мистеру Абрахаму Каули, для которого он ее и приобрел; и об этом не до́лжно забывать.

Похоронен он в Вестминстерском аббатстве, по соседству с сэром Джефри Чосером. Бакингем заказал для него красивое надгробье из белого мрамора, сверху — искусно сделанная урна, а вокруг нее словно бы гирлянда из плюща. На процессии его светлость герцог Бакингемский держал одну из кистей покрова.

Vide[1] его завещание, как образец щедрой благотворительности: он распорядился своим состоянием так, что каждый год определенная сумма тратится на освобождение несчастных бедняков, брошенных в тюрьмы жестокими кредиторами за мелкие долги. Насколько мне известно, сия достопамятная лепта не упомянута в предисловии к его сочинениям; однако же это – самое благое и милосердное деяние.

Абрахам Каули
(1618–1667)

Девиз

Tentata via est, etc.[2]

Как стать мне знаменитым? Боже правый,
Неужто я умру без славы,
Как скот или мужик, покину свет –
И ни элегии вослед?
Тот славен предками, а та – супругом,
Хоть им дано не по заслугам,
А чем тяжеле злато на весах,
Тем выше слава в небесах.
Сияющим любимцам Провиденья
Сей блеск положен от рожденья,
Я – просто камень: чтоб алмазом стать,
Учиться должен я блистать.

1. Смотри (*лат.*).
2. Начало цитаты из Вергилия: "...Неторным путем я пойду и, быть может, / Ввысь подымусь и людские уста облечу, торжествуя!" (Георгики, кн. III, ст. 8–9).

Итак, вперед, унявши нетерпенье:
Там славы раздается пенье,
Как трубы ангелов, чей грозный зов
Встать побуждает мертвецов.
На службе муз отважным Ганнибалом
Пройду по горным перевалам,
Топча тщеславья пышные кусты,
Ловушки цепкой суеты.
Мечты о почестях, казне, поместьях —
Прочь! Я с дороги должен сместь их.
И ты, Амур, мучитель мой, прости —
Ты лишь помеха на пути.
Но вы, о книги, мне нужны в дороге,
От вас одних я жду подмоги.
Скорей сюда, великий Стагирит!
Твой факел путь мне озарит.
Ты всех мудрей: питомец твой надменный
Владел землей, но ты — Вселенной.
Сюда, красноречивый Цицерон!
Ты — римской славы бастион,
С тобою только тот сравниться сможет,
Кто гимн тебе всех краше сложит.
Сюда, Вергилий, Феба старший жрец,
Умов глашатай и сердец!
Из хаоса поэзии незрелой
Взрастил ты сад рукой умелой.
О дайте мне совет или наказ —
Как мне похожим стать на вас?
Но на вершине блещущей все трое
Сидите молча вы в покое
И ждете, озирая свысока
Нас, путников, — и облака.

Против взаимности в любви

Ты будешь дурой, коли мне уступишь:
Так восхищенья моего не купишь.
Мы от неведомого ждем чудес,
Отведавши — теряем интерес.
Вблизи ты женщина, на расстоянье —
Богиня, облаченная в сиянье.
Ты королева: пестуй свой народ,
Но попусту не расточай щедрот;
Поводья отпускай, даруй награды,
Но проверяй пороховые склады.
Ты для меня — непокоренный край,
И все ж к войне меня не подстрекай:

Как Александр, не получив отпора,
По новым землям затомлюсь я скоро;
Любовь, отяжелев от грабежа,
Заснет, награбленным не дорожа.
В моих мечтах ты ярче заблистала,
Чем от природы женщине пристало,
И коль мечта мне заменила явь —
Ее осуществленьем не бесславь!
Ты так во мне сладка, что поощренья
Не больше жажду я, чем мед — варенья.
Что красота? Природы ловкий трюк:
Как дети на жонглера, ставши в круг,
Так на нее глазеем мы часами,
А после на себя дивимся сами.
Любовь, как сокол, бьет добычу влет,
А не отнимешь — вмиг ее сожрет:
Надежды похватав, как воробьишек,
Она с костями выблюет излишек.
Любовь — пчела: сбирает свой запас,
Кружит, жужжит, но жалит только раз.

Игорь Клех

Сверхчеловеческое, слишком сверхчеловеческое...

Важно не только *что* говорится, но и *кто* говорит. Так считал Фридрих Ницше — так будем считать и мы. Ницше хотелось быть пророком, современным Заратустрой. Филологию, с которой он начинал, он считал пустяковой забавой, а классическую философию исчерпанной. Ему хотелось быть услышанным соотечественниками, но, по его мнению, те готовы были выслушать только апостола или национального поэта. "Ни один из великих философов не увлек за собой народа!" — восклицал Ницше. По своему складу он являлся моралистом, по профессиональным интересам — филологом и философом, по призванию — идеологом, а по факту — писателем и лирическим поэтом. Французский литератор румынского происхождения, современный ницшеанец, Эмиль Чоран едко определил Ницше как "ягненка, вообразившего, будто он — волк". Так кем же был в действительности этот немецкий профессор, затеявший отменить христианство и свергнуть с престола Богочеловека, чтобы заменить его туманной религией Вечного Возвращения, а на пьедестал водрузить своего Сверхчеловека?

Происхождение и годы учебы

Два самых важных наследственных фактора генезиса Фридриха Ницше: во-первых, он происходил из рода лютеранских пасторов; во-вторых, по семейному преданию, — из польского рода графов Ницких. Современники отмечали в его внешности явно "неарийские", сарматские скулы и мечтательный, "славянский" взгляд. Во времена Контрреформации лютеране Ницкие бежали из католической Польши в Пруссию. Даже в зрелом возрасте Ницше, более чем критично оценивавший протестантство, к католицизму относился с лютой, почти иррациональной ненавистью. Ему делалось дурно от одного вида, запаха и убранства католических храмов, а полюбив Италию больше Германии и поселившись в ней, он в своих беспрерывных скитаниях задерживался в Риме только в случае крайней необходимости.

Родился Фридрих Ницше 15 октября 1844 года, в день рождения прусского короля, покровительствовавшего его отцу в молодые годы. Но лютеранский пастор Карл Ницше отказался от карьеры по причине расстроенных нервов, попросился в деревню и получил приход в захолустном Рёккене на границе Пруссии с Саксонией. Взяв в жены пасторскую дочь, он произвел с ней на свет трёх детей-погодков и умер в возрасте 36 лет. Когда первенцу Фридриху не было и четырех лет, его отец упал с крыльца, ударился головой о каменные ступени, после чего лишился рассудка, тяжело проболел целый год и скончался в судорогах от "воспаления мозга", как решили врачи. Но мало такой психической травмы на пороге жизни. Год спустя Фридриху приснился сон, как его отец под звучание органа (а

© Игорь Клех, 2008

он был еще и органистом своего крошечного прихода) поднимается из своей могилы в церкви, а затем возвращается в нее, уже держа в объятиях какого-то ребенка. Напуганный Фридрих пересказал этот сон матери (позднее он изложил его в своей "Автобиографии", написанной в возрасте... 14 лет; странный мальчик, ей-богу!). А вскоре его жуткий сон сбылся – в считанные часы сгорел от "нервного припадка" младший братец Иосиф. В этой трагической истории, помимо дурной наследственности, чувствуется присутствие еще особой детской впечатлительности, слышится отголосок самого страшного стихотворения в мировой литературе – "Лесного царя" Гёте. Неразумные матери из образованных семей часто читали вслух своим малолетним чадам это прекрасное стихотворение Гёте, доводя их до рыданий и нервного срыва. Не только в Германии и не только в XIX веке художники, отмеченные печатью гибели (от Эдгара По до Кафки и Цветаевой), как бы "инфицировались" этой балладой – об отце, скачущем ночью верхом, с ребенком на руках, сквозь оживающий дремучий лес.

Убитая двойным горем мать решает переехать поближе к своим родителям. С Фридрихом и его младшей сестрой Елизаветой она поселяется в Наумбурге на Зале, под одной крышей с матерью и сестрой покойного мужа. Пятилетний мальчишка оказывается в "бабьем царстве", под ласковой опекой обездоленных женщин. Его отдают в школу, переводят в гимназию, а затем в монастырскую школу Пфорта – нечто среднее между духовной семинарией и лицеем, откуда вышли многие немецкие знаменитости. У мальчика экстраординарные способности. Он преуспевает в изучении мертвых языков – древнегреческого, древнееврейского и латыни, с ранних лет сочиняет музыку и стихи, ведет дневник. Лет до семнадцати он не сомневается, что по семейной традиции станет пастором. За страсть все планировать и всех поучать он получает от сверстников прозвище "маленький пастор". В восемнадцать лет Ницше поступает в Боннский университет и, как принято, записывается в одну из студенческих корпораций. Но буйные германские студенты оказываются далеко не так терпимы, как семинаристы Пфорты, и на его предложение отказаться от табака и пива предлагают в ответ ему самому покинуть их сообщество. Ницше возвращается в родные края, записывается в Лейпцигский университет и с головой уходит в филологию. Он больше не чудит. В Пфорте, желая доказать, что он не такой, как все, по примеру Муция Сцеволы он однажды положил раскаленный уголь на ладонь, а впоследствии растравлял плохо заживающую рану расплавленным воском (след остался на всю жизнь). Тогда как, напротив, в Бонне, желая доказать, что он такой же, как все, он с порога заявил безобиднейшему из студентов: "Я новичок. Вы мне симпатичны, хотите драться со мной?" – и тут же заработал удар рапирой. Теперь в Лейпциге он вкладывает всю страсть в чтение. Два автора потрясают его по-настоящему и многое определяют в его будущей судьбе. Это Гёльдерлин – как и Ницше, потерявший веру сын пастора, как и он, боготворивший Древнюю Грецию поэт-романтик, а еще – сумрачный германский гений с помутившимся рассудком (сорок лет клинического сумасшествия! Ницше в конце жизни ожидало всего одиннадцать таких лет). Другой – это Шопенгауэр. Две тысячи страниц его сочинения "Мир как воля и представление" на две недели лишают Ницше сна. Он спит не больше четырех часов в сутки, переходя от книги к письменному столу, а затем роялю. От беспросветного пессимизма Шопенгауэра хочется руки на себя наложить, но откуда тогда исходит такая мощная энергетика его жизнеотрицающей философии?! Ницше понимает, что недавно умерший Шопенгауэр мог стать для него больше чем Учителем, в своих записях он называет его Отцом. Это во-

обще характерная черта психики Ницше: он плохо умел дружить и любить, у него получалось только обожать или ненавидеть. Но об этом чуть позже.

Профессор и научный руководитель Ницше подготовил сюрприз своему самому способному ученику к моменту окончания им Лейпцигского университета — он рекомендовал его на место профессора классической филологии Базельского университета в Швейцарии. Ницше было 23 года. Свой университетский диплом он получил без экзамена — преподаватели из уважения к его научным изысканиям сочли неприличным экзаменовать своего новоиспеченного коллегу. Но как же возненавидел Ницше впоследствии немецкое научное сообщество — эти "десять тысяч господ профессоров", определявших общественное мнение!

Деятели

Все одиннадцать лет преподавания в Базельском университете Фридрих Ницше тяготился своим предметом — он преклонялся перед Древней Элладой, до появления в ней Сократа, но филология была ему скучна. В этом мечтательном ипохондрике дремал вулканический темперамент. Ницше привлекала активная, бурная жизнь, к ведению которой он, как созерцатель, не был способен и готов. Его восхищали император Бонапарт и канцлер Бисмарк. В свой последний год в Лейпциге он оказался призван, несмотря на близорукость, в прусскую армию. Жить в казарме и гарцевать на лошади ему понравилось, но очень скоро он с нее упал и целый месяц провел в больнице с открытым переломом. Уже в Базеле с началом франко-прусской войны Ницше испытывает сильнейший прилив патриотизма, рвется на фронт, но, поскольку Швейцария строго блюдет нейтралитет, ему удается записаться в немецкую армию лишь санитаром. Война приводит его в восторг, особенно отправляющиеся в бой части. Хотя видит он только зарево пожаров на горизонте да изнанку войны в тылах. Сопровождая десяток заболевших дизентерией и дифтеритом солдат из Эльзаса в Карлсруэ — трое суток в запертом товарном вагоне, — Ницше заразился от них сразу обеими болезнями и сам очутился в госпитале. Надо быть слепым, глухим и очень недалеким человеком, чтобы не догадаться, что в обоих случаях речь следовало бы вести о подсознательном "дезертирстве", но не в смысле "трусости" (Ницше был добровольцем и желал заглянуть в глаза смерти), а в смысле "выбора", — то есть о нежелании исчезнуть, не исполнив своей миссии, занимаясь не своим делом. Ницше убедился на собственном опыте, что сам он не деятель, и тогда устремился в идеологию со всей страстью, на какую был способен. То был общий вектор идейного развития XIX века — создание идеологий, партий и сект (по определению то и другое означает "отколовшуюся, выделенную часть"). В этом процессе фигурируют на равных правах Маркс с Энгельсом, Толстой с Достоевским и Ницше с Вагнером. Ницше в молодости представлялись равновеликими исторический деятель Наполеон и мыслитель и поэт Гёте. Но вот судьба послала ему их синтез — в лице композитора Рихарда Вагнера.

Кумир (вождь, фюрер)

Счастливый случай помог Ницше свести знакомство с Рихардом Вагнером еще в Лейпциге. В Швейцарии они оказались почти соседями. За полдня Ницше добирался из Базеля в Люцерн, где в одиноко стоящей вилле на берегу озера поселился 59-летний композитор с новой женой (пока чужой, но уже беременной от него) и многочисленной свитой. Ни до того, ни позже Ницше никого так не любил, как Вагнера. Их отношения достойны были великого романа, но никто его не написал и уже не напишет — жанр устарел. Как уже говорилось, Ницше

умел только обожать (надо учесть мечтательный, мистический и музыкальный настрой немецких душ того времени — в противовес простонародной грубости нравов и протестантскому практицизму). В глазах Ницше, в личности Вагнера сошлись организаторский талант и темперамент государственного деятеля, гений художника, способного осуществить синтез искусств, ум мыслителя, способного создать новый миф и направить целую нацию к поставленной цели, и, наконец, просто потрясающий мужик, при более чем скромных физических данных умеющий манипулировать мужчинами и женщинами как заблагорассудится, — воплощенная воля! В нашей культуре похожие характеры встречались у "екатерининских орлов" — за вычетом таланта писать в рифму и без и сочинять великую музыку. Ницше никогда бы не освободился от чар Вагнера, если бы не безответная любовь, ревность и фактор "икс" — его собственный дремавший гений.

Именно Вагнеру Ницше обязан своим единственным вполне завершенным трудом — книгой "Рождение трагедии из духа музыки" (не говоря уж о такой мелочи, что ее напечатал издатель Вагнера). Короля играет свита, и Вагнер не пренебрег возможностью заполучить для прославления себя и своего дела перо и ум такой силы, как у Ницше. В двух словах — это был классический образец философской прозы, обеспечивший Ницше место в истории философии и литературы, но отвративший от него современное ему научное сообщество. С "Рождением трагедии" для Ницше закончился ученический период. До сих пор он был не вполне самостоятельным продолжателем дела Шопенгауэра и ретранслятором идей Вагнера. А идейки, надо сказать, были так себе. В сжатой форме Вагнер изложил их своему покровителю, слегка чокнутому Людвигу Баварскому. В принципе все сводится к культу великого искусства. Вагнер — апостол его, опера — верховный жанр, а красота — высшее и единственное оправдание существования нашего мира. "Вагнеризм" (стараниями Вагнера и его свиты превратившийся в международную секту) нуждается в существовании "просвещенного" монарха, вооруженного идеями макиавеллизма, и плебса, пребывающего в безотчетном рабстве. Народные массы необходимо обмануть, чтобы заставить служить чуждым им целям высокой культуры. Для этого следует навязать им две консервативные иллюзии — патриотизм и религию, а чтобы они чувствовали себя счастливыми — потчевать операми Вагнера и войнами, для эстетического воспитания и стимуляции героизма. Трудно поверить, но это не огрубление, а вынужденно сверхкраткий конспект социальной метафизики Вагнера, почти целиком воспринятой Ницше. После разрыва с Вагнером Ницше отказался лишь от приоритета высокого искусства. Ему нравился более грубый и менее лицемерный мир. Если в год франко-прусской войны больше всего остального его потряс пожар в Лувре, то спустя полтора десятилетия извержение Кракатау, сравнимое по мощи с водородной бомбой, и землетрясение в Ницце, где поселился философ, уже только обрадовали его (как Александра Блока гибель "Титаника": "Есть еще океан!").

Вагнер не мог и не хотел принадлежать одному Ницше, а на меньшее Ницше был не согласен и потому не мог не проиграть. После переезда Вагнера со свитой три года спустя в Байройт их горячие и непростые отношения расстроились, но продолжались еще пять лет. Новые лица в окружении композитора и общая атмосфера психоза вокруг строительства небывалого оперного театра подвигла Ницше в конце концов к ревизии отношений. Он разразился философским памфлетом "Человеческое, слишком человеческое". Семья и свита Вагнера сочли это отступничеством и предательством. Но и Ницше счел Вагнера предателем, когда тот сочинил "Парсифаль" и, таким образом, вер-

нулся в лоно как бы изначально ложного христианства. Только тогда Ницше осознал, что настоящей целью его философской охоты является теперь не Вагнер, прикинувшийся полубогом комедиант, а мишень покрупнее — два тысячелетия моральной философии и христианской веры, — вот чтобы завалить какого "зверя", явился Ницше на белый свет! Но с голыми руками на такого не пойдешь — и Ницше мучительно принимается размышлять, где добыть или выковать оружие? Каким оно должно быть?

К этому времени от Ницше давно отвернулся ученый мир, не принявший уже его "Рождение трагедии". Как книгу вопиюще не отвечающую критериям научности, ее отвергли все издатели. А когда она все же вышла, научное сообщество никак на нее не отреагировало. Уязвленный Ницше не нашел ничего лучшего, как отплатить коллегам "Несвоевременными размышлениями", которые он стал выпускать отдельными брошюрами в 1873—1874 годах. Адресат первой же брошюры — почтенный профессор, возомнивший себя на старости лет философом, — после ее выхода в свет попросту сыграл в ящик. Ницше раскаивался в выборе цели, но остановиться уже не мог. В следующих брошюрах досталось на орехи историкам, затем филологам. Профессора ответили ему "взаимностью", какой не пожелаешь врагу: гробовым молчанием. Ницше как ученый оказался погребен при жизни. Студенты стали от него разбегаться. Спустя десять лет он печатал свои новые произведения мизерными тиражами за собственный счет и сам рассылал их знакомым и незнакомым. В Германии его уже не знали или успели позабыть — все, кроме профессоров. Когда Ницше, по настоянию сестры, попытался в середине 1880-х годов вернуться к преподаванию, ректор его альма матер передал ему через посредников, чтобы не тратил времени зря — ни один немецкий университет не примет его на работу. Многочисленные друзья, Рихард Вагнер и "вагнерианцы" подпитывали его высокую самооценку в течение целого десятилетия. Но еще с середины 1870-х стали отходить от Ницше и ближайшие друзья. И это отдельная тема.

Любовь и "дружба на фоне морали и философии"

Ницше, как и Вагнер, был из породы ловцов душ. Вот характерное его признание: "Проблемы, перед которыми я стоял, представлялись мне проблемами столь коренной важности, что мне почти каждый год по нескольку раз представлялось, что мыслящие люди, которых я знакомил с этими проблемами, должны были бы из-за них отложить в сторону свою собственную работу и всецело посвятить себя моим задачам". От дружбы Ницше требовал чего-то невозможного или *чего-то другого*. С самого раннего возраста он отчаянно мечтал, ни много ни мало, "облагородить человечество" — начав с создания чего-то вроде коммуны, которую он называл по-разному: "новая греческая Академия", "эстетическая и монашеская ассоциация", "школа воспитателей" или "современный монастырь, идеальная колония, свободный университет", где все были бы учителями друг друга, а обучение продолжалось минимум до тридцати лет. Его отношения с друзьями всегда были пылкими и нежными, а вот отношения с женщинами — подчеркнуто асексуальными, да и женщин этих по пальцам можно перечесть. Выросший в женской, а затем в мальчишеской среде, он всегда ставил дружбу выше любви. Младшая сестра Ницше вспоминает его слова: "Дружба разрешает тот же кризис, что и любовь, но только в гораздо более чистой атмосфере". Несомненно присущий Ницше гомоэротизм подавлялся им в той же степени, что и зачатки гетеросексуальности, а это был верный путь к одиночеству. Строго говоря, Ницше хотел быть ***человеком без пола***, что не

такая уж редкость, во всяком случае в писательском мире (Свифт, Гоголь, По, Кафка, Платонов – его собратья в этом отношении). По меткому наблюдению религиозного философа Евгения Трубецкого, Ницше хотелось "преодолеть Вселенную" (так сформулировал Ницше свою задачу в этапной книге "По ту сторону добра и зла").

Чтобы не быть голословным – несколько иллюстраций. "Вагнерианке" и старой деве фройляйн Мейзенбух, удочерившей детей Герцена, он пишет с похвалой: "Благодаря вам я открыл один из самых возвышенных моральных мотивов. Это материнская любовь без физической связи между матерью и ребенком. Это одно из самых прекрасных проявлений caritas[1]. Уделите мне немного этой любви, дорогой друг мой, m-lle Мейзенбух, и считайте меня за человека, которому необходимо, о как необходимо, иметь такую мать, как вы". (Между тем "физическая" мать Ницше была жива, и ближе, чем она и его младшая сестра, у него не было людей на свете!) А вот воспоминания самой Мейзенбух о жизни в Сорренто: "Вспоминается, как мы сидели все вместе по вечерам: Ницше, удобно поместившись в кресле в тени абажура, наш любезный лектор Ре – за столом около лампы, молодой Бреннер – около печки, против меня, помогает мне чистить апельсины. Я часто со смехом говорила им: право же, мы все составляем идеальную семью, мы четверо очень мало знаем друг друга, не связаны никакими узами родства, у нас нет никаких общих воспоминаний, и теперь мы живем совместно и совершенно независимо друг от друга и в полном душевном согласии. Скоро мы все начали строить планы о том, чтобы повторить, но уже в более широком масштабе, этот счастливый опыт". Когда неугомонная и предприимчивая Мейзенбух в 1882 году решила выступить свахой и свела Ницше с двадцатилетней авантюристкой Лу Саломе (якобы дочерью русского генерала), то в этой самой романтической в жизни Ницше истории "жених" предложил "невесте"... "духовный брак". В итоге Лу увел ближайший друг Ницше тех лет Пауль Ре, что разом положило конец и платонической любви, и нежной дружбе. До того письма Ницше своему сопернику больше напоминали пылкие любовные послания – и поначалу с Лу у них был тройственный союз. Они даже сфотографировались на память втроем: Фридрих и Пауль держатся за ручку детской коляски, в которой сидит Лу (уговаривали сесть в нее Фридриха, но он решительно отказался).

Друзей Ницше начал терять в тридцать лет. Живший с ним и Овербеком под одной крышей в Базеле Ромундт неожиданно заявил, что уходит в католический монастырь. Ницше пережил это как двойную измену близкого человека. Но вскоре Овербек признался, что женится; за ним Роде и Герсдорф. Умный, как бес, и видавший виды Вагнер писал Ницше в 1874 году: "По-видимому, вам, современной молодежи, недостает женского общества. Я прекрасно знаю, какое здесь встречается затруднение: как говорит мой друг Шульцер, "где возьмешь женщину, если не украдешь ее?" Хотя почему бы и не воровать, если это нужно? Всем этим я хочу сказать, что вам надо либо жениться, либо написать оперу; и то и другое будет одинаково хорошо или дурно для вас. Однако женитьбу я все же считаю за лучший выход... Но я знаю ваши странности, мой милый Ницше, и потому не буду больше говорить об этом, так как все равно это ни к чему не приведет. Ах, боже мой, да женитесь вы на какой-нибудь богатой невесте! И зачем это нужно было судьбе сделать Герсдорфа мужчиной!"

Ницше страдал от одиночества и, уже намеренно, все больше отдалялся от людей. Сестре он жаловался в письме: "У меня нет ни бога, ни друга". Но в другом письме призна-

1. Caritas (*лат.*) – любовь как милосердие, а не эрос.

вался: "Мне психически необходимо жить совершенно одному". И задним числом видно, что в таком "окукливании" немецкого философа была своя железная логика. Почти совершенное одиночество помогало ему достичь огромной сосредоточенности и концентрации умственных усилий. Благодаря ему он создал то, что мы называем "философией Ницше".

Ницше в Ницце

В 1879 году, окончательно разойдясь с Вагнером, Ницше решает порвать и с университетом. Мотивируя свой уход состоянием здоровья, он получает отставку и пенсию в 3000 франков в год, вполне достаточную для безбедной жизни. В горной Швейцарии, куда увезла его сестра отдохнуть, можно было снимать в ту пору комнату и столоваться за пару франков в день. Два года Ницше переезжает с места на место, готовясь умереть. Но, странное дело, периодически преследовавшие его болезненные симптомы непонятного происхождения (светобоязнь, тошнота и рвота, желудочные судороги, болезни горла, не говоря о головных болях, жестокой бессоннице и частых травмах) постепенно отступают и исчезают вовсе. Ничего странного: как правило, человек болеет либо физически, либо психически. И в последующие годы характер жалоб Ницше меняется: "Все здоро́во, кроме моей бедной души". А непосредственно перед помешательством он даже хвастается полным отсутствием физических недомоганий в письме Петеру Гасту, такому же холостяку: "...пищеварение у меня, как у полубога; несмотря на ночной стук экипажей, я сплю хорошо".

Всю неизрасходованную жизненную энергию Ницше направляет теперь на творчество, а ее излишки сжигает в непрестанных перемещениях и в долгих пешеходных прогулках. В своих странствиях он продвигается все дальше на юг, поближе к Средиземноморью. Он разлюбил холмы, леса и города Германии, полюбил Альпы и озера Швейцарии, но и их оставляет ради солнечной Италии и ее приморских городов. В зависимости от сезона и каприза он меняет как перчатки места жительства и пансионы, обожает Венецию, где поселился Гаст, и бухту Рапалло под Генуей, но в конце концов останавливает свой выбор на Ницце, где 220 солнечных дней в году. Сюда он чаще всего возвращается, здесь на околице, среди итальянских простолюдинов, ему живется лучше, чем где бы то ни было.

После двух тяжелых лет привыкания к одиночеству Ницше пережил наконец озарение (которое вполне может быть расценено и как первый симптом грядущего помешательства). В Швейцарских Альпах ему открылся мистический смысл архаичной доктрины Вечного Возвращения и явился легендарный Заратустра – древнеиранский пророк, основатель "зороастризма", автор "Зенд-Авесты". И хотя это было не видение, а лишь прозрение, Ницше разрыдался, словно вновь родился на свет. В своих записях он сопроводил это событие таким примечанием: "В начале августа 1881 г. в Сильс-Марии, 6500 футов над уровнем моря и гораздо, гораздо выше всего человеческого". В стихах он зафиксировал случившееся так: "И в этот миг внезапно нас стало двое – / Мимо меня прошел Заратустра". В сентябре в горах неожиданно выпал снег, и Ницше спустился в Геную. В течение следующего месяца он трижды покушался на самоубийство.

Так его устами заговорил Заратустра. Надо учесть, что Ницше принимал наркотики, но в XIX веке это совсем не считалось пороком и рекомендовалось врачами. Малую порцию настоя индийской конопли он выпивал, чтобы заснуть, большую – чтобы подстегнуть себя (это то, о чем можно говорить с уверенностью). Ницше задавался риторическим вопросом: сколько пива в немецком протестантизме? Позволительно переадресовать тот же вопрос

ему самому: а сколько конопли в том, что говорил Заратустра? Но сколько бы ни было, Ницше сочинил и издал частями в 1882–1884 годах самую знаменитую свою книгу – квазирелигиозную поэму, с которой прочно ассоциируется с тех пор его имя для всех. Книга не имела никакого резонанса. Четвертую заключительную ее часть он вынужден был напечатать за свой счет тиражом 40 экземпляров. Семь из них он разослал сам – столько оставалось у него читателей, включая родную сестру. "Заратустра" являлся ответом Вагнеру на его "Парсифаль", но Вагнер умер годом ранее в Венеции, и пророчества и поучения предтечи Сверхчеловека повисли в воздухе. Тогда Ницше делает следующий шаг: "С этих пор я буду говорить, а не Заратустра" – то есть не декламировать, а говорить по существу.

И здесь начинается самый интересный и плодотворный период творчества Ницше, когда его философия избавляется от диктата "художественных средств" и становится философией мысли, а не рупором лирического или идейного настроения автора.

Взорвавшаяся вселенная

Все работы Ницше последнего периода – это подготовка к главному труду жизни, opus magnum, за которым закрепилось название "Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей". Злая ирония состоит в том, что этот труд так и не был написан, только начат. Как если бы Творец принялся строить солнечную систему начиная с периферии, а когда дело дошло до светила, оно взяло да взорвалось. Примерно так и выглядит философское наследие Ницше. Присмотримся к нему внимательнее.

Ницше отвергал тяжеловесную основательность немецкой классической философии, требовавшую построения философских систем. Он склонен был к атакующему, афористически-эссеистическому и менее отвлеченному способу мышления, свойственному французской культуре (Паскаль, Монтень, Ларошфуко). Замысел "Воли к власти" возник у Ницше вскоре после написания "Заратустры", надо думать, как следствие неудовлетворенности. В это время он теряет самого родного и близкого человека – младшая сестра неожиданно выходит замуж и уезжает с мужем в Парагвай, чтобы основать там "арийскую" колонию (и это интереснейший побочный сюжет перипетий вагнеризма и ницшеанства: после Второй мировой войны в этой колонии нашли убежище многие нацистские преступники, в том числе концлагерный "врач" Менгеле, а к концу XX века, из-за изоляции и кровосмесительных браков, она превратилась в род богадельни для слабоумных). Некрасивой ссорой заканчивается двадцатилетняя дружба Ницше с профессором Лейпцигского университета Эрвином Роде. А тут еще землетрясение в Ницце!

Ницше записывает: "Какое нам дело до г-на Ницше, до его болезней и выздоровления? Будем говорить прямо, приступим к разрешению проблемы" – и в очередной раз набрасывает грандиозный план. Вчера – лицемерная мораль, сегодня – всеобъемлющий нигилизм, что завтра, где выход? Масштаб собственного замысла – "опыт переоценки всех ценностей" – ужасает философа. Поэтому он начинает с "увертюры" и пишет работу "По ту сторону добра и зла". Слово "увертюра" здесь употреблено не случайно – Ницше, по его многочисленным признаниям, совершенно не мог существовать без музыки. Он и сам играл, импровизировал и сочинял весьма посредственную музыку (как справедливо парадоксальное суждение неопозитивиста Рудольфа Карнапа: "Метафизики – это музыканты без способностей к музыке"!). Музыка имела на Ницше огромное влияние, и свои собственные философские произведения он часто выстраивал как музыкальные сочинения.

На появление брошюры "По ту сторону добра и зла" неожиданно реагирует один швейцарский критик, квалифицируя ее как сочинение анархиста. "Книга пахнет динамитом", – заключает он. Швейцария в те годы стремительно превращалась в питомник анархизма и терроризма. Воодушевленный откликом, Ницше молниеносно отвечает своему критику работой "Генеалогия морали": "Я отвергаю идеализацию мягкости, которую называют *добром*, и поношение энергии, называемой *злом*". "'По ту сторону добра и зла', – пишет Ницше, – еще не означает 'По ту сторону хорошего и дурного'".

По существу, эти две полемические работы являются пролегоменами "Воли к власти", Ницше и сам так считал. Себя он называл "имморалистом", но писавший о его философии Евгений Трубецкой утверждал: "Последовательный имморализм есть вместе с тем *совершенный индифферентизм*. Такова была точка зрения Спинозы, который учил, что надо 'не смеяться, не плакать, а понимать'. Для всякого видно, что философия Ницше с ее 'новыми скрижалями ценностей' не имеет ничего общего с таким индифферентизмом. В ней есть и радость, и грусть, и смех, и слезы, восхищение и негодование". Ницше был страстным человеком и мыслителем, и в этом отношении он созвучен своим русским современникам – Толстому (с его "срыванием всех и всяческих масок" и попыткой оставить от христианства одну мораль без веры) и Достоевскому, о котором Ницше писал так: "Вы читали Достоевского? Никто, кроме Стендаля, так не восхищал и не удовлетворял меня. Вот психолог, с которым у меня очень много общего". Мужиков первого и преступников второго он, во всяком случае, предпочитал отечественным бюргерам и филистерам. Никто из этих троих не умел остановиться вовремя. Ницше считал, например, что присущий христианству инстинкт "правдивости" послужил разрушению этого учения. Тогда как на деле самого Ницше подвела его интеллектуальная "честность" и увлекающийся характер. Было в этом что-то подростковое.

Остановиться Ницше и вправду уже не мог и не хотел. На грани сумасшествия он пишет "Сумерки кумиров" (в других переводах "Гибель идолов" или "Сумерки богов"), "Антихрист" и "Падение Вагнера". Через пять лет после смерти композитора Ницше вдруг осознает, что Вагнер обобрал его до нитки – соблазнил и увел публику, завладел Козимой (Ницше начинает мерещиться, что любовью его жизни была... жена Вагнера!), похитил друзей и подруг, превратив их всех поголовно в вагнерианцев и вагнерианок. Утрачивать самоконтроль Ницше начал, еще работая над "Заратустрой" (так, он писал Роде: "...у меня есть предположение, что своим 'Заратустрой' я в высшей степени улучшил немецкую речь... Обрати внимание, мой старый, милый товарищ, было ли когда-нибудь в нашем языке такое соединение силы, гибкости и красоты звука... Мой стиль похож на танец; я свободно играю всевозможными симметриями, я играю ими даже в моем выборе гласных букв"). Теперь он пишет "Ессе Homo" и разбирает по пунктам: "Почему я так осторожен", "Почему я так умен", "Почему я пишу такие хорошие книги". Трудно придумать автокарикатуру злее.

Но ирония состоит в том, что именно в этот период первые лучи славы достигают сбрендившего философа. Им заинтересовалась "заграница" – Ипполит Тэн во Франции и Георг Брандес в Дании (которым он посылал свои книги), Август Стриндберг в Швеции. Время Фридриха Ницше истекло, наступило время "философии Ницше" – в свои права вступал век идеологий. В январе 1889 года чета Овербеков и историк Якоб Буркхард в Базеле, Георг Брандес в Копенгагене, Петер Гаст в Венеции получают письма явно сумасшедшего человека, подписанные "Распятый". Вдова Вагнера, Козима, получает записку: "Ариадна, я люблю тебя" (Ницше отождествляет себя с богом

Дионисом, взявшим в жены обманутую и брошенную Тезеем Ариадну). Овербек срочно выезжает в Турин, где находит Ницше в пансионе, играющего локтем на пианино и поющего гимны во славу Диониса. Свои последние одиннадцать лет философ проведет в психиатрической лечебнице. В редкие минуты просветления Ницше спрашивал того, кто оказывался рядом: "Разве я не писал прекрасных книг?.. Лизбет, зачем ты плачешь? Разве мы не счастливы?" Учитывая ту ношу, которую он сбросил с себя заодно с рассудком и ответственностью за свои идеи, трудно с ним не согласиться.

И все же философия Ницше стоит мессы. Даже ницшеанский Сверхчеловек далеко не так прост, как представлялось нацистам. А уж сверхкритическая зоркость философа в отношении идеологов и моралистов такова, что в гомеопатических дозах может быть полезна и рекомендована всем. Большинство набросков и этюдов "Воли к власти" было пронумеровано самим Ницше, а упорядочено его другом Петером Гастом и родной сестрой. Вся "прожектерская" IV часть этого антихристианского трактата о злоключениях Силы ("Воспитание и дисциплина") так и не была и, надо думать, не могла быть написана. Не болезнь тому виной, она лишь следствие предельной "честности" философа — саморазрушение было встроено, как запал, в сам замысел его труда. Материалистические принципы, заложенные в основание философии Ницше, неизбежно вели к вытеснению и подмене смысла — творчеством, метафизики — физикой, психологии — физиологией, жизнеутверждающего Эроса — жизнеотрицающим Танатосом, а "философии жизни" — социальным дарвинизмом. В конечном счете трудно не задаться вопросом: не является ли символ веры Ницше — гипертрофированная воля к власти, воплотившаяся в концепции Сверхчеловека, — компенсацией недостатка любви?

Философ Фридрих Ницше любил смотреть вдаль — на горы, море и облака, — но погладил ли он хоть раз в жизни собаку?

Творящая Пустота

Антонен Арто *Тараумара* / Пер. с франц. Н. Притузовой. — М.: KOLONNA Publications, Митин Журнал, 2006

Появление этой маленькой книжечки: 200 страничек карманного формата — песчинка по сравнению с 26 толстыми томами полного французского собрания сочинений Арто, — на самом деле событие. Просто потому, что теперь любую другую существующую по-русски вещь Арто — и "Театр и его двойник", и его пьесы, и его статьи о живописи, как и все, об Арто написанное[1], можно читать параллельно с ней, на фоне ее, и, может быть, что-то в Арто понять.

Понять, что Арто — менее всего "режиссер", "сюрреалист", "литератор" — "безумец" на худой конец. Сам он делаемое им определял следующим образом: "Если я поэт или актер, то ведь не для того же, чтобы сочинять или декламировать стихи, а для того, чтобы их проживать... Я хочу... чтобы жизнь вырвалась из книг, журналов, театров и церквей, удерживающих ее силой, распинающих ее, только бы не пустить на свободу, и чтобы она достигла уровня, где обитает внутренний образ тел..."[2]

Написанное Арто — чтение нелегкое и страшное. Слишком силен в этих текстах "метафизический сквозняк". Они действуют на сознание, как кислота, попавшая на металлическую поверхность: она может вытравить ржавчину, но может выесть и здоровый, не тронутый разложением слой, добравшись до самой сердцевины, оставив после себя каверны и пустоту...

Статьи о путешествии в страну индейцев тараумара, в горах Сьерра-Мадре на севере Мексики, что вошли в эту книжку, Арто, по большей части, писал в психлечебнице. Много лет спустя после самого путешествия[1]. Путешествие состоялось в 1936 году. А последующие 9 лет (с осени 1937-го по весну 1946-го) Арто провел в психушках.

И все же все эти годы, вопреки всему, что с ним происходит — одиночеству, голоду, изоляции, лечению электрошоком, страстному обращению в христианство и такому же страстному отказу от него, — Арто вновь и вновь возвращается к опыту, через который он прошел в Мексике.

Как любой настоящий опыт, этот начинается с поражения: только теряя, человек понимает, насколько глубоко утраченное проникало в его сущность — и при этом не было ею. Путешествие в Мексику стало результатом разрыва Арто с театром, его отказа от театра. В мае 1935 года, ценой неимоверных усилий, Арто удалось поставить на сцене написанную и срежиссированную

© Е. Бродская, А. Нестеров, 2008

1. О театре Арто см., в частности: Вадим Максимов. Введение в систему Антонена Арто. — СПб.: Гиперион, 1998 или: http://otsebyatina.fromru.com/arto/

2. Перевод Б. Дубина.

1. Хронология статей, вошедших в его книжку: "Ритуал Пейотля у индейцев племени тараумара" — 1943 г. (психлечебница, Родез); три части "Путешествия в страну тараумара": "Меченая гора" — в 1936-м (еще в Мексике), "Танец Пейотля" — видимо, в 1937 г. (по возвращении из Мексики в Париж), приложенное к ним "Письмо Анри Паризо" — 1945-й (психлечебница, Родез); "Тутугури" — 1948-й (уже на свободе, в Париже, немногим больше, чем за месяц до смерти); "Три текста о племени тараумара" опубликованы еще в Мексике по-испански, в газете "El Nacional": "Страна волхвов" — 24 октября 1936 г., "Протораса" — 17 ноября 1936 г., "Ритуал вождей Атлантиды" — 9 ноября 1936 г.; "Забытый народ" напечатан в еженедельнике "Voilà" в декабре 1937 г. (Арто уже в больнице, в Париже).

им "Семью Ченчи. Трагедию по Шелли и Стендалю", которая должна была — наконец-то — воплотить тот театр, о котором он так напряженно мечтал. Постановка окончилась провалом. Вместо театра жестокости, театра метафизической реальности, зрители увидели мелодраму. И Арто подводит жирную черту под своими театральными занятиями. Он бросает режиссуру, бросает игру. Книга "Театр и его Двойник" — собственно, и составившая театральную славу своего автора, при этом имеющая довольно косвенное отношение к театру, зато самое прямое — к метафизике, к способам прорыва в Реальность этого мира, к чуме, алхимии, жестокости: это о них, а не о режиссуре или актерских тренингах кричит каждая строчка ее главок[1], — книга закончена и отдана издателю. Он перестает общаться с театральными приятелями, уходит в себя — вместо сценариев и планов постановок начинает писать стихи, заметки о мистике... В январе 1936 года Арто садится на корабль и уплывает в Гавану. Оттуда добирается до Мексики. Это бегство, но не от поражения, а — к себе самому. Арто чувствует себя опустошенным, но он слишком хорошо помнит — мистики учили: "прежде, чем наполнить сосуд вином, из него надо вылить гнилую воду". Накануне отъезда Арто запишет:

есть лишь пустота,
и все в ней, через нее,
посредством ее,
отсутствие реальней
присутствия, ибо ему —
длиться вечно;
слишком коротко действие,
слишком мгновенно — оно
затирается и исчезает в долгой
череде последствий...

Перевод А. Нестерова

1. Ср. их названия: "Театр и чума", "Режиссура и метафизика", "Пора покончить с шедеврами", "Алхимический театр", "Театр жестокости", "Чувственный атлетизм"...

К этому мотиву пустоты он будет возвращаться вновь и вновь — в трех лекциях, прочитанных в феврале 1936 года в Мехико (к вопросу о репутации Арто на тот момент: посол Франции считал протокольной необходимостью на этих лекциях присутствовать), в записках об индейцах тараумара, в написанных после возвращения во Францию "Новых откровениях о бытии"... В одной из мексиканских лекций ("Театр и боги") Арто говорит: "Древние мексиканцы не знали иного чередования, кроме чередования жизни и смерти... Культура — это движение духа, который движется из пустоты к формам и из форм опять возвращается в пустоту, как в смерть. Приобщиться к культуре — значит сжечь формы; сжечь формы, чтобы притронуться к жизни". Уставший, зависящий от наркотиков Арто ищет именно этой возможности прикоснуться к безусловному, тому, что вне форм, — к жизни как таковой. К богам Мексики, которые, он верит, все еще живы, и, следовательно, "найти место их пребывания — значит найти их силу и присвоить себе силу Бога"[1].

После долгих бюрократических мытарств Арто получает разрешение отправиться в глубь Мексики, к нагорьям Сьерра-Мадре — на очную ставку с богами, которым поклоняются индейцы тараумара. "Этот народ <...> в течение четырехсот лет сопротивляется всему, что пыталось его одолеть: цивилизации, смешению с другими расами, войне, зиме, животным, бурям и лесу... Это покажется невероятным, но индейцы тараумара живут так, словно они уже умерли... Они не воспринимают реальность и черпают магические силы из презрения, которое испытывают к цивилизации. Иногда они приходят в города, побуждаемые ка-

1. А. Арто. Театр и боги / Перев. Г. Смирновой // Антонен Арто. Театр и его Двойник: Манифесты, драматургия, лекции, философия театра. — СПб.: Симпозиум, 2000. С. 267–269.

ким-то желанием двигаться, чтобы увидеть, как они говорят, *как живут люди, которые обманули сами себя.* Для них жить в городах — это обманываться..."[1] — писал Арто об этом племени.

Ритуалы тараумара включают в себя использование кактуса-пейотля, содержащего сильнейший галлюциноген — мескалин. (В 60-е годы Карлос Кастанеда — скорее всего, как раз под впечатлением того, что он вычитал у Арто, — специально отправится в Мексику изучать Пейотль и создаст вокруг этого целую мифологию.) Пейотль способен стирать границы не только между телом, разумом и духом, но — между ними и вселенной, давая ощущение того, что все эти сущности пронизывают друг друга, друг в друге растворены. Арто верил, что Пейотль может изменить всю его жизнь. К наркотикам Арто прибегал с юности: ему они были необходимы, чтобы заглушить адские головные боли, которыми он страдал после перенесенного в детстве менингита. Но как раз в силу этого он знал, что наркотики только уводят человека от реальности его "я". "Я принимаю опиум потому, что я есть я, но он не исцеляет меня от самости. Отдаться наркотику — значит умереть. Я думаю, только смерть исцелит меня от этой дьявольской наркотической полумеры, когда лишь точно отмеренные отключения, не слишком продолжительные, не слишком глубокие, позволяют мне быть самим собой. Я не способен ни на какую борьбу с опиумом, который есть самый отвратительный обман, самое жуткое изобретение Ничто из всех, что когда-либо захлестывали человеческие чувства", — проговаривает Арто в заметке "Призыв к юным: интоксикация / дезинтоксикация" (1934, перевод А. Нестерова).

В Мехико он принимал героин, но решил, что на "очной ставке" с Пейотлем "тело должно быть чисто от скверны, что таится в любой отраве", — и выбросил остатки героина в горный поток. "К исходу шестого дня от меня остались лишь кости, но не плоть — плоть истратилась и иссохла, изойдя из меня вместе с галлонами всяческих экскрементов", — вспоминал Арто о своей поездке в горы Сьерра-Мадре, на лошадях, с индейцами-проводниками. Арто, в буквальном смысле слова, выблевывал весь свой прошлый опыт: ему ли, профессиональному актеру, привыкшему изнурять себя тяжелейшими нагрузками и упражнениями, было не знать, что опыт — это прежде всего память тела. Тело сопротивлялось. "Двадцать восемь дней... я был просто грудой плохо собранных органов, которым я, как мне казалось, помогаю, словно посреди бескрайних льдов, на грани распада... Мне пришлось призвать на помощь все резервы воли действительно *отчаявшегося* человека... Знал ли я когда-нибудь радость, есть ли на свете другие ощущения, кроме тоски или беспощадной безнадежности; бывал ли я когда-нибудь в другом состоянии, кроме этого состояния ползущей боли, преследующей меня каждую ночь? Есть ли хоть что-то для меня, не стоящее на пороге гибели, и можно ли отыскать хоть одно тело, единственное человеческое тело, что избегло бы этого беспрерывного распятия?"[1]

Арто повезло — когда он добрался до селения тараумара, там вскорости должна была состояться церемония Пейотля: умер один из индейцев, а танец Пейотля был составной частью похоронно-поминальных обрядов.

1. Антонен Арто. Забытый народ / Антонен Арто. Тараумара // Перев. Н. Притузовой. — М.: KOLONNA Publications, Митин Журнал, 2006. С. 116–117.

1. Антонен Арто. Танец Пейотля // Антонен Арто. Тараумара / Перев. Н. Притузовой. — М.: KOLONNA Publications, Митин Журнал, 2006. С. 60–63.

Арто допустили к церемонии — магическому танцу, совершаемому в измененном состоянии сознания после приема Пейотля.

К описанию этой церемонии Арто возвращается несколько раз: в почти этнографически-точном "Танце Пейотля", написанном еще по свежим впечатлениям, сразу после возвращения из Мексики в Париж, или в "Ритуале Пейотля у индейцев племени тараумара", где он — уже почти 10 лет спустя, в родезской клинике — пытается в подробностях восстановить в памяти все, что произошло с ним той мексиканской ночью; в "Тутугури" — очень своеобразном тексте — полупрозе-полустихах, — являющемся переделкой (надо было вывести из-под копирайта, отданного на тот момент французскому радио) поэмы "Ритуал черного солнца". И при этом каждый раз возвращаясь к описанию жизни племени, его магических практик, Арто добавляет новые и новые подробности, наслаивая их одна на другую, так что возникает некое ощущение вихря, расходящегося из некой точки опыта в прошлом и подхватывающего читателя.

И все же... В одном месте в "Танце Пейотля" Арто проговаривается: "всякий раз, вот как теперь, когда я прикасаюсь к важнейшему периоду своего существования, я оказываюсь там не всем своим существом. Откуда это ужасное ощущение потери, упущенного выигрыша, несостоявшегося события?"[1] Не отсюда ли эта множественность описаний: опыт был пройден, коснулся сознания... но удержать сам опыт не удалось. В 1947 году Арто с горечью вспоминает: три дня, проведенные у тараумара, — это были "три самых счастливых дня во всей моей жизни. Я перестал тосковать, искать оправдание своей жизни и перестал тяготиться необходимостью таскать собственное тело. Я понял, что придумывал жизнь, что в этом и состояла моя обязанность и смысл моего бытия и что я тосковал потому, что у меня не хватало воображения, а Пейотль мне его дал. Какое-то существо приблизилось и заставило Пейотль внезапно выйти из меня. Я буквально рассыпался на кусочки, и труп человека был порван в клочки и найден где-то в таком виде..."[1]

Для отправления ритуала на земле очерчивается круг, в круг ставится десять крестов — Арто отождествляет их с Десятерицей Изначальных сущностей. "Рассказывают, что птицы, случайно залетевшие в этот круг, падают, а беременные женщины чувствуют, как разлагается в них плод. История мира присутствует в круге этого танца, ограниченного двумя солнцами: тем, которое опускается, и тем, которое встает. И только когда солнце опускается, в круг входят колдуны, и танцор с шестьюстами колокольчиками (тремястами роговыми и тремястами серебряными) испускает крик лесного койота. Танцор входит и выходит, однако не покидает круг. Он непринужденно движется внутри боли. Он погружается в нее с какой-то устрашающей отвагой, в ритме, который, поверх танца, словно рисует Болезнь. И кажется, будто он то показывается на поверхности, то исчезает в движении, которое заклинает неизвестно какие темные силы. Поскольку это движение вперед по болезни — путешествие, *спуск, чтобы* СНОВА ВЫЙТИ В ДЕНЬ"[2].

Ритуал Пейотля — солнечный ритуал. Но в нем Солнце выступает не принципом жизни, а принципом смерти — это не Солнце Пробуждающее, а Солнце Сжигающее. Сжигающее все, кроме самой сущности человека.

1. Антонен Арто. Танец Пейотля // Антонен Арто. Тараумара / Перев. Н. Притузовой. — М.: KOLONNA Publications, Митин Журнал, 2006. С. 63.

1. Там же. С. 140.
2. Там же. С. 69.

Ставящее человека перед лицом Ничто, Пустоты:

Звук барабана Тутугури,
несущий весть о Ничто,
этот вечный его призыв:
время — лишь звук пустой,
время — пустой лишь звук,
палочки пляшут вверх-вниз —
пустота наплывает,
пустота проникает в тело,
зовет его за собой,
призывает это тело,
раньше бывшее человеком,
призывает его в ярость (нет —
страсть)
того, что ждет там, снаружи...

Перевод А. Нестерова

— писал Арто в поэме "Ритуал черного солнца" (не вошедшей, как уже говорилось выше, в книгу "Тараумара", но тем интереснее дать здесь не фрагмент ее переделки для этого сборника, а кусок первоначального поэтического текста...).

Важно, что это столкновение с Пустотой происходит не на уровне сознания, а на уровне тела. У каббалистов бессмертная составляющая человека связывается с "нетленной косточкой Луз", физически присутствующей в нашем теле. Арто достаточно увлекался эзотерикой и достаточно знал Каббалу, чтобы об этом помнить. В ритуале Пейотля Арто открыл не еще один способ выйти за пределы тела, растворить его, а увидел — в прямом смысле слова — то, как тело самой своей органикой взаимодействует с миром, понял, что именно в теле, прежде всего в печени и селезенке, "совершается тайная алхимия, и с ее помощью 'я' любого индивидуума выбирает то, что ему подходит, принимает или отбрасывает ощущения, эмоции, желания, которые предоставляет ему сознание и которые составляют его порывы, желания и восприятия, его истинные верования и его идеи. Именно там наше "я" становится сознательным, раскрывается сила его суждений и присущая ему высочайшая способность различать"[1].

То, что вынес Арто из пройденного ритуала, было потом проговорено им в эзотерической поэме "Новые откровения о Бытии":

Сколько лет я ношу в себе
сознание пустоты —
и не решаюсь сделать шаг
в пропасть.
Трус я — и трусы, трусы вокруг.
Сколько раз мне хотелось
выблевать мир,
но выблевывал я — пустоту.
Ибо — мира не существует,
и я твердо знаю теперь,
как не существует его.
А мытарства мои — оттого,
что бежал пустоты,
Пустоты, что ворочается во мне,
Рвет мне внутренности,
скребется: "Прими меня —
обретешь свет",
Я же, дурак, бежал света.
Превратиться бы мне
в огромный костер,
выжечь бы этот недуг небытия...

Перевод А. Нестерова

Заметим — многое из того, что открылось Арто у тараумара, и раньше присутствовало в его устремлениях. И его занятия театром, и его занятия эзотерикой (а читая Арто, нужно держать в сознании круг его интересов: труды по алхимии, Роберт Фладд; "Книга мертвых" (вернее — две, Тибетская и Египетская); Сент Ив д'Альвейдр; упоминания о них рассыпаны по всем его текстам, и, собственно, без учета этой составляющей многое в написанном Арто просто ускользает от понимания) — все они, так или иначе, были своего рода боренем с Ничто, с Пустотой — с оговоркой, что эта Пустота содержит в себе все сущее, из нее развертывающееся, это та Пустота, из которой сотворен мир.

1. Антонен Арто. Ритуал Пейотля у индейцев тараумара // Антонен Арто. Тараумара / Перев. Н. Притузовой. — М.: KOLONNA Publications, Митин Журнал, 2006. С. 46—47.

По сути, Арто — неуклонно и последовательно стремился выйти за пределы человеческого и увидеть за этими пределами то, что "видеть и остаться в живых нельзя". Суть всех его занятий — в этом, а не в театре. Или, иначе — если театр и интересовал Арто, то театр другого рода — Theater Mundi, Театр Мироздания. У Германа Гессе в "Степном волке" названа плата за вход в этот "вертепчик" — разум. Но мистики едва ли не хором твердили о "мудрости безумия" тех, кто рискнул хотя бы на мгновение отдернуть занавес и взглянуть, что же на самом деле происходит там, на *этой сцене*. И если Арто и безумен, то лишь в одном — в своем стремлении понять. Это не сумасшествие — это одержимость, готовность идти до самого конца. Готовность встать один на один с миром как он есть. Миром, не прикрытым занавесочкой *цивилизации*, а — прекрасным и яростным, сжигающим дотла.

О том, *каково* оно, Арто выговорил в одном из текстов, написанных в психушке, — "Ван Гог, самоубитый обществом": "В том и состоит анатомическая логика современного человека, что жить и представлять себе свою жизнь он может только в одном качестве: в качестве бесноватого"[1].

> Что же,
> "прощенное,
> освященное,
> трижды благословенное
> и стократ бесноватое общество
> <...>

стерло в нем только что открывшееся высшее зрение... накрыло его в последнем броске и, взяв вверх, прикончило"[2].

В случае Арто это было примерно так: цитируемый ниже кусок — его послесловие к "Ритуалу Пейотля", написанное в больнице, как и весь "Ритуал", но данный пассаж рассказывает не о прорыве к сути бытия, а о больничной ситуации автора: "Человека, запертого в течение шести лет в лечебнице для душевнобольных и три года не евшего досыта, нельзя корить за *скрытое* ослабление его Воли. Мне месяцами случалось оставаться без единого кусочка сахара или шоколада. Что касается масла, то уже и не помню, когда я его пробовал в последний раз. Я всегда встаю из-за стола голодный, потому что, как вам известно, рацион сильно урезан. *В особенности не хватает хлеба.* До того кусочка шоколада, который мне дали позавчера, в пятницу, я не видел его восемь месяцев. Я не из тех людей, которые позволяют себе уклониться от выполнения своего долга по какой-либо причине, но пусть меня хотя бы не упрекают за то, что у меня нет сил в такое время, как наше... И пусть меня больше не подвергают электрошоку после обмороков, ибо понятно, что обмороки не мешают мне все прекрасно осознавать, чувствовать и контролировать"[1]. Текст — страшный, как "Записки сумасшедшего" Гоголя...

Е. Бродская, А. Нестеров

1. Антонен Арто. Ван Гог, самоубитый обществом / Пер. Б. Дубина // Пространство другими словами. Французские поэты XX века об образе в искусстве. – СПб: Издательство Ивана Лимбаха, 2005. С. 43.
2. Там же.

Обратная связь

Самуил Лурье *Такой способ понимать*. – М.: Независимая фирма "Класс", 2007

Замечено — и, наверняка, не мной одним: если, изредка прерывая чтение, бросаешь взгляд на фотографию автора (разумеется,

1. Антонен Арто. Ритуал Пейотля у индейцев тараумара. // Антонен Арто. Тараумара / Перев. Н. Притузовой. – М.: KOLONNA Publications, Митин Журнал, 2006. С. 47–48.

© С. Гандлевский, 2008

когда издание снабжено таковой), значит, книга или из рук вон плоха или, наоборот, — нравится. В первом случае, смотришь с недоуменным "ну и ну...", во втором — с симпатией и признательностью, как я не раз смотрел на фотопортрет Самуила Аронович Лурье, автора книги эссе "Такой способ понимать". Это — почти три десятка умных и непринужденных, то коротких, то более пространных очерков о литературе и писателях: зарубежных и отечественных — от Омара Хайяма до Михаила Булгакова. Исключения составляют два эссе — о Дубельте и о петербургском наводнении 1824 года, но каждый, мало-мальски знакомый с историей русской литературы, помнит, что и шеф жандармов, и разгул стихии имели известное отношение к отечественной словесности.

Руководствуясь в выборе эпох, авторов и произведений только личными пристрастиями, Самуил Лурье и в самом подходе к предмету столь же своеволен и принципиально непоследователен: это и не биографический очерк в чистом виде, и не собственно литературоведение, а каким-то странным образом — и то, и другое. Откроем, наобум, эссе, посвященное Свифту. В первой части автор бегло и увлекательно знакомит читателя с жизненными и житейскими обстоятельствами классика; во второй — неожиданно и довольно уничижительно по отношению к главному герою "перечитывает" приключения Гулливера. И, наконец, на основании изложенных биографических фактов и своего прочтения Свифта, ставит писателю "диагноз":

> Сильней, чем Гулливера, доктор Свифт презирал только читателя, поэтому не опасался доверить ему свою тайну: что в этой безотказной, безразмерной заводной кукле спрятал маленького мальчика, каким, по-видимому, прожил всю жизнь — обижаясь на судьбу, на королей, на женщин: за то, что не умеют ценить его по достоинству, то есть любить не заимообразно — к дьяволу расчеты и страсти! — а просто за гениальность.

А сразу за этим частным умозаключением Лурье делает и куда более общий вывод:

> Так отчаянно одиноки, как этот клоун Гулливер, мы бываем в рабских состояниях: в детстве, да еще в старости. Поэтому книга получилась бессмертная.

Или другой, глубоко печальный, очерк — может быть, из лучших в книге — об Антоне Дельвиге. Поэт был создан для семейной жизни, души не чаял в жене... Но "хладный свет" с его "добросовестным ребяческим развратом" этого домашнего очага не пощадил. И добро бы только прилежные посредственности, вроде А. П. Керн и ее кузена, Алексея Вульфа, следуя гнусной моде, старательно растлевали жену Дельвига! Каким-то боком и Пушкин — о, низкая истина! — имел ко всему этому отношение, знать не зная, что вскоре сам станет жертвой подобных развлечений. И теперь, когда читатель в курсе этой мрачной семейной истории, очевидна исповедальная подоплека стихотворения Дельвига "Сон", которое, не узнай мы о личной драме поэта, могло бы быть принято попросту и исключительно за удачную стилизацию под фольклор, — но "метафора отпирается и приводится в движение личным шифром":

> Мой суженый, мой ряженый,
> Услышь меня, спаси меня!

Как бы между прочим, С. Лурье замечает, что Вульф находил свое поведение интересным, поскольку, в своем понимании, "делал жизнь" со скучающего волокиты Евгения Онегина. И здесь начинает звучать многозначительная тема взаимозависимости автора и его персонажа — не-

даром очерк называется "Опасные связи".

Под тем же углом зрения анализируется "Капитанская дочка" — роман, по мнению исследователя, "о бегстве дворянина в мещане, от долга к счастью, из истории в семью. Это автобиографический сюжет, мы находим его в жизни и лирике Пушкина в тридцатые годы".

И такой регулярный "фирменный" прием Самуила Лурье — переход на личность — хочется назвать "экзистенциальным литературоведением".

По существу, Лурье перечит ахматовской, ставшей афоризмом-паразитом, сентенции о "соре", из которого-де "растут стихи". "Сор", житейский пустяк способен спровоцировать написание стихотворения, как сотрясение воздуха — сход лавины, но, если говорить серьезно, а не иметь целью произвести эффект на профанов, искусство тщетно, однако вновь и вновь, силится развязать мертвый узел личной судьбы автора — и, может быть, искусству иногда по силам хотя бы ослабить этот узел на какое-то время.

Человек волен молчать, но уж если он обладает литературным дарованием, его сочинения, на взгляд С. Лурье, выдадут сочинителя с головой, пусть не школьным "содержанием", а, помимо авторской воли, — лексикой, синтаксисом, фонетикой. Вспоминается эпистолярное признание Довлатова: "очень часто, чаще, чем кажется, писатель старается не раскрыть, а скрыть..." Но биография — "водяной знак", который Лурье берется различить в произведении на просвет. "Формула личного стиля повторяет, хотя и другими символами, формулу судьбы". Такой способ понимать.

Впрочем, изредка авторский подход, на мой взгляд, дает осечку. Прекрасному гуманитарию и эрудиту, Лурье нравится ловить любимых писателей на несоответствиях вымысла реальному положению вещей — будь то хронологические сбои в "Капитанской дочке", или выдуманные Гоголем затруднения в подборе имени герою "Шинели", или ошибки Булгакова в описании механизма доносительства в СССР в 30-е годы. И как дань этим скрупулезным изысканиям внутри эссе разрастается обстоятельная многостраничная историко-литературная "сноска", и читатель рискует потерять нить повествования. Но дело не только в композиционном перекосе... Лурье считает указанные несоответствия авторской уловкой, тем же "личным шифром", своего рода "письмом в бутылке". Но мне-то кажется, что помянутые авторы вообще не имели в виду нарочно вводить читателя в заблуждение и вовсе не играли с ним в "холодно-горячо", а честно шли на поводу у логики вымысла; не говоря уже о том, что и гений может оплошать в мелочах. Ведь не из каких-то тонких эстетических соображений Лермонтов украсил львицу гривой, а Толстой в сцене тайного свидания Анны с сыном превратил десятилетнего Сережу Каренина в *baby*, топочущего "по ковру жирными голыми ножками"!

Но все это — "блохи", "горе от ума", издержки рационального подхода, которые легко забываются, когда то и дело натыкаешься на замечания, без натуги проницательные, вроде того, что произведениям Пушкина нередко присущ "вид поединка между пасынком судьбы и баловнем ее". (Жаль, нам никогда не узнать наверняка, за кого держал себя сам Пушкин, хотя кто-кто, а он-то числится баловнем, да еще каким!)

По-настоящему умный собеседник умен не только от сих до сих — в пределах своей концепции, — но и вообще. Вот и С. Лурье умен вообще — умен, обаятелен, красноречив: "Собственно говоря, человек для того и пьет вот уже сколько тысячелетий, чтобы иногда почувствовать себя Омаром Хайямом". Или: "Ведь женщины так редко говорят правду не оттого, что не хотят: просто они ее не знают". И т. п.

Лирические отступления автора от его "магистральной" темы — обратной связи вымысла и яви — не менее содержательны, чем авторская "программная" установка (собственно, эссеистика в большой мере и есть лирическое отступление, возведенное в ранг самостоятельного жанра, почему она и вправе считаться изящной словесностью, а не научной дисциплиной). Скажем, когда Лурье мимоходом говорит о писательском, повальном и взаимном — через века и культурные эпохи, — "списывании" друг у друга, которым, во многом, и жива литература. Явлению такого "перекрестного опыления" целиком посвящен очерк "Краткая история оксюморона 'Приглашение на казнь'". Перед нами — приключения сюжета. Новеллу, а затем и пьесу среднего итальянского писателя XVI столетия Джиральди Чинтио принимает к сведению его современник, английский писатель и драматург Дж. Уэтстон, и пишет трагикомедию "на заданную тему". А спустя еще четверть века та же пьеса *б/у* под пером его младшего земляка — Вильяма Шекспира, становится "Мерой за меру", которую, в свою очередь, Пушкин переделывает в поэму "Анджело". Ремейк на ремейке!

Слог автора разнообразен и осмыслен. Свое кредо он излагает жестко и без прикрас:

> Судьба художника в стране победившего тоталитаризма выражает в наиболее чистом виде идею человеческой судьбы вообще — как поиска собственной, личной, осмысленной гибели, как сопротивления принципу энтропии. То ли потому, что мироздание — как ни скучно в это верить — тоже система тоталитарная, то ли — тоталитаризм и есть социальная модель, поясняющая действие второго закона термодинамики: вечное возвращение качества в количество....

Но когда речь заходит о вещах менее ответственных, автор меняет тональность на более разговорную и, среди прочего, симпатично стилизует, скажем, под Зощенко:

> Получилась <...> трагическая лирика, описывающая сближение и разлад с профессорской дочкой разными богослужебными словами. Например: "Ты в поля отошла без возврата. Да святится имя Твое",..

(Имеются в виду, если кто не помнит, взаимоотношения А. А. Блока и Л. Д. Менделеевой.) Каламбуры Лурье элегантны ("переход католичества в качество", "программа погрома"), нечастые афоризмы срываются с языка автора как бы ненароком и не внушают подозрений в стилистическом самолюбовании. Все это, вместе взятое, свидетельствует о развитом чувстве меры и уместности — о хорошем вкусе, проще говоря.

Книга обаятельно оформлена: вид Петербурга то ли на закате, то ли на рассвете.

К сожалению, много опечаток. К сожалению, я не понял вступления, предпосланного сборнику эссе главным редактором и издателем серии — буквально не сумел понять, о чем там говорится.

Но главный недостаток "Такого способа понимать" присущ всем талантливым книгам: они до обидного быстро заканчиваются.

С. Гандлевский

Гюнтер Грасс
Günter Grass
[р. 1927]. Немецкий писатель. Лауреат Нобелевской премии [1999], Лауреат литературной премии Георга Бюхнера.

Автор романов *Жестяной барабан* [*Die Blechtrommel*, 1959; рус. перев. *ИЛ*, 1995, № 11; книга первая), *Собачьи годы* [*Hundejahre*, 1963; рус. перев. *ИЛ*, 1996, № 5–7], *Из дневника улитки* [*Aus dem Tagebuch einer Schnecke*, 1972], *Крысиха* [*Die Rättin*, 1986] и др.; книги путевых очерков *Гомункулы* [*Kopfgeburten*, 1980]. В *ИЛ* напечатаны повести Г. Грасса *Кошка и мышь* [1968, № 5] и *Встреча в Тельгте* [1983, № 5], стихи [1983, № 10; 1988, № 4], фрагменты книги *Мое столетие* [2000, № 1], новелла *Траектория краба* [2002, № 10], торжественная речь *Метафорам можно доверять*, произнесенная в Лейпциге по случаю вручения Кристе Вольф Немецкой литературной премии [2003, № 9].
Перевод глав из книги *Луковица памяти* выполнен по изданию *Beim Häuten der Zwiebel* [Göttingen: C. Steidl-Verlag, 2006].

Ян Юзеф Щепанский
Jan Józef Szczepański
[1919–2003]. Польский писатель, эссеист, репортер, киносценарист, переводчик.

Автор сборников рассказов *Сапоги и другие рассказы* [*Buty i inne opowiadania*, 1956], *Мотылек* [*Motyl*, 1962; рус. перев. 1967]; *Рассказы старые и очень старые* [*Opowiadania dawne i dawniejsze*, 1973], *Автограф* [*Autograf*, 1979], *Ultima thule* [1987], *Обеды при свечах* [*Obiady przy świecach*, 2003], сборников эссе *Перед неизвестным трибуналом* [*Przed nieznanym trybunałem*, 1975], *Все мы ищем* [*Wszyscy szukamy*, 1998], репортажей *Залив белых медведей* [*Zatoka białych niedźwiedzi*, 1960], *В рай и обратно* [*Do raju i z powrotem*, 1964; рус. перев. 1967], *Конец вестерна* [*Koniec westernu*, 1971] и др., романов *Польская осень* [*Polska jesień*, 1955], *Икар* [*Ikar*, 1966], *Остров* [*Wyspa*, 1968]. В *ИЛ* печатались его рассказ *За перевалом* [1974, № 7], эссе *Логика меррора* [1999, № 6] и репортаж *Майя* [2007, № 12].
Рассказ *Lunch in Faculty Club* взят из сборника *Рассказики* [*Historyjki*. Czytelnik, 1990].

Шон Макбрайд
Shawn McBride
[р. 1979]. Американский писатель.

Роман *Зелень. Трава. Благодать* [2003] – его дебют на литературном поприще.
Роман публикуется по изданию *Green Grass Grace* [New York: Touchstone, 2003].

Жозе Сарамаго
José Saramago
[р. 1922]. Португальский писатель и поэт. Лауреат Нобелевской премии [1998], премии Ассоциации португальских писателей, английской премии *За лучшую иностранную книгу* и многих других.

Автор романов *Поднявшиеся с земли* [*Levantado do Chao*, 1980; рус. перев. 1982], *Воспоминания о монастыре* [*Memorial do Convento*, 1982; рус. перев. 2003], *Год смерти Рикардо Рейса* [*O Ano da Morte de Ricardo Reis*, 1984; рус. перев. 2003], *Каменный плот* [*A Jangáda de Pedra*, 1986; рус. перев. в *ИЛ*, 1999, № 9–10], *Евангелие от Иисуса* [*O Evangelho Segundo Jesus Cristo*, 1991; рус. перев. в *ИЛ*, 1998, № 5–6], *Перебои в смерти* [*As Intermitências da Morte*, 2005; рус. перев. 2006] и др.
Первые главы романа *Слепота* печатаются по изданию *Ensaio sobre a Cegueira* [Editorial Caminho, 1995].

Дмитрий Александрович Померанцев
[р. 1974]. Писатель, журналист. Ведущий колонки книжных рецензий в журналах *Прием* и *Крупный план*.

Стихи и проза публиковались в журналах *Нижний Новгород*, *Urbi*, *Техника – молодежи* и *Юный техник*. В *ИЛ* публикуется впервые.

Игорь Юрьевич Клех
[р. 1952]. Современный русский прозаик и эссеист. Член Союза российских писателей, русского ПЕН-центра. Лауреат Пушкинской премии фонда А. Тёпфера [Гамбург, 1993], премии Берлинской академии искусств [1995], премии имени Юрия Казакова за лучший русский рассказ года [2000].

Печатается с конца 80-х годов. В 90-е в журналах *Новый мир*, *Дружба народов*, *Октябрь* публиковались его повести *Хутор во Вселенной*, *Зимания. Гёрма*, *Диглоссия*, *Крокодилы не видят снов*, *Смерть лесничего*. Автор книг прозы *Инцидент с классиком* [1998], *Книга с множеством окон и дверей* [2002], *Охота на фазана* [2002], *Светопреставление* [2004] и др.
В *ИЛ* опубликованы его эссе *Нисхождение автора* [1999, № 8], рецензия *Освобожденная память* в рубрике *Среди книг* [2006, № 12] и статья *Вокруг да около Шульца* [2007, № 9].

Евгения Вадимовна Бродская
Филолог-романист.

В *ИЛ* печатается впервые.

Антон Викторович Нестеров
[р. 1966]. Переводчик с английского и норвежского языков, критик, кандидат филологических наук. Лауреат премии *Иностранная литература* [2002].

В его переводе публиковалась проза М. Брэдбери, А. Конан Дойла, Дж. Донна, У. Б. Йейтса, А. Мейчена, А. А. Милна, Ч. Симика, Э. Паунда, М. Элиаде, романы Т. Пратчетта *Угонщики*, Т. Фишера *Философы с большой дороги* и др., стихи Ага Шахида Али, Л. Глик, Дж. Грина, А. Дагена, Дж. Моррисона, Э. Паунда, У. Рэли, Л. Ферлингетти и др. Составитель, переводчик и комментатор тома прозы Дж. Донна *По ком звонит колокол* [2004], автор работ по английской поэзии рубежа XVI–XVII вв. Выпустил книгу стихов *Сон рыбы подо льдом* [2002]. В *ИЛ* неоднократно публиковались его переводы и статьи.

Сергей Маркович Гандлевский
[р. 1952]. Поэт, прозаик. Лауреат нескольких литературных премий.

Автор книг стихов, эссе, прозы, среди которых – избранное *Порядок слов* [2000], роман *<НРЗБ>* [2002], стихи и эссе *Найти охотника* [2002], *Опыты в прозе* [2007].

Переводчики

Борис Николаевич Хлебников
[р. 1943]. Переводчик с немецкого, французского и английского языков, журналист, публицист. Лауреат премии *Иностранная литература* [2003], премии имени Жуковского [2006].

В его переводе публиковались немецкие народные песни и баллады, песни Ж. Брассанса, стихи У. Дж. Смита и Р. Фроста. В ИЛ напечатаны его переводы стихов Х. Вадера [1985, № 6], Э. Фрида [1987, № 10], Г. Грасса [1983, № 10; 1988, № 4], повести *Чужой друг* Кристофа Хайна [1987, № 1], романов *Книга царя Давида* [1990, № 4, 5] и *Агасфер* Стефана Гейма [1994, № 9], новеллы *Траектория краба* Г. Грасса [2002, № 10], статья *Феномен Грасса* [2007, № 1] и др.

Ксения Яковлевна Старосельская
Переводчик с польского. Лауреат премий *ИЛ* [1986] и польского ПЕН-клуба [2004].

В ее переводе издавались произведения Г. Сенкевича, Я. Ивашкевича, М. Хороманьского, Т. Конвицкого, В. Шимборской, Т. Новака, В. Мысливского, С. Хвина, Г. Кралль, Е. Анджеевского, М. Хласко, Е. Пильха, О. Токарчук и др. В *ИЛ* напечатаны ее переводы романов Т. Новака *Черти* [1975, № 3—4], В. Мысливского *Камень на камень* [1986, № 7—9], М. Хласко *Красивые двадцатилетние* [1993, № 12], С. Хвина *Ханеман* [1997, № 12], П. Хюлле *Касторп* [2005, № 6], повестей Е. Анджеевского *Врата рая* [1990, № 1] и З. Ментцеля *Все языки мира* [2006, № 10], теленовелл Т. Ружевича *Телетрендели* [2006, № 8], фрагментов из книги Я. Андермана *Фотографии* [2006, № 8] и др.

Никита Вадимович Михайлин
[р. 1986]. Переводчик с английского. Студент Саратовского университета

В его переводах опубликованы роман С. Солвэй *Любовный лексикон*, рассказ Р. Карвера и др.
В *ИЛ* публикуется впервые.

Александр Сергеевич Богдановский
[р. 1952]. Переводчик с испанского, португальского и английского языков, кандидат искусствоведения. Лауреат премии *Инолит* [1998], премии *ИЛлюминатор* [2006].

В его переводе изданы романы *Лавка чудес*, *Пальмовая ветвь*, *Капитаны песка* Ж. Амаду; *Война конца света* М. Варгаса Льосы, *Ты боишься крови?* С. Рамиреса, *Луна доктора Фауста* Ф. Э. Луке, повесть *Кто убил Паломино Молеро?* М. Варгаса Льосы [*Библиотека ИЛ*, 1989], стихи М. М. ду Бокаже, Ф. Пессоа, Ф. Наморы, М. де Ассиза и др. В *ИЛ* в его переводе публиковались роман *Исчезновение святой* Ж. Амаду [1990, № 1—2], главы из книги *Портрет Пикассо в юности* Н. Мейлера [1997, № 3, 4; 1998, № 8], романы *Евангелие от Иисуса* [1998, № 5-6] и *Каменный плот* [1999, № 9—10] Ж. Сарамаго, рассказ *Приятное общество* К. Фуэнтеса [2005, № 10].

Марина Яковлевна Бородицкая
Поэт, переводчик с английского и французского языков. Лауреат премии *Единорог и Лев* [2006], премии имени К. И. Чуковского *Золотой крокодил* [2007], премии Инолиттл [2007].

Автор стихотворных сборников *Я раздеваю солдата* [1994], *Одиночное катание* [1999], *Год лошади* [2002], *Оказывается, можно* [2005], а также многочисленных книг для детей. Переводила стихотворения и поэмы Дж. Чосера, Дж. Донна, английских поэтов-кавалеров XVII века, Дж. Китса, Р. Киплинга, Г. Лонгфелло, Р. Бёрнса, П. Ронсара, П. Верлена, А. Милна, Э. Фарджен и др. В *ИЛ* опубликовано ее эссе *Горсть мелочи* [2007, № 12], а также в ее переводах напечатаны стихи Д. Паркер, Г. К. Честертона, Дж. Чосера, В. Набокова, Р. Фэйнлайт, Р. Браунинга, Р. Крили, Р. Геррика, Г. Шнакенберг и др.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО.
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины немецкого художника Карла Хуббуха [1891–1979] *Классная комната* [1925].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва, Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции или в киоске "Новой газеты", расположенном по адресу: Страстной бульвар, дом 4.

Подписаться на журнал "Иностранная литература" можно во всех отделениях связи. Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.

Можно оформить льготную подписку в редакции по адресу: ул. Пятницкая, 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая) Подписка оформляется в понедельник, вторник, среду, четверг с 12.00 до 17.30.

(Справки по тел. 953-51-47).

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.2.2008
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 453.
Тираж 10200 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

Информационная поддержка

Слушаю и повинуюсь

Вспоминается фраза одного радиожурналиста: "Я работаю в эфире... Иногда я кажусь себе воздушным гимнастом, иногда — продавцом воздуха. Часто отчаиваюсь: работать на радио — все равно, что зимой пытаться протопить дом с открытым окном".

Радио — это не искусство, не руководство к действию, не политическая игра. Радио объединяет и искусство, и политику, и практику, и фантазии. Радио — один из способов общения, вид беседы. Это возможность высказаться, прислушаться к мнению других... Потому — мы не вещаем, мы — разговариваем. В этом основной принцип радиостанции "Говорит Москва".

День человеческой жизни... Он состоит из событий значительных, важных и простых проблем, забот, радостей и огорчений. Мы хотим, чтобы радио отзывалось на все, что случается за день. Все происходящее в нашей жизни интересно и важно, и все находит отзвук на радио. Сегодняшний день — главный герой, сегодняшний день — повод поговорить о вечности, сегодняшний день — возможность понять день вчерашний. Все, чем наполнен сегодняшний день, не должно ускользать и исчезать. Радио все запоминает, на все откликается — нужно только быстро реагировать. Быстро, но не поспешно, не поверхностно, не суетно.

Жизнь диктует новые стереотипы поведения — значит, нужны новые формы отражения. Меняется темп жизни — меняется ритм радиопрограмм. Сегодня радио — это искусство малых форм. Новые ритмы требуют и новых способов выражения. Каждый жанр нужно строить так, чтобы отразить драматургию дня, эпохи. Включивший радио становится участником события, процесса, он — собеседник, и у него всегда есть выбор тем для разговора: серьезных, легкомысленных, острых, скандальных. У слушателя всегда должен быть выбор, и чем он больше и разнообразнее, тем больше разных людей будут нас слушать и разговаривать с нами.

Радио быстро меняется. То, что вчера еще казалось удачей, сегодня — уже неудача. Нужно постоянно двигаться, искать новые пути. Как удержать слушателя? Как ему не наскучить? Если бы был рецепт... Знаю точно только одно: надо удивлять. Если ты сегодня ничего нового не придумал — день прошел зря.

Николай Яременко,
главный редактор радиостанции "Говорит Москва" (92,0 FM)

---

[4] 2008

РОМАН СОВРЕМЕННОГО БЕЛЬГИЙСКОГО ПИСАТЕЛЯ ТОМАСА ГУНЦИГА "КУРУ" / СТИХИ АРГЕНТИНСКОГО ПОЭТА РОБЕРТО ХУАРРОСА / "ПРИЗНАНИЯ ТУРИСТА" КРИСТОФА РАНСМАЙРА В РУБРИКЕ "CARTE BLANCHE" / "ТРИБУНА ПЕРЕВОДЧИКА": СТАТЬЯ АЛЕКСАНДРЫ ЛЕШНЕВСКОЙ "ТРИ "ГРАНДЕ""

(*роль*) **Ex** Each character was ~ed with so much ...face and art. Все роли были исполнены с боль-...им изяществом и мастерством.

NEW! **sustainability** [səˌsteɪnəˈbɪlətɪ] *n* устойчивость; устойчивое развитие; ecological / environmental ~ экологическая устойчивость, устойчивость окружающей среды *(предполагает поддержание экологической целостности и запасов природных ресурсов)*; financial ~ финансовая устойчивость; the Royal Award for S. *брит* ...ролевская премия за устойчивое развитие **NEW!** ...ручается *предпринимателям)*

sustainable [səˈsteɪnəbl] *adj* **1.** устойчивый; жизнеспособный; ~ development устойчивое развитие; ~ economic growth устойчивый экономический рост **2.** экологически рациональный; способный существовать, не нанося ущерба окружающей среде; «устойчивый»; ~ agriculture экологически рациональное сельское хозяйство, «устойчивое» сельское хозяйство; ~ forestry экологически рациональное лесопользование, «устойчивое» лесопользование; ~ use of natural resources рациональное использование природных ресурсов

sustained [səˈsteɪnd] *adj* **1.** длительный, продолжительный; непрерывный **Syn** long, protracted **2.** монотонный *(о звуке)*

sustaining [səˈsteɪnɪŋ] *adj* **1.** поддерживающий, ...одпирающий; ~ power стойкость, выносли...ость **2.** доказывающий, подтверждающий

NEW! **sustaining program** *n амер радио* некоммерческая радиопрограмма

sustenance [ˈsʌstənəns] *n* **1.** средства к существованию **2.** питание; пища **Syn** food, fare **3.** поддержание, поддержка, помощь **Syn** maintenance

sustention [səˈstenʃən] *n* поддержание *(в том же состоянии)*

sustentive [səˈstentɪv] *adj* поддерживающий; подкрепляющий

susurrant [suːˈsʌrənt] = susurrous

susurrate [ˈsuːsəreɪt] *v книжн* **1.** шептать **2.** издавать лёгкий шорох, шелест

susurration [ˌsuːsəˈreɪʃən] *n* **1.** шёпот **Syn** whisper **2.** лёгкий шорох, шелест

susurrous [suːˈsʌrəs] *adj* **1.** шепчущий **2.** шуршащий; шелестящий

susurrus [suːˈsʌrəs] = susurration

Susy [ˈsuːzɪ] *n уменьш от* Susan, Susannah Сюзи *(женское имя)*

Sutherland [ˈsʌðələnd] = Sutherlandshire

Sutherlandshire [ˈsʌðələndʃə] *n геогр* Сатерлендшир *(графство Шотландии)*

Sutlej [ˈsʌtlɪʤ] *n геогр* Сатледж *(река на территории Пакистана, Индии, Китая)*

sutler [ˈsʌtlə] *n* маркитант **Syn** canteen keeper

...лятся. **3.** нить для сшивания раны 4. сшива...е, соединение

NEW! ...*мед* накладывать шов, сшивать

SUV *сокр от* Sport Utility Vehicle внедорожник *(автомобиль повышенной проходимости, предназначенный для активного отдыха, чаще всего с приводом на все четыре колеса)*

Suva [ˈsuːvə] *n геогр* Сува *(столица государства Фиджи, юго-западная часть Тихого океана)*

suzerain [ˈsuːzəreɪn] *n* **1.** феодальный властитель, сюзерен **2.** сюзеренное государство; ~ lord правитель сюзеренного государства

suzerainty [ˈsuːzəreɪntɪ] *n* **1.** власть сюзерена **2.** сюзеренитет

SVC *буквенный код для* El Salvador colon сальвадорский колон *(денежная единица)*

svc. *сокр от* service **1.** обслуживание, сервис **2.** служба

NEW! ...**lte** [svelt] *adj* стройный, гибкий *(о женщи...)* **Syn** thin

Sverdlovsk [ˌsveədˈlɒfsk] *n геогр, ист* Свердловск *(название г. Екатеринбург в период с 1924 по 1991 г.), см тж* Ekaterinburg

Sverdrup Islands [ˌsveədrʊp-] *n pl геогр* острова Свердрупа *(группа островов в составе Канадского Арктического архипелага)*

SVO *сокр от* subject verb object *лингв* тип языка с характерным порядком слов: подлежащее - сказуемое - прямое дополнение *(как в русском, английском), см тж* SOV

SW[1] *сокр от* short waves короткие волны

SW[2] *сокр от* southwest юго-запад

Sw. *сокр от* Sweden Швеция

swab [swɒb] **I** *n* **1.** 1) швабра, щётка **Syn** mop 2) *воен* банник *(насадка типа щётки на шомпол)*; шомпол 3) помазок **2.** *мед* 1) тампон 2) мазок **3.** *мор жарг* офицерский погон **4.** 1) *презр* салага 2) *разг* матрос, моряк **Syn** sailor, gob

II *v* **1.** *(тж ~ down)* мыть шваброй; подтирать шваброй **Ex** Every morning, the sailors had to ~ down the deck of the ship. Каждое утро матросы должны были швабрами драить палубу на корабле. **2.** *мед* смазывать, наносить тампоном **Ex** She ~ bed the wound with iodine. Она смазала рану йодом.

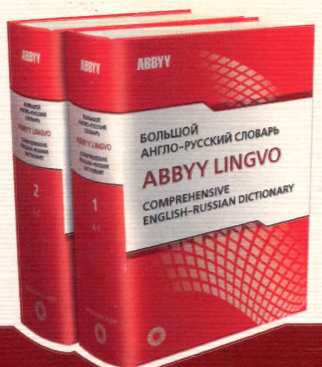
swabber [ˈswɒbə] *n* **1.** юнга, драящий палубу **2.** грубый, невоспитанный, подлый человек **3.** разг увалень **Syn** clodhopper, bumpkin **4.** швабра, веник, метла

Swabia [ˈsweɪbɪə] *n геогр, ист* Швабия *(историческая область в Германии)*

swaddle [ˈswɒdl] **I** *n* = swaddling clothes

II *v* **1.** пеленать, свивать *(младенца)* **2.** *(тж ~ up)* бинтовать, забинтовывать **3.** сдержи...ать

S



Словари ABBYY Lingvo
Современный язык
Академический подход

ABBYY SOFTWARE HOUSE
www.ABBYY.ru
+7 (495) 783 3700

job@abbyy.com

Приглашаем на работу
лингвистов и лексикографов

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2008, №3, 1-320
ИНДЕКС 70394